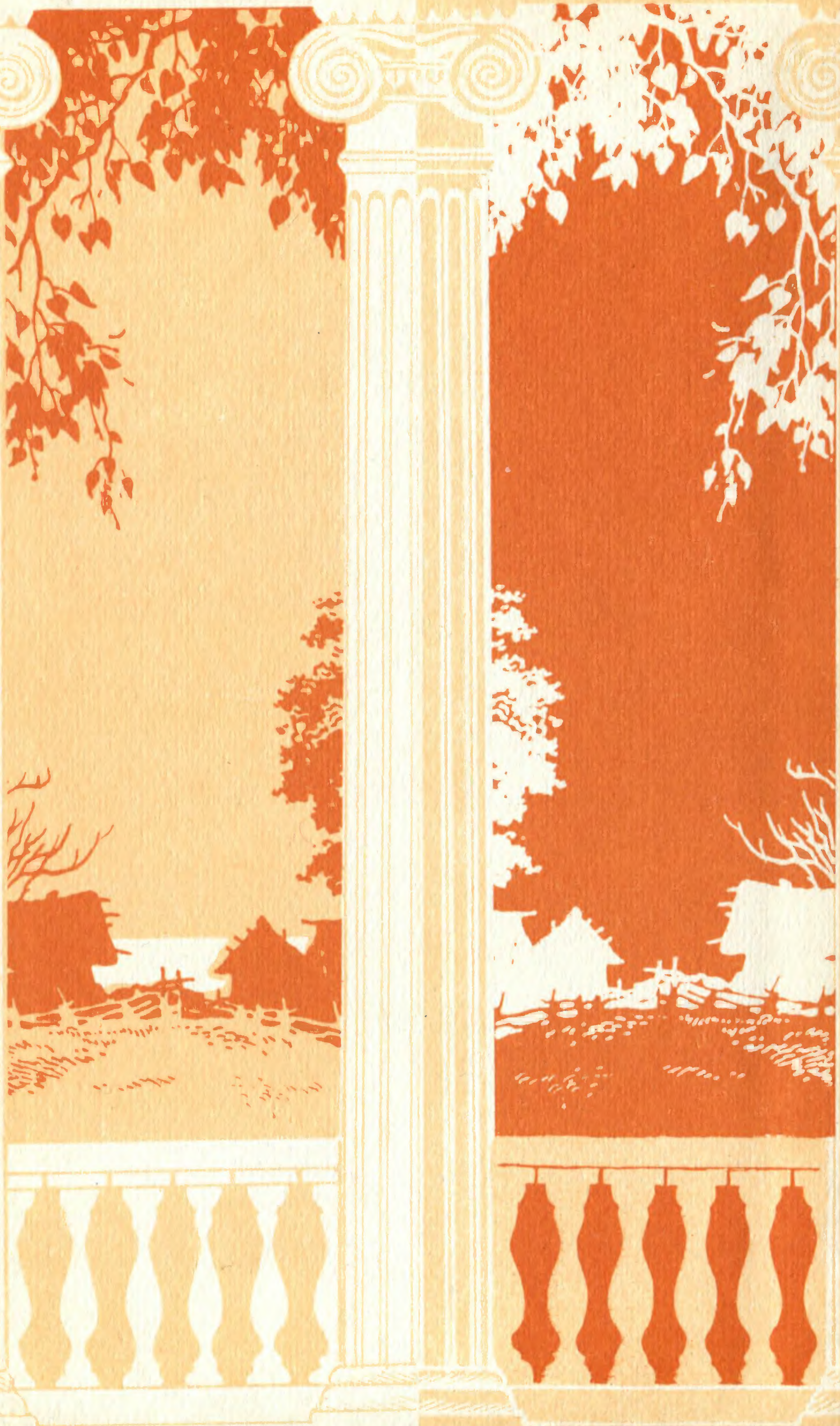
И. А. КРЫЛОВ
А. С. ГРИБОЕДОВ
Н. А. НЕКРАСОВ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И. А. КРЫЛОВ
А. С. ГРИБОЕДОВ
Н. А. НЕКРАСОВ



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

И. А. КРЫЛОВ

Избранные сочинения

•

А. С. ГРИБОЕДОВ

Горе от ума

•

Н. А. НЕКРАСОВ

Стихотворения и поэмы

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1981

Р1
К85

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительные статьи

Д. Д. БЛАГОГО, М. П. ЕРЕМИНА, К. И. ЧУКОВСКОГО

Оформление серии

Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома

А. З. ИТКИНА

К $\frac{70803—234}{М101(03)81}$ Подп. изд.

© Состав. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ

В богатейшей галерее русских писателей-классиков образ писателя — басенника — Крылова является одним из самых своеобразных и красочных.

В истории развития русской литературы Крылов занимает особое место. Иван Андреевич Крылов родился ровно на тридцать лет раньше Пушкина (в 1769 году) и пережил его больше чем семью годами (умер 21 ноября 1844 года). Годы его жизни как бы разделились между двумя столетиями. Выросший и сложившийся как человек и писатель в последнюю треть XVIII века — в так называемую эпоху Просвещения,— Крылов вместе с крупнейшим поэтом этой поры Державиным и первым писателем-революционером Радищевым завершил плодотворное развитие предпушкинского периода русской литературы.

Но, будучи одним из последних крупнейших представителей русской литературы XVIII века, Крылов стал вместе с тем первым в великой семье русских писателей-реалистов XIX столетия. Творчество Крылова явилось своего рода звеном, связавшим воедино два конца золотой литературной цепи — передовые традиции Новико́ва, Фонвизина, Радищева с творчеством Грибоедова, Пушкина, Гоголя.

I

Самое значительное из всего литературного наследия Крылова — басни, писавшиеся им, за немногими исключениями, в XIX веке, несколько заслонили собой ранний период его творчества. А между тем именно в этот ранний период уходят корни и Крылова-баснописца. У басенного мудреца «дедушки Крыло-

ва», каким он глядит на нас с известного памятника в Летнем саду в Ленинграде, была бурная и весьма боевая молодость.

В литературу Крылов пришел из демократических, трудовых слоев общества. Его раннее детство прошло среди тревог и волнений походной, боевой жизни. Отец его был произведен в офицеры после тринадцатилетней солдатской службы в одном из армейских пехотных полков. Пушкин с уважением отзывался о воинском мужестве капитана Крылова. Создавая в «Капитанской дочке» образ вышедшего из солдатских детей капитана Миронова, Пушкин явно имел в виду людей типа Крылова-отца. Любовно изображенный Пушкиным немудреный патриархальный быт семьи Мироновых, образы этих простых, почти совершенно необразованных людей, не лишенных человеческих слабостей, но обладающих чувством долга, душевной чистотой, большой нравственной силой,— все это может дать нам представление и о семье Крыловых.

Не имевший ни знатных покровителей, ни столичных связей, капитан Крылов военной карьеры сделать не смог. Он вышел в отставку и, поселившись в Твери (ныне город Калинин), поступил на гражданскую службу. Вскоре после этого, в 1778 году, он умер. Вдова с двумя сыновьями — будущим баснописцем и его младшим братом, которому тогда было всего около года,— осталась без всяких средств к жизни. Мать Крылова, хотя она и была женщиной малоученой, очень хотела дать старшему сыну хорошее образование. Рвался к учению и сам Крылов. Однако ему пришлось думать не о том, чтобы учиться, а о том, чтобы обеспечить существование семье. В возрасте восьми лет он был уже «записан» на чиновничью службу. Вскоре Крылов стал служить и на самом деле — «подканцеляристом» губернского правления — магистрата.

Перед мальчиком открывалась малоутешительная перспектива «завязнуть в писарях» — всю жизнь коснеть в провинциальной глуши, в мелких чиновничьих должностях. Но примириться с этим Крылов не захотел. В наследство от отца ему достался сундучок с книгами довольно пестрого и случайного содержания. Мальчик жадно на них набросился. Отсюда, видимо, и пошло первое влечение его к литературе. Проводя ежедневно долгие служебные часы в канцелярии за переписыванием скучных и маловразумительных чиновничьих бумаг, Крылов мечтал об иной, более осмысленной и плодотворной жизни. Начальник Крылова, человек невежественный и крайне грубый, заставая мальчика за книгой, не только бранил, но нередко даже бивал его.

Благодаря смелости и настойчивости Крылову удалось осуществить свои мечты — вырваться на простор. В 1782 году тринадцатилетний подканцелярист перебирается с семьей в Петер-

бург, где и устраивается на новую службу — канцеляристом в Казенную палату, с годовым жалованьем всего в девяносто рублей. Однако все помыслы Крылова уже были обращены в это время к литературе.

Одним из очень распространенных в то время драматических жанров была так называемая комическая опера. Комическую оперу под названием «Кофейница» пишет и Крылов.

Сюжет «Кофейницы» несложен. Крепостная крестьянка Анюта любит тоже крепостного — Петра. Однако барский приказчик хочет сам жениться на Анюте. И вот, чтобы очернить Петра перед барыней, он крадет у нее дюжину серебряных ложек, одновременно подговаривая «кофейницу» — гадалку на кофейной гуще (распространенный тогда способ гадания) — свалить все на Петра. В финале гадалка и приказчик попадаются с поличным, и пьеса заканчивается счастливым браком Петра и Анюты.

Пьеса начинающего юного автора, естественно, была еще слаба в художественном отношении, но вместе с тем сам Крылов позже, уже в годы своей славы, замечал, что ему удалось верно зарисовать в ней «нравы эпохи». «Я списывал с натуры»,— указывал он. Действительно, «Кофейница» была насыщена самым жгучим и злободневным социально-политическим содержанием. В своей комической опере, в которой на самом деле было больше трагического, чем смешного, Крылов смело и уверенно набрасывает резко обличительные картины дикого помещичьего произвола и насилия. Особенно отвратителен данный Крыловым образ грубой и неистовой крепостницы — барыни Новомодовой. Молодому автору удалось заинтересовать пьесой одного из петербургских книгопродавцев, который купил ее за шестьдесят рублей. Для Крылова это была огромная сумма; тем характернее, что он предпочел получить всю ее книгами по своему выбору. Ни в печати, ни на сцене «Кофейница» не появилась, но литературная деятельность Крылова, обрадованного и воодушевленного первой удачей, начала развертываться все энергичнее. Вслед за «Кофейницей» он пишет одну за другой две трагедии, оперу, комедию.

Однако Крылов не захотел подлаживаться к тогдашним заправилам петербургского театра, в частности к стоявшему во главе его вельможе Соймонову. В результате ни одна из этих ранних его пьес на сцене не появилась. И все же Крылов смело решает бросить службу и полностью отдаться литературе. Он начинает сотрудничать в тогдашних журналах, а через некоторое время, в 1789 году — год, когда Радищев закончил свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву»,— Крылов приступает к изданию собственного сатирического журнала «Почта духов».

Литературная деятельность Крылова в первый период, занимающий примерно десятилетие (1786—1796), показывает исключительную одаренность молодого автора. Двадцатилетний Крылов, не получивший никакого систематического образования, не учившийся ни в одной школе, обнаруживает прекрасную осведомленность в самых передовых явлениях современной ему просветительной литературы и ставит в своем творчестве, особенно в своей сатирической публицистике, все те проблемы, которые волновали умы наших просветителей. Выдающимся является этот период деятельности Крылова и в том отношении, что писатель словно пробует свои силы во всех литературных родах и видах. Помимо театральных пьес, он пишет в это время самые разнообразные стихотворные произведения (гражданские стихотворения, дружеские послания, любовные песенки), прозаические повести, сатирические очерки, театральные рецензии и т. д. Но всему, что ни пишет в эти годы Крылов, сколь бы ни отличались между собой его произведения по форме, присуща одна общая черта — резкое обличительно-сатирическое отношение к феодально-крепостнической действительности.

II

Носитель передовых идей века Просвещения, Крылов по своей натуре был убежденным и последовательным гуманистом. В период жестокого подавления самодержавием и крепостничеством человеческой личности он высоко подымал знамя человека, человеческого достоинства. В одном из своих стихотворений этого времени (послание «К другу моему», 1793 год) Крылов выдвигает знаменательную формулу своего общественного поведения:

Чинов я пышных не искал;
И счастья в том не полагал,
Чтоб в низком важничать народе,—
В прихожих ползать не ходил.
Мне чин один лишь лестен был,
Который я ношу в природе,—
Чин человека; в нем лишь быть
Я ставил должностью, забавой;
Его достойно сохранить
Считал одной неложной славой...

Так же возвышенно смотрел Крылов на задачи литературы, на общественную роль писателя. В одном из самых значительных в идейном отношении писем журнала Крылова «Почта

духов», которого он был не только издателем, но и автором, рассказывается следующее. К «молодому венценосцу», могущественному восточному императору, которого сейчас же по вступлении его на престол начинают бессовестно обманывать придворные, кружа ему голову чадом самой подлой лести и безудержных похвал, силой пробивается некий незнакомец и смело раскрывает ему истину. Человек этот, оказывается, пишет книги, он бедняк-писатель. В другом своем очень ярком сатирическом произведении — восточной повести «Каиб» — Крылов резко высмеивает два основных стихотворных вида литературы XVIII века, прикрашивавших и искажавших действительность: классическую оду и сентиментальную идиллию. Крылов стремится в своем творчестве явить истину — показать действительность такой, какова она есть на самом деле: без одических преувеличений и идиллического прикрашивания. Стремление это, по существу, очень близко к тем задачам, которые позднее будут ставить перед собой наши писатели-реалисты. Это, естественно, толкало Крылова в русло одного из самых значительных течений предшествовавшей и современной ему литературы — сатирического течения, в недрах которого исподволь накапливались элементы будущего критического реализма, издавна подготовлялось позднейшее, «гоголевское направление».

Сатирическое течение возникает у самых истоков русской литературы XVIII века, начинаясь сатирами Кантемира, создавшими устойчивую, проходящую через все столетие традицию. Она была подхвачена и развивалась сатирическим «Гимном бороде» Ломоносова, сатирами, притчами и комедиями Сумарокова, сатирической журналистикой конца 60-х — первой половины 70-х годов, драматургией Фонвизина, пародийными «ироикомическими» поэмами Василия Майкова, прозой Федора Эмина и Михаила Чулкова, сатирическими одами Державина, наконец, революционным «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Эта почти вековая традиция замечательно продолжается в литературной деятельности Крылова.

Сатирическая струя проникает все творчество молодого Крылова, ощутимо сквозит в ряде его стихотворений, резко проступает в драматургии. Но с наибольшей яркостью и блеском огромное сатирическое дарование и исключительный сатирический темперамент Крылова развернулись в его сатирико-публицистической прозе на страницах «Почты духов» (1789) и в двух других журналах — «Зритель» (1792) и «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793).

Одним из наиболее значительных явлений в истории нашей литературы XVIII века было возникновение в конце 60-х — первой половине 70-х годов передовой сатирической журналистики. Лучшими ее образцами явились три журнала выдающегося

русского просветителя Николая Ивановича Новико́ва: «Трутень» (1769—1770), «Живописец» (1772—1773) и «Кошелек» (1774) Уже в первом своем журнале, «Трутень», Новиков, отстаивая право на смелую политическую сатиру, резко выступил против журнала «Всякая всячина», который издавался при непосредственном участии и под негласным руководством самой императрицы Екатерины II. В полемике между «Трутнем» и «Всякой всячиной» передовая общественная мысль и царское самодержавие впервые в русской литературе XVIII века прямо столкнулись друг с другом. Журналы Новикова имели очень большой успех в широких читательских кругах, но вызвали жестокие правительственные преследования, в результате чего один за другим прекратили свое существование «против желания» их издателя. В последующие пятнадцать лет властями допускалась только благонамеренная (по термину самой Екатерины — «улыбательная») сатира, не подымавшая наболевших социально-политических вопросов, не касавшаяся основных зол тогдашней действительности — самодержавно-бюрократического произвола, насилий помещиков-крепостников. Тем замечательнее смелая попытка возобновить традиции новико́вской сатирической журналистики, предпринятая совсем еще мало известным тогда в литературе молодым, начинающим писателем, двадцатилетним Крыловым.

«Почта духов» Крылова состоит из писем к некоему арабскому волшебнику Маликульмульку фантастических подземных, воздушных и водяных духов — гномов, сильфов и ондинов. Духи всюду могут проникать, сами оставаясь при желании невидимыми. Это дает им возможность наблюдать жизнь без всяких прикрас. Обо всем, что они видят, как и о своих мыслях и размышлениях по этому поводу, они дают подробный отчет в своих письмах. В письмах духов рисуются резко обличительные картины различных сторон общественной жизни и государственного управления; выводятся многочисленные сатирические образы представителей дворянства, бюрократии — чиновничества, купечества. Духи зло и едко высмеивают «жестокосердых вельмож», знатных господ — «кукол в золотых кафтанах», кичащихся своим «благородным» происхождением, взяточников-чиновников, судей Тихокрадовых, купцов Плутарезовых, тупоголовую военщину — Рубакиных, развращенное придворное и светское общество.

В «Почте духов», как и в других своих сатирических произведениях, Крылов полностью усваивает, замечательно продолжает и развивает лучшие черты, присущие сатире Новикова,— ее негодующие нападки на дворян-крепостников, сочувствие угнетенному крестьянству, яркую национально-патриотическую направленность. Как подчеркивает уже самое название первого журнала Новикова — «Трутень» и в особенности предпосланный ему эпиграф: «Они работают, а вы их труд ядите», главной

мишенью новиковской сатиры были крепостники-помещики. Новиков резко нападал на антинародный, антинациональный характер этой паразитической верхушки, питавшейся чужим — крестьянским — трудом, осуждал ее пренебрежение ко всему отечественному, рабское подражание иностранцам. Эти же мотивы занимают очень большое место в сатире Крылова.

Остро издевается Крылов над знатными Припрыжкиными и Золотосорами — выучениками гувернеров-иностранцев, обучивших своих питомцев «трудной науке ничего не думать» и не менее «прелестной науке» — «убивать время». Крылов беспощадно осмеивает светских бездельников, которые ухитрились «проносить семьдесят лет голову и не сделать из нее никакого употребления! Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие свое от животных только тем, чтобы ходить на двух ногах! Иметь душу и не дать никому приметить, что ее имеешь, или, что еще более, самому этого не заметить!» Крылов нападает на распущенность нравов в высших дворянских и придворных кругах: на светских модниц — «вертопрашек», наделяемых им выразительными именами: графиня Ветрана, Бесстыда, Неотказа, на щеголей — «петиметров», превосходно усвоивших «искусство изъясняться с аглинскими лошадьми» и проматывать наследственные поместья, продавая своих крестьян и покупая на эти деньги модные наряды и безделушки. Сатирик с величайшим презрением обличает пресмыкающихся перед всем иностранным «философов по моде», которые «гордо» заявляют, что они любят «все нации», за исключением только одной — своей собственной.

Мало того: в таких произведениях, как «Каиб», как бесподобная по своему лукавому юмору «Похвальная речь в память моему дедушке», и, наконец, в ряде писем духов сатира Крылова далеко перерастает рамки бытовой сатиры, сатиры нравов и приобретает яркое социально-политическое звучание.

В «Каибе» под видом некоего восточного государства Крыловым смело обличается самодержавный екатерининский строй; в лице визирей, также наделенных выразительными именами — Дурсан, Ослашид, Грабилей, даются остро сатирические портреты раболепных и продажных екатерининских вельмож, без зазрения совести грабивших и угнетавших простой народ. Равным образом «Похвальная речь в память моему дедушке» представляет собой самую злую и меткую сатиру на бездушного и жестокого дворянина-крепостника.

Убийственная сила сатиры Крылова усугублялась особой, доведенной им до подлинной виртуозности манерой изложения, заключающейся в намеренном расхождении внешней формы и внутреннего смысла. Одним из излюбленных видов крыловской сатиры является так называемый ложный панегирик — хвалебная речь, в которой под видом похвалы дается самое уничтожаю-

щее осмеяние и изобличение. Именно так построена «Похвальная речь в память моему дедушке», являющаяся одним из самых ярких произведений сатирической литературы XVIII века. Крылов мастерски вырабатывает здесь ту словесную форму, которую позднее с таким неподражаемым блеском использует Пушкин в знаменитых статьях против Булгарина и Греча, подписанных шуточным псевдонимом «Феофилакт Косичкин». Эта изощренная, ядовитая ирония, пронизывающая почти каждое слово сатирических произведений Крылова, и придает им ту предельную «едкость», которая так восхищала его современников.

Крыловская сатира явилась высшим взлетом в развитии сатирического направления русской литературы XVIII века. У Крылова были безусловно все данные, чтобы стать великим сатириком. Но время для этого было весьма неблагоприятное. В 1790 году Радищев за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» был приговорен к смертной казни, замененной затем ссылкой в Сибирь. В 1792 году был заключен без суда в одну из самых страшных царских тюрем, Шлиссельбургскую крепость, Новиков. В том же 1792 году в типографии «Крылова с товарищи», где издавался второй крыловский журнал «Зритель», был произведен обыск. За Крыловым был установлен тайный полицейский надзор. Как видим, все три его журнала постигла та же участь, что и три упомянутых журнала Новикова,— они закрылись не по воле издателя. Сам же Крылов вынужден был не только на многие годы вовсе уйти из литературы, но и постараться заставить забыть о себе — уехать из Петербурга, затеряться в провинции.

Последующие десять с лишним лет являются наименее освещенным периодом в биографии Крылова. Повидал и пережил он за эти годы немало: скитался по разным местам — от Киевской губернии до Москвы, от Нижнего Новгорода до Прибалтики; соприкасался с представителями самых различных общественных кругов — от вельможи Голицына, у которого служил секретарем, до того пестрого люда, с каким сталкивался на нижегородской ярмарке, до людей из народа, крепостных крестьян. Все это несомненно способствовало широкому знакомству Крылова с разными сторонами и явлениями русской жизни, обогащению его житейского опыта. Здесь же мог он в изобилии почерпнуть тот разнохарактерный реально-бытовой материал, который так пригодился ему в его дальнейшем творчестве.

Несмотря на все внешние перемены и зачастую малоблагоприятные обстоятельства, многосторонне одаренный Крылов и в эти годы продолжал жить деятельной внутренней жизнью: изучал языки, усиленно занимался рисованием, игрой на скрипке, в чем достиг очень большого мастерства. Но его литературная деятельность почти совсем замерла.

После смерти Екатерины II, в царствование Павла I (1796—1801), условия для литературной работы оказались еще более неблагоприятными. Даже такой весьма «благонамеренный» писатель, как глава русского сентиментализма, автор знаменитой повести «Бедная Лиза» Карамзин, жаловался в это время, что цензура, как «черный медведь», залегла на путях литературы. Крылов не только перестал печатать свои произведения, но почти совсем прекратил писать. Лишь раз, в 1800 году, с замечательной яркостью и блеском вспыхнуло его прежнее сатирическое дарование. Для любительского спектакля в доме князя Голицына Крылов написал единственный в своем роде литературный шедевр — «шуто-трагедию» «Подщипа» («Трумф»), произведение, по отзыву одного из современников, «карикатурно-гениальное», в котором литературная пародия на трескучий пафос и ходульную приподнятость трагедии эпохи классицизма сочеталась с элементами острой политической сатиры. В частности, в лице одного из основных персонажей «шуто-трагедии» — немецкого принца Трумфа, роль которого исполнял сам автор, обладавший также несомненным актерским дарованием,— Крылов метко и зло осмеял и самого Павла I, и наглых, самоуверенно-тупых немецких наемников, пользовавшихся исключительным влиянием при его дворе. В то же время Крылову удалось в этой пьесе проникнуться духом народной сатиры. Простовато-недалекий, косноязычный царь Вакула, его чувствительная толстая дочка царевна Подщипа, которая жалуется своей наперснице Чернавке, что у нее «петиту», то есть аппетиту, «нет совсем», ибо «сегодня поутру, и то совсем без смаку, насилу съесть могла с сигом я кулебяку», словно и впрямь попали в «шуто-трагедию» Крылова из мира народной сказки. Здесь уже ощутимо давала себя чувствовать та народность писателя, которая с полной силой проявилась в его баснях. Недаром так восхищался «Подщипой» Пушкин в своем лицейском стихотворении «Городок».

III

В марте 1801 года «увенчанный злодей» — Павел I — был убит у себя во дворце. Новый российский самодержец — его сын Александр I,— желая расположить к себе общественное мнение, начал было играть в либерализм, в частности значительно ослабил цензурный гнет. Это дало возможность Крылову возобновить свою литературную деятельность. В 1802 году переиздается журнал «Почта духов»; в том же году на петербургской сцене идет его новая комедия «Пирог», в лице героини которой, сентиментальной барыньки Ужимы, он высмеивает «чувствительность» дворянского общества, его увлечение Карам-

зиным. Но полное возвращение Крылова в литературу, как бы второе его литературное рождение, произошло только в 1806 году. К этому времени Крылов перевел две-три басни из Лафонтена и показал свои переводы поэту И. И. Дмитриеву, пользовавшемуся в то время репутацией крупнейшего баснописца. Дмитриев пришел в совершенный восторг. «Это ваш род, вы нашли его»,— сказал он Крылову.

Действительно, длительные и разнообразные литературные искания Крылова закончились. В 1806 и следующем, 1807 году он пишет еще две в высшей степени остроумные и талантливые комедии — «Модная лавка» и «Урок дочкам»,— в которых снова поднимает свою давнюю сатирическую тему: издевается над рабским подражанием иностранцам в дворянских кругах общества, и сказочную народно-патриотическую оперу «Илья-богатырь». Все три пьесы были поставлены на сцене и шли с шумным успехом. Но, несмотря на этот успех, Крылов навсегда отходит от драматургии и сосредоточивается отныне исключительно на басенном творчестве.

В журналах начали появляться всё новые и новые басни Крылова. Сборники его басен стали выходить отдельными изданиями, общий тираж которых еще при жизни Крылова достиг цифры, для того времени совершенно неслыханной и небывалой,— 77 тысяч экземпляров. За это же время басни Крылова были переведены на десять языков. Это была не только широкая популярность — это были подлинная народная слава и всемирное признание, какими до того еще не пользовался у нас ни один писатель.

К ровному, спокойному течению приходит и полная до этого времени треволнений и перемен жизнь Крылова. В 1812 году он поступает библиотекарем в Петербургскую Публичную библиотеку, оставаясь на этой работе почти до самой своей смерти. В эту пору в глазах его современников окончательно складывается эпический облик грузно-величавого, массивного старца — «дедушки Крылова», проницательно-лукавого мудреца, с умным прищуром полузакрытых глаз взирающего на жизнь.

IV

Пушкин назвал Крылова во всех отношениях «самым народным нашим поэтом», то есть и самым национальным, и самым популярным. Но самым популярным Крылов сделался именно потому, что до Пушкина он был у нас и самым национальным писателем. В его баснях, говоря словами Белинского, «выразилась сторона духа целого народа», «сторона жизни миллионов».

Басенный жанр привлекал к себе Крылова своим широчайшим демократизмом — всеобщей доходчивостью, общедоступностью. Когда кто-то спросил у писателя, почему он создает только басни, Крылов ответил: «Этот род понятен каждому· его читают и слуги, и дети».

Басни — один из древнейших, можно сказать изначальных, видов и форм художественного творчества, своими корнями они уходят в область первобытных представлений, в мир сказочного эпоса о животных. Тесно связана басня и с народными пословицами и поговорками, то вырастая из того или иного «крылатого» выражения или слова, то, наоборот, являясь почвой, на которой такое «крылатое» слово возникает. Все это делает басню особенно близкой к народному творчеству.

Басни находим мы уже в древнейших, дошедших до нас памятниках письменности Египта, Индии, Древней Греции. За шесть веков до нашей эры сложился знаменитый прозаический сборник басен полулегендарного древнегреческого баснописца Эзопа, в многочисленных позднейших переложениях, подражаниях и переработках обошедший все литературы мира, создавший устойчивую басенную традицию, продолжавшуюся на протяжении двух с половиной тысячелетий. Блестяще разработал басню как жанр новой европейской литературы, придал ей большую художественность выдающийся французский поэт-баснописец XVII века Лафонтен.

Издавна была известна басня и на русской, не только фольклорной, но и литературной, почве. Следы и зачатки басен можно обнаружить в древнейших памятниках нашей письменности, начиная с летописей. «Притчи Эзоповы» были одной из первых русских печатных — не церковных, а светских — книг (первое издание вышло при Петре I, в 1700 году).

Чрезвычайно широкое распространение басня получает в русской литературе XVIII века. Несколько образцов басен дал родоначальник светской послепетровской литературы — поэт-сатирик Антиох Кантемир. Весьма значительное место занимают басни в творчестве одного из крупнейших представителей русского классицизма XVIII века — Сумарокова, которого современники величали «русским Лафонтеном». Однако уже Сумароков, признавая Лафонтена «классическим» образцом в области басен, вместе с тем стремился переложить традиционные басенные сюжеты «на русскую стать», «сплесть» басню «русским образцом». И ему удалось придать своим «притчам», как он называл басни, черты национального своеобразия. Он резко усилил их общественно-сатирическую окраску, писал их подчеркнуто «низким штилем» — нарочито грубым, вульгарным языком. Создал Сумароков и самый наш басенный склад — русский «вольный», то есть разностопный, басенный стих.

После Сумарокова басня сделалась одним из наиболее распространенных видов русской поэзии XVIII века, не уступая в этом отношении даже оде. Почти не было поэта, который не писал бы и басен. Среди русских баснописцев до Крылова особенно выделяется Хемницер, сделавший значительный шаг вперед в художественной разработке басни. Он стремился писать свои «басни и сказки» легким, разговорным языком, «простым слогом», лишенным и книжной витиеватости, и ложно понятой «простонародности», которую придавал басням Сумароков. Еще дальше отошел от Сумарокова старший современник Крылова, один из вождей русского сентиментализма — И. И. Дмитриев. Он сильно ослабил общественно-сатирическое звучание своих басен, бывших в большинстве переводами с французского, придав им характер отвлеченных моралистических нравоучений. Писал свои басни Дмитриев сглаженным, изящным языком.

Издавна испытывал влечение к басенному жанру и сам Крылов. Есть сведения о том, что самым первым его литературным произведением была басня. Еще в 1788 году Крылов опубликовал несколько своих басен в журнале «Утренние часы». Наконец, ряд мест басенного характера мы встречаем и в его сатирической прозе.

Один из критиков начала XIX века так наметил общий ход развития русской басни: «Мы очень богаты притчами. Сумароков нашел их среди простого, низкого народа; Хемницер привел их в город; Дмитриев отворил им двери в просвещенные, образованные общества». Недоброжелательно относившийся к Крылову реакционный поэт-графоман, пресловутый Д. И. Хвостов, подхватил и продолжил это сравнение: «Сумароков нашел басню в поле, Хемницер привел ее в город, Дмитриев ввел во дворец, Крылов вывел на площадь». На самом деле это язвительно-ироническое замечание является для Крылова большой похвалой. Он и в самом деле вывел басню из стен «дворца», литературной дворянской гостиной, на широкие просторы народной жизни. Взамен сентиментально-салонных «побасенок» Дмитриева и искусственно простонародных «притч» Сумарокова Крылов стал создавать басни, исполненные подлинной народности. Он максимально приблизил басенный жанр к исконной народной основе, напитал свои басни всеми соками земли, русской национально-народной почвы.

V

Басни явились творческим итогом, венцом долгой и разнообразной литературной деятельности Крылова. Он претворил в них и весь свой первоначальный творческий опыт — драматур-

га, сатирика, лирического поэта. «Басни Крылова,— замечает Белинский,— не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира — словом, что хотите, только не просто басня». Сатира и ирония, доведенные до высшей степени художественного совершенства, действительно составляют один из основных признаков, одно из отличительных свойств басен Крылова. Это устанавливает прямую связь между ними и его ранней сатирической публицистикой.

Целый ряд тем, образов и мотивов басен Крылова непосредственно примыкает как к его собственному сатирическому творчеству, так и ко всей предшествовавшей сатирической традиции русской литературы. Например, одной из основных тем русской сатиры XVIII века было осмеяние «злонравной» дворянской знати, не имевшей никаких личных заслуг, но кичившейся своим «благородным происхождением» — заслугами предков. В басне «Гуси» Крылов как бы художественно подытоживает эту вековую традицию, мастерски сгущая ее в одну иронически меткую строку-формулу: «Да наши предки Рим спасли!»

В очень большом числе своих басен, таких, как «Ворона и Лисица», «Лягушка и Вол», «Синица», «Мартышка и Очки», «Прохожие и Собаки», «Лжец», «Петух и Жемчужное Зерно», «Свинья под Дубом» и др., Крылов высмеивает зависть, скупость, лживость, хвастовство, лесть, алчность, невежество, эгоизм. Другие его басни дают блестящие образцы бытовой сатиры, сатиры на нравы («Крестьянин в беде», «Тришкин кафтан», «Демьянова уха» и др.). Наконец, в целом ряде басен Крылов от сатирического обличения частных пороков поднимается до сатиры политической, социальной («Волк и Мышонок», «Рыбья пляска», «Пестрые Овцы»). Социально-общественная позиция Крылова, отражавшего в своем творчестве нравственные требования к человеку, взгляды на жизнь, чаяния и интересы широких трудовых масс, отчетлива и неизменна на протяжении всей его жизни и творчества.

Крылову-баснописцу, как и Крылову-сатирику, присущ глубокий демократизм. В столкновении между «овцами» и «волками», «слабыми» и «сильными», скромными тружениками и нахальными трутнями-тунеядцами — словом, между народом и его угнетателями,— в этом извечном конфликте классового общества, который на все лады, под разными обличиями разыгрывается перед нами в стольких баснях Крылова, он всегда на стороне народа. Он неустанно нападает на всевозможных «воришек» и «воров» народного добра, на всех этих хищников, которые «богаты иль когтем, иль зубком»,— тигров, медведей, алчных волков, хитрых лисиц. При этом Крылов недвусмысленно раскрывает басенные псевдонимы, прямо указывая, кто под ними скрывается: неправые судьи, корыстные и продажные чиновники, наглые

грабители-вельможи. В басне «Волк и Мышонок» рассказывается, как волк задрал похищенную им в стаде овцу; мышонок подкрался и «схватил кусок мясца»:

Увидя похищенье,
Волк мой
По лесу поднял вой;
Кричит он: «Караул! разбой!
Держите вора! Разоренье:
Расхитили мое именье!»

Тут же, в конце басни, дается замечательное по своему лаконизму и выразительности «применение» — раскрытие ее иносказательного смысла, как бы новое сюжетное повествование, сжатое всего до трех стихотворных строк:

Такое ж в городе я видел приключенье:
У Климыча-судьи часишки вор стянул,
И он кричит на вора: караул!

Пользуясь приемом басенного иносказания, дававшего возможность говорить «истину вполоткрыта», Крылов в своих сатирических изобличениях неоднократно решался и на еще большее: он направлял острие своей злой и гневной иронии против самого «царя зверей» — льва, то есть, по сути дела, против российского самодержца. Особенно замечательна в этом отношении басня «Рыбья пляска». Получая непрерывно жалобы «на судей, на сильных и на богачей», царь-лев решил сам объехать свои владения. По дороге он встретил «старосту над водяным народом», который, наловив рыб, жарил их. На сердитый вопрос льва, что он делает и почему рыбы так бьются на сковородке — «хвостами так и головами машут»,— хитрый староста ответил, что они пляшут от радости — видят царя. Ответ этот вполне удовлетворил льва:

Тут, старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Еще изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.

В подавляющем большинстве сатира крыловских басен носит не отвлеченно-общий характер, а проникнута самой жгучей, животрепещущей злободневностью. Целый ряд басен Крылова представляет собой непосредственный отклик на события общественно-политической жизни, глубоко затрагивавшие его как патриота и гражданина. Реальный случай подсказал ему и басню «Рыбья пляска». «Кочующий деспо́т», по крылатому выражени-

Пушкина, царь Александр I во время одного из своих путешествий по России увидел из окна губернаторского дома, в котором он остановился, множество быстро приближающихся людей. На вопрос царя, уже готового к отъезду, кто эти люди и почему они так спешат, губернатор, не растерявшись, ответил, что депутация от жителей хочет поблагодарить его величество за благосостояние края. Царь, торопясь уехать, не пожелал принять ее. Находчивый губернатор получил награду. На самом же деле жители шли жаловаться на него царю. Однако в своей басне Крылов, как подлинный художник-реалист, поднялся над этим частным случаем, дал широкое художественное обобщение — символ всего самодержавно-крепостнического режима. Картина получилась столь резкая, что не помогла и условно-басенная оболочка: басня не была разрешена цензурой и увидела свет только после того, как Крылов значительно переработал ее и, в частности, заменил приведенную концовку другим, благонамеренным финалом: лев, возмущенный «явной ложью», подверг жестокой расправе «воеводу» — лису.

Мысль о том, что злоупотребления, произвол и насилия, чинимые всякого рода большими и малыми хищниками, совершаются при попустительстве, а иногда и прямо по предначертанию свыше, лежит в основе и таких басен Крылова, как «Крестьяне и Река», «Мирская сходка», «Волки и Овцы» и др. Уже А. И. Герцен подчеркивал «оппозиционное значение» крыловских басен. Сам Крылов жаловался, что басни ему приходится петь «в когтях у Кошки» — цензуры (басня «Кошка и Соловей»). Однако самую сильную в этом отношении басню Крылова — «Пестрые Овцы»,— написанную, как и «Рыбья пляска», незадолго до восстания декабристов, около 1823 года, «кошка» не дала ему «спеть». Басня при жизни Крылова так и не смогла появиться в печати и была опубликована лишь почти пятьдесят лет спустя. Политическое содержание этой басни действительно отличается исключительной остротой. Царь-лев невзлюбил пестрых овец, но хотел расправиться с ними, соблюдая всю видимость закона и правосудия. Когда призванный им на совет ретиво-неуклюжий служака медведь предложил без дальнейших слов «овец передушить», лев недовольно «нахмурил брови». Вывела его из затруднения лиса, «смиренно» присоветовавшая «доброму царю» отвести овечкам самые тучные луга, но приставить к ним пастухами волков. Совет лисы понравился льву и был им тотчас же принят. В результате в львином царстве вскоре стало мало не только пестрых, но и гладких овец. Особенно красноречива мораль басни: «Какие ж у зверей пошли на это толки? — Что Лев бы и хорош, да всё злодеи Волки». Сам баснописец, наоборот, внушает читателю прямо противоположную мысль: как бы злодейски ни поступали волки с овцами, главный виновник всего

этого — сам «добрый царь». Подобная мораль басни звучит, можно сказать, прямо по-радищевски.

Но великий народолюбец Крылов не только рисует в баснях бесправие и угнетение народа, он выражает и свою глубокую веру в народ, свое убеждение, что именно народу принадлежит главная роль в жизни страны. Это самое горячее убеждение Крылова является как бы лейтмотивом его басенного творчества.

С особенной четкостью Крылов выразил свое отношение к народным «низам» как к основной, «питающей», движущей силе общества и государства в басне «Листы и Корни». Слыша похвальбу нарядных, купающихся в лучах солнца и нежном дыхании ветерка листов, которые считают, что именно благодаря им дерево «так пышно и кудряво, раскидисто и величаво» («Что б было в нем без нас?»), невидимые глазу, сокрытые глубоко под землей корни «смиренно» — а по мнению листов, «нагло и надменно» — напоминают о себе: «Примолвить можно бы спасибо тут и нам». На высокомерно-негодующий лепет листов: «Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали?» — корни спокойно, но веско отвечают «снизу», из-под земли:

«Мы те...
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится,
А если корень иссушится,
Не станет дерева, ни вас».

Басня «Листы и Корни» была написана Крыловым в 1811 году, то есть непосредственно перед Отечественной войной 1812 года, которая явилась как бы самым блестящим подтверждением великой роли «корней» — народа — в судьбах страны, в истории государства. В 1812 году Крылов написал пять басен, и все они посвящены темам войны: ни о чем другом пламенный патриот Крылов писать в это время не мог. В баснях 1812 года особенно ощутимо проявляется органическая народность Крылова, полное слияние с народным сознанием, народным чувством. Все эти басни Крылова представляют собой самое сильное и художественно яркое выражение именно *народной* точки зрения на войну, *народного* к ней отношения. Они призывают к единству всего народа, к забвению перед лицом общей грозной опасности всех мелких свар, всех частных интересов. Такова написанная им вскоре после вторжения в Россию Наполеона басня «Раздел». В появившейся тогда же другой басне, «Кот и Повар»,

Крылов требует решительных действий против вторгшегося врага. В басне «Ворона и Курица» он клеймит предательскую расчетливость тех, кто, не разделяя общенародного патриотического порыва, пытался «ужиться» с неприятелем и, как ворона, оставшаяся в покинутой всеми Москве, «попался в суп».

Остальные две басни 1812 года — «Обоз» и «Волк на псарне» — связаны с личностью и ролью Кутузова. Александр I враждебно относился к знаменитому полководцу и назначил его главнокомандующим весьма неохотно, лишь уступая единодушному требованию всей страны. Облеченный доверием и любовью народа и армии, Кутузов осуществлял, вопреки ропоту недоброжелателей, глубоко продуманный стратегический план истощения и последующего истребления неприятеля. При этом Кутузову приходилось преодолевать сопротивление и со стороны самоуверенного и бездарного вояки — царя Александра I.

Победоносный исход войны полностью подтвердил правильность стратегии и тактики великого военачальника. Заслуга Крылова тем более значительна, что он отстаивал Кутузова в разгар войны 1812 года. Уже в басне «Ворона и Курица» он воздает высокую хвалу воинскому искусству Кутузова:

Когда Смоленский князь,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил...

Так начинается эта басня. Но и после того, как Москву вынуждены были оставить сами французы, Кутузов продолжал действовать с мудрой предусмотрительностью: он не расточал зря сил, не шел на ненужные жертвы. Это вызвало новые резкие обвинения Кутузова со стороны царя. В это-то время и выступил Крылов со своей басней «Обоз». Старый и опытный конь медленно сводит воз под гору, почти неся его на крестце. Молодая лошадка издевается над его медлительностью, но когда она сама легкомысленно берется за дело и пускается с крутой горы вскачь, воз падает в канаву, и его груз разбивается вдребезги. Басня «Обоз» — смелая защита Кутузова и суровое предостережение тем легкомысленно-пылким воякам во главе с царем, которые требовали опрометью, не разбирая путей, броситься на еще сильного неприятеля, без всякой нужды подвергая опасности армию и страну. Как и все басни 1812 года, басня «Обоз» была подлинным патриотическим подвигом Крылова, твердо и смело поднявшего свой голос народного писателя в защиту народного полководца.

Наконец, в одной из самых знаменитых басен 1812 года — «Волк на псарне», написанной в связи с попытками почуявшего

неизбежную гибель врага заключить половинчатый «почетный» мир, Крылов вкладывает в уста седого ловчего замечательную формулу народного гнева и народной справедливости: «С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». Басня эта тотчас же облетела всю страну. Кутузов сам прочел ее перед своим войском, причем, дойдя до слов ловчего, обращенных к щелкающему зубами и ощетинившему шерсть, но расточающему миролюбивые речи хищнику: «Ты сер, а я, приятель, сед»,— снял фуражку и показал рукой на свои седины.

Все наши писатели и критики, начиная с Пушкина и Белинского, отмечают в баснях Крылова особую «веселую насмешливость» русского ума, «умение чисто по-русски смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии». Меткой издевкой, «самобытной иронией» проникнуты и басни Крылова о 1812 годе. Но в них звучит и энергично выраженное народное понятие о долге перед родиной, о справедливом возмездии хищнику.

Наряду с острым сарказмом, с резкой сатиричностью басни Крылова представляют собой яркое выражение и положительных народных воззрений, народных идеалов. «Бессильному не смейся и слабого обидеть не моги!» — в этом повелительном требовании-заповеди, открывающем собой одну из басен Крылова, заключена как бы суть русской народной гуманности. В образе знаменитой крыловской пчелы, удовлетворенно сознающей, что она несет труды для общей пользы, что в сотах есть капля и ее меду, проявляется то «мирское начало» — дух коллективизма, который составляет одну из замечательных черт русского народного характера, с особенной силой сказывающуюся в критические моменты истории нашей Родины. Любовь к Родине, верность, доброта, уважение к труду, дарованию, деятельности на пользу народа, скромность — вот та моральная атмосфера, которой мы дышим в мире басен Крылова. «Его притчи,— писал о баснях Крылова Гоголь,— достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа... В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве».

Крылов иронически относится к «краснобаям», «филозо́фам», заимствующим свою «ученость» только из книг, занимающимся сугубо теоретическими выкладками и отвлеченными умствованиями. И ум Крылова — это не отвлеченный, книжный, теоретически-мечтательный ум, а здравый смысл человека труда, который крепко опирается на твердую почву, тесно связан с самой жизнью. Крылов учит других, но и сам он непрестанно учится у великого учителя — у действительности, у природы. И именно то, что он воплощает свои мысли о политическом и общественном устройстве, о социальных, житейско-бытовых и нравственных отношениях между людьми в образы, заимствованные из явлений

самой природы, сообщает его «урокам» и такую наглядную силу, и столь неотразимую убедительность.

Крылов придал басенному жанру ярчайшее национальное своеобразие; даже на переводные свои басни он наложил неизгладимый русский отпечаток. «Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски,— писал о Крылове Гоголь.—...Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу... Всюду у него Русь и пахнет Русью». Эти отзывы подхватывает и развивает Белинский: «Кто-то и когда-то сказал, что «в баснях у Крылова медведь — русский медведь, курица — русская курица»: слова эти всех насмешили, но в них есть дельное основание, хотя и смешно выраженное. Дело в том, что в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, *кажется*, и действуют в них, но есть люди, и притом русские люди». В высказываниях Гоголя и Белинского метко вскрыта реалистическая природа басенных образов Крылова.

Образы зверей в баснях имеют характер своего рода постоянных масок: лиса всегда знаменует собой хитрость, осел — глупость, волк — алчность, и т. д. В этом отношении они схожи с персонажами литературы XVIII века, фамилии которых уже заключали в себе их характеристику: Скотинин, Вральман и т. д. Крылов сохраняет традиционные значения своих басенных зверей, но взамен застывших условных масок рисует образы столь яркие, разработанные с такой меткой индивидуализацией и одновременно широтой художественного обобщения, что перед нами во всей полноте развертываются живые картины действительности. Те же басни Крылова, в которых выступают люди, носят характер сжатой реалистической повестушки или сверкающей всеми красками быта и языка сценки из яркой реалистической комедии. Сумароков писал свои «притчи» в духе классицизма. Дмитриев дал образы сентиментальной басни. Крылов впервые во всей мировой литературе сумел превратить басню в подлинно реалистический жанр.

Глубоко народные по своему духу, по «русскому уму» баснописца, по его замечательному умению чисто по-русски видеть, воспринимать действительность и «прямо русской» кистью ее зарисовывать, басни Крылова глубоко народны и по своей форме, по своему художественному материалу — слову, языку. Молодой Пушкин считал Крылова единственным писателем, «коего слог русский». И Крылов действительно первый в нашей литературе до Пушкина полностью слил литературный язык с живой народной речью, насытил свои басни народными формами, словами, «крылатыми» народными выражениями, пословицами. Но Крылов не только брал у народа — он щедро возмещал взятое, платя

при этом таким же полновесным золотом самородного художественного слова. Огромное число отдельных мест и выражений из крыловских басен, в свою очередь, стало своего рода пословицами («А ларчик просто открывался», «А Васька слушает, да ест», «Слона-то я и не приметил» и многие другие). Причем, по свидетельству ученых-специалистов, пословицы, «взятые им у народа и данные им народу, ничем одна от другой не отличны, если не знать, что та или другая из них была в ходу и до Крылова, а та или другая пошла в ход только после Крылова». В индивидуальной литературной речи Крылова как бы продолжается процесс коллективного народного мышления и народного творчества. Пословицы справедливо определяют как выражение, кристаллизацию вековой народной мудрости. Народным мудрецом по праву может быть назван и создатель стольких новых пословиц — Крылов. Даже самые заглавия многих его басен, такие, как «Демьянова уха», «Тришкин кафтан», приобрели пословичный характер. Вошли в пословицу, получили широчайшее употребление и в нашей литературе, и в повседневной речи многие персонажи крыловских басен: «ворона в павлиньих перьях», лягушка, захотевшая раздуться в вола.

Небывалого мастерства достигает Крылов в художественной обработке своих басен: в лепке образов, в яркой живописности языка, в изумительной изобразительности «вольного» басенного стиха, который под его пером становится необычайно пластичным, способным принимать любую форму, точно следовать за малейшим изменением интонации. «Какая поэзия!» — восклицал по поводу первого же сборника басен Крылова Жуковский: «Живопись в самых звуках». И, наглядно показывая это, Жуковский приводит выдержку из басни «Пустынник и Медведь»:

Пустынник был сговорчив: лег, зевнул
Да тотчас и заснул,
А Мишка на часах — да он и не без дела:
У друга на нос муха села,—
Он друга обмахнул;
Взглянул,
А муха на щеке; согнал, а муха снова
У друга на носу...

«Стихи летают вместе с мухою,— замечает Жуковский,— непосредственно за ними следуют другие, изображающие противное — медлительность медведя; здесь все слова длинные, стихи тянутся:

Вот Мишенька, не говоря ни слова,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу,

Сам думает: «молчи ж, уж я тебя, вострухy!».
И, у дру́га на лбу подкарауля муху,
Что силы есть хвать друга камнем в лоб!

Все эти слова: Мишенька, увесистый, булыжник, корточки, переводит, думает, и у друга, подкарауля,— прекрасно изображают медлительность и осторожность; за пятью длинными, тяжелыми стихами следует быстрое полустишие: хвать друга камнем в лоб. Это молния, это удар! Вот истинная живопись и какая противоположность последней картины с первою!»

Жуковский тонко подметил один из приемов художественного мастерства Крылова-баснописца. Если в приведенном им примере «стихи летают вместе с мухою», в басне «Мор зверей» Крылов выразительным подбором звуков добивается того, что они мычат вместе с волом:

...смиренный Вол им так мычит: «И *мы*
Грешны. То*му* лет пять, когда *зимой* кор*мы*...»

Еще в одной басне стихи вместе с неопытной и ретивой молодой лошадкой, везущей с крутой горы воз с горшками, несутся вскачь и в результате валятся в канаву:

Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырех ног
На славу;
По камням, рытвинам, пошли толчки,
Скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!

И образцы подобной «истинной живописи» звуком, словом, наконец, самим движением стиха можно найти в каждой крыловской басне.

VI

Значение Крылова для русского искусства слова не ограничивается только областью басни. Как Ломоносов, как Пушкин, Крылов оказал глубокое воздействие, сообщил мощный толчок всему движению нашей литературы. Басни Крылова явились у нас первыми, говоря словами Пушкина, «истинно народными» и подлинно реалистическими произведениями. Это определяет их исключительно важную роль. От басен Крылова, впитавших и претворивших в себе лучшие достижения нашей литературы

XVIII века, тянутся прямые нити к таким величайшим созданиям нашего художественного реализма, как «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Мертвые души». Еще при жизни Крылова Белинский вдохновенно пророчил: «Слава... Крылова все будет расти и пышнее расцветать...»

В наши дни слава Крылова вышла далеко за национальные пределы. Крылов звучит не только на русском языке и на языках народов Советского Союза, но и почти на всех языках мира. Басни Крылова переведены более чем на пятьдесят языков. У Крылова были великие предшественники в мировой басенной литературе, но ни одному из них не удалось внести в свои басни столько подлинно народного духа, столько внутренней реалистической правдивости! В этом отношении великий русский баснописец Крылов является величайшим баснописцем мира.

Д. Д. Благой

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ И ЕГО КОМЕДИЯ

I

Когда мы думаем о «Горе от ума», мы вольно или невольно думаем прежде всего и больше всего о Чацком. Да и размышляем мы о нем иначе, чем о других героях комедии. В них мы видим людей определенного времени — ожившего перед нашим взором далекого прошлого. Некоторые свойства и подробности этой давно исчезнувшей жизни нам уже непонятны и требуют комментария, но олицетворяющие ее фигуры в высшей степени достоверны, логика поведения этих людей нам совершенно ясна, этический знак каждого из них мы определяем безошибочно — сразу и навсегда.

Не то с Чацким. Общее представление о нем, как о положительном лице комедии, складывается сразу — отчасти даже еще до его появления в доме Фамусовых. В дальнейшем развитии действия это общее представление еще более укрепляется.

«Мильон терзаний» Чацкого не может не всколыхнуть нашего сочувствия; его преданность идеям «свободной жизни», искренность и сила его негодования — все это неизменно привлекает нас. Признаки эпохи в Чацком выражены не менее ярко и впечатляюще, чем даже в Фамусове или Репетилове: они сказываются не только в его бытовых привычках («...и я у ваших ног»), но и в самих свойствах его убеждений и проповедуемых им идей: в наше время с документальной достоверностью установлено, что это все идеи и убеждения, владевшие умами передовой молодежи первой четверти XIX века,— той молодежи, из рядов которой вышли и декабристы.

Светская дворянская молодежь состояла в те годы не только из тех ловких танцоров и «приятных» салонных говорунов, вся

жизнь которых только и была занята выполнением светских «обязанностей». Война 1812 года многое изменила и в этой среде. Теперь здесь появились молодые люди, которые ко всей суете светского времяпрепровождения относились, по меньшей мере, прохладно, а то и почти с нескрываемой иронией. В большинстве это были военные, сражавшиеся в бесчисленных битвах против Наполеона, участвовавшие в «чудесном походе» — от Москвы до Парижа. Они были свидетелями и непосредственными свершителями великих исторических дел. Именно их чувства и мысли выразил Пушкин:

Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Для таких людей уже сам переход от бурной боевой жизни к аракчеевской муштре и шагистике — на службе — и к однообразным светским увеселениям — вне ее — был тяжел и унизителен. Большинство дворянского общества не могло без уважения относиться к этим молодым людям; но вместе с тем оно приглядывалось к ним все настороженнее и все недоверчивее: нельзя было не заметить, что за их снисходительно-равнодушным отношением к устоявшимся формам домашнего дворянского бытия таились какие-то значительные и не совсем обычные чувства и мысли. И это было на самом деле так.

Войну 1812 года все русские люди называли Отечественной. Но не все вкладывали в это слово одинаковый смысл. Господствующие верхи выражали в нем ту мысль, что в этой войне действительно ставились под вопрос самые коренные устои существовавшего тогда общественно-политического строя. Для передовых дворян, многие из которых еще до войны испытали на себе влияние русской и европейской освободительной мысли, слово Отечественная было по существу своему равнозначно слову народная.

До войны даже самые гуманные русские дворяне не знали своего народа. В лучшем случае они еще могли сочувствовать ему, но уважения и тем более любви к нему у них не было; им казалось, что его темнота на долгие годы заглушила в нем все его духовные силы и возможности. Отечественная война внесла изменения в эти традиционные воззрения. В 1812 году лучшие люди из дворян сошлись с народом в общем деле защиты отчизны. В этой войне русские крестьяне — солдаты, ополченцы,

партизаны — вели себя и осознавали себя как члены нации, отстаивающей свое существование. Патриотическая самоотверженность народа, его героизм — вот что было главной причиной победы над Наполеоном. Наиболее чуткие и честные, наиболее просвещенные русские люди не могли этого не видеть. «Упорная борьба против соединенных сил Европы,— писал один из героев Отечественной войны, декабрист М. С. Лунин,— совокупила народ для защиты своего достояния, которое одни меры правительства не в состоянии уже были охранять»[1]. Это открытие заставило лучших людей из дворян по-новому взглянуть не только на народ, но и на собственное положение в обществе. Веками воздвигаемая стена отчуждения дала первую трещину. Эти люди стали гордиться тем, что они могут считать себя частью героического народа. Уважение к народу становилось основой их патриотизма.

Новое отношение к народу неминуемо должно было изменить и политические взгляды этих людей. Многие из них еще и до войны мечтали об улучшении общественных порядков в России. После войны вольнолюбивая молодежь была убеждена, что возврата к прошлому быть не может, что победа над врагом была залогом социального и политического освобождения народа.

Но война окончилась, шли месяцы и годы, а в России все оставалось по-старому. Подавляющее большинство русского дворянства праздновало победу над Наполеоном, как свою собственную, и спешило с лихвой возместить действительные и мнимые военные потери за счет истинных победителей — крепостных мужиков.

Истинные патриоты встали теперь на защиту тех, с кем совсем недавно рука об руку сражались против общего врага. Но решительное осуждение крепостного рабства вполне закономерно приводило этих людей к отрицанию не только самодержавия, охранявшего привилегии помещиков, но и самых основ дворянской морали, насквозь пронизанной духом крепостничества.

Так вскоре после войны 1812—1815 годов в дворянской среде более четко, чем когда бы то ни было раньше, определилось два враждебных стана: защитники старого, устоявшегося, но отживающего — в одном; и сторонники решительных политических и социальных перемен — в другом: к числу этих людей принадлежит и Чацкий.

И все-таки некоторые особенности его поведения не могут не вызвать недоуменных вопросов. И первый из них — о самой любви Чацкого: не странно ли, что, приехав к Софье с самыми

---

[1] М. С. Лунин. Сочинения и письма, П., 1923, с. 69.

«серьезными намерениями», он начинает с очень резкого, прямотаки враждебного спора именно с Фамусовым?

И дальше: не слишком ли затянулись его ревнивые подозрения насчет Молчалина? Ведь еще в конце второго действия можно было убедиться в их полной основательности. В третьем действии Чацкий решил проэкзаменовать Молчалина на предмет «умственности», но через несколько реплик сбился с избранного им иронического тона и пустился в откровенности:

Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Как это он с его умом и наблюдательностью не заметил этого?

И чем обстоятельнее мы разбираем поведение Чацкого, тем таких вопросов становится все больше. Понимание противоречий и неясностей в поведении Чацкого затрудняется прежде всего тем, что этот образ весь пронизан светом авторского сочувствия, что едва ли не в каждой фразе Чацкого вполне различимо слышится голос самого автора, чувствуется его собственное лирическое воодушевление. Поневоле начинает казаться, что раз налицо такая слиянность автора и героя, то, может быть, причины этих противоречий и неясностей коренятся в свойствах художнического сознания Грибоедова. Следовательно, чтобы уразуметь характер героя, необходимо представить себе личность автора. Но для этого знание одного только текста «Горя от ума» уже недостаточно.

Личность писателя выражается в каждом его произведении, но не полностью, не всесторонне. Если бы это было иначе, то, наверно, писатель создавал бы только одно произведение... Даже все творчество не может выразить личность автора во всей ее динамической сложности: тайна возникновения образа в тексте произведения полностью не раскрывается, часть ее так и остается в душе художника. Чтобы полнее понять личность художника, нужно привлечь данные, находящиеся за гранями не только э т о г о его произведения, но и всего его наследия, и прежде всего обратиться к документам и свидетельствам современников. Необходимо, однако, иметь в виду, что дело это сложное, а в нашем случае — особенно: большая часть писем и рукописей Грибоедова, так же как и писем к нему, по разным причинам не сохранилась, а что касается свидетельств и воспоминаний современников, то тут дело обстоит еще хуже. Те, кто близко знал Грибоедова, только после его гибели догадались, кого потеряла Россия. Время было упущено, свежесть впечатлений

утрачена. К счастью, один из современников великого драматурга вскоре после его гибели написал о нем такие строки, которые всегда будут надежнейшим ориентиром для всякого, кто захочет представить себе личность Грибоедова в ее подлинных масштабах. Этим современником был Пушкин: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами»[1].

Озлобленный ум и добродушие; честолюбие и меланхолическость; слабости и холодная, блестящая храбрость; праздная рассеянность и уединенные, неусыпные занятия; государственный человек и поэт... Какие, казалось бы, несоединимые свойства слились в одном человеке! Какой размах дарований! И какова мера этих дарований! Наполеон и Декарт, наверно, упомянуты здесь небезотносительно к Грибоедову. Его дарования были не только разнообразны, но, если можно так сказать, и настойчивы: каждое стремилось воплотиться полностью и захватить все силы своего обладателя. И он отдавался этим влечениям. Пожалуй, главным свойством его характера было то, что он сам называл «ненасытностью души», «пламенной страстью к новым вымыс-

---

[1] А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. 5, М., с. 368.

лам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным»[1].

Это обнаружилось уже в детские и юношеские годы. Четырнадцати лет он уже окончил словесное отделение Московского университета. После — сразу же — поступил на юридическое отделение и через два года окончил его кандидатом прав (этой степенью тогда отмечались лучшие из окончивших курс). Но и на этот раз он не оставил университета, а принялся за изучение математики и естественных наук. Про него нельзя сказать: годы учения; всю жизнь он не переставал учиться увлеченно и основательно; ничего без проверки, ничего из вторых рук. Если он изучал историю, то погружался в чтение летописей, специальных трудов по археологии, исторической географии и т. п. И так во всем: в дипломатии и в военном деле, в политической экономике и в лингвистике. «Пришли мне, пожалуйста,— писал он одному из своих корреспондентов,— статистическое описание самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции, или Германии, или Италии... на каком хочешь языке...» Тут действительно затруднений для него не существовало: он знал древнегреческий, латынь, французский, английский, немецкий, итальянский, персидский, арабский, турецкий. Ко всему этому Грибоедов был еще и музыкант, превосходный пианист; его игра, по отзывам самых взыскательных современников, отличалась подлинным артистизмом. Эта поистине ренессансная универсальность не может не вызвать чувства удивления и восхищения. Но вместе с тем трудно удержаться от предположения, что, может быть, она же, эта универсальность, мешала ему сосредоточить все силы на чем-то одном. Мы теперь, вооруженные опытом истории, можем твердо сказать, что призвание Грибоедова было не в дипломатии, не в военном деле, не в науке и даже не в музыке: он был художник слова, поэт, прирожденный драматург.

Но сам он даже после невиданного успеха «Горя от ума» еще не очень ясно представлял себе, что же такое у него все-таки получилось. В этом смысле показательны следующие строки из его письма С. Н. Бегичеву: «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Шаховской решительно признает себя побежденным (на этот раз)»[2]. Подумать только: победа над Шаховским, драматургом плодовитым, умелым, но далеко не самобытным, показалась ему чуть ли не достойной наградой за его художнический подвиг.

---

[1] А. С. Грибоедов. Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1971, с. 226.
[2] Там же.

М

В истории русской литературы едва ли найдется еще одно произведение, которое занимало бы во всем творчестве его автора такое исключительное место, какое «Горе от ума» занимало в творческой судьбе Грибоедова.

В 1856 году было опубликовано письмо Грибоедова, написанное в Тавризе и помеченное 17 ноября 1820 года; в нем он рассказывает адресату, что видел его во сне: «Тут вы долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь для вас? — Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет — вы досадовали.— Дайте мне обещание, что напишете.— Что же вам угодно? — Сами знаете.— Когда же должно быть готово? — Через год непременно.— Обязываюсь.— Через год, клятву дайте...— И я дал с трепетом... Муэдзин с высоты минара звонким голосом возвещал ранний час молитвы... ему вторили со всех мечетей, наконец, ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла мое беспамятство, затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать, и живо помню мое обещание; во сне дано, на яву исполнится»[1].

В этом письме речь могла идти только о «Горе от ума»; сведений о том, что Грибоедов работал в Тавризе над каким-либо другим своим произведением, нет. Письмо, как полагают исследователи, обращено к А. А. Шаховскому, заведовавшему репертуарной частью Александринского театра в Петербурге. Разговор, таким образом, был, как сказали бы в наше время, профессиональный; и самое замечательное в нем не то, что сказано, а как сказано, и вернее даже — то, что не высказано: оба собеседника без слов понимают друг друга и поэтому даже не называют произведение, о котором они говорят. Тот, петербуржец, отводит самую мысль о возможности выбора из нескольких замыслов Грибоедова: то, что он требует от него, стоит, так сказать, вне сравнений: «Сами знаете...» Но этому собеседнику известно также, что Грибоедов к этому своему замыслу относится особенно ревниво, предъявляет к себе непомерно высокие требования и потому бесконечно медлит... Именно поэтому петербургский друг требует клятвы и назначает срок.

Конечно, рассуждая так, нельзя забывать, что в письме рассказывается о сновидении, и приведенный выше диалог можно принимать за таковой только сугубо условно. Но едва ли можно сомневаться в том, что до своего отъезда на Кавказ, не позднее августа 1818 года, Грибоедов подробно пересказал кому-то из

---

[1] А. С. Грибоедов. Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1971, с. 213.

своих петербургских друзей план «Горя от ума», а может быть, даже и читал некоторые сцены. Так что на рубеже 1820—1821 годов в Тавризе он начал писать комедию, задуманную и обстоятельно о б д у м а н н у ю два с лишним года тому назад. Последние изменения и поправки были внесены в текст комедии в 1828 году; выходит, Грибоедов работал над ней (разумеется, не с одинаковой интенсивностью) около десяти лет.

Однако есть достаточно веские основания считать, что этот подсчет далек от полноты. Ближайший друг Грибоедова — С. Н. Бегичев в своих воспоминаниях сообщил следующее: «...Известно мне, что план этой комедии сделан у него еще в Петербурге в 1816 году и даже написаны были несколько сцен...» По его свидетельству, Грибоедов после 1816 года «уничтожил некоторые действующие лица, и между прочим, жену Фамусова, сентиментальную модницу и аристократку московскую (тогда еще поддельная чувствительность была несколько в моде у московских дам), и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены»[1]. Для свидетельства С. Н. Бегичева эта подробность имеет силу решающего доказательства: дело в том, что в конце XVIII и в начале XIX столетия модницами называли не только женщин, любивших одеваться по последней моде; сама эта склонность частенько сопутствовала фривольности и даже распущенности. Именно об этой черте характера покойницы мы и узнаем из текста окончательной редакции комедии. Вот упоминание в первом действии:

Мать умерла: умел я принанять
В мадам Розье вторую мать.

Наверно, Фамусов не сказал бы так («принанять... вторую мать...»), если бы считал покойницу хорошей женой и матерью. По-видимому, это так и было; не без причин же он с таким неподдельно искренним удовлетворением расхваливает участь вдовца:

Свободен, вдов, себе я господин...

В четвертом действии все эти косвенные указания, полупризнания и намеки, как и следовало ожидать, окончательно разъясняются:

Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять, она
Как мать ее, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врознь — уж где-нибудь с мужчиной!

---

[1] А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников, М., 1929, с. 9.

Итог, по-видимому, увеличивается еще на два года. Но и теперь нельзя с полной уверенностью сказать, что он окончательный. В 1860 году в печати появилось сообщение, что в начале 1812 года Грибоедов в присутствии одного из студентов Московского университета В. В. Шнейдера прочел своему наставнику и другу доктору Б. И. Иону «отрывок из комедии, им задуманной; это были начатки «Горя от ума»[1].

Исследователи творчества Грибоедова, разумеется, не могли пройти мимо этого свидетельства. Но одни сочли его сомнительным потому, что в 1812 году Грибоедов был слишком молод для того, чтобы в его сознании мог возникнуть замысел комедии, поражающей таким глубоким знанием жизни, и в частности знанием жизни и нравов московского дворянского общества. По их мнению, Шнейдеру просто изменила память, и он почти через полстолетие после упомянутого чтения говорил об отрывке из какого-нибудь другого произведения Грибоедова, похожего на «Горе от ума» «ситуацией или бытовыми подробностями»[2]. Возражение других в наиболее энергичной формулировке звучит так: «Настолько пронизан сам сюжет комедии обстоятельствами послевоенного времени, настолько отчетливо восходит коллизия молодого поколения с фамусовским лагерем к более поздним годам — после заграничных походов,— что замысел «Горя от ума» до войны 1812 года просто не мог возникнуть»[3].

Неубедительность первого возражения видна с первого же взгляда. Достаточно напомнить, что в 1812 году Грибоедову было восемнадцать лет, он заканчивал третий факультет Московского университета. Сторонники второго возражения слишком жестко связывают конфликт «Горя от ума» с политической ситуацией послевоенных и преддекабрьских лет. Конечно, в процессах создания комедии политическая ее проблематика конкретизировалась и углублялась соответственно изменению социально-исторических обстоятельств в послевоенной России. Но это вовсе не означает, что в наиболее общих контурах конфликт, лежащий в основе сюжета «Горя от ума», не мог возникнуть в довоенные годы.

В русском обществе еще в XVIII веке появились гуманные люди, страстные последователи идей Просвещения с его культом разума. Самодержавие до известного времени не считало этих людей опасными, но уже в последние годы царствования Екатерины II оно решительно отказалось от былого заигрывания с просветительством, справедливо увидев в нем истоки требований и лозунгов французской революции. Теперь всякого

---

[1] А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников, М., 1929, с. 329.

[2] Н. Пиксанов. Творческая история «Горя от ума», М.—Л., 1928, с. 76.

[3] М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы, М., 1947, с. 164.

просветителя, всякого «умника» объявляли последователем идей французской революции.

Таким образом, общественная почва, на которой мог возникнуть замысел «Горя от ума» в его общем виде, была налицо и в довоенной России; «новые правила», так пугавшие Фамусовых, были известны и тогда. Разница состояла в том, что под влиянием общественного подъема, вызванного Отечественной войной и заграничными походами, молодые офицеры, побывавшие в «чужих краях», решительнее, чем раньше, «набирались» этих правил.

Историки литературы собрали достаточно данных, свидетельствующих о том, что в студенческие годы Грибоедов хорошо знал и сочувствовал этим «новым правилам». Более того, он уже и тогда пытался следовать им. Это и вовлекло его в коллизию, сходную с той, в какой оказался Чацкий.

А. Ф. Грибоедова не жалела денег на то, чтобы дать своему сыну хорошее образование. Но эта ее щедрость имела весьма прозаическую подоплеку: по ее планам, образование должно было открыть ее даровитому сыну путь к блестящей придворной или дипломатической карьере. И поэтому она с большой тревогой и неодобрением относилась к страстному увлечению сына наукой и поэзией. Ее сопротивление было тем более настойчивым и властным, что тут она находила поддержку не только у своего вельможного брата — А. Ф. Грибоедова, но и у всего дворянского окружения; и не вспоминал ли Грибоедов эти давние хлопоты, когда писал о Несторе негодяев знатных, к которому Чацкого

...еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитёй возили на поклон...

Жизнь преподнесла драматический конфликт в почти готовом виде, и не удивительно, если в фантазии молодого поэта, возмущенного этим напором, возник сюжет комедии, который ни с каким другим грибоедовским сюжетом «спутать» невозможно. В общих его очертаниях он мог быть уже тогда запечатлен в таких — или не столь совершенных по форме, но сходных по смыслу — строках:

Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! опасным!!

По-видимому, здесь перед нами так же, как и в упоминаниях о супруге Фамусова,— обломки, рудименты целых сцен, сочиненных давно, еще в 1812 году, в которых молодой человек перед толпой враждебного окружения отстаивает свое право следовать законам разума и просвещения. В них, в тех сценах, естественно, не могло быть ни той полноты жизни, ни того напряжения общественных страстей, какие отличают окончательную редакцию комедии; но противостояние ума и рутины в них могло быть выражаемо недвусмысленно.

Все эти наблюдения позволяют заключить, что воспоминание В. В. Шнейдера нельзя третировать, как досужую выдумку или — снисходительнее — как некий зигзаг ослабевшей старческой памяти. Но если это так, то наш итог должен быть исправлен еще раз: больше пятнадцати лет отдал Грибоедов размышлениям и непосредственной работе над своей комедией, то есть все годы творчества.

В свете этого факта становятся понятнее некоторые до сих пор не во всем ясные моменты творческой истории «Горя от ума». Прежде всего сам тавризский сон получает при этом вполне удовлетворительное объяснение: такого рода «творческие» сны снятся, как правило, только в тех случаях, когда они, так сказать, подготовлены длительными и неотступными размышлениями. Но, пожалуй, гораздо важнее то, что многие, не менее загадочные подробности во всей последующей истории создания комедии можно объяснить только тем, что это произведение занимало творческое сознание Грибоедова многие и многие годы.

В воспоминаниях С. Н. Бегичева есть такой эпизод: «Он приехал в отпуск в марте 1823 г. Из комедии его «Горе от ума» написаны были только два действия. Он прочел мне их, на первый акт я сделал ему некоторые замечания, он спорил, и даже показалось мне, что принял это нехорошо. На другой день приехал я к нему рано и застал его только что вставшим с постели: он неодетый сидел против растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист по листу. Я закричал: «Послушай, что ты делаешь?!!» — «Я обдумал,— отвечал он,— ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово в голове моей». И через неделю первый акт уже был написан»[1].

Для того чтобы приговорить к уничтожению целый акт комедии и пересоздать его в своем воображении, потребовалась всего лишь одна ночь... Характерна в этом эпизоде и его кульминация — сожжение: достаточно было нескольких замечаний нелитератора Бегичева, чтобы результат многолетних трудов был целиком забракован и сама рукопись обречена огню. В июне

---

[1] А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников, М., 1929, с. 10—11.

1824 года, то есть через несколько месяцев после завершения комедии в ее первой редакции, когда вся литературная Москва знала «Горе от ума» в чтении самого автора, он написал из Петербурга тому же Бегичеву следующие строки: «Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишься: он так несовершенен, так нечист; представь себе, что я с лишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге мне пришло в голову приделать новую развязку... живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались...»[1]

Счастье наше, что Бегичев не последовал настойчивому совету автора. Но зачем же Грибоедов требовал еще одного сожжения?

В этих строках, как и в воспоминаниях Бегичева, обращает внимание быстрота перемен: «...стихи искрами посыпались...» Ведь это, в сущности, импровизация. Так воспринимал это и сам Грибоедов. В том же письме, сообщив, что в Петербурге состоялось уже двенадцать чтений «Горя от ума», он признался: «Но наконец мне так надоело всё одно и то же, что во многих местах импровизирую, да, это несколько раз случалося, потом я сам себя ловил, но другие не домекались»[2].

Комедия написана рифмованными вольными ямбами; отличить их от прозы даже для не очень искушенного слушателя не составляет особой трудности. А на чтениях Грибоедова присутствовали опытные литераторы, среди которых бывали И. А. Крылов, А. А. Шаховской, А. А. Жандр, виднейшие актёры, образованнейшие любители литературы и театра. И если никто из них не догадался, что Грибоедов не читает, а импровизирует, то естественно предположить, что он импровизировал именно такими стихами, какими написана вся комедия. Конечно, в те дни он переживал особый творческий подъем, но способность импровизировать — необычайная редкость. И хоть на первый взгляд это может показаться странным, но как раз у крупных поэтов она встречается особенно редко. У Грибоедова, по-видимому, такой способности не было. В только что приведенном признании речь, скорее всего, идет об импровизации другого рода. Многие годы комедия владела воображением поэта; память хранила бесчисленное число вариантов, и каждый из них не хотел уступать своего места: забракованное на прежних стадиях работы, в какой-то момент снова обретало прежнюю силу. Иногда это происходило в процессе чтения...

Это соперничество вариантов временами приобретало, по-видимому, весьма напряженный характер. И не в такие ли

---

[1] А. С. Грибоедов. Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1971, с. 226.
[2] Там же.

моменты Грибоедов решался на столь крайнюю меру, как сожжение рукописей? Он долго не мог отделаться от чувства, что исправления и перемены, вносимые им в текст уже законченной комедии, продиктованы не столько требованиями цензуры и даже не столько законами художественной целесообразности, сколько его собственной неспособностью «оторваться от побрякушек авторского самолюбия»: «Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополовели, сержусь и восстановляю стертое, так что, кажется, работе конца не будет... будет же, добьюсь до чего-нибудь; терпение есть азбука всех прочих наук; посмотрим, что бог даст»[1].

Понадобились огромные усилия авторской воли, чтобы подвести итоговую черту: Грибоедову, как и Пушкину при окончании «Евгения Онегина», жаль было «труда, молчаливого спутника», в сущности, всей его писательской жизни. И больше всего жаль было оставить героя, в котором так сильно сказались его собственные молодые увлечения и верования, иллюзии и разочарования.

III

Итак, Чацкий после трехлетнего отсутствия вернулся в Москву и сразу же, не заезжая домой, явился в дом Фамусовых.

Что нового покажет мне Москва? —

этот вопрос, естественно, возникал в его сознании в связи с его прежними отношениями — личными и общественными.

Да, разумеется, он поехал в путешествие потому, что «охота странствовать напала на него». Но было не только это; по-видимому, он не мог не уехать, потому что дворянская Москва ему просто опостылела; с своей стороны и она не пылала к нему особой любовью.

Чацкий с его красноречием и остроумием мог бы быть украшением светской Москвы, а он этими своими драгоценными талантами пользовался только для насмешек. Только что появившись в доме Фамусовых, он говорит об удручающем однообразии жизни московского света:

Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Всё тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

[1] А. С. Грибоедов. Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1971, с. 226.

Это наблюдение он сделал три года назад и, конечно, тогда же и высказывал его. Черномазенький на ножках жуавлиных, трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, чахоточный родственник Фамусовых

...книгам враг,
В ученый комитет который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился,—

всех этих персонажей он заметил и высмеял еще тогда, три года назад.

Но среди причин, побудивших Чацкого уехать из Москвы, была еще одна, которая больше всего тревожила и терзала сердце. Его любовь к Софье тогда, три года назад, наверно, напугала его: ведь он был старше ее, а ей шел всего лишь пятнадцатый год. Не надеялся ли он, что в заботах странствия ему удастся размыкать свою любовь, а может быть, даже и забыть? Не потому ли он

Три года не писал двух слов...?

Писать москвичам и самому Фамусову у него не было ни малейшей охоты; но он не писал и Софье: вероятно, не хотел ни ей напоминать о себе, ни своих ран бередить. Но чувства его

...ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.

Но вот Софье минуло семнадцать лет, и он помчался в Москву, преисполненный самых радужных надежд. Но имел ли он резон надеяться? На самом деле, не принял ли он детские дружеские чувства Софьи за любовь? По-видимому, все-таки нет. Будь оно иначе, легкий намек Лизы на измену не вызвал бы такого раздраженного и растерянного ответа Софьи. А вот его надежды на ее верность в течение трех лет разлуки оказались преувеличенными.

В этом, конечно, сказалась его беззаветная влюбленность. Но вместе с тем тут обнаружилось качество, свойственное всему поколению молодых людей того непродолжительного, но чрезвычайно бурного и неповторимо своеобразного времени, которое непосредственно предшествовало декабрьскому восстанию. Они были преисполнены героической отваги и самоотвержения. Но в их взглядах на общественную жизнь и на людей было много наивного, прекраснодушного. Основу их убеждений составляла

вера в то, что просвещенный и гуманный ум является главным вершителем судеб человечества. В просвещенном и гуманном уме, по их мнению, были истоки высокой нравственности; он же придавал подлинное значение и красоте человека.

Софья — умница, в этом Чацкий был уверен. Еще четырнадцатилетней девочкой она вместе с ним смеялась и над молодящейся тетушкой, и над преданностью батюшки Английскому клубу, и над затеями толстого барина-театрала:

На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.

Стараясь возобновить разговоры, прерванные три года назад, Чацкий хотел узнать, по-прежнему ли она смеется над тем, что смешно и ему, то есть хотел понять теперешний образ ее мыслей. Если она и теперь его единомышленница, то надежды были не напрасными. Но Софья недвусмысленно осудила даже самые легкие его насмешки над Москвой. Естественно, что возникло подозрение:

...нет ли впрямь тут жениха какого?

И самое характерное в этих его мучительных поисках заключалось в том, что критерий у м а был для него главным, если не единственным. Скалозуб, например, потому и не вызвал в нем больших подозрений, что умная Софья, думал он, не могла полюбить такого глупца. По тем же причинам он, вопреки, казалось бы, очевидным фактам и самым недвусмысленным признаниям Софьи, долго не верил в ее любовь к Молчалину. Когда она, стараясь кольнуть своего прежнего друга, сказала о Молчалине:

Конечно, нет в нем этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит...—

Чацкий окончательно решил, что подлинный смысл всех ее похвал Молчалину — «сатира и мораль». «Она не ставит в грош его»,— заключил он.

IV

Но как же все-таки случилось, что девушка, как говорил о ней Грибоедов, «сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку»? Чтобы понять это, надо представить себе, что произошло с ней за те три года, пока Чацкий путешествовал.

В третьем и четвертом действиях Грибоедов вывел на сцену целую толпу обитателей дворянской Москвы, и в центре этой толпы — Павел Афанасьевич Фамусов, ее главная персона.

Выставляя на свет божий всех этих Хлестовых, Тугоуховских, Хрюминых, Загорецких, Репетиловых, Грибоедов не жалеет сатирических красок; Фамусов изображен во всей его жизненной достоверности. Он совсем неглуп; его ирония временами не лишена яда и меткости. В нем нет ни малейшей черты резонера, хотя бы и «отрицательного». Фамусов говорит и действует «самопроизвольно». Это сказывается прежде всего в самом характере его речи. Она так естественна, как будто просто подслушана и в точности записана. Вот Фамусов говорит о женихе, у которого не наберется «душ тысячки две родовых»:

Пускай себе разумником слыви,
А в се́мью не включат. На нас не подиви.

В одной фразе и канцелярский термин и обветшало-просторечное слово. Но лексической пестроты нет, потому что самые, казалось бы, разнохарактерные слова слиты в единое целое безошибочно точной интонацией. В тираде о женихах Фамусов хотел польстить Скалозубу и кольнуть Чацкого. Отсюда ироническое «разумник», резолютивно-чиновничье «не включат» и якобы простецки-стариковское, а на самом-то деле ядовитое «не подиви». Павел Афанасьевич легко поддается впечатлениям минуты, и его мысль делает иногда самые, кажется, неожиданные скачки. Вот он только что закончил важную рацею о том, почему так много

Безумных развелось людей, и дел, и мнений...—

и тут же без всякой промежуточной подготовки ввязался в знаменитый спор, четыреста или триста крепостных душ было у Чацкого. В первом акте Павел Афанасьевич сердито журит Софью, а вместе и всех московских девиц (так у него то и дело — от частного к общему!) за то, что они слишком модницы, что, начитавшись небылиц, они «все умудрились не по летам». Причиной этих зол он объявляет Кузнецкий мост с его

«вечными французами»; заодно достается и тем «побродягам» (тоже, конечно, в большинстве французам), которые учат дочерей и языкам,

И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!

А во втором акте все эти недостатки и пороки он вполне искренне и увлеченно выдает за великие достоинства:

...можно ли воспитаннее быть!
Умеют же себя принарядить
Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой;
Французские романсы вам поют
И верхние выводят нотки...

Тут, конечно, явная логическая непоследовательность. Но в ней великолепно выразилась логика фамусовского поведения. Расхваливая московских девиц, а заодно, конечно, и Софью (здесь — от общего к частному!), Фамусов метит сразу в двух зайцев: неугодного жениха — Чацкого — эти похвалы могли только рассердить, а на желанного — Сергея Сергеича Скалозуба — подействовать благотворно. И так везде.

В основе его взглядов на жизнь лежит мысль о животной слабости человека. Он твердо верит, что если представить возможность выбора: жизнь на основе высоких принципов гуманности или привольная жизнь без всякого ограничения аппетитов и без малейшей необходимости трудиться,— то любой «умный», по меркам его среды, человек охотно предпочтет второе первому и, не задумываясь, продаст душу тому, кто только пообещает «сладкую жизнь».

У таких людей нет ни родины, потому что сама мысль о ней неразрывна с мыслью о благе народа; ни чувства собственного достоинства, потому что оно возникает и живет только там, где развито сознание связи с человечеством и, стало быть, чувство ответственности перед ним. А для сознательного паразита существует только каста с ее подлыми законами, которые предписывают сгибаться «кольцом» перед высшими, но зато дают почти неограниченную власть над низшими. И все-таки он не может забыть о существовании другой стороны; в какое бы время паразит ни благоденствовал, какими бы словами ни прикрывался, страх перед светом благородной человеческой мысли выдаст его и обнаружит родовое его сходство с Фамусовым, который в страхе перед Чацким готов прибегнуть к клевете:

Я постараюсь, я, в набат'я приударю,
По городу всему наделаю хлопот,
И оглашу во весь народ...—

или даже к прямой расправе:

Не слушаю, под суд!..

V

В годы отсутствия Чацкого именно с этими качествами своего отца и приходилось считаться Софье:

Да батюшка задуматься принудит:
Брюзглив, неугомонен, скор,
Таков всегда...

Тут нужно было или покоряться, или обманывать:

Бывает хуже, с рук сойдет...

Так в годы ее нравственного созревания ложь и страх постепенно отравляли ее душу. А Молчалин — вот он, каждый день рядом; он ведь тоже терпит от батюшки... С другой стороны, батюшка покровительствует Молчалину, ввел его в свой дом. Это ведь очень прозрачно:

Вдруг милый человек, один из тех, кого мы
Увидим — будто век знакомы,
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умен,
Но робок... знаете, кто в бедности рожден...

Молчалин... А Чацкий? Как же все-таки произошло это «замещение»? Только потому, что жили под одной крышей?

Если прислушаться к тем похвалам, которые Софья расточает Молчалину, то не трудно заметить, что она явно противопоставляет его Чацкому. Молчалин

...уступчив, скромен, тих...
Чужих и вкривь и вкось не рубит...

А Чацкого она выдает за бессердечного и тщеславного насмешника, который даже «ошибкою... добро о ком-нибудь сказать» не может и

Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нем хоть что́-нибудь сказал...

Но ведь это вопиющая неправда! Стало быть, за эти три года она просто перестала понимать Чацкого. Почему?

Тут снова нужно вспомнить о той среде, в которой она жила без Чацкого. В эти годы она стала выезжать в свет уже как взрослая девушка. И ее красота, ее ум не могли не обратить внимание московских кавалеров. В доме Фамусовых они не появились: вечер был домашний. Но их вестник и невольный обличитель приехал — правда, как человек свой, к самому разъезду. «Сок умной молодежи» — так аттестует Репетилов своих друзей. Не трудно представить себе, что́ это была за молодежь, раз она терпела в своей среде таких людей, как тот же Репетилов.

Чацкие появились сравнительно недавно, но о них все больше и больше говорили в свете. Друзья Репетилова решили, что умные, смелые разговоры и речи Чацких — это самый последний крик моды. По свидетельству И. Д. Якушкина, в то время «свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком»[1]. Воркуловы, Левоны и Бореньки, Лахмотьевы, Удушьевы, князь Григорий и Репетилов заговорили «о матерьях важных» и даже о необходимости «радикальных лекарств», то есть политических перемен. Само собой понятно, что из подражания Чацким они «вкривь и вкось» стали свет ругать, над Москвой смеяться. И все это только ради того, чтобы свет о них «хоть что-нибудь сказал»!

И вот Софья с ее молодым, еще не окрепшим умом с первых шагов в свете оказалась среди таких пустозвонов и самодовольных шутов. Она не могла не заметить, что слова и фразы, которыми щеголяли молодые друзья Репетилова — холостые и женатые,— были похожи на те, что она уже слышала — из уст Чацкого. И она стала думать, что светские зубоскалы — это единомышленники Чацкого, тем более что они и сами на это то и дело намекали:

Мы с ним... у нас... одни и те же вкусы...

Так в душе Софьи облик ее благородного друга стал постепенно замутняться чуждыми его личности впечатлениями, а потом и вовсе как бы совместился, слился с масками карикатурных подражаний. И вот теперь, после горького опыта светской жизни, она с еще большим жаром принялась за чтение. А самой

---

[1] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, М., 1951, с. 53.

влиятельной и распространенной в то время была сентиментальная литература. В ней-то Софья и почерпнула идеал молодого человека: скромного, чувствительного, умного, доброжелательного и самоотверженного.

Все это не укрылось от наблюдательности Молчалина. Заметив в Софье ее сентиментальные склонности, Молчалин, за глаза издеваясь над «плачевной кралей», как умел, приладил к своей пошло-благообразной фигуре личину чувствительности — и достиг успеха!

Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного...

VI

Чацкому все это еще предстояло уразуметь. Уклончиво-насмешливый тон, в каком она с ним разговаривала, несколько озадачил его, но не больше. Свои отношения с ней он намеревался определять, не справляясь ни с мнением Москвы, ни с волей Фамусова. Именно поэтому на его вопрос:

Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? —

Чацкий ответил в духе своих оптимистических убеждений, по-видимому даже и не намереваясь задеть отцовское самолюбие:

А вам на что?

Тут-то Фамусов и заявил о своих правах:

Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.

Может быть, после фамусовского гимна Максиму Петровичу Чацкому лучше было прекратить спор — за полной его бесполезностью? Но для Чацкого его взгляды и убеждения были не только достоянием его интеллекта, они были основой его личности и его чувства чести. Ведь спор шел о выборе жизненного пути, и Чацкий должен был сказать отцу своей возлюбленной, что он ни в чем не отступит от своих убеждений.

А как же сватанье? Не забыл ли Чацкий в горячке спора о цели своего приезда? По логике его рассуждений, спор с Фамусовым и даже ссора с ним не могли уронить его в глазах

Софьи. Напротив. Еще лучше, если Софья узнает об этом из уст Павла Афанасьевича: ведь батюшкиных взглядов, думает Чацкий, она никогда не разделяла. Чацкий не допускает мысли, что умная Софья могла полюбить Молчалина, который «прежде был так глуп», он и обморок-то ее принял за обыкновенное следствие необыкновенно обостренной чувствительности:

Безделица ее тревожит...

Однако самые горькие испытания были еще впереди...

Но тут необходимо сделать одно попутное замечание. Грибоедов в своей комедии сохранил известные единства — места и времени. Иногда в этом видят что-то вроде уступки классицизму. На самом деле это не так. Прежде всего: указанные единства в пору безраздельного господства классицизма действительно сковывали развитие драмы, потому что их соблюдение было обязательным, но сами по себе они вовсе не противопоказаны драме, в том числе и реалистической: все зависит от темы и от характера избранного сюжета. Грибоедов сосредоточил действие в одном доме не потому, что был в плену классицистской традиции, а потому, что это был дом Фамусова — лидера московского дворянского общества.

Терзания Чацкого в поисках ответа на вопрос, любит ли Софья Молчалина, и если так, то почему, за что она его любит, и в третьем акте являются главной пружиной действия. Акт и начинается диалогом Чацкого с Софьей — все о том же. В поисках ответа на тот же больной вопрос Чацкий пускается и в разговор с Молчалиным.

Об этом персонаже чаще всего судят по отзывам Чацкого, Молчалин действительно глуп, если искать в нем признаков высокого, просвещенного, гуманного ума. Но ведь есть еще и другой «ум» — «пошлый опыт — ум глупцов», как назвал его Некрасов. Таким «умом» Молчалин умен чрезвычайно.

На первый взгляд в этом диалоге Молчалин наивно проговаривается, «саморазоблачается» — почти по всем правилам классицизма. На самом деле это саморазоблачение особого рода.

Умеренность и аккуратность...
Так частенько там
Мы покровительство находим, где не метим...
Не сочинитель я...
Не смею моего сужденья произнесть...
Ведь надобно ж зависеть от других...

Стоит только вспомнить, что в четвертом акте в диалоге с Лизой он прямо, с цинической откровенностью говорит о том,

что все эти его «смиренности» — только «виды», маски, чтобы понять: с Чацким он играет в поддавки, преподносит ему то, чего тот ждет от него. Право на эту иронию ему дают его успехи в московском обществе и сознание, что он — победитель в любовном соперничестве. Здесь еще одно проявление органической слиянности любовных и общественных страстей.

Живость и непринужденность действия в этих двух актах достигается еще и тем, что Грибоедов вводит в них сцены, как будто бы не имеющие прямого отношения к любовной интриге пьесы, что-то вроде комедии в комедии. Такова сцена с Горичами. Сначала в ней участвуют только Наталья Дмитриевна и Чацкий. По первому впечатлению идет обыкновенный светский разговор:

Наталья Дмитриевна

Я полагала вас далёко от Москвы.
Давно ли?

Чацкий

Нынче лишь...

Наталья Дмитриевна

Надолго?

Чацкий

Как случится.
Однако, кто, смотря на вас, не подивится?
Полнее прежнего, похорошели страх;
Моложе вы, свежее стали;
Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах.

Наталья Дмитриевна

Я замужем.

Что это за ответ? Не шуткой на комплимент, а как-то невпопад: «Я замужем».

На сцене Наталью Дмитриевну чаще всего представляют в полном соответствии с комплиментами Чацкого. И, скорее всего, ошибаются, потому что похвалы-то Чацкого почти неприкрыто иронические. «Полнее прежнего» — ведь такой комплимент можно было преподнести только той, которая когда-то была худой и мечтала избавиться от этого недостатка. И дальше: не то чтобы «еще свежее стали», как это вероятнее всего могло звучать при искренном восхищении, а прямо: «свежее». Стало

быть, и три года назад свежести уже не было. Завершающий каскад похвал откровенно насмешлив. В полной уверенности, что за три года в ее судьбе ничего не изменилось к лучшему, что не нашлось глупца, который согласился бы жениться на этой неумной, некрасивой старой деве, Чацкий разговаривает с ней так же, как и три года назад. Но тут-то она его и срезала: «Я замужем».

Чацкий явно растерян:

Давно бы вы сказали!

Но Наталья Дмитриевна не спешит наносить решающий удар:

Мой муж — прелестный муж...

(Неспроста, видно, Грибоедов еще раз повторит в комедии эту формулу: «Ваш шпиц — прелестный шпиц...»)

Наталья Дмитриевна

Вот мой Платон Михайлыч,

Чацкий

Ба!

Это — комедия! И комичны здесь все трое, а мужчины так, пожалуй, даже больше, чем Наталья Дмитриевна. Ведь Платон Михайлыч — из «умных», близкий знакомец Чацкого и в недавнем прошлом, может быть, его единомышленник. Во всяком случае, Загорецкого он аттестует вполне «по Чацкому»:

Отъявленный мошенник, плут:
Антон Антоныч Загорецкий.
При нем остерегись: переносить горазд...

Но не прошло, по-видимому, и года после его отставки, а Москва женила его, и теперь он живет, как в с е. Даже клевету о сумасшествии Чацкого он перенесет:

Ну, все, так верить поневоле;
А мне сомнительно.

Эта сцена помогает понять необходимость и второго единства — единства времени. Она длится всего лишь несколько минут,

но вмещает в себя события целых трех лет, и без сопоставления того, что было три года назад, с тем, что есть сейчас, нельзя уразуметь всего ее содержания. Времена совместились: прошлое правит настоящим.

Чацкий по своей восторженной и несколько простодушной вере в необоримость и скорую победу идеалов добра и справедливости иногда впадает в комические положения, но это еще сильнее оттеняет его благородство и великодушие. В монологе о французике из Бордо и о благоговеющих перед ним княжнах он в надежде на сочувствие Софьи рассказал ей, как его осмеяли за предпочтение национального иноземному:

Я, рассердясь и жизнь кляня,
Готовил им ответ громовый;
Но все оставили меня.—

Но,

Глядь...—

оказалось, он давно уже говорит в пустоту...

Грибоедов здесь с подчеркнутой наглядностью обнаруживает и силу и слабости своего героя; он так верит в неотразимость исповедуемых им идей, что даже не считает нужным посмотреть, как слушает его Софья, и слушает ли. Но презрение только еще начиналось. Еще предстояла встреча с Репетиловым.

Пушкин сказал о Репетилове: «в нем 2, 3, 10 характеров». Действительно, самая характерная черта этого персонажа состоит именно в отсутствии характера. Он — зеркало, направленное на все, что входит в моду, что выдвигается на авансцену общественной жизни. Зеркало, правда, кривое. Но не настолько, чтобы отразившиеся в нем предметы искажались до неузнаваемости. Чацкий до своего отъезда из Москвы, по-видимому, нередко оказывался поблизости от этого зеркала. Во всяком случае, Репетилов был с ним на «ты». Вот он шумит на самой высокой ноте:

Что́ бал? братец, где мы всю ночь до бела дня,
В приличьях скованы, не вырвемся из ига...

Или еще решительнее:

Тьфу! служба и чины, кресты — души мытарства...

Ведь в этих «обличениях» явственно слышатся отголоски речей самого Чацкого — тех его речей, которые Репетилов мог

слышать три года назад. И снова — совмещение времен: то, о чем не догадывался Чацкий в годы своего путешествия — да, наверно, тогда он об этом просто не думал,— должно было проясниться в этот день. Теперь, к исходу дня, если уж Чацкому и могло показаться в московской жизни что-то новым и неожиданным, так это полное торжество с т а р о г о. Выход, казалось бы, оставался только один — уехать из Москвы. Но Чацкий даже после встречи с Репетиловым, даже после того как он услышал клевету о сумасшествии, еще далек от мысли н а в с е г д а оставить Москву. Что все гости Фамусова поверили сплетне о сумасшествии, это Чацкого, конечно, огорчило, но не очень удивило: в московском общественном мнении он уже и три года назад был «отъявлен мотом, сорванцом».

А Софья знает ли?..

Вот где поистине «ум с сердцем не в ладу». Мысль о сопернике еще отстраняется, обморок — все еще загадка. Надо было увидеть ночное свидание, собственными ушами услышать, что сплетню о сумасшествии выдумала и пустила в оборот именно Софья, чтобы понять, наконец, что она давно сделала свой в ы б о р — выбор между ним и Молчалиным.

Последняя — и самая главная — надежда Чацкого разбита. Но вместе с ней развеялись и последние иллюзии.

Так! отрезвился я сполна,
Мечтанья с глаз долой — и спала пелена...

Это очень важное признание. Позднее, уже в 60-х годах XIX столетия, Герцен именно в преданности «мечтальному идеалу» видел одну из характернейших особенностей Чацкого как героя определенного времени[1]. Автор комедии вложил в уста Чацкого слово, точно обозначающее крайности его оптимистического миросозерцания,— те крайности, которые и были причиной того, что он то и дело попадал в комические положения. Грибоедов еще в 1816 году, то есть как раз в то время, когда в основных своих контурах складывался замысел комедии, писал: «Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос»[2]. Именно этому — вниманию к натуре, трезвости взгляда, то есть умению видеть жизнь во всей ее реальной сложности,— и должен был научиться Чацкий. И научился за один этот

---

[1] А. И. Г е р ц е н. Полн. собр. соч., т. XVIII, М., 1959, с. 180.
[2] А. С. Г р и б о е д о в. Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1971, с. 44

безумный день. Сила его ума, цельность его личности сильнее всего проявились в том, с каким мужеством воспринял он жестокие уроки дня.

Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы пра́вы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.

Один день, но такой, когда страсти накалены до предела, а борьба приобрела открытый характер, научил Чацкого большему, чем целая тысяча дней (три года) наблюдений над жизнью со стороны. В этом как раз и заключалась художественная необходимость сохранения и второго единства — единства времени.

Дорогой ценой досталось ему освобождение от иллюзий. Сейчас он потрясен и просто не может думать о том, что в этот день одержал победу над фамусовской Москвой. А это была победа: своим страстным отрицанием ее заветов и обличением ее идолов Чацкий понудил ее предстать перед миром во всей своей безобразной наготе.

Грибоедов с непревзойденной силой убедительности показал, что сила этой касты ущербная, слепая. Страх перед светом высокой гуманной человеческой мысли — тоже родовая черта. Чацкий, по выражению Гончарова, нанес ей «смертельный удар качеством силы свежей». И в этом проявилась оптимистическая сущность великой комедии.

М. П. Еремин

Н. А. НЕКРАСОВ

I

Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года (по новому стилю) в местечке Немирове, Каменец-Подольской губернии.

Его отец, Алексей Сергеевич, небогатый помещик, служил в то время в армии в чине капитана. Через три года после рождения сына он, выйдя в отставку майором, навсегда поселился в своем родовом ярославском имении Грешневе.

Грешнево находится неподалеку от Волги, на равнине, среди бесконечных полей и лугов. Здесь, в деревне, поэт провел свое детство.

При усадьбе был старый, запущенный сад, обнесенный глухим забором. Мальчик проделал в заборе лазейку и в те часы, когда отца не было дома, зазывал к себе крестьянских детей. Дети врывались в сад и набрасывались на яблоки, груши, смородину, вишни. Но стоило няньке крикнуть: «Барин, барин идет!» — как они мгновенно исчезали.

Конечно, господскому сыну не дозволялось дружить с детьми крепостных крестьян. Но, улучив удобную минуту, мальчик убегал через ту же лазейку к своим деревенским друзьям, уходил с ними в лес, купался с ними в речке Самарке, делал «грибные набеги».

Барский дом стоял у самой дороги, а дорога была в ту пору многолюдной и бойкой — столбовая ярославско-костромская дорога. Мальчик, выбравшись тайком за ограду усадьбы, знакомился на дороге со всяким рабочим народом: с печниками, маляpами, кузнецами, землекопами, плотниками, переходившими из деревни в деревню, из города в город в поисках работы.

Через много лет, уже знаменитым поэтом, Некрасов вспоминал об этих детских своих впечатлениях:

Под наши густые, старинные вязы
На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
Про Киев, про турку, про чудных зверей...
Рабочий расставит, разложит снаряды —
Рубанки, подпилки, долота, ножи:
«Гляди, чертенята!» А дети и рады,
Как пилишь, как лудишь — им всё покажи.

Так народная жизнь и богатая, меткая народная речь стали близки Некрасову с самого раннего детства.

Этой речью поэт овладел с первых лет своей жизни. И разве мог бы он написать «Коробейников», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», если бы не провел все свое детство в такой близости к родному народу!

Няня поэта была крепостная, и потом он не раз вспоминал, с какой любовью слушал ребенком «рассказы нянюшки своей», то есть старинные русские народные сказки, те самые, что в течение многих столетий сказывались в каждой крестьянской семье каждому крестьянскому ребенку.

Любовь к полям и лесам своей родины, к ее весеннему «зеленому шуму» тоже впервые зародилась у него в те ранние детские годы. Он горячо восхищался родной ярославской природой, красотой ее зеленых просторов:

Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И как серебряные блюда
На ровной скатерти лугов
Стоят озера...

Впоследствии, вернувшись из заграничной поездки, он отметил в одной из черновых своих рукописей, что природа Грешнева ему милее всех прославленных заморских краев:

Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу,
Но я нигде так сладко не дышал,
Как в Грешневе.

И едва ли поэт создал бы свои бессмертные песни о русской природе, если бы не сроднился с нею с первых же лет своей жизни.

II

Детские воспоминания Некрасова связаны с Волгой, которой он потом посвятил столько восторженных и нежных стихов. «Благословенная река, кормилица народа!» — говорил он о ней.

Но здесь, на этой «благословенной реке», ему довелось испытать первое глубокое горе.

Он бродил по берегу в жаркую пору и вдруг услышал какие-то стоны и вслед за тем увидел бурлаков, которые брели вдоль реки,

Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой.

Они стонали от изнурительной, невыносимо тяжелой работы.

Потрясенный, испуганный мальчик долго бежал вслед за ними. Когда они расположились на отдых, он приблизился к их костру. До него донеслись слова — больной, замученный непосильным трудом человек говорил товарищам, что опостылела ему эта невыносимая жизнь, что «кабы к утру умереть, так лучше было бы еще».

Его слова взволновали Некрасова до слез.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

В этом впечатлительном мальчике рано проявилась та «страстность к чужому страданию», которая и сделала его великим поэтом.

И сердце, обливаясь кровью,
Чужою скорбию болит...—

говорил он о себе в одном стихотворении.

Бойкий и, казалось бы, беззаботный дворянский ребенок стал уже в те ранние годы не по-детски задумываться над жестокостями жизни. Рано открылось ему «зрелище бедствий народных», к которому были так нечувствительны многие другие дворянские дети.

По той дороге, которая проходила мимо усадьбы Некрасовых, гнали в Сибирь арестантов, закованных в кандалы. Будущий поэт на всю жизнь запомнил «печальный звон — кандальный звон», раздававшийся на этой «проторенной цепями» дороге.

Еще одно горе довелось ему видеть «в золотую пору малолетства» — горе в родной семье. Его мать, Елена Андреевна, мечтательная, кроткая женщина, очень страдала в замужестве. Она была человеком высокой культуры, а муж у нее был невежественный, жестокий и грубый. Целыми днями она оставалась в усадьбе одна, а муж постоянно разъезжал по соседним помещикам: его излюбленными развлечениями были карты, попойки, псовая охота на зайцев. Бывали такие дни, когда она целыми часами играла на рояле и плакала и пела о своей горькой неволе. «Она была певица с удивительным голосом»,— вспоминал поэт о ней впоследствии. По его словам, тот печальный напев, который слышится в иных его стихах, внушен ему песнями матери:

Играла ты и пела гимн печальный;
Ту песню, вопль души многострадальной,
Твой первенец наследовал потом.

С участием относилась она к принадлежащим ее мужу крестьянам и нередко вступалась за них, когда тот угрожал им расправой. Но попытки обуздать его ярость не всегда удавались ей. Бывали случаи, что при этих попытках муж набрасывался и на нее с кулаками. Можно себе представить, как ненавидел его в такие минуты сын!

Елена Андреевна хорошо знала мировую поэзию и часто пересказывала малолетнему сыну те отрывки из творений великих писателей, которые были доступны его пониманию. Через много лет, уже пожилым человеком, он вспоминал в стихотворении «Мать»:

И голос твой мне слышался впотьмах,
Исполненный мелодии и ласки,
Которым ты мне сказывала сказки
О рыцарях, монахах, королях.
Потом, когда читал я Данта и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.

Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благоговейной любовью воскрешал бы в своих стихах образ матери. Этот трагический образ увековечен Некрасовым в стихотворениях «Родина», «Мать», «Рыцарь на час», «Баюшки-баю», «Затворница», «Несчастные» и др. Задумываясь в детстве о ее печальной судьбе, он уже в те годы научился сочувствовать всем бесправным, угнетаемым женщинам.

Особенно горячее сочувствие вызывали в нем крепостные крестьянки:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Некрасов утверждал, что именно страдания матери пробудили в нем протест против угнетения женщины (см. стихотворения «Тройка», «В полном разгаре страда деревенская», «Мороз, Красный нос» и др.).

Но, читая все эти стихотворения Некрасова, мы чувствуем в них не только жалость к страдающим. Характер у него был боевой и настойчивый, совершенно несклонный к беспомощной жалости. Его любовь к угнетенным всегда сочеталась с ненавистью к их угнетателям.

Эту ненависть, как повествует он сам, окружающие чувствовали в нем еще во время его раннего детства:

Смеются гости над ребенком,
И чей-то голос говорит:
«Не правда ль, он всегда глядит
Каким-то травленым волчонком?
Поди сюда!» Бледнеет мать...
Волчонок смотрит — и ни шагу.
«Упрямство надо наказать —
Поди сюда!» — Волчонок тягу...
«Ату его!»...

III

Даже в ребяческих делах и затеях сказывалась его сильная воля.

Однажды, поздней осенью, случилось ему подстрелить на Печельском озере дикую утку. Озеро у берегов было затянуто льдом. Собака, испугавшись холодной воды, заупрямилась. Десятилетний охотник, забыв обо всем, кинулся в ледяную воду, поплыл за уткой и добыл ее.

«Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило»,— писала сестра Некрасова в воспоминаниях о нем.

Семилетним ребенком, услышав от няни, будто по ночам в саду гуляют черти, он в ту же ночь пошел в темный сад —

на единоборство с чертями. Ему было страшно до обморока, но он не вернулся домой, пока не обошел все кусты и деревья:

Сошла мне даром эта ночь,
Но если б друг какой иль враг
Засел в кусту и закричал,
Иль даже, спугнутая мной,
Взвилась сова над головой,—
Наверно б, мертвый я упал!

Настойчивость и храбрость были его главными свойствами. Обучаясь верховой езде, он то и дело падал с лошади, и был такой день, когда он упал восемнадцать раз подряд, но в конце концов добился своего: сделался хорошим наездником. С тех пор, по рассказу его сестры, он уже не боялся никакой лошади и смело садился на бешеного жеребца.

Добиться своего ценой любого подвига, любого труда стало с детства для Некрасова законом.

Но настоящее свое призвание нашел он не скоро. Много пришлось ему испытать неудач и тревог, прежде чем он вышел на прямую дорогу.

IV

В 1832 году будущий поэт вместе со своим братом Андреем поступил в первый класс ярославской гимназии. Единственное воспоминание, которое осталось в его поэзии от этих гимназических лет, вместилось в две стихотворные строчки:

...придешь, бывало, в класс
И знаешь: сечь начнут сейчас.

Отец не хотел платить за обучение сына, ссорился с его учителями. Учителя были плохие, невежественные и требовали только тупой зубрежки. Естественно, что мальчик не любил своей школы и посещал ее с большой неохотой. К счастью, в эти годы он пристрастился к чтению. Читал что придется, главным образом тогдашние журналы. Большое впечатление произвела на него в ту пору революционная ода Пушкина «Вольность», а также поэма Байрона о свободолюбивом и храбром корсаре (так в старину назывались морские разбойники).

Там же, в гимназии, впервые обнаружилось в нем призвание сатирика: мальчик стал писать эпиграммы на учителей и товарищей.

В июле 1837 года Некрасов ушел из гимназии.

Отец решил отправить его в Петербург, в Дворянский полк — так называлась тогда военная школа, славившаяся

бессмысленной и жестокой муштрой. Возможность поездки в столицу привлекала Некрасова, так как он уже несколько лет тайно писал стихи и мечтал напечатать их в столичных журналах.

В конце июля 1838 года шестнадцатилетний подросток после многодневного путешествия в ямщицкой телеге приехал в Петербург с рукописью романа, тетрадью стихов и несколькими рублями в кармане. «За славой я в столицу торопился»,— шутя вспоминал он в позднейших стихах, так как с детства решил сделаться во что бы то ни стало писателем.

Еще в деревне, когда он только собирался в Петербург, его мать, страстно желавшая, чтобы сын стал образованным человеком, не раз говорила ему, что он должен поступить в университет.

В Петербурге Некрасов разыскал земляков, учившихся вместе с ним в ярославской гимназии, и те горячо советовали ему исполнить желание матери. Некрасов стал готовиться к университетским экзаменам и даже не сделал попытки поступить в то военное училище, куда направил его отец. Узнав об этом, отец рассердился и прислал грозное письмо, где извещал непослушного сына, что не будет высылать денег, если тот нарушит отцовскую волю.

Свою угрозу отец привел в исполнение. Юноша остался в столице без всяких средств. Он часто голодал, не имел пристанища, спал в ночлежных домах, целую зиму ходил без теплого пальто. Но его влекла литературная работа, и ради нее он обрек себя на полуголодную жизнь.

Вскоре Некрасов исполнил желание матери — в сентябре 1839 года поступил вольнослушателем в университет.

Некоторые его стихотворения были напечатаны в разных журналах, но за них почти ничего не платили, и он продолжал голодать.

В 1840 году Некрасов с помощью друзей напечатал книжку своих юношеских стихов под заглавием «Мечты и звуки». Книжка не имела успеха. Она была не хуже и не лучше других книжек такого же рода, появлявшихся тогда в несметном количестве. Как и все молодые поэты, Некрасов подражал другим стихотворцам. «Кого, бывало, прочту, тому и подражаю»,— вспоминал он впоследствии. Кудрявым и напыщенным слогом он перепевал в своей книжке то Жуковского, то Бенедиктова, то какого-нибудь другого писателя. По этим стихам невозможно было предвидеть, что автор их станет впоследствии величайшим поэтом-реалистом.

Неуспех книги не обескуражил Некрасова. Этот юноша, вышедший из праздной дворянской среды, оказался на диво неутомимым работником. В 1840 и 1841 годах он написал столько

стихотворений, рассказов, сказок, фельетонов, критических заметок, рецензий, комедий, водевилей и т. д., сколько другому не написать за всю жизнь. Не разгибая спины, исписывал он десятки страниц своим стремительным почерком. Недаром он сказал перед смертью, вспоминая свою раннюю юность: «Уму непостижимо, сколько я работал! Господи, сколько я работал!»

И количество работы с каждым годом росло. В 1843—1845 годах Некрасов печатал стихи и статьи под псевдонимами: Перепельский, Пружинин, Бухалов, Иван Бородавкин, Афанасий Пахоменко, Назар Вымочкин, Ник-Нек и др. В его лице в русскую литературу вошел один из самых замечательных тружеников.

Но так мало платили поэту за его колоссальный труд, что и тогда он не спасся от нужды, хотя, казалось бы, одни его пьесы, поставленные в Александринском театре и выдержавшие много представлений в столичных и провинциальных театрах, должны были давать ему изрядный доход.

Бедствовал он долго — лет пять. Эта полуголодная молодость, «убитая под бременем труда», оказала большое влияние на все его дальнейшее творчество. Именно с этой поры он научился смотреть на явления окружающей жизни суровыми глазами подневольного труженика, который, на себе испытав, каково живется бедноте в условиях эксплуатации и рабства, навсегда возненавидел притеснителей трудового народа. Впервые это критическое понимание действительности сказалось в его юношеском стихотворении «Говорун», появившемся в 1843 году:

Столица наша чудная
Богата через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай.
Здесь всюду наслаждения
Для сердца и очей,
Здесь всё, без исключения,
Возможно для людей:
При деньгах вдвое вырасти,
Чертовски разжиреть,
От голода и сырости
Без денег умереть...

В том же году — или немного позднее — в одной своей прозаической повести он написал:

«Я узнал, что... есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы».

Около этого времени Некрасов познакомился и близко со-

шелся с великим русским критиком, революционным демократом Белинским, который полюбил юного поэта за его непримиримую ненависть к народным врагам. Белинский подолгу беседовал с ним и открыл ему глаза на все злое и мерзкое, что совершалось вокруг. Некрасов понял, что ограбление трудящихся есть многовековая система, узаконенная государственным строем. Ему стало ясно, что все благополучие «сильных и сытых» основано на эксплуатации миллионов людей, закабаленных и крепостниками-помещиками и нарождавшейся в стране буржуазией. Памятуя тягостные впечатления детства, он под влиянием Белинского окончательно решил отдать всю свою жизнь, весь свой горячий талант на борьбу с этим бесчеловечным порядком вещей.

«Ясно припоминаю,— рассказывал впоследствии Некрасов,— как мы с ним вдвоем часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько для меня было нового в высказанных мыслях. Моя встреча с Белинским была для меня спасением».

Белинский требовал от современных писателей правдивого, реалистического изображения русской действительности. Творчество Некрасова вполне отвечало этим требованиям. Под влиянием Белинского он обратился к реальным сюжетам, подсказанным ему подлинной жизнью; стал писать проще, без всяких прикрас, о самых, казалось бы, обыденных, заурядных явлениях жизни, и тогда в нем сразу проявился его свежий, многосторонний и глубоко правдивый талант.

Некрасов всегда с умилением говорил о пламенном патриотизме Белинского. В своей поэме «Несчастные» он, как предполагают исследователи, воспроизвел те вдохновенные речи о родине, которые слыхал от Белинского:

Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: «Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней».

Некрасов вполне разделял эту веру Белинского в чудотворные силы народа, в огромность его будущих исторических судеб. Не раз повторял он в стихах, что русский народ — богатырь, что он грудью пробьется к желанному счастью и что служение народу есть патриотический долг каждого:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

Белинский первый пробудил это революционное сознание в Некрасове. Поэт до конца жизни остался благодарен учителю и всегда вспоминал те уроки, которые получил от него:

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

«Свобода, братство и равенство» были лозунгом французской революции 1789 года; этими словами Некрасов попытался высказать в подцензурной печати, что Белинский учил его не только гуманности, но и революционной борьбе.

Не забудем, что как раз в те годы, когда Некрасов сблизился с Белинским, великий критик уже пришел к убеждению, что единственным путем, который приведет человечество к счастью, является социализм. «Я теперь в новой крайности,— писал он одному из друзей в 1841 году,— это идея социализма. Она стала для меня идеею идей, бытием бытия... не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди». Насколько было возможно по цензурным условиям, эту же «идею идей» Белинский пропагандировал в своих тогдашних статьях.

В. И. Ленин назвал Белинского одним из предшественников русской социал-демократии.

V

Другим учителем Некрасова был Гоголь. Некрасов всю жизнь преклонялся перед ним и ставил его рядом с Белинским. «Мертвые души», «Ревизор», «Шинель» были для него высшими образцами реалистического искусства. Гоголь, как и Белинский, в глазах Некрасова являлся «народным заступником», обличителем полицейско-самодержавного строя, великим вождем своей родины «на пути сознания, развития, прогресса». У Некрасова есть стихотворение о Гоголе, которое кончается такими строками:

Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

«Любить — ненавидя» — этому научился Некрасов у своих великих наставников.

Любить свой народ для Некрасова, как для Гоголя и Белинского, значило ненавидеть его притеснителей, и потому некрасовская поэзия в те годы (начиная с 1845 года) стала поэзией обличения и гнева. Он обличал в своих стихотворениях помещиков («В дороге», «Родина», «Псовая охота»), чиновников («Чиновник», «Колыбельная песня», «Современная ода»), богатеев-купцов («Секрет»). И в тот же ранний период своей литературной работы он стал с глубочайшим участием писать о порабощенных крестьянах («Тройка», «Огородник» и др.).

Выступать в печати с такими идеями было тогда чрезвычайно опасно. Продажные писаки Фаддей Булгарин, Сенковский и Греч, эти раболепные холопы правительства, сплотили вокруг себя — в своих журналах, альманахах, газетах — обширную группу стихотворцев и прозаиков, которые изо дня в день, отвлекая внимание читателей от ужасов окружавшей их жизни, восхваляли крепостнический строй как высшее воплощение государственной мудрости и всенародного счастья.

Всем этим реакционным писакам стихи Некрасова показались неслыханной дерзостью. Они набросились на поэта с бесстыдной бранью. Царская цензура была всецело на их стороне: она либо кромсала и коверкала, либо запрещала произведения Некрасова. Грязный клеветник Фаддей Булгарин то и дело писал на поэта доносы в так называемое Третье отделение (то есть в тайную полицию Николая I), утверждая, что Некрасов — «коммунист», который «страшно вопиет в пользу революции».

Но Некрасова не смутили ни доносы, ни ругань врагов, ни самоуправство цензуры, и он тогда же затеял одно предприятие, для осуществления которого требовалась вся его беспримерная смелость. Он задумал, в противовес реакционным журналам, поддерживавшим крепостнический строй, основать революционно-демократический журнал, который, несмотря на цензуру, ратовал бы за освобождение крестьян.

В конце 1846 года он раздобыл взаймы денег и взял вместе с писателем Иваном Панаевым в аренду журнал «Современник», основанный Пушкиным. В «Современник» перешел из другого журнала Белинский со всеми своими приверженцами — молодыми передовыми писателями. Таким образом, в журнале Некрасова сосредоточились лучшие литературные силы, объединенные ненавистью к крепостническому рабству.

В первых же книжках «Современника» были напечатаны «Кто виноват?», «Сорока-воровка» Герцена, многое из тургеневских «Записок охотника», «Псовая охота» Некрасова, статьи Белинского и другие произведения, заключавшие в себе горячий протест против тогдашнего строя. Но в начале 1848 года, когда

правительство Николая I, испуганное крестьянскими восстаниями и революцией во Франции, приняло крутые полицейские меры для борьбы с прогрессивными идеями, издание передового журнала стало делом почти невозможным. Наступила эпоха цензурного террора. Случалось, что больше половины рассказов, статей и романов, предназначенных для помещения в «Современнике», погибало под красными чернилами цензора. Нужно было спешно добывать новые статьи, которым грозила та же участь. Только такой необыкновенный работник, как Некрасов, мог отдавать журналу столько лет. Когда «Современнику» пришлось особенно туго, поэт засел (вместе с А. Я. Панаевой) за огромный роман — «Три страны света» (1848—1849), который писал по ночам, так как днем был занят журнальными хлопотами. Хотя этот роман был написан исключительно для того, чтобы заполнить опустошенный цензурой журнал, Некрасову и здесь удалось — правда, на немногих страницах — выразить протест против ненавистного строя и прославить русского крестьянина.

«Бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу,— вспоминал Некрасов об этой работе.— Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь. Никуда ни ногой. Огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой — и опять то же».

Поразительно, как не надорвался он от такой работы. У него заболели глаза, его каждый вечер трясла лихорадка; чтобы составить одну только книжку журнала, он читал около двенадцати тысяч страниц разных рукописей, правил до шестидесяти печатных листов корректуры (то есть девятьсот шестьдесят страниц), из которых половину уничтожала цензура, писал множество писем цензорам, сотрудникам, книгопродавцам — и порою сам удивлялся, что «паралич не хватил его правую руку».

Редактором он был превосходным. Журналов, подобных его «Современнику», до той поры не бывало в России.

Достаточно сказать, что в качестве редактора Некрасов первый открыл дарования таких начинавших в разное время писателей, как Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Григорович и др.

Некрасов стоял во главе «Современника» без малого двадцать лет (1847—1866), и если бы он не написал ни одного стихотворения, он и тогда заслужил бы благодарную память потомства как величайший журналист своей эпохи.

Принимаясь за издание «Современника», он надеялся, что в этом журнале Белинский будет играть руководящую роль. Но через полтора года Белинский умер. Это была тяжкая потеря. «Современник» осиротел. Не было в тогдашней России другого писателя, который мог бы стать таким же «властителем дум» своего поколения, каким был Белинский.

Через несколько лет после смерти Белинского Некрасову удалось привлечь к своему журналу учеников знаменитого критика и продолжателей его дела — будущих вождей русской революционной демократии Добролюбова и Чернышевского. В общей литературной работе он дружески сблизился с ними и под их благотворным влиянием создал свои лучшие произведения.

Начиная с 1855 года наступил наивысший расцвет творчества Некрасова. Он закончил поэму «Саша», где заклеймил презрением так называемых «лишних людей», то есть либеральных дворян, выражавших свои чувства к народу не делами, а громкими фразами.

Тогда же написаны им «Забытая деревня», «Школьник», «Несчастные», «Поэт и гражданин». Эти произведения обнаружили в Некрасове могучие силы народного певца и трибуна. Он стал любимейшим поэтом демократической интеллигенции, которая именно в то время сделалась влиятельной общественной силой в стране.

Когда в 1856 году вышло первое собрание стихов Некрасова, книга имела грандиозный успех — такой же, как в свое время «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Царская цензура, испугавшись ее популярности, запретила газетам и журналам печатать о ней хвалебные отзывы.

Приближалась эпоха 60-х годов. К тому времени, как был обнародован царский манифест о так называемом «раскрепощении» крестьян (1861), революционные демократы окончательно отмежевались от дворян либерального лагеря и стали разоблачать реакционный характер их деятельности. Раскол революционных демократов и либеральных дворян не мог не отразиться на журнале Некрасова. «Современник» стал боевым органом революционной демократии. Некрасов привлек к нему молодых антидворянских писателей: Слепцова, Николая и Глеба Успенских, Помяловского, Решетникова, Елисеева, Антоновича и многих других. Писатели-дворяне, бывшие до той поры его сотрудниками, демонстративно ушли из журнала и сделались врагами поэта.

Порвать с либералами Некрасову было не так-то легко. Еще со времен Белинского он сблизился с ними за общей работой. С некоторыми из них его связывала тесная дружба. И все же народное благо он поставил выше своих личных привязанностей.

Некрасов был одним из величайших борцов за освобождение трудящихся масс, упорно и неутомимо до конца своей жизни служил идеям революционной демократии, идеям Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Но бывали периоды, когда поэт как бы возвращался к либеральным воззрениям своих бывших друзей, и тогда, как

он сам выражался, у «лиры звук неверный исторгала» его рука.

По поводу подобных случайных и редких уступок Некрасова либеральным идеям Ленин в одной из своих статей отметил, что хотя Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, «но все симпатии его были на стороне Чернышевского»[1].

Об этих симпатиях свидетельствует та борьба с либералами, которую вел Некрасов в своем «Современнике» плечом к плечу с Чернышевским и Добролюбовым в 1859—1861 годах.

Влияние «Современника» росло с каждым годом, но вскоре над журналом разразилась гроза.

В 1861 году умер Добролюбов. Через год был арестован и после заключения в крепости сослан в Сибирь Чернышевский. Правительство, вступившее на путь мстительной расправы со своими врагами, решило уничтожить ненавистный журнал. Вначале оно приостановило издание «Современника» на несколько месяцев (1862), а потом запретило навсегда (1866).

Долго существовать без журнала Некрасов не мог. Не прошло и двух лет, как он взял в аренду журнал «Отечественные записки»; в качестве соредактора он пригласил М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Отечественные записки» под руководством Некрасова стали таким же боевым журналом, как и «Современник»; они следовали заветам Чернышевского, в них впервые проявился во всей своей мощи сатирический талант Щедрина.

Цензура жестоко преследовала «Отечественные записки», и Некрасову (вместе с Салтыковым) приходилось вести с ней такую же упорную борьбу, как и во времена «Современника».

VI

Журнальная работа утомляла поэта, и он бывал поистине счастлив, когда ему удавалось вырваться из душного города куда-нибудь в деревенскую глушь.

В деревне, среди крестьян, он чувствовал себя легко и привольно и забывал городские тревоги, особенно если при этом ему случалось хорошо поохотиться.

Охота с детства была его любимейшим отдыхом. Захватив собаку и ружье, он на несколько дней уходил с кем-либо из местных крестьян побродить по лесам и болотам и возвращался домой с новыми силами, освеженный и бодрый.

Охота была для него лучшим средством дружеского сближения с народом. Он говорил, что в деревне охотниками обычно

---

[1] В. И. Ленин. Еще один поход на демократию, т. 22, с. 84.

бывают талантливейшие из русских крестьян. Сюжет знаменитой поэмы «Коробейники» был рассказан ему во время охоты его «другом-приятелем», костромским крестьянином Гаврилой Захаровым. Странствуя с ружьем из деревни в деревню, Некрасов попадал и на сельские ярмарки, и на крестьянские праздники, и на сходки, и на свадьбы, и на похороны, знакомился со множеством деревенских людей, наблюдал их нравы и обычаи и жадно вслушивался в каждое слово их непринужденных речей. С каждым годом он, если так можно выразиться, все больше и больше влюблялся в народ. Пристально изучая крестьянскую жизнь, он стал исподволь готовиться к великому литературному подвигу — к созданию монументальной поэмы, прославляющей русский народ, его великодушие, его героизм, его огромные духовные силы.

Поэма эта — «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов начал писать ее на сорок втором году жизни, в пору полного расцвета своего дарования.

Героем этой поэмы он избрал не какого-нибудь одного человека, а весь русский народ, все многомиллионное «мужицкое царство», «кряжистую Корежину», «сермяжную Русь». Такой всенародной поэмы еще не бывало в России.

С первого взгляда народная жизнь, изображенная в этой поэме, представляется очень печальной. Уже самые названия деревень — Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож — говорят о безрадостном существовании их жителей. И хотя одна из глав поэмы изображает деревенских счастливцев и даже носит название «Счастливые», но на самом-то деле, как выясняется из ее содержания, эти «счастливые» глубоко несчастны — замученные нуждой, больные, голодные люди. И сколько человеческих страданий в той части поэмы, где изображается жизнь крестьянки Матрены!

Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,—

говорит эта крестьянка о себе. Вообще, когда читаешь первые главы поэмы, кажется, что на вопрос, поставленный в ее заголовке: кому на Руси жить хорошо? — можно дать единственный ответ: каждому живется очень плохо, особенно же «освобожденным» крестьянам, о счастье которых Некрасов в той же поэме писал:

Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!

Некрасов начал поэму тотчас же после «освобождения» крестьян. Он очень хорошо понимал, что, в сущности, никакого освобождения не было, что крестьяне по-прежнему остались под ярмом у помещиков и что, кроме того,

...на место сетей крепостных
Люди придумали много иных.

Но откуда же в этой грустной поэме, изображающей столько скорбей и трагедий, тот бодрый тон, который чувствуется в ней буквально на каждой странице? Почему самый голос поэта звучит так оптимистично и радостно? Почему в этой поэме столько шуток, прибауток, забавных эпизодов и речей? (См., например, «Сельскую ярмонку» или «Пьяную ночь».)

Иначе, в сущности, и быть не могло, ибо всякая поэма о русском народе, даже такая, где повествуется о его тысячелетних страданиях, не может не вызвать в поэте светлых и радостных чувств — столько духовной красоты и величия открывается ему в жизни народа.

В центре своей эпопеи Некрасов недаром поставил «Савелия, богатыря святорусского», человека огромных сил, как бы созданного для революционной борьбы. По убеждению Некрасова, таких богатырей в русском народе миллионы:

Ты думаешь, Матренушка,
Мужик — не богатырь?..
. . . . . .
Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломалися...
. . . . . .
И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?

Рядом с Савелием в поэме встают привлекательные образы русских крестьян: Якима Нагого — вдохновенного защитника чести трудового народа, Ермила Гирина — деревенского праведника и Матрены Корчагиной, сумевшей отстоять свое человеческое достоинство в условиях разнузданного произвола и рабства. Самым своим существованием эти люди свидетельствовали, какая несокрушимая сила сокрыта в народной душе. Можно было не сомневаться, что у такого народа есть все возможности завоевать себе счастье.

Отсюда оптимизм поэмы:

Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая!

Сознание этой нравственной «силы народной», предвещавшей верную победу народа в борьбе за счастливое будущее, и было источником той радостной бодрости, которая чувствуется даже в ритмах великой поэмы Некрасова.

VII

Поэма, начатая в 1863 году, писалась в течение нескольких лет, но в начале 70-х годов Некрасова отвлекла от нее другая тема — декабристы.

До той поры в русской подцензурной печати о декабристском восстании не появлялось ни единого слова, за исключением лживых и клеветнических официозных отчетов. Но в 1870 году цензурный запрет был немного ослаблен, и Некрасов воспользовался первой возможностью, чтобы напомнить молодым поколениям о великих зачинателях революционной борьбы.

В поэме «Дедушка» он изобразил старика декабриста, который видит в маленьком внуке своего боевого наследника и завещает ему свою ненависть к народным врагам. Декабристы были предшественниками всех позднейших революционеров России, духовными отцами Белинского, Герцена, Огарева, Чернышевского и множества безыменных героев, ушедших в сибирскую каторгу.

Некрасов видел прямую преемственность между старыми борцами и новыми. Он хотел, чтобы подвиги декабристов вдохновляли на такие же подвиги революционную молодежь его времени.

Трогательные образы жен декабристов — особенно Трубецкой и Волконской — так волновали Некрасова, что, слушая, например, чтение записок Волконской, он, пожилой человек, плакал навзрыд, как ребенок. В 1871—1872 годах он написал об этих героинях поэму «Русские женщины». Ни в одном своем произведении не отразил он с такой силой клокочущую ненависть к самодержавному строю, к царю Николаю и его бессердечным приспешникам. Словно забыв, что в России существует цензура, он называл в этих стихах Николая «мстительным трусом», «мучителем», «палачом свободных и святых».

В поэме было столько проклятий народным врагам, в ней чувствовалось столько благоговейной любви к декабристам, что в подлинном своем виде она могла появиться лишь после

Октябрьской революции, а до той поры почти полстолетия печаталась с большими искажениями, с пропусками многих стихов. Но и в таком исковерканном виде она имела небывалый успех, и ее агитационное значение было огромно, особенно среди передовой молодежи.

В первой части поэмы под видом сонного видения своей героини поэт изобразил восстание на Сенатской площади, и то были первые стихи в подцензурной печати, трактующие эту запретную тему.

А поэма «Кому на Руси жить хорошо» так и оставалась незаконченной.

В 1876 году, когда Некрасов снова вернулся к своей эпопее, у него уже не было сил, чтобы закончить ее. Он тяжело заболел. Врачи отправили его в Ялту, на берег моря. Но ему с каждым днем становилось все хуже. Болезнь была смертельная. Некрасов знал, что его дни сочтены, и потому трудился, превозмогая болезнь. «Ведь каждый день может оказаться последним»,— говорил он окружающим.

Новая часть поэмы была названа им «Пир — на весь мир». Ему хотелось непременно закончить ее, потому что он видел в ней свое завещание, свое последнее напутственное слово молодым революционным бойцам. Основное содержание «Пира» определяется притчей «О двух великих грешниках», где поэт утверждает, что беспощадная расправа с тираном — святое, благородное дело.

В центре «Пира» — «народный заступник» юноша Григорий Добросклонов (в лице которого Некрасов прославлял Добролюбова):

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

И замечательно, что хотя Добросклонову угрожает сибирская каторга и ранняя смерть, он единственный истинный счастливец во всей этой поэме. Некрасов всячески подчеркивает, что на поставленный его поэмой вопрос: кому на Руси жить хорошо? — следует ответить: Добросклонову, революционному борцу за народное счастье.

Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!

Счастье отдельной личности — только в служении народу. Таковы последние строки последней поэмы Некрасова.

Мысль, высказанная в «Пире — на весь мир», была так дорога Некрасову, что он хотел возможно скорее обнародовать эти стихи. Но едва они появились в журнале, как цензура конфисковала журнал и заставила вырезать оттуда произведение Некрасова.

Для умирающего это было тяжелым ударом и увеличило его предсмертные страдания.

— Вот оно, наше ремесло литератора! — сказал он одному из докторов.— Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами. Прошло с тех пор тридцать семь лет — и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами.

Кроме этой поэмы, Некрасов буквально на смертном одре создал целый цикл лирических стихов, где слышится та же боль о народе.

Поэт перенес мучительную операцию, которая лишь на несколько месяцев отсрочила смерть. Спать Некрасов мог только под сильным наркозом, страдания его были ужасны, и все же нечеловеческим напряжением воли он находил в себе силы слагать свои «Последние песни».

Когда читатели узнали из этих песен, что Некрасов смертельно болен, его квартира была засыпана телеграммами и письмами.

В своих «Последних песнях» поэт говорил:

Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть.
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть.

Прочтя эти грустные строки (напечатанные в январе 1877 года), студенты нескольких высших учебных заведений Петербурга и Харькова поднесли Некрасову приветственный адрес; в адресе они говорили:

«Тяжело было читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение: «да и некому будет жалеть»... Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненависть к его притеснителям. Из уст в уста передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья».

Особенно растрогал больного прощальный привет Чернышевского, присланный из далекой Сибири в августе 1877 года.

«Скажи ему,— писал Чернышевский одному литератору,— что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума».

Умирающий выслушал этот привет и сказал еле слышным шепотом:

— Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его... Я теперь утешен... Его слова мне дороже, чем чьи-либо слова...

Умер Некрасов 27 декабря 1877 года (по новому стилю 8 января 1878 года). Его гроб, несмотря на сильный мороз, провожало множество народа. Перед гробом несли венки: «От русских женщин», «Некрасову — студенты», «Певцу народных страданий», «Бессмертному певцу народа» и др.

По воспоминаниям Г. В. Плеханова, в процессии участвовали революционеры (землевольцы и южнорусские «бунтари»), проживавшие в столице нелегально. Они несли венок «От социалистов». Вместе с ними вокруг этого венка тесным кольцом сомкнулись и многочисленные члены рабочих революционных кружков, которых к тому времени уже было немало на петербургских заводах и фабриках. Бунтари и землевольцы захватили с собой револьверы, твердо вознамерившись пустить их в дело, если полиция вздумает отнять венок силой.

Над гробом поэта говорили речи Ф. М. Достоевский, В. А. Панаев (друг поэта), от лица землевольцев — молодой Г. В. Плеханов, который, не стесняясь присутствием тайной и явной полиции, подчеркнул революционное значение поэзии Некрасова. Это были первые похороны писателя, в которых участвовали революционные организации передовых рабочих.

VIII

В своих воспоминаниях о Некрасове один из его современников, хорошо знавший его в течение десятков лет, отозвался о нем так:

«Это был человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой... не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому».

Чудесные душевные свойства Некрасова отразились в его поэзии. Ее основной источник — горячее сочувствие угнетаемым людям:

Иди к униженным,
Иди к обиженным —
Там нужен ты.

Этой своей заповеди Некрасов не нарушал никогда. Он называл свою музу «печальной спутницей печальных бедняков, рожденных для труда, страданий и оков». Он так и говорил о революции: «великое дело любви».

Но как бы ни были искренни и благородны убеждения Некрасова, он не мог бы воздействовать ими на многие и многие поколения русских людей, если бы был слабым, неискусным писателем, неумело владеющим поэтической формой.

В чем же заключалась великая художественная сила Некрасова?

Прежде всего — в реализме, но не в том равнодушно-протокольном, фотографическом воспроизведении действительности, которое прикрывается иногда этим названием. Реализм Некрасова был лирически страстен, исполнен то яростной злобы, то порывистой нежности. В стихотворении «Элегия» поэт говорит о себе:

Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю.

Здесь дана точная формула его реалистического отношения к миру. Изобразить или отразить современность — этого ему было мало, он жаждал преобразить, переделать ее. Его реализм был действенным. Это был реализм борца.

Обладая изумительной зоркостью к деталям окружающей жизни, он в то же время широко обобщал все свои сюжеты и образы. И Савелий, «богатырь святорусский», и Матрена Корчагина, и Яким Нагой, и Последыш (в поэме «Кому на Руси жить хорошо»), и Агарин, и Саша (в поэме «Саша»), и Прокл, и Дарья (в поэме «Мороз, Красный нос»), и Крот (в поэме «Несчастные»), и «рыцарь на час», и «филантроп» — все это не только индивидуумы с такими-то и такими-то личными качествами, но и обобщенные представители различных категорий людей.

В лице Савелия и Матрены Корчагиной поэт дал монументальные образы, типичные для лучших представителей дореформенного, крепостного, крестьянства.

Образы Савелия и Якима Нагого характеризуют собой пробуждение революционного протеста в забитой и темной крестьянской среде, образ Агарина — идейное банкротство дворянского либерализма 40-х годов, и т. д.

Критический реализм Некрасова всегда был связан с социальной оценкой людей и событий,— вспомним хотя бы «Забытую деревню», «Размышления у парадного подъезда», «Псовую охоту», «Железную дорогу».

Огромно разнообразие поэтических форм и жанров, которые были доступны Некрасову.

Одной из его наиболее излюбленных форм была форма песни. Ею Некрасов владел в совершенстве. Недаром он называл многие свои стихотворения песнями: «Песня Еремушке», «Колыбельная песня», «Песня убогого странника». В них именно такая конструкция, такой ритмо-синтаксический строй, какие свойственны песням.

Уже то, что многие стихотворения Некрасова — например, знаменитая «Тройка», «Ой, полна, полна коробушка» (из поэмы «Коробейники»), «Огородник», «Зеленый шум», «Катерина», «Было двенадцать разбойников» — до сих пор поются как народные песни, свидетельствует о его мастерстве в области песенной лирики.

Этим ценным даром песнетворчества обладали почти все крупнейшие поэты демократии: Шевченко, Кольцов, Никитин — в России, Беранже — во Франции, Роберт Бернс — в Шотландии.

Влияние их поэзии на широкие массы в значительной мере обусловлено тем, что они были поэты-песенники. В литературе нет более могучего средства боевой пропаганды, чем песня.

Песня — не единственный жанр поэзии Некрасова. Он был мастером стихотворных рассказов, новелл, то есть повестей и рассказов в стихах — таких, как «Саша», «Русские женщины», «Коробейники». Ни один из его современников не мог бы сравниться с ним в этом повествовательном жанре.

Таким же мастером был он в области глубоко интимной, хватающей за душу лирики. Вспомним хотя бы его гениальное стихотворение «Рыцарь на час», над которым рыдал Чернышевский.

И еще один жанр был доступен Некрасову — обличительная, грозная сатира, в которой едкая ирония так часто сменяется то слезами обиды и боли, то взрывами неистовой ярости («Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.).

Так же великолепно владел он еще одним поэтическим жанром — торжественной, патетической, ораторской речью. Этот жанр чрезвычайно далек от фольклора и, можно даже сказать, противоположен ему. Но диапазон некрасовской поэзии был так необъятно широк, что и в этой, казалось бы, чуждой Некрасову форме поэт создал такие шедевры декламационной, патетической речи, как стихотворения «Родина», «Элегия», «Муза», «Страшный год» и многие другие.

В этом жанре он прямой продолжатель Лермонтова, который вообще оказал сильное влияние на его творчество.

Все разнообразное свое мастерство Некрасов отдал на службу народу. Его стихами впервые в истории заговорило о своих

муках и нуждах трудовое крестьянство, пробуждавшееся к революционной борьбе.

Некрасов никогда не заботился о той нарядной красивости, какая требовалась дворянской эстетикой. Многие формы его демократической речи нередко возмущали реакционных рецензентов и критиков, которые в многочисленных журнально-газетных статьях называли его поэзию «вульгарной», «топорной», «корявой». Они были преднамеренно слепы к его мастерству, к его смелой новаторской технике, к его могучей песенной силе.

Но Некрасов умел презирать их суждения.

...мой судья — читатель-гражданин.
Лишь в суд его храню слепую веру,—

сказал он в поэме «Уныние», разумея под читателем-гражданином демократическую молодежь того времени.

Когда какой-то критик из реакционного лагеря стал нападать на стихотворения Некрасова, поэт гордо ответил ему:

Против твоей я публики грешу.
Но только я не для нее пишу.

Те, для кого он писал, видели в нем выразителя своих собственных чувств и мыслей. Форма его стихов, именно вследствие своей демократической направленности, была в их глазах прекрасна.

Добролюбов писал в 1860 году от лица революционной демократии: «Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова». Из дальнейших его статей можно было понять, что этот поэт уже есть и что этот поэт — Некрасов.

В одном из своих писем Добролюбов говорил о Некрасове: «Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила».

Некрасов был одним из любимейших поэтов В. И. Ленина. Н. К. Крупская сообщает, что, будучи в сибирской ссылке, Владимир Ильич «перечитывал по вечерам вновь и вновь» стихотворения Некрасова. Часто в статьях и речах Ленин подкреплял свои мысли некрасовскими стихами. Всякому, кто прочтет такие статьи Ленина, как «Памяти графа Гейдена» и «Еще один поход на демократию», станет ясно, что в глазах великого революционного вождя Некрасов был одним из народных заступников, разоблачителем «хищных интересов», «лицемерия и бездушия» командующих классов России.

IX

Прочтите, например, такое двустишие Некрасова:

— Мы-ста тебя взбутетеним дубьем
Вместе с горластым твоим холуем! —

и вы сразу услышите здесь голос крестьянина. Вся стилевая окраска этого двустишия — крестьянская. И «взбутетеним», и «дубье», и «мы-ста», и «холуй», и «горластый» здесь в своей совокупности рисуют портрет говорящего: вы буквально видите этого разъяренного деревенского парня, которому его социальная среда подсказала те, а не другие слова для выражения испепеляющей ненависти.

Так же выразительна в поэзии Некрасова речь дворового, прошедшего в барской усадьбе долгую школу холопства:

Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею —
Болезнью благородною,
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
. . . . . .
За стулом у светлейшего
У князя Переметьева
Я сорок лет стоял,
С французским лучшим трюфелем
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал...

(«Кому на Руси жить хорошо»)

С таким же совершенством Некрасов воспроизводил канцелярскую, чиновничью речь:

Частию по глупой честности,
Частию по простоте
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
. . . . . .

Все такие обстоятельства
И в мундиришке изъян
Привели его сиятельство
К заключенью, что я пьян.

(«Филантроп»)

Такие слова, как «обстоятельства», «частию», «привели к заключению», заимствованные из казенных бумаг, стилистически окрашивают у Некрасова чиновничью речь, которую поэт начал воспроизводить еще в ранних стихах, относящихся к 1840—1845 годам.

Характерна в поэзии Некрасова и речь всевозможных церковников — от попа до мелкого дьячка:

...счастие не в пажитях,
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
— А в чем же?
«В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
А мудрого владение —
Весь вертоград Христов!..»

(«Кому на Руси жить хорошо»)

Это типическая речь церковного служки, которая характеризуется не только такими словами, как «пажити», «вертоград», «благодушество», «земные цари» и т. д., но и своей интонацией, своим грамматическим строем.

Совсем другая окраска придана Некрасовым речи биржевиков, спекулянтов, банковских и железнодорожных дельцов.

Плод этой меры в графе дивиденда
Акционеры найдут:
На сорок три с половиной процента
Разом понизился труд,—

говорит один из персонажей его сатиры «Современники». Все это показывает, с какой замечательной точностью поэт воспроизводил в своем творчестве стилистические особенности речи, свойственные отдельным общественным группам, существовавшим в тогдашней России.

В каждом данном случае Некрасов производил строгий отбор слов и словесных конструкций для характеристики того или иного лица, являющегося типичным представителем определенного социального строя.

Здесь языковое богатство Некрасова кажется почти неисчерпаемым.

Особенно пристально изучал он в течение всей своей жизни народную речь. Он знакомился с нею не только «по наслуху» — во время своих скитаний по русским деревням и селениям.

Он пристально читал всевозможные книги, где были собраны произведения устного народного творчества: песни, причитания, загадки, поговорки, пословицы и т. д.

Следы этого изучения встречаются в его поэзии нередко. Например, та часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая носит заглавие «Крестьянка», в значительной мере основана на песнях даровитой сказительницы Ирины Федосовой, собранных в 1872 году известным ученым Е. В. Барсовым («Причитания Северного края»).

При этом необходимо отметить, что всякий раз, когда Некрасову случалось встретить в фольклорном тексте какое-нибудь областное слово, не входящее в общенациональную речь, он почти всегда отвергал его и заменял таким, которое было доступно для каждого русского.

X

В центре своей поэзии Некрасов поставил крестьянина. Больше всего стихов написано им о деревне. Поэт был далек от огульного восхваления крестьян: он видел их темноту, их забитость, порожденную тысячелетней неволей, и не скрывал от себя, что в их среде есть «великие грешники» — Глебы, Калистраты и Власы. Но именно потому, что Некрасов был органически связан с народными массами, он знал, как неисчерпаемы силы народа. Оттого-то таким оптимизмом проникнуты его вещие строки о том «широком пути», к которому «рано или поздно» пробьется талантливый русский народ:

. . . . . ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены,
Пред ним широкий путь.

О тех людях, что чуждаются народа и не видят его нравственных сил, он говорил как об отщепенцах и выродках:

Разумной-то головушке
Как не понять крестьянина?
А свиньи ходят по́ земи —
Не видят неба век!..

Даже рабство, по убеждению Некрасова, не могло сокрушить нравственную силу крестьян:

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Так как весь крепостнический строй держался чудовищным лицемерием и ханжеством тогдашних хозяев жизни, Некрасов считал своим долгом разоблачать их «всероссийскую ложь», срывать с них всякие благовидные маски, обнажая «под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы»[1].

Этому «срыванию масок» посвящены такие стихотворения Некрасова, как «Современная ода», «Секрет» и др.

И в городе Некрасов увидел тех же бесчисленных тружеников, эксплуатируемых теми же верхами помещичье-буржуазного общества. Капиталистический город всегда изображался Некрасовым с точки зрения этих «униженных и оскорбленных» людей:

Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета,—
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.

Но не только «грустную мечту» открыл в этих людях Некрасов — он зорко подметил в них «тайную злобу»:

Запуганный, задавленный,
С поникшей головой
Идешь, как обесславленный,
Гнушаясь сам собой.
Сгораешь злобой тайною...

«Тайная злоба» городской бедноты впервые стала явной в поэзии Некрасова. «Злоба во мне и сильна и дика»,— писал он еще в 1845 году и громко выражал эту революционную «злобу», эту «святую ненависть» в течение всей своей творческой жизни.

В его «злобе» не было отчаяния. Напротив, Некрасов никогда не сомневался, что владычеству «сильных и сытых» рано или поздно придет конец. Он любил напоминать в своих стихах, что Петербург порождает не только угнетателей городской бедноты, но и бесстрашных борцов за народное счастье, отдающих все силы на разрушение того общественного порядка, при котором такое угнетение возможно. Обращаясь к Петербургу, он писал:

---

[1] В. И. Ленин. Памяти графа Гейдена, т. 16, с. 43.

. . . . . В стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.

Этими строками он, несмотря на все цензурные препятствия, стремился напомнить читателям, что в том же царском Петербурге появились и Радищев, и декабристы, и петрашевцы, и Чернышевский, и несметное множество идущих за ними революционных борцов.

Ни отчаянная нищета трудящихся масс того времени, ни их беспросветное рабство не поколебали веры Некрасова в то, что они завоюют себе счастливое будущее, и всякий раз, когда он заговаривает об этом будущем счастье народа, его сумрачный стих становится неузнаваемо светел:

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая —

Встали — не бужены,
Вышли — не прошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется —
Несокрушимая!

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!..

«Золото, золото сердце народное!»... Некрасов не только провозгласил эту истину, но и воплотил ее в широко обобщенных поэтических образах. И мы, его потомки, никогда не забудем, как много сделал Некрасов своей гениальной поэзией для того, чтобы русский народ мог найти путь к завоеванию своего счастья.

К. И. Чуковский

И. А. КРЫЛОВ

Избранные сочинения

Сатирические произведения

Из «Почты духов»

Письмо XXVI

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Третьего дня, любезный Маликульмульк, перелетел я в ближний остров из старого, в котором был прежде. Нетерпеливость удовольствовать странное желание Плутона[1] принудила меня сделать немалый скачок; но я думаю, что и еще триста таких скачков не наведут меня на желаемую находку.

Со всем тем, не совершенно отчаиваясь, на сих днях утром прохаживался я по одной из знатнейших улиц здешнего города и вдруг увидел перед собою великолепный дом, у коего было многочисленное собрание народа, желающего туда войти. Множество изуродованных стариков старались перегнать здоровых, и хромые, припрыгивая на своих костылях, завидовали безруким, которые их выпереживали. Между тем полдюжины сильных лошадей привезли небольшой ящик, в котором, как показалось мне, положена была человеческая фигура из разных цветов мрамора.

— Боже мой! — сказал я моему хозяину (он делал мне честь, прохаживаясь со мною),— или ваши лошади очень слабы, или жители здешнего острова безрасчетны, что впрягают шесть*[2] таких сильных тварей под одну каменную статую, в которой весу не более двадцати пяти пуд.

— О какой статуе изволите вы говорить? — спросил у меня хозяин.— Здесь не вижу я никакой статуи,— продолжал он,— а этот табун лошадей привез сухощавого человека, в два аршина и два вершка ростом, в коем весу не более сорока шести или осьми фунтов.

---

[1] Мифологические имена, малоупотребительные и специальные или устарелые слова объяснены в Словаре, стр. 686—690.

[2] Пояснения слов, отмеченных звездочкой, см. в Комментариях, стр. 669—685.

После сего еще другие табуны лошадей, подвозя таких же чудных творений, пылили своим топотом глаза нескольким бедным людям, кои тащили на себе превеличайший камень к строению какого-то публичного здания.

— Государь мой,— сказал я моему хозяину,— пожалуйте, растолкуйте мне это странное обыкновение: для чего здесь множество лошадей возят на себе одного человека, который, как я вижу, сам очень изрядно ходит; а, напротив того, тяжелый камень тащат столько людей, сколько числом и лошадей поднять его едва в силах? И не лучше ли бы было, чтобы отпрягши от этих ящиков хотя по нескольку бесполезно припряженных лошадей, употребить их на вспоможение этим беднякам везти камень?

— Я не знаю, сударь,— отвечал хозяин,— почему здесь десять человек тянут часто ста по два пуд и почему шесть лошадей тащат машину с руками и с ногами в шестьдесят фунтов; но то знаю, что всякий из сих надутых тварей почтет себе величайшим оскорблением, если отпрячь хотя одну лошадь от его ящика, и что многие из здешних жителей мучатся от пятидесяти лет и более только для того, чтобы нажить шестерку лошадей, которая бы таскала их истощившуюся мумию.

— Но какая выгода сих господ,— спрашивал я,— перед теми, коих возит одна пара?

— Та,— отвечал он,— что они нередко, пользуясь своей шестернею, сминают их на дороге; а притом и все пешеходцы отдают всякой шестерне всевозможное уважение и уступают дорогу для того, что она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы. Посмотрите, как все прохожие у этого дома теснятся и мнут друг друга, чтобы не быть задавленным прискакивающими ежеминутно табунами.

— Вижу,— отвечал я,— но скажите мне, какое здесь собрание и что это за дом?.. Не храм ли?

— Нет.

— Не театр ли?

— Нет.

— Так не аукционная ли комната?

— И то нет,— отвечал мне хозяин,— а все это вместе. Храмом можно назвать этот дом потому, что всякое утро бывает в нем поклонение живому, но глухому и слепому идолу; театром потому, что здесь нет ни одного лица, которое бы то говорило, что думало, не выключая и самого сего божества; а аукционною комнатою потому, что тут продаются с молотка публичные достоинства. Итак, некоторые из сего народа, бродящего в комнатах и на крыльце, приехали сюда для того, чтобы сделать поклонение сему идолу и потом надуться гордостию, если он хотя нечаянно на них взглянет; другие затем, чтобы с улыбкою уве-

рить его о своей дружбе тогда, когда стараются они ископать для него тысячу погибелей; а третьи прискакали с поспешностью, чтобы набивкою цены перехватывать друг у друга публичные места, которые его секретарь и старшая любовница продают с молотка во внутренних своих комнатах. Теперь вы видите,— продолжал он,— что это дом знатного барина; а правда ли то, что я вам говорил, что, если вы туда войдете, вся эта толпа будет вам служить очевидным свидетелем.

— Но когда можно туда войти? — спросил я.

— Вы еще и теперь успеете,— отвечал он,— на дворе очень рано, сюда только что начали съезжаться; вот еще осьмнадцать скотов притащили трех бесполезных человек. Ступайте скорее, если вы любопытны: там сегодня прекрасное собрание.

И я, не медля нимало, продрался в покои.

Многочисленное общество здоровых и изуродованных бедняков наполняло переднюю комнату; бледные их лица и изодранные платья показывали, сколь нужна была им помощь; вольность и веселие были изгнаны из сих печальных стен; многие женщины плакали, рассказывая о своих несчастиях близ стоящим, но редкие им сострадали, а всякий занимался более своими собственными злополучиями. Отягченные усталостию и летами старики облокачивались своими седыми головами о холодные стены и в дремоте забывали и о вельможе, и о своих бедствиях, доколе больные несчастливцы не разрушали слабого их забвения своим оханьем. Некоторые женщины приводили туда своих младенцев, конечно, для того, чтобы более возбудить о себе сожаление в вельможе. Бедные матери, чтобы утешить своих детей, которые просились домой, давали им куски черствого и засохлого хлеба, и множество голодных просителей с печальной завистью смотрели на ребенка, который, может быть, доедал последний кусок в своем доме. Словом, прихожая сего барина походила более на больницу убогого дома, нежели на комнату знатного господина; и в самых темницах, любезный Маликульмульк, едва ли можно найти более бедности и уныния.

— Не ошибкою ли я сюда вошел? — спрашивал я близ меня стоящего старика.— Мне сказали, что это комнаты его превосходительства***.

— Точно, сударь,— отвечал старик,— это его прихожая или, лучше сказать, прохожая, ибо он только через нее проходит к своей великолепной карете, не успевая и взглянуть на множество бедных просителей, которых обманчивая надежда не замедливает опять приводить в его дом.

— Как,— вскричал я,— и его окаменелое сердце не трогается воплем сих несчастных женщин, сих стариков и изуродованных просителей! Он имеет жестокость не внимать их стонам!

— Внимать, сударь! — говорил печально старик,— они ими

утешаются: множество просителей составляет великолепие вельмож, и они наперерыв стараются накапливать их большее число, поманивая иногда пустыми обещаниями. Я сам, государь мой, я сам поседел на этой скамейке; целых двадцать лет я был зрителем и действующим лицом сего плачевного театра; однако ж еще и ныне ничуть не надеюсь скорого решения моего дела, которого со всем тем оставить мне никак не можно. Я вижу,— продолжал он,— что вы еще новы в здешнем месте.

— Это правда,— отвечал я,— и я бы просил вас удовольствовать в некоторых вопросах мое любопытство... Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие находящиеся в сей комнате.

— Это бумаги,— говорил старик,— называемые просительными письмами; просители стараются как можно чище и красноречивее их написать: они самыми живыми красками доказывают в них свою бедность или несчастия, которые иногда столь ясно описаны, что могли бы иметь успех и у самого жестокосердого вельможи.

— Они, конечно, смягчают,— спросил я,— сих бояр?

— Нимало,— отвечал старик,— знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма, и потому-то красноречие самого лучшего писателя остается без действия.

В сие время услышал я позади себя оханье одного безногого, который сидел в углу комнаты, и я осмелился спросить у него о причине столь великой его горести.

— Я вздыхаю, сударь, о том,— отвечал он мне,— что у меня оторвали ногу, а не голову: я бы вечно не знал, что такое есть прихожая знатных. Года с четыре назад,— продолжал он,— некоторый знатный господин предложил мне вступить в военную службу, он описал мне самыми разительными словами, какую могу я сделать пользу своим землякам, сделавшись хорошим воином; сердце мое наполнилось тогда жаркою любовию к отечеству, и я, оставя торговлю, посвятил себя войне. Имея отважный дух, всячески старался я оказывать себя во всех сражениях, покуда пушечное ядро не наказало моего безумного бешенства: оно унесло мою ногу, а с нею вместе и покровительство моего начальника, которому нужны были любимцы с обеими ногами. Мне, однако ж, сказано, что я могу иметь пропитание от отечества, которому жертвовал собою. Наконец, я уволен от службы, нажив в оной тридцать ран и деревянную ногу. С таким-то прекрасным доказательством моей храбрости явился я к сему вельможе; он очень учтиво меня принял и обещал мне выходить порядочное пропитание; с такою радостною надеждою таскаюсь я к нему уже четыре года на моей деревяшке; но он иногда изволит меня увещевать, чтоб я пообождал до случая, выхваляя передо мною самыми отборными словами терпение... Я верю,

что его похвала прекрасна и красноречива; но верю также и тому, что я со временем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду...

Едва докончил он свою повесть, как голосов в шесть закричали: «Вот он! вот он!» — и все зачали обступать какого-то толстого человека, который с довольною гордостию отвечал на низкие поклоны заслуженных стариков, которые гнулись перед ним до пояса... Я продирался, как мог, сквозь просителей, и не успел еще продраться, как они опять закричали: «Он ушел!»

— Кто это был,— спрашивал я у них,— не сам ли его превосходительство?

— Нет,— отвечал мне какой-то осиплый голос,— это его комнатный служитель, которого мы просили, чтобы он доложил об нас его превосходительству, но нам сказали, что он сам скоро выйдет и что велено уже подавать карету.

Тогда многие зачали вновь перечитывать и приготовлять свои письма, а я между тем пошел далее и, прошед комнаты через две, увидел совсем другое зрелище.

Я вошел в комнату, которая вся наполнена была чиновными и богатыми, которые с гордостью смотрели друг на друга. Там богатый откупщик стоял нерадиво у окошка и выслушивал повесть у чиновного; надутый гордостию судья зевал в креслах, между тем как перед ним молодой офицер рассказывал о своих двадцати победах: как он переколотил своею рукою с семьсот человек неприятелей и выломил городские ворота, не получа ни одной раны, за что, будучи одобрен свидетельством своего дядюшки и под покровительством своей бабушки, приехал просить богатого награждения. В другом месте стихотворец, надув щеки, читал с важностию ничего не значащие свои бредни, которые украсил он именем его превосходительства, прописывая, что он, не имея в виду никакой корысти, подносит ему свои труды, как покровителю наук, который никогда не оставляет дарования без награждения; или, лучше сказать, он начинал свое письмо хвалою своему некорыстолюбию, а оканчивал тем, что просил за свою книгу хорошей платы.

Сей последний сделал мне честь своими учтивостями и, подошед ко мне, показывал свое приношение. Это была книга о златом веке; я прочел в ней несколько строк, в которых автор, браня изо всей силы нынешние времена, выхвалял те годы, которые были за тридцать тысяч лет до нашего времени.

— Я сомневаюсь,— сказал я ему,— понравится ли ваша книга его превосходительству: вы в ней хвалите такой век, в котором не было ни бедных, ни богатых, ни знатных, ни просителей,— и подносите ее знатному вельможе.

— О, это ничего, сударь! — отвечал мне автор,— наши вельможи держат у себя в библиотеках самые прекрасные нравоуче-

ния и самые острые критики; но со всем тем никогда не жалуются на авторов, для того что их не читают. Здешнему вельможе можно, не опасаясь нимало, поднести на него самого три тома сатир, за которые иногда из тщеславия заплатит он деньги и отдаст своему библиотекарю.

— Как! — спросил я,— кто ж у вас читает Платоновы сочинения «О должностях», «Наставление политикам», «О состоянии земледельцев» и «О звании вельмож»?*

— Купцы и мещане,— отвечал автор,— а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басни.

— Так поэтому,— сказал я,— вы бы лучше сделали, если б поднесли ему какую-нибудь книгу такого содержания.

— О! как вы мало знаете свет! — вскричал автор.— Поверьте мне, сколько бы ни веселила его такая детская книга, но он заплатил бы за нее одним презрением, и сколько бы, напротив того, ни скучна была книга под нравоучительным названием, но я, конечно бы, был изрядно за нее заплачен: наши вельможи совсем не таковы в свете, каковы в своих кабинетах; в публике часто они бранят то, что у себя жалуют, и часто наружно хвалят то, что внутренне ненавидят: спросите у всякого вельможи, каковы для него кажутся «Юстиевы рассуждения» и «Примечания» Ришелье?* Он вам побожится всем, чем хотите, что он ничего вечно не читывал основательнее и умнее сих сочинений; но если вздумаете вы спросить о содержании этих книг, то редкого вельможу не приведете таким вопросом в смущение. Вот,— продолжал он,— каковы у нас многие вельможи; со всем тем все почитают их счастливыми, и мелкочиновные всячески ищут быть на их месте, которое получа, не один раз в сутки проклинают; что до меня, то я лучше хочу доставать от них за подносимые мною книжки деньги, нежели, быв на их месте, платить за то, на что никогда взглянуть мне не удастся.

— Но скажите мне, знаете ли вы сего вельможу коротко? — спрашивал я моего оратора.— Признаюсь вам, что я нахожу великую разницу в вашем письме с тем, что видел собственными моими глазами: вы выхваляете его добродетель; а я в его прихожей приметил несколько человек, которые в двадцать лет не испросили еще от него ни одной милости; вы превозносите его снисхождение, а он ничьих просьб не слушает, почитая уже и то важным, когда мимо своих просителей пробежит к своей карете; да и сего часто не делает, а выезжает со двора совсем с другого подъезда.

— О! сударь,— вскричал сочинитель,— конечно, вы очень мало обращались между людьми, когда не знаете, что это правило подносительных писем: в них почти всегда одними словами выхваляется тот, кому подносится книга, хотя подноситель

не только его подробно, но и имя его мало знает, оттого-то вельможи с самого начала своей знатности, читая в письмах, сколь они добродетельны, думают о себе, что и в самом деле публика о них так заключает, и не стараются подтверждать своими делами то, что мы пишем в письмах.

— Но если каким-нибудь случаем не удастся вам получить от них награждение,— спрашивал я,— что вы тогда делаете?

— Мы пишем на них сатиры,— отвечал он,— и хотя они их не читают, но мы делаем так, как маленькие ребятки, которые по привычке плюют на тот столб, о который ушиблись, и думают, что тем ему довольно отмстили; мы...

Вдруг отворилась дверь, и все расступились на две стороны, чтоб дать дорогу.

Вельможа, убранный великолепно, вышел из своего кабинета с веселым видом; он очень учтиво кланялся на все стороны; со многими улыбался, а иным шептал на ухо, и они почитали себя счастливыми. После того принимал он письма со уверением, что через два дни все их рассмотрит; но я уже имел причину тому не верить.

Я приметил, что многие просительные письма были довольно толсто свернуты*, и такие принимались с большею благосклонностью, а наполненные одним красноречием отдавались секретарям. Между тем продрался мой сочинитель и с нижайшими поклонами поднес ему свою книгу.

— Будьте уверены,— сказал ему вельможа,— что дарования ваши не останутся забыты: я не премину наградить вас при первом случае; я уже знаю, что книга ваша прекрасна. Возьмите,— сказал он одному из своих приближенных,— и отнесите ее ко мне в кабинет; я надеюсь заняться ею через несколько дней.

Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, как я приметил, вошед в кабинет, бросил ее под стол, наполненный старыми бумагами. Между тем вельможа продолжал степенно шествовать к прихожей, кланяясь на обе стороны всем и ни на кого не смотря; он делал внимательное лицо ко многим словесным просьбам, из которых, однако ж, ни одного слова не выслушивал, а был занят, как я приметил, совсем другими рассуждениями. При приближении ж к дверям пустился он, как молния, чрез прихожую, закутавшись в свой плащ и не внимая тысяче голосов, относящих к нему просьбы несчастных, и едва успел сказать им всем, чтобы побывали они *завтра*, как, севши в карету, пропал из вида и оставил в отчаянии бедных просителей.

— Что до меня,— сказал толстый судья,— то я всего вернее надеюсь получить обещанное место; красноречие золота никогда не обманет. Пусть бедные стонут, что их не выслушивают; но мы,

у которых кошельки плотны, мы, право, не имеем причины жаловаться на вельмож: правда, что мы дорого им платим, но наши челобитчики после заплатят нам то с выгодою, что мы отдаем вельможе за то, чтобы высасывать из кошельков у просителей.

— И я,— сказал молодой повеса, который хвалился, что побил семьсот человек,— не меньше вашего надеюсь получить награждение; бабушка моя родня комнатной девушке его любовницы; а предстательство сей нимфы дороже всяких свидетельств; если бы я, и совсем не показываясь к сражению, всклепал на себя, что перебил три тысячи человек, то и тогда бы мне поверили и наградили бы мою храбрость. Пускай трудятся бедняки, не имеющие предстательств; нашу братью нередко более награждают за храбрый язык, нежели их за храбрые дела.

Вот, любезный Маликульмульк, какого я нашел вельможу: говорят, что здесь есть много из них добродетельных; но и один порочный делает пятно правительству, лишая счастия многих достойнейших себя людей.

ПИСЬМО XLV

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку

Недавно, почтенный Маликульмульк, пролетал я поверх столицы Великого Могола. Сей город обширностию своею и великолепием обратил на себя мое внимание, которое тем более умножилось, когда приметил я подле одного огромного здания великое собрание народа. В ту ж минуту, спустившись в город, сделался я невидимым и пошел прямо в тот дом. Я узнал, что то был дворец, и, прошед до внутренних чертогов, увидел там молодого государя, окруженного своими вельможами, который по смерти своего отца в тот самый день взошел на престол. Я с великим любопытством желал видеть, что будет происходить при сем достопамятном случае и для того, подошед, стал подле самого юного владетеля. Не без удивления взирал я на льстивые приветствия, деланные сему государю от всех представших пред него для поздравления, или, лучше сказать, для гнусного ласкательства. Я хочу уведомить тебя, почтенный Маликульмульк, о всем, что там в глазах моих происходило.

Стихотворцы той земли подносили сему государю сделанные в похвалу его свои сочинения, в которых выводили род его от богов. Вельможи, повергаясь к ногам его, говорили:

— Хотя мы любили покойного твоего родителя, но тебя любим и почитаем гораздо больше. К нему привержены мы были по нашей только должности; но к тебе прилепляемся всеми

нашими сердцами. Он осыпал нас благодеяниями; но как ты одарен превосходнейшим пред ним разумом, то мы ожидаем от тебя более щедрости и за сию цену готовы пролить за тебя кровь нашу до последней капли, в каком бы то случае ни было: для побеждения ли врагов твоих, или для приведения в повиновение тех из твоих подданных, которые вздумали бы осуждать оказанные тобою нам милости.

— Высокомощный государь! — возопил один из них,— доставь мне честь держать стремя у ноги твоего блистательного величества, со ста тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и препоручи, из милости, в мое управление небольшую область, которая не более пятисот миль заключает в своей окружности.

— С охотою сие исполню,— сказал ему государь,— но когда ты будешь жить в той области, которая расстоянием отсюда четыреста миль, то кто тогда будет держать мое стремя?

— Ваше пресветлое величество,— ответствовал придворный,— вот здесь предстоит пред тобою молодой мандарин второй степени, который почтет превеликою честию исполнять сию должность в мое отсутствие и быть при лице твоего августейшего величества, ежели только определишь ты ему ежегодно по две тысячи рупиев и дашь в его управление двенадцать кораблей, которые препоручит он своему помощнику, дабы самому всегда быть в готовности держать твое стремя.

— Ваше благоуханное величество! — вскричал другой,— понеже каждая из твоих потовых скважин подобна самочистейшей амбре, которая при сгорении своем испускает от себя приятнейшее благовоние, и понеже каждая исходящая из тебя капля твоего пота имеет ароматный запах, то для того всенижайше тебя прошу удостоить возложением на меня почтенной и увеселительной должности чистить твое белье и отирать грязь с твоего тела. Буде же соблаговолишь ты присоединить к сей приятнейшей должности чин главного начальника над всем твоим конным войском, то тем исполнишь желание твоего усерднейшего раба, который не питает в груди своей нималого корыстолюбия и который желает получить из твоего сокровища четыре или пять тысяч рупиев единственно для того, чтобы быть в состоянии иметь самые тонкие и всегда чистые платки, которыми благоугодно тебе будет приказать мне стирать с твоего благоуханного тела пот и грязь, коих запах весьма приятен для всех окружающих твою величественную особу.

По сем третий, подступя, говорил:

— О божество, обитающее на земле! Ты вкушаешь по четыре раза в день единственно для того, дабы сим примером учинить для нас наши нужды сносными; удостой меня быть

твоим хлебником, а вместе с оным повели, чтоб я имел честь представлять славу твоего победоносного величества у двора китайского императора.

— Но ты...— сказал монарх.

— Правда,— перехватил мандарин,— что я не знаю языка китайского, а еще менее того мне известно, какие дела твои могут быть с государем китайским; но ты будешь во мне иметь в Пекине человека надежного, который со всем усердием будет там представлять собою образ твоей священнейшей особы и будет точный твой язык. Когда ты скажешь *да*, тогда и я скажу *да*, когда ты скажешь *нет! нет!* и я скажу то же. Если же нужно бы было что-нибудь подписать, то я бы оное подписал, дабы имя твоего полномочного министра не было обесчещено. Тебе потребно только будет дать мне шестьсот рупиев, как такому человеку, который делать будет все, но ничего не будет значить. А как я имею хороший достаток, то и буду доволен одною только честию представлять твое лицо с четырьмя тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и с тремя тысячами для содержания моей важной особы, что составит, с небольшими издержками на проезд, на бумагу, на кисти и на чернила, около девяти тысяч рупиев.

— Я не то хотел сказать,— говорил император,— ты хочешь быть моим хлебником, а я никогда не думал, чтобы ты умел печь хлебы.

— Это правда, ваше сладкоедущее величество, что я печь хлебы не умею, да и никогда ни один главный хлебник из всех бывших при твоих небесных предках не знал даже, как за них и приняться; но я пред всеми ими имею то преимущество, что один из моих секретарей имеет сестру, у которой горничная девка племянница внучатного брата одного из наилучших хлебников в твоем государстве.

На сие государь им ответствовал:

— Не лучше ли бы было, чтоб конюх поддерживал стремя у моего седла, чтоб комнатный мой служитель имел смотрение за моим бельем и чтоб тот человек, который умеет печь столь хорошие хлебы, был непосредственно моим хлебником?

Все предстоящие вельможи единогласно возопили:

— О государь, в пять раз наипремудрейший! Отврати твои проницательные взоры от сих нелепых подробностей, которые умалят твою великую душу: неотменно нужно, чтоб в государстве твоем были чины посредственные и чтоб не тот сам держал твое стремя, которому должно его держать, и чтоб твой хлеб проходил или, по крайней мере, почитался проходящим между рук семидесяти пяти чиновных, прежде нежели достигнет до божественных уст твоих; не помышляй более ни о чем, как владычествовать над нами, и оставь нам попечение об учреждении

всех вещей в надлежащий порядок, без всякого корыстолюбия, чрез посредство восьмидесяти тысяч рупиев, которые ты будешь раздавать каждому из нас ежегодно, и...

В самое сие время, когда вельможи разглагольствовали таким образом с государем и когда весь народ питался безумною утехою (ибо им воэвещено было о возвращении златого века, которого никогда не бывало, и уверяли их, что самые жирные колибри, совсем уже изжаренные, будут к ним ниспадать с небес и что им не нужно будет ни о чем иметь никакого попечения), некто продирался сквозь толпу своего народа, близ царских чертогов предстоящего, и кричал: «Злодеи! они развратят нашего юного государя!..» Народ почел его безумцем, вельможи кричали, что этот человек весьма опасен; а телохранители государевы усматривали ясно в сем дерзком поступке величайшее преступление, и вследствие сих трех основательнейших умозаключении дерзновенный был от всех угрожаем именем императора, который о том совсем ничего не знал. Насилие, делаемое многими против одного человека, произвело некоторое смятение и шум, который наконец достиг до чертогов государевых. «Что там такое? — говорил он.— Кто там?» — «Это злодей...— ответствовали ему.— Это возмутитель...» — «Кто б он таков ни был,— сказал государь,— велите его представить пред меня».

По нечаянности случился там один чиновный, который был несколько уважаем потому, что имел право выгонять из комнат собак и заставлять молчать придворных, находящихся в царской прихожей. Этот самый чиновный, также по особливому случаю, был покровителем тому дерзновенному человеку; он тотчас узнал его по голосу и, видя, какому бедствию тот себя подвергал, забыл всю должную скромность и не мог воздержаться, чтобы по чувствительности своей не оказать о нем своего сожаления... «Ах, несчастный!» — сказал он. «Как! Ты его знаешь?» — спросили у него. «Да, немного».— «Кто же он таков?» При сем вопросе придверник, побледнев и затрепетав от страха, говорил сквозь зубы: «Он... это бедняк... это один... из тех... которые... пишут».— «Как его зовут?.. так это писатель?» — «Да... он... пишет книги».

Старший из эмиров, предстоящих пред государем, ему сказал:

— Ваше непостижимое величество, жизнь всех людей в твоих руках: повели сего дерэновенного предать казни; это не первое уже его преступление. Он обманщик; он бродяга; он скитался по всей земле под предлогом искания истины; не унижай себя до того, чтоб войти с ним в разговоры; ты тем только себя обесчестишь, но его ничем не уличишь; он всегда тебя будет уверять, что говорит истину; он из всех людей, коим ты позволяешь наслаждаться жизнию, самый опаснейший: о нем

сказывали, что он геогра... Нет! Геометр. При каждой подати, которую мы налагаем на народ твоим именем, он делает вычисление, соображая справедливость сего налога с возможностию оный платить. Еще не прошло трех лун от того времени, когда дерзал он предлагать, чтоб сделать уравнение в цене жизненных припасов с ценами разных безделок, служащих к нашему украшению, так, как бы должна была быть соразмерность между оными вещами.

— Я тебя понимаю,— сказал юный Могол,— однако ж хочу выслушать и сего человека. Подойди сюда, друг мой! Стражи! пропустите его... какое твое преступление?

— Истина, государь! — ответствовал смельчак.— Все мудрецы, жившие в прежние веки, говорили, что чрезмерная похвала, а притом и без всяких еще заслуг, повреждает доброту природных склонностей: самый же опыт доказал мне справедливость сих изречений, ибо в самом деле те государи, кои наиболее в жизни их превозносимы были похвалами, не были от того лучшими.

— Изъясни мне сие,— сказал монарх.

— С охотою,— ответствовал ему друг истины,— внемли, почтенный юноша!..

— Ах! Какое богохулие! — возопил эмир и выхватил из ножен широкий меч.

Но император одним взором своим усмирил эмира и, повелев ему вложить меч в ножны, приказал оратору продолжать свою речь. Тогда он девять раз повергался к ногам его и три раза лобызал ноготь второго пальца у левой ноги императорской в знак всеуниженнейшей благодарности, следуя обычаю той земли, потом, положив руку на свою чалму и не снимая ее, также следуя обычаю, говорил:

«Почтенный юноша!

Ты был предназначен вышним провидением владычествовать над великим народом; но гнусная политика или, лучше сказать, подлое ласкательство сокрыло от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Между тем непредвидимый удар поспешил минутою твоего владычества; ты восходишь теперь на родительский престол, и тщеславное властолюбие, из коего ты доселе не делал никакого употребления, еще тебя не ослепило; ты учинился монархом, но не перестал еще быть человеком; ты должен теперь принимать поздравления от всего рода человеческого.

Уверяют, что ты ищешь истину. Итак, видно, ты не хочешь умножать число тех высокомерных государей, которые во время царствования своего были только знаменитыми злодеями, а пред-

почтеннее пред оным желаешь быть постановлен между малым числом государей добродетельных. Да возблагодарим за сие троекратно бога!

Почтенный юноша!

Внемли... Если государи не любят истины, то и сама истина, с своей стороны, не более к ним благосклонна. Она их не ненавидит, но страшится и не иначе сносит их присутствие, как целомудренная девица приемлет объятия своего похитителя.

Есть, однако ж, такие примеры, что она и коронованных глав имела своими любимцами; и буде слава могла бы быть наследственною, то я мог бы назвать тебе некоторых из твоих предков, к которым она оказывала немалое уважение и являлась пред их лицо во всей наготе своей; но заслуги предков никому не придают знаменитости, и ты не можешь требовать ее благосклонности, не учинившись делами своими того достойным.

Помни, что для монархов не всегда довольно бывает одного только того, чтоб любить истину и оною обладать; ибо троякая личина корыстолюбия, страха и ласкательства прикрывает все лица, повергающиеся у подножия престола, и величество твоего достоинства есть главнейшая препона, которую ты паче всего преодолевать должен в желаемом тобою искании истины.

Ты не обрящешь ее в устах тех льстецов, которые, без сомнения, находятся между окружающими тебя вельможами. Есть, конечно, между ими некоторые и такие, которые желали бы наставить тебя на путь истины, если бы только могли иметь дерзновение или не находили бы почти таковых же препятствий, какие предстоят тебе для ее познания. Глас народа также не может быть надежнейшим способом для ее открытия. Итак, к кому же ты должен прибегнуть в сем случае?.. к мудрецам твоего государства!

Но ты должен знать, что мудрец не есть из числа тех угрюмых смертных, имеющих нечувствительное сердце и отвратительный вид, которые никогда ничего не хвалят, которые на все непрестанно произносят хулу и суровостию своею оскорбляют наши слабости, не делая нас лучшими.

Он не являет в себе также излишнего восторга и неумеренной привязанности к человеколюбию, ибо таковое неблагоразумное сострадание приводит оное в большое ослабление и потому не сострадает равно как о преступнике, заслуживающем достойную казнь, так и о невинном, сильными притесняемом: таковой может назваться человеконенавистником, который думает, что вся чувствительность заключается в одном только его сердце, и он скоро бы учинился жертвою других людей, если бы успел поселить в них те чувства, которые сам к ним оказывает.

Еще менее уподобляется он тому строгому отшельнику, коего великое смирение питается желчию умерщвления страстей, коего разум, будучи возмущаем более страхом, нежели слабою надеждою, с свирепостию пожирает сие гнусное противоборствие, который не иначе, как с проклинанием исполняет должности, налагаемые на него его своенравием. Будучи надмен, и еще более того несчастен тем, что лишился всей чувствительности, осуждает он в другом употребления тех чувств, которые сам в себе умертвил долговременным усилием. Он тем более превозносится своею строгою жизнию, чем мучительнее было для него преодолевать бунтующие в нем страсти; а потому всякого того почитает своим врагом, кто опорочивает сии его поступки. Таковой может почесться гнусным обманщиком, ибо он единственно для того превозносит похвалами носимые им тягостные оковы, дабы обременить оными тех, коих блаженство причиняет ему несноснейшее мучение.

Почтенный юноша!

Мы все карлы: один только бог велик. Для сего-то самого он поместил добродетель не на бесплодной вершине неприступной горы; но на жертвеннике, соплетенном из роз, находящемся посреди прекраснейшей рощи, которая в тысячу раз прелестнее той, где мы полагаем быть жилищу Вистнову. При входе в оную лежит сто дорог! Премудрый строитель мира столь искусно расположил сие место, что путешественник при первом туда вступлении с утешением бывает влеком к концу своих желаний.

Неподалеку оттуда находится излучистая пещера, в которой обитает тень *Совершенства*. Путь, туда ведущий, познается по колючим терниям и по великому множеству *затруднений*, непрестанно между собою сражающихся, желая получить жезлы и мечи, приготовляемые *самолюбием* для увенчания *тщеславия*.

Итак, ты должен различать истинного мудреца от хитрого обманщика, который, нося на себе обманчивую личину, старается притворною наружностию таковым казаться.

Истинный мудрец имеет вид веселый, взор неробкий и усмешку непринужденную. Его черты никогда не помрачаются неумеренною радостию, ни чрезвычайною печалию: его непритворная веселость означает спокойствие души его. Он не всегда бывает счастлив; однако ж никогда не терпит несчастия, для того что его не терзает никакое угрызение совести. Посреди самого бедствия сохраняет он совершенное равновесие, которого никакое благоденствие и никакие дары счастия поколебать в нем не могут.

Хотя мудрец, так же как и другие люди, бывает подвержен страстям, но он из них умеет делать лучшее употребление.

Почтенный юноша!

Ежели ты найдешь такого мудреца между многочисленными обитателями обширного твоего владения, прилепись к нему и привлеки его к себе своими милостями; удостой его твоей доверенности и позволь ему с собою беседовать; чти его, как отца, и люби, как друга! Когда же ты делами своими достигнешь до того, что и он тебя будет почитать своим другом, и когда, следуя мудрым его наставлениям, будешь ты уметь различать истинную похвалу от ласкательства, тогда можешь принимать от всех похвалы, без всякой опасности ими развратиться, ибо тогда ты будешь человеком, достойным владычествовать над всеми земными обитателями.

Вот что я хотел тебе сказать. Я тебя не хвалил, но изъяснил, как должен ты поступать, дабы сделаться похвалы достойным».

Тогда государь, обратясь к придворным, сказал:

— Этот человек кажется мне не столь безумен и злобен, как вы о нем мне говорили; я беру его под мое покровительство и приказываю, чтоб никто не дерзал делать ему ни малейшего оскорбления и чтоб дали ему из моей казнохранительницы богатое платье и тысячу рупиев.

Придворные, услыша сие, ворчали что-то тихонько сквозь зубы, а придверник, который устрашился оттого, что защищал сего мудреца, опять принял на себя веселый вид.

После сего юный император сделался задумчив. Придворные заключали из того, что в нем не было разума, а один из них, будучи смелее прочих, дерзнул вопросить государя: что такое могло возмутить спокойствие его величества в день, посвященный всем веселостям, и когда он со всех сторон осыпаем бесчисленными похвалами?

— Оттого-то я и смущаюсь,— ответствовал юный владетель,— что я еще не заслужил сих похвал; может быть, со временем я буду их достоин и тогда наслаждаться буду ими с большим удовольствием потому, что я люблю истину.

Старый эмир, который хотел отрубить голову мудрецу, чтоб заставить его молчать, вскричал:

— Государь! Я о заклад бьюсь, что этот негодный умствователь, который теперь говорил пред тобою дерзкую свою речь, смутил веселый дух твоего проницающего величества. Сии опасные люди приносят с собою унылость, и я думаю, что он поверг бы в задумчивость и самого Вистну, находящегося посреди семисот тридцати девяти прекрасных девиц, которые непрестанно щиплют ему бороду, в восемнадцатом небе. Да будет троекратно проклят этот возмутитель со всею своею истиною! Для разогнания мрачных паров, которые дерзнул он разлить на нерушимое твое спокойствие, в то время когда ты не должен ничего знать,

кроме забав и веселостей, всенижайший раб последнейшего из слонов твоих советует тебе удостоить своим присутствием одно забавнейшее зрелище, которое я приготовил в приемной твоей зале.

— Посмотрим, что это такое,— сказал император,— весело ли оно?

— Очень забавно и чувствительно! — ответствовал эмир.

Придворные все единогласно хвалили выдумку эмира и спрашивали, кто учреждал сие торжество. Им ответствовали, что учредитель оного был Како-Музи-Драма-Лармой-Ризу. При сем имени все вскричали: «А, а! мы его знаем, он человек преискусный!» — «И некорыстолюбивый».— «Он разорил с двадцать мандаринов, не обогатив себя».— «Это правда».— «Да как он мог в такое короткое время приготовить столь великолепное зрелище?» — «Которое притом и очень мало стоит».— «А сколько?»— «Двести тысяч рупиев».— «Как! только двести тысяч! это невероятно».— «Совсем невероятно!..» Говоря таким образом, пошли они все в залу смотреть зрелища; а я полетел в свой путь, проклиная подлость льстецов, которые, кажется, полагают в том свою славу, чтоб сердца монархов отвращать от добродетели и заграждают истине путь к престолу. Пожелай со мною, любезный Маликульмульк, чтоб сей молодой венценосец не подпал участи многих государей, которые слушают ласкательства для своего удовольствия, а наставления мудрецов для того, чтоб по вечерам засыпать от их нравоучения.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ

В память моему дедушке, говоренная его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадью прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах; оба были равно полезны обществу; оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью.

Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо хотя многие

говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству?

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований; кроме сего, имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои, часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях; искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать со своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя; сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом; начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможи и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов, и что никакими выгодами не отличает нашего брата дворянина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои! и если бы эта природа была существо, то бы ей очень

было стыдно, что тогда как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию, когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности, когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении,— тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужли же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству — вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство, а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы, ибо более трехсот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что́ в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства. Наконец появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. «В этом ребенке будет путь,— сказал некогда, восхищаясь, его отец,— он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать: можно отгадать, что он благородной крови». И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ; хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унизить до того, чтобы его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели

с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения: это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем ни кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем. «Друг мой! — сказал беспримерный его родитель,— разве мало вкруг тебя холопей, кого тебе щипать. На что было трогать тебе Задорку. Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, если не хочешь быть укушен. Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь».

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод; изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян, по крайней мере искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

Чадолюбивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать*. Такие успехи устрашили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам* и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнею страницею букваря кончил его курс словесных наук. «Этой грамоты для тебя полно,— говорил он ему,— стыдись знать более: ты у меня будешь барин знатный, так непристойно тебе читать книги».

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву. Ни одна книга не имела до него доступа, я не включаю тут рассуждения Руссо о вредности наук; вот одно творение, которое снискало его благосклонность, по своей привлекательной надписи, правда, он и его не читал, но никогда не спускал с своего камина. «Прочти только это,— говаривал он, когда кто вздумает хвалить перед ним науки,— прочти это, и ты будешь каяться, что в тебе более ума, нежели в моей гнедой лошади. О Руссо — великий человек!» — продолжал он и после этого принимался с подобострастием считать листы в его сочинении. Это было величайшее его снисхождение к учености, которое оказывал он только одному сочинителю «Новой Элоизы»*.

Время наконец наступило записывать его в службу, и редкий родитель его, отпуская, дал сыну своему последнее наставление. «Помни, любезный сын,—говорил он ему,—что у тебя две тысячи душ, помни, что ты старинный дворянин и остался один в своем роде. Итак, береги себя, не подражай бедным людям, которые, не имея куска хлеба, принуждены на службу тратить здоровье. Служи так, чтобы не быть разжалованну, а о достальном не пекись. Пусть бедные ищут чинов, а нашу братью, богатых, чины сами должны искать; будь только порядочного поведения, то есть не выходи из передней знатных, более всего берегись досадить женщине, сколь бы низкого состояния она тебе ни казалась: наружное состояние женщины бывает сходно с молодым деревом, которое сколь ни кажется слабо и презренно, но часто корень его глубоко под землею сплетен с корнем великого дуба, который может задавить тебя своею тяжестию. Короче, вот тебе в двух словах мое завещание: я не требую, чтобы ты возвратился заслуженным, но чиновным».— И после сего наградил он его своим родительским благословением и двумя тысячами рублей на дорогу. Спустя же три дни после его отъезда кончил свою знаменитую жизнь.

Сколь ни жаден был наш герой пользоваться наставлениями, со всем тем благородная его душа неохотно приняла сии последние или, лучше сказать, он из них одобрил половину, то есть, последуя отцу своему, не хотел он служить, но не хотел также состареться в передних. Эти два правила поссорили его с двумя его дядюшками, со службою и сделали философом; суеты большого света скоро ему наскучили; он видел, что куда он ни приходил, то или он зевал, или над ним зевали, и взял миролюбивое намерение расстаться со светом, видя по всему, что они друг другу не надобны.

Редкое великодушие, неподражаемая скромность — сии два любезные качества видны в нем были с самого приезду его в столицу. Честолюбивый на его месте, имея столь знатную родню, как он, не отстал бы от больших обществ и искал бы въезду в первые домы, но герой наш просиживал целые ночи в трактирах. Он убегал пышности и часто под вечерок из толпы завидливых игроков возвращался домой смиренно без кафтана. Он не был злопамятен и очень спокойно обедал там, где накануне били его за ужином, терпелив был до крайности. Я сам, государи мои, был свидетелем, с какою умильною кротостию принимал он побои от своих приятелей и после с ними вместе запивал свое горе. Иной бы честолюбивый, на его месте, повторяю я, был соблазнен примерами большого света и увлечен его суетами, но он равнодушно слушал вести, что такой-то его сверстник пожалован, что тому дано место, другому награждение. Всем этим не тронута была великая его душа, и он, зевая, стоически слушал такие

новости. «Может быть, половину этих чиновников мне же кормить достанется,— говаривал он,— полно и того, что у меня есть две тысячи душ: это такой чин, с которым в моем околотке везде дадут мне первое место»... «Все суета сует»,— так заключал он обыкновенно свои рассуждения и после того, оставясь кругом дюжиною бутылок портеру, садился метать банк.

По сему можете вы заключить, милостивые государи, что общества его были хотя не пышные, но весьма веселые. Правда, замешивались иногда в них люди чиновные, но обыкновенно первые две дюжины бутылок восставляли во всей беседе совершенное равенство и дружество. Но это не было скучное дружество, заведенное лет на пять: нет, это было вольное и благородное дружество — такое, что часто, не конча еще взаимных о нем уверений, вцеплялись друг другу в виски, но без всякой злобы, и нередко для одного препровождения времени.

Вот, государи мои, образ городской его жизни: он, не гоняясь за счастием, искал одних удовольствий; он не ездил по этикету зевать в большие домы, но, любя вольность, часто в своих дружеских беседах засыпал под столом; он не занимался тем, чтоб когда-нибудь привлечь на себя внимание всего света; ему довольно было и того, что имя его знали наизусть во всех трактирах и кофейных домах. Он никогда не намеревался быть политиком, но не для того, чтоб недоставало ему ума: нет, государи мои, он был слишком умен и нередко даже был за это бит от своих приятелей за картами, где более всего щеголял он остроумием. Но как ум гоним в целом свете, то очень скоро наскучил он быть умным и зачал играть в карты с философскою простотою и с благородною доверенностию: друзья его, вместо того чтобы удивляться сим любезным качествам, в два месяца очистили все его имение и оставили нашего философа полунагим, несмотря на то что северный климат совсем не удобен к цинической философии*.

Всякий бы другой изнемог духом в таких стесненных обстоятельствах; всякий бы пришел в отчаяние, но он не поколебался нимало и, сидя дома, с крайним умилением сердца ожидал, как заимодавцы поведут его в тюрьму. Как Юлий, не бежал он от своего несчастия* и даже не выходил за ворота, хотя тогдашними темными вечерами мог он прогуливаться по улице в одном камзоле и туфлях, не нарушая городской благопристойности. Он не искал даже помочь своему несчастию. «Что будет, то будет»,— говорил он, зевая неустрашимо. И судьба наградила его к ней доверенность. Тогда как казалось, что он оставлен от всего света; когда все ворота были для него заперты, выключая ворот городской тюрьмы; когда в кухне его, как в Риме, не осталось ни тени древней славы* и, что всего бедственнее, когда последнюю бутылку портеру у него разбила испостившаяся кошка, искав с таким же

усердием черствой корки, с каким Колумб искал новой земли; когда, говорю я, все сии несчастия собрались вокруг него, тогда родной его дядя, славный своею экономиею, которую храня, двадцать лет уже он не ужинал, вздумал наконец и не обедать, оставя в наследство герою нашему пять тысяч душ и сто тысяч денег.

Может быть, подумаете вы, что это сделало его надменным? Нимало! В тот же день пошел он к знакомому винному погребщику, напился с ним вместе и очень смиренно провел у него ночь на голом кирпичном полу.

Но уже страсти в нем начали угасать, и он, пользуясь прошедшими своими несчастиями, не захотел более ни в которой масти искать счастия*, получил чин, пошел в отставку и намерился удалиться в свои деревни, дабы украсить собою наш уезд; имея же к шумным прощаньям отвращение, уехал из города, не уведомя ни одного своего заимодавца. Может быть, по скромности его, нравился ему также французский обычай уходить не простясь, ибо, свидетельствуют достовернейшие маркеры, что, когда только мог, уходил он по-французски из трактиров, сколь ни убедительно они ему за то пеняли.

Наконец удалился он от городского шуму и вступил в новое поприще для испытания своих дарований, и вы, государи мои, сами были свидетели, как сильно умел он ими блистать.

Едва появился он здесь, как объявил открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово. Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам*. А чтобы вернее их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми, как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в них искать одной только голодной смерти. «Скажи,— спрашивал у него некто,— не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом, желая выжить из него тараканов?» — «Молчи только,— отвечал наш герой,— я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я и обману весь этот

род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок и изобилие».

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома*; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на первом или на втором году своего предприятия.

Вот, государи мои, подвиги героя, которые... Но что я вижу! Любезные мои слушатели заснули с умилением, почтенные головы их лежат, как прекрасные бухарские дыни, вокруг пуншевой чаши. Торжествуй, покойный мой друг! Твои друзья, любя тебя, наследовали твои нравы. Так точно некогда засыпал ты на своих веселых вечеринках с половину окунутым в ендову носом. Уверись, если можешь, на одну минуту от Плутона, взгляни из-под пола на твоих друзей, потом расскажи торжественно адским жителям, какое приятное действие произвела похвала твоей памяти, и пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели, которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими творениями.

Басни

ВОРОНА И ЛИСИЦА

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,—
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло,—
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

ВОРОНА И КУРИЦА

Когда Смоленский Князь*,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил,
Тогда все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися,
Как из улья пчелиный рой.
Ворона с кровли тут на эту всю тревогу
Спокойно, чистя нос, глядит.
«А ты что ж, кумушка, в дорогу? —
Ей с возу Курица кричит.—
Ведь говорят, что у порогу
Наш супостат».—
«Мне что до этого за дело?—
Вещунья ей в ответ.— Я здесь останусь смело.
Вот ваши сестры — как хотят;
А ведь Ворон ни жарят, ни варят:
Так мне с гостьми не мудрено ужиться,
А может быть, еще удастся поживиться
Сырком, иль косточкой, иль чем-нибудь.
Прощай, хохлаточка, счастливый путь!»
Ворона подлинно осталась;
Но, вместо всех поживок ей,
Как голодом морить Смоленский стал гостей —
Она сама к ним в суп попалась.

———

Так часто человек в расчетах слеп и глуп.
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп!

ЛАРЧИК

Случается нередко нам
И труд, и мудрость видеть там,
Где сто́ит только догадаться
За дело просто взяться.

———

К кому-то принесли от мастера Ларец.
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался;
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался.
Вот входит в комнату механики мудрец.
Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом,
Так; он и без замка;
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом;
Не смейтесь так исподтишка!
Я отыщу секрет и Ларчик вам открою:
В механике и я чего-нибудь да стою».
Вот за Ларец принялся он:
Вертит его со всех сторон
И голову свою ломает;
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.
Тут, глядя на него, иной
Качает головой;
Те шепчутся, а те смеются меж собой.
В ушах лишь только отдается:
«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвется.
Потел, потел; но наконец устал,
От Ларчика отстал
И, как открыть его, никак не догадался:
А Ларчик просто открывался.

ЛЯГУШКА И ВОЛ

Лягушка, на лугу увидевши Вола,
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:
Она завистлива была.
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.
«Смотри-ка, квакушка, что́, буду ль я с него?» —
Подруге говорит. «Нет, кумушка, далёко!» —
«Гляди же, как теперь раздуюсь я широ́ко.
Ну, каково?
Пополнилась ли я?» — «Почти что ничего».—
«Ну, как теперь?» — «Всё то ж». Пыхтела да пыхтела
И кончила моя затейница на том,
Что, не сравнявшися с Волом,
С натуги лопнула и — околела.

———

Пример такой на свете не один:
И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелкая, как знатный дворянин.

ПАРНАС

Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов.
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели».—
«Смотрите же,— кричит один,— не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазаных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.

Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.

ВОЛК И ЯГНЕНОК

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».—
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».—
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!» —
«Помилуй, мне еще и от роду нет году»,—
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».—
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины́ твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

ОБЕЗЬЯНЫ

Когда перенимать с умом, тогда не чудо
И пользу от того сыскать;
А без ума перенимать,
И боже сохрани, как худо!
Я приведу пример тому из дальних стран.
Кто Обезьян видал, те знают,
Как жадно всё они перенимают.
Так в Африке, где много Обезьян,

Их стая целая сидела
По сучьям, по ветвям на дереве густом
И на ловца украдкою глядела,
Как по траве в сетях катался он кругом.
Подруга каждая тут тихо толк подругу,
И шепчут все друг другу:
«Смотрите-ка на удальца;
Затеям у него так, право, нет конца:
То кувыркнется,
То развернется,
То весь в комок
Он так сберется,
Что не видать ни рук, ни ног.
Уж мы ль на всё не мастерицы,
А этого у нас искусства не видать!
Красавицы сестрицы!
Не худо бы нам это перенять.
Он, кажется, себя довольно позабавил;
Авось уйдет, тогда мы тотчас...» Глядь,
Он подлинно ушел и сети им оставил.
«Что ж,— говорят они,— и время нам терять?
Пойдем-ка попытаться!»
Красавицы сошли. Для дорогих гостей
Разостлано внизу премножество сетей.
Ну в них они кувыркаться, кататься,
И кутаться, и завиваться;
Кричат, визжат — веселье хоть куда!
Да вот беда,
Когда пришло из сети выдираться!
Хозяин между тем стерег
И, видя, что пора, идет к гостям с мешками.
Они, чтоб наутек,
Да уж никто распутаться не мог:
И всех их по́брали руками.

СИНИЦА

Синица на море пустилась:
Она хвалилась,
Что хочет море сжечь.
Расславилась тотчас о том по свету речь.
Страх обнял жителей Нептуновой столицы;
Летят стадами птицы;
А звери из лесов сбегаются смотреть,

Как будет Океан, и жарко ли гореть.
И даже, говорят, на слух молвы крылатой,
Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками явились к берегам,
Чтоб похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откупщик и самый тороватый
Не давывал секретарям.
Толпятся: чуду всяк заранее дивится,
Молчит и, на море глаза уставя, ждет;
Лишь изредка иной шепнет:
«Вот закипит, вот тотчас загорится!»
Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? — и не кипит.
И чем же кончились затеи величавы?
Синица со стыдом всвояси уплыла;
Наделала Синица славы,
А моря не зажгла.

Примолвить к речи здесь годится,
Но ничьего не трогая лица:
Что делом, не сведя конца,
Не надобно хвалиться.

ОСЕЛ

Когда вселенную Юпитер населял
И заводил различных тварей племя,
То и Осел тогда на свет попал.
Но с умыслу ль или имея дел беремя,
В такое хлопотливо время
Тучегонитель оплошал:
А вылился Осел почти как белка мал.
Осла никто почти не примечал,
Хоть в спеси никому Осел не уступал.
Ослу хотелось бы повеличаться,
Но чем? имея рост такой,
И в свете стыдно показаться.
Пристал к Юпитеру Осел спесивый мой
И росту стал просить большого.
«Помилуй,— говорит,— как можно это снесть?
Львам, барсам и слонам везде такая честь;

Притом, с великого и до меньшого,
Всё речь о них лишь да о них;
За что́ ж к Ослам ты столько лих,
Что им честей нет никаких,
И об Ослах никто ни слова?
А если б ростом я с теленка только был,
То спеси бы со львов и с барсов я посбил,
И весь бы свет о мне заговорил».
Что день, то снова
Осел мой то ж Зевесу пел;
И до того он надоел,
Что наконец моления Ослова
Послушался Зевес.
И стал Осел скотиной превеликой;
А сверх того ему такой дан голос дикой,
Что мой ушастый Геркулес
Пораспугал было весь лес.
«Что́ то за зверь? какого роду?
Чай, он зубаст? рогов, чай, нет числа?»
Ну только и речей пошло, что про Осла.
Но чем всё кончилось? Не минуло и году,
Как все узнали, кто Осел:
Осел мой глупостью в пословицу вошел.
И на Осле уж возят воду.

В породе и в чинах высокость хороша;
Но что в ней прибыли, когда низка душа?

МАРТЫШКА И ОЧКИ

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть! — говорит она,— и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на́ волос нет в них».

Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь,— цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.

ЛЕВ И БАРС

Когда-то, в старину,
Лев с Барсом вел предолгую войну
За спорные леса, за дебри, за вертепы.
Судиться по правам — не тот у них был нрав;
Да сильные ж в правах бывают часто слепы.
У них на это свой устав:
Кто одолеет, тот и прав.
Однако, наконец, не вечно ж драться —
И когти притупятся:
Герои по правам решились разобраться;
Намерились дела военны прекратить,
Окончить все раздоры,
Потом, как водится, мир вечный заключить
До первой ссоры.
«Назначим же скорей
Мы от себя секретарей,—
Льву предлагает Барс,— и как их ум рассудит,
Пусть так и будет.
Я, например, к тому определю Кота:
Зверек хоть неказист, да совесть в нем чиста;
А ты Осла назначь: он знатного же чина,
И, к слову молвить здесь,
Куда он у тебя завидная скотина!
Поверь, как другу, мне: совет и двор твой весь
Его копытца вряд ли стоят.
Положимся ж на том,
На чем
С моим Котишком он устроит».
И Лев мысль Барса утвердил
Без спору;

И. А. Крылов. «Лжец».
Художник Н. Ильин

Но только не Осла, Лисицу нарядил
Он от себя для этого разбору,
Примолвя про себя (как видно, знал он свет):
«Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет».

МОР ЗВЕРЕЙ

Лютейший бич небес, природы ужас — мор
Свирепствует в лесах. Уныли звери;
В ад распахнулись настежь двери:
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее свирепства жертвы,—
Неумолимая, как сено, косит их,
А те, которые в живых,
Смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы:
Перевернул совсем их страх;
Те ж звери, да не те в великих столь бедах:
Не давит волк овец и смирен, как монах;
Мир курам дав, лиса постится в подземелье:
Им и еда на ум нейдет.
С голубкой голубь врознь живет,
Любви в помине больше нет:
А без любви какое уж веселье?
В сем горе на совет зверей сзывает Лев.
Тащатся шаг за шаг, чуть держатся в них души.
Сбрелись и в тишине, царя вокруг обсев,
Уставили глаза и приложили уши.
«О други! — начал Лев,— по множеству грехов
Подпали мы под сильный гнев богов,
Так тот из нас, кто всех виновен боле,
Пускай по доброй воле
Отдаст себя на жертву им!
Быть может, что богам мы этим угодим,
И теплое усердье нашей веры
Смягчит жестокость гнева их.
Кому не ведомо из вас, друзей моих,
Что добровольных жертв таких
Бывали многие в истории примеры?
Итак, смиря свой дух,
Пусть исповедует здесь всякий вслух,
В чем погрешил когда он вольно иль невольно.
Покаемся, мои друзья!
Ох, признаюсь — хоть это мне и больно —
Не прав и я!

Овечек бедненьких — за что? — совсем безвинно
Дирал бесчинно;
А иногда — кто без греха? —
Случалось, драл и пастуха:
И в жертву предаюсь охотно.
Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть
Свои грехи: на ком их боле есть,—
Того бы в жертву и принесть,—
И было бы богам то более угодно».—
«О царь наш, добрый царь! От лишней доброты,—
Лисица говорит,— в грех это ставишь ты.
Коль робкой совести во всем мы станем слушать,
То прийдет с голоду пропасть нам наконец;
Притом же, наш отец!
Поверь, что это честь большая для овец,
Когда ты их изволишь кушать.
А что до пастухов, мы все здесь бьем челом:
Их чаще так учить — им это поделом.
Бесхвостый этот род лишь глупой спесью дышит,
И нашими себя везде царями пишет».
Окончила Лиса; за ней на тот же лад,
Льстецы Льву то же говорят,
И всякий доказать спешит наперехват,
Что даже не в чем Льву просить и отпущенья.
За Львом Медведь, и Тигр, и Волки в свой черед
Во весь народ
Поведали свои смиренно погрешенья;
Но их безбожных самых дел
Никто и шевелить не смел.
И все, кто были тут богаты
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон
Со всех сторон
Не только правы, чуть не святы.
В свой ряд смиренный Вол им так мычит: «И мы
Грешны. Тому лет пять, когда зимой кормы
Нам были худы,
На грех меня лукавый натолкнул:
Ни от кого себе найти не могши ссуды,
Из стога у попа я клок сенца стянул».
При сих словах поднялся шум и толки;
Кричат Медведи, Тигры, Волки:
«Смотри, злодей какой!
Чужое сено есть! Ну, диво ли, что боги
За беззаконие его к нам столько строги?
Его, бесчинника, с рогатой головой,
Его принесть богам за все его проказы,

Чтоб и тела нам спасть и нравы от заразы!
Так, по его грехам, у нас и мор такой!»
Приговорили —
И на костер Вола взвалили.

И в людях так же говорят:
Кто посмирней, так тот и виноват.

СОБАЧЬЯ ДРУЖБА

У кухни под окном
На солнышке Полкан с Барбосом, лежа, грелись.
Хоть у ворот перед двором
Пристойнее б стеречь им было дом;
Но как они уж понаелись —
И вежливые ж псы притом
Ни на кого не лают днем —
Так рассуждать они пустилися вдвоем
О всякой всячине: о их собачьей службе,
О худе, о добре и, наконец, о дружбе.
«Что может,— говорит Полкан,— приятней быть,
Как с другом сердце к сердцу жить;
Во всем оказывать взаимную услугу;
Не спить без друга и не съесть,
Стоять горой за дружню шерсть,
И, наконец, в глаза глядеть друг другу,
Чтоб только улучить счастливый час,
Нельзя ли·друга чем потешить, позабавить
И в дружнем счастье всё свое блаженство ставить!
Вот если б, например, с тобой у нас
Такая дружба завелась:
Скажу я смело,
Мы б и не видели, как время бы летело».—
«А что же? это дело! —
Барбос ответствует ему.—
Давно, Полканушка, мне больно самому,
Что, бывши одного двора с тобой собаки,
Мы дня не проживем без драки;
И из чего? Спасибо господам:
Ни голодно, ни тесно нам!
Притом же, право, стыдно:
Пес дружества слывет примером с давних дней,
А дружбы между псов, как будто меж людей,
Почти совсем не видно».—

«Явим же в ней пример мы в наши времена!—
Вскричал Полкан,— дай лапу!» — «Вот она!»
И новые друзья ну обниматься,
Ну целоваться;
Не знают с радости, к кому и приравняться:
«Орест мой!» — «Мой Пилад!» Прочь свары,
зависть, злость!
Тут повар, на беду, из кухни кинул кость.
Вот новые друзья к ней взапуски несутся:
Где делся и совет и лад?
С Пиладом мой Орест грызутся,—
Лишь только клочья вверх летят:
Насилу наконец их розлили водою.

Свет полон дружбою такою.
Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
Послушать — кажется, одна у них душа,—
А только кинь им кость, так что твои собаки!

РАЗДЕЛ

Имея общий дом и общую контору,
Какие-то честны́е торгаши
Наторговали денег гору;
Окончили торги и делят барыши.
Но в дележе когда без спору?
Заводят шум они за деньги, за товар,—
Как вдруг кричат, что в доме их пожар.
«Скорей, скорей спасайте
Товары вы и дом!»
Кричит один из них: «Ступайте,
А счеты после мы сведем!» —
«Мне только тысячу мою сперва додайте,—
Шумит другой,—
Я с места не сойду долой».—
«Мне две не додано, а вот тут счеты ясны»,—
Еще один кричит. «Нет, нет, мы не согласны!
Да как, за что и почему!»
Забывши, что пожар в дому,
Проказники тут до того шумели,
Что захватило их в дыму,
И все они со всем добром своим сгорели.

В делах, которые гораздо поважней,
Нередко от того погибель всем бывает,
Что чем бы общую беду встречать дружней,
Всяк споры затевает
О выгоде своей.

ВОЛК НА ПСАРНЕ

Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор —
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня! — кричат,— огня!» Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом,
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом,
И что приходит наконец
Ему расчесться за овец,—
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я...» — «Послушай-ка, сосед,—
Тут ловчий перервал в ответ,—
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

РУЧЕЙ

Пастух у ручейка пел жалобно, в тоске,
Свою беду и свой урон невозвратимый:
Ягненок у него любимый
Недавно утонул в реке.
Услыша пастуха, Ручей журчит сердито:
«Река несытая! что́, если б дно твое
Так было, как мое,
Для всех и ясно, и открыто
И всякий видел бы на тинистом сем дне
Все жертвы, кои ты столь алчно поглотила?
Я, чай бы, со стыда ты землю сквозь прорыла
И в темных пропастях себя сокрыла.
Мне кажется, когда бы мне
Дала судьба обильные столь воды,
Я, украшеньем став природы,
Не сделал курице бы зла:
Как осторожно бы вода моя текла
И мимо хижинки и каждого кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,
И я бы освежал долины и луга,
Но с них бы не унес листочка.
Ну, словом, делая путем моим добро,
Не приключа нигде ни бед, ни горя,
Вода моя до самого бы моря
Так докатилася чиста, как серебро».
Так говорил Ручей, так думал в самом деле.
И что ж? Не минуло недели,
Как туча ливная над ближнею горой
Рассеялась:
Богатством вод Ручей сравнялся вдруг с рекой;
Но, ах! куда в Ручье смиренность делась?
Ручей из берегов бьет мутною водой,
Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы,
Столетние валяет дубы,
Лишь трески слышны вдалеке;
И самый тот пастух, за коего реке
Пенял недавно он таким кудрявым складом,
Погиб со всем своим в нем стадом,
А хижины его пропали и следы.

Как много ручейков текут так смирно, гладко
И так журчат для сердца сладко,
Лишь только оттого, что мало в них воды!

ЛИСИЦА И СУРОК

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» —
Лисицу спрашивал Сурок.
«Ох, мой голубчик-куманек!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска недоедала,
Ночей недосыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А всё по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько».—
«Нет, кумушка; а видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху».

———

Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно, весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой,—
А смотришь, помаленьку
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но как не согрешишь, не скажешь:
Что у него пушок на рыльце есть.

ПРОХОЖИЕ И СОБАКИ

Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой,
Как вдруг из подворотни
Дворняжка тявкнула на них;
За ней другая, там еще две-три, и вмиг
Со всех дворов Собак сбежалося с полсотни.
Один было уже Прохожий камень взял,
«И, полно, братец! — тут другой ему сказал,—

Собак ты не уймешь от лаю,
Лишь пуще всю раздразнишь стаю;
Пойдем вперед: я их натуру лучше знаю».
И подлинно, прошли шагов десятков пять,
Собаки начали помалу затихать,
И стало наконец совсем их не слыхать.

Завистники, на что ни взглянут,
Подымут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают, да отстанут.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило».—
«А, так ты...» — «Я без души
Лето целое всё пела».—
«Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

ЛЖЕЦ

Из дальних странствий возвратясь,
Какой-то дворянин (а может быть, и князь),
С приятелем своим пешком гуляя в поле,
Расхвастался о том, где он бывал,
И к былям небылиц без счету прилыгал.
«Нет,— говорит,— что я видал,
Того уж не увижу боле.
Что здесь у вас за край?
То холодно, то очень жарко,
То солнце спрячется, то светит слишком ярко.
Вот там-то прямо рай!
И вспомнишь, так душе отрада!
Ни шуб, ни свеч совсем не надо:
Не знаешь век, что есть ночная тень,
И круглый божий год всё видишь майский день.
Никто там ни сади́т, ни сеет;
А если б посмотрел, что́ там растет и зреет!
Вот в Риме, например, я видел огурец:
Ах, мой творец!
И по сию не вспомнюсь пору!
Поверишь ли? ну, право, был он с гору». —
«Что за диковина! — приятель отвечал,—
На свете чудеса рассеяны повсюду;
Да не везде их всякий примечал.
Мы сами вот теперь подходим к чуду,
Какого ты нигде, конечно, не встречал,
И я в том спорить буду.
Вон, видишь ли через реку́ тот мост,
Куда нам путь лежит? Он с виду хоть и прост,
А свойство чу́дное имеет:
Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет;
До половины не дойдет —
Провалится и в воду упадет;
Но кто не лжет,
Ступай по нем, пожалуй, хоть в карете».—
«А какова у вас река?» —
«Да не мелка.
Так, видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете!
Хоть римский огурец велик, нет спору в том,
Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем?» —
«Гора хоть не гора, но, право, будет с дом».—
«Поверить трудно!
Однако ж, как ни чу́дно,
А всё чудён и мост, по коем мы пойдем,

Что он Лжеца никак не подымает;
И нынешней еще весной
С него обрушились (весь город это знает)
Два журналиста да портной.
Бесспорно, огурец и с дом величиной
Диковинка, коль это справедливо».—
«Ну, не такое еще диво;
Ведь надо знать, как вещи есть:
Не думай, что везде по-нашему хоромы;
Что́ там за домы:
В один двоим за ну́жду влезть,
И то ни стать, ни сесть!» —
«Пусть так, но всё признаться должно,
Что огурец не грех за диво счесть,
В котором двум усесться можно.
Однако ж мост-ат наш каков,
Что Лгун не сделает на нем пяти шагов,
Как тотчас в воду!
Хоть римский твой и чуден огурец...» —
«Послушай-ка,— тут перервал мой Лжец,—
Чем на́ мост нам идти, поищем лучше броду».

ОРЕЛ И ПЧЕЛА

Счастлив, кто на чреде трудится знаменитой:
Ему и то уж силы придает,
Что подвигов его свидетель целый свет.
Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится,
И мыслью оживлен одной:
Что к пользе общей он трудится.

Увидя, как Пчела хлопочет вкруг цветка,
Сказал Орел однажды ей с презреньем:
«Как ты, бедняжка, мне жалка,
Со всей твоей работой и с уменьем!
Вас в улье тысячи всё лето лепят сот:
Да кто же после разберет
И отличит твои работы?
Я, право, не пойму охоты:
Трудиться целый век, и что́ ж иметь в виду?..
Безвестной умереть со всеми наряду!

Какая разница меж нами!
Когда, расширяся шумящими крылами,
Ношуся я под облаками,
То всюду рассеваю страх:
Не смеют от земли пернатые подняться,
Не дремлют пастухи при тучных их стадах;
Ни лани быстрые не смеют на полях,
Меня завидя, показаться».
Пчела ответствует: «Тебе хвала и честь!
Да про́длит над тобой Зевес свои щедроты!
А я, родясь труды для общей пользы несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утешаюсь тем, на наши смотря соты,
-Что в них и моего хоть капля меду есть».

ЗАЯЦ НА ЛОВЛЕ

Большой собравшися гурьбой,
Медведя звери изловили;
На чистом поле задавили —
И делят меж собой,
Кто что́ себе достанет.
А Заяц за ушко медвежье тут же тянет.
«Ба, ты, косой,—
Кричат ему,— пожаловал отколе?
Тебя никто на ловле не видал».—
«Вот, братцы! — Заяц отвечал,—
Да из лесу-то кто ж,— всё я его пугал
И к вам поставил прямо в поле
Сердечного дружка?»
Такое хвастовство хоть слишком было явно,
Но показалось так забавно,
Что Зайцу дан клочок медвежьего ушка.

Над хвастунами хоть смеются,
А часто в дележе им доли достаются.

ЩУКА И КОТ

Беда, коль пироги начнет печи́ сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честны́х и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Зубастой Щуке в мысль пришло
За ко́шачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в амбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —
Стал Щуке Васька говорить,—
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится».—
«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».—
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,—
И крысы хвост у ней отъели.
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.

ВОЛК И КУКУШКА

«Прощай, соседка! — Волк Кукушке говорил,—
Напрасно я себя покоем здесь манил!
Всё те ж у вас и люди и собаки:
Один другого злей; и хоть ты ангел будь,
Так не минуешь с ними драки».—
«А далеко ль соседу путь?
И где такой народ благочестивой,
С которым думаешь ты жить в ладу?» —
«О, я прямехонько иду
В леса Аркадии счастливой.
Соседка, то-то сторона!
Там, говорят, не знают, что война;
Как агнцы, кротки человеки,
И молоком текут там реки;
Ну, словом, царствуют златые времена!
Как братья, все друг с другом поступают,
И даже, говорят, собаки там не лают,
Не только не кусают.
Скажи ж сама, голубка, мне,
Не мило ль, даже и во сне,
Себя в краю таком увидеть тихом?
Прости! не поминай нас лихом!
Уж то-то там мы заживем:
В ладу, в довольстве, в неге!
Не так, как здесь, ходи с оглядкой днем
И не засни спокойно на ночлеге».—
«Счастливый путь, сосед мой дорогой! —
Кукушка говорит,— а свой ты нрав и зубы
Здесь кинешь иль возьмешь с собой?» —
«Уж кинуть, вздор какой!» —
«Так вспомни же меня, что быть тебе без шубы».

Чем нравом кто дурней,
Тем более кричит и ропщет на людей:
Не видит добрых он, куда ни обернется,
А первый сам ни с кем не уживется.

ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное зерно
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высóко так ценят?
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну Ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно».

Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк.

КРЕСТЬЯНИН И РАБОТНИК

Когда у нас беда над головой,
То рады мы тому молиться,
Кто вздумает за нас вступиться;
Но только с плеч беда долой,
То избавителю от нас же часто худо:
Все взапуски его ценят;
И если он у нас не виноват,
Так это чудо!

Старик Крестьянин с Батраком
Шел под вечер леском
Домой, в деревню, с сенокосу,
И повстречали вдруг медведя носом к носу.
Крестьянин ахнуть не успел,
Как на него медведь насел.
Подмял Крестьянина, ворочает, ломает,
И, где б его почать, лишь место выбирает:
Конец приходит старику.
«Степанушка родной, не выдай, милой!» —
Из-под медведя он взмолился Батраку.
Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой,
Что только было в нем,
Отнес полчерепа медведю топором
И брюхо проколол ему железной вилой.
Медведь взревел и замертво упал:
Медведь мой издыхает.

Прошла беда; Крестьянин встал,
И он же Батрака ругает.
Опешил бедный мой Степан.
- «Помилуй,— говорит,— за что?» — «За что, болван!
Чему обрадовался сдуру?
Знай колет: всю испортил шкуру!»

ОБОЗ

С горшками шел Обоз,
И надобно с крутой горы спускаться.
Вот, на горе других оставя дожидаться,
Хозяин стал сводить легонько первый воз.
Конь добрый на крестце почти его понес,
Катиться возу не давая;
А лошадь сверху, молодая,
Ругает бедного коня за каждый шаг:
«Ай конь хваленый, то-то диво!
Смотрите: лепится, как рак;
Вот чуть не зацепил за камень; косо! криво!
Смелее! Вот толчок опять.
А тут бы влево лишь принять.
Какой осел! Добро бы было в гору
Или в ночную пору,—
А то и под гору, и днем!
Смотреть, так выйдешь из терпенья!
Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья!
Гляди-тко нас, как мы махнем!
Не бойсь, минуты не потратим,
И возик свой мы не свезем, а скатим!»
Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь,
Тронулася лошадка с возом в путь;
Но только по́д гору она перевалилась,
Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырех ног
На славу;
По камням, рытвинам, пошли толчки,
Скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!

Как в людях многие имеют слабость ту же:
Всё кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.

СЛОН НА ВОЕВОДСТВЕ

Кто знатен и силён,
Да не умён,
Так худо, ежели и с добрым сердцем он.

На воеводство был в лесу посажен Слон.
Хоть, кажется, слонов и умная порода,
Однако же в семье не без урода:
Наш Воевода
В родню был толст,
Да не в родню был прост;
А с умыслу он мухи не обидит.
Вот добрый Воевода видит —
Вступило от овец прошение в Приказ:
«Что волки-де совсем сдирают кожу с нас».—
«О плу́ты! — Слон кричит,— какое преступленье!
Кто грабить дал вам позволенье?»
А волки говорят: «Помилуй, наш отец!
Не ты ль нам к зи́ме на тулупы
Позволил легонький оброк собрать с овец?
А что они кричат, так овцы глупы:
Всего-то при́дет с них с сестры по шкурке снять;
Да и того им жаль отдать».—
«Ну, то-то ж,— говорит им Слон,— смотрите!
Неправды я не потерплю ни в ком:
По шкурке, так и быть, возьмите;
А больше их не троньте волоском».

ОСЕЛ И СОЛОВЕЙ

Осел увидел Соловья
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!
Ты, сказывают, петь великий мастерище.
Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,
Велико ль подлинно твое уменье?»
Тут Соловей являть свое искусство стал:
Защелкал, засвистал
На тысячу ладов, тянул, переливался;
То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
Внимало всё тогда
Любимцу и певцу Авроры:
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушке улыбался.
Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом:
«Изрядно,— говорит,— сказать неложно,
Тебя без скуки слушать можно;
А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом;
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился».
Услыша суд такой, мой бедный Соловей
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей.

Избави, бог, и нас от этаких судей.

СЛОН И МОСЬКА

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться,—
Ей шавка говорит,— тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх! — ей Моська отвечает.—

Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»

ВОЛК И ВОЛЧОНОК

Волчонка Волк, начав помалу приучать
Отцовским промыслом питаться,
Послал его опушкой прогуляться;
А между тем велел прилежней примечать,
Нельзя ль где счастья им отведать:
Хоть, захватя греха,
На счет бы пастуха
Позавтракать иль пообедать!
Приходит ученик домой
И говорит: «Пойдем скорей со мной!
Обед готов; ничто не может быть вернее:
Там под горой
Пасут овец, одна другой жирнее;
Любую стоит лишь унесть
И съесть;
А стадо таково, что трудно перечесть». —
«Постой-ка,— Волк сказал,— сперва мне ведать надо,
Каков пастух у стада?» —
«Хоть говорят, что он
Не плох, заботлив и умен,
Однако стадо я обшел со всех сторон
И высмотрел собак: они совсем не жирны,
И плохи, кажется, и смирны».—
«Меня так этот слух,—
Волк старый говорит,— не очень к стаду манит;
Коль подлинно не плох пастух,
Так он плохих собак держать не станет.
Тут тотчас попадешь в беду!
Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу,
Где сбережем верней мы наши шкуры:
Хотя при стаде том и множество собак,
Да сам пастух дурак;
А где пастух дурак, там и собаки дуры».

ОБЕЗЬЯНА

Как хочешь ты трудись:
Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни славы,
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы

Крестьянин на заре с сохой
Над полосой своей трудился;
Трудился так крестьянин мой,
Что градом пот с него катился:
Мужик работник был прямой.
Зато, кто мимо ни проходит,
От всех ему: спасибо, исполать!
Мартышку это в зависть вводит.
Хвалы приманчивы,— как их не пожелать!
Мартышка вздумала трудиться:
Нашла чурбан, и ну над ним возиться!
Хлопот
Мартышке полон рот:
Чурбан она то понесет,
То так, то сяк его обхватит,
То поволочет, то покатит;
Рекой с бедняжки льется пот;
И наконец она, пыхтя, насилу дышит:
А всё ни от кого похвал себе не слышит.
И не диковинка, мой свет!
Трудишься много ты, да пользы в этом нет

КОТ И ПОВАР

Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по ку́ме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
«Ах ты, обжора! ах, злодей! —
Тут Ваську Повар укоряет,—

Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,—
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька всё жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.

ЛЕВ И КОМАР

Бессильному не смейся
И слабого обидеть не моги!
Мстят сильно иногда бессильные враги:
Так слишком на свою ты силу не надейся!
Послушай басню здесь о том,
Как больно Лев за спесь наказан Комаром.
Вот что о том я слышал стороною:
Сухое к Комару явил презренье Лев;
Зло взяло Комара: обиды не стерпев,
Собрался, поднялся Комар на Льва войною.
Сам ратник, сам трубач пищит во всю гортань
И вызывает Льва на смертоносну брань.
Льву смех, но наш Комар не шутит:
То с тылу, то в глаза, то в уши Льву он трубит!
И, место высмотрев и время улуча,
Орлом на Льва спустился
И Льву в крестец всем жалом впился.
Лев дрогнул и взмахнул хвостом на трубача.
Увертлив наш Комар, да он же и не трусит!

Льву сел на самый лоб и Львину кровь сосет.
Лев голову крутит, Лев гривою трясет;
Но наш герой свое несет:
То в нос забьется Льву, то в ухо Льва укусит.
Вздурился Лев,
Престрашный поднял рев,
Скрежещет в ярости зубами,
И землю он дерет когтями.
От рыка грозного окружный лес дрожит.
Страх обнял всех зверей; всё кроется, бежит:
Отколь у всех взялися ноги,
Как будто бы пришел потоп или пожар!
И кто ж? Комар
Наделал столько всем тревоги!
Рвался, метался Лев и, выбившись из сил,
О землю грянулся и миру запросил.
Насытил злость Комар; Льва жалует он миром:
Из Ахиллеса вдруг становится Омиром*
И сам
Летит трубить свою победу по лесам.

ДЕРЕВО

Увидя, что топор Крестьянин нес,
«Голубчик,— Деревцо сказало молодое,—
Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес,
Я не могу расти в покое:
Ни солнца мне не виден свет,
Ни для корней моих простору нет,
Ни ветеркам вокруг меня свободы,
Такие надо мной он сплесть изволил своды!
Когда б не от него расти помеха мне,
Я в год бы сделалось красою сей стране,
И тенью бы моей покрылась вся долина;
А ныне тонко я, почти как хворостина».
Взялся Крестьянин за топор,
И Дереву, как другу,
Он оказал услугу:
Вкруг Деревца большой очистился простор;
Но торжество его недолго было!
То солнцем Дерево печет,
То градом, то дождем сечет,
И ветром, наконец, то Деревцо сломило.
«Безумное! — ему сказала тут змея,—

Не от тебя ль беда твоя?
Когда б, укрытое в лесу, ты возрастало,
Тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли,
Тебя бы старые деревья берегли;
А если б некогда деревьев тех не стало,
И время их бы отошло,
Тогда в свою чреду ты столько б возросло,
Усилилось и укрепилось,
Что нынешней беды с тобой бы не случилось,
И бурю, может быть, ты б выдержать могло!»

ГУСИ

Предлинной хворостиной
Мужик Гусей гнал в город продавать;
И, правду истинну сказать,
Не очень вежливо честил свой гурт гусиный:
На барыши спешил к базарному он дню
(А где до прибыли коснется,
Не только там гусям, и людям достается).
Я мужика и не виню;
Но Гуси иначе об этом толковали
И, встретяся с прохожим на пути,
Вот как на мужика пеняли:
«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти?
Мужик так нами помыкает,
И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет;
А этого не смыслит неуч сей,
Что он обязан нам почтеньем;
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
Которым некогда был должен Рим спасеньем:
Там даже праздники им в честь учреждены!» —
«А вы хотите быть за что отличены?» —
Спросил прохожий их. «Да наши предки...» —
«Знаю,
И всё читал: но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?» —
«Да наши предки Рим спасли!» —
«Всё так, да вы что сделали такое?» —
«Мы? Ничего!» — «Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».

Баснь эту можно бы и боле пояснить —
Да чтоб гусей не раздразнить.

СВИНЬЯ

Свинья на барский двор когда-то затесалась;
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;
В сору, в навозе извалялась;
В помоях по уши досыта накупалась:
И из гостей домой
Пришла свинья свиньей.
«Ну что ж, Хавронья, там ты видела такого? —
Свинью спросил пастух.—
Ведь и́дет слух,
Что всё у богачей лишь бисер да жемчу́г;
А в доме так одно богатее другого?»
Хавронья хрюкает: «Ну, право, порют вздор.
Я не приметила богатства никакого:
Всё только лишь навоэ да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор».

———

Не дай бог никого сравненьем мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей не назвать,
Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?

ОРЕЛ И ПАУК

За облака Орел
На верх Кавказских гор поднялся;
На кедре там столетнем сел
И зримым под собой пространством любовался.
Казалось, что оттоль он видел край земли:
Там реки по степям излучисто текли;
Здесь рощи и луга цвели
Во всем весеннем их уборе;
А там сердитое Каспийско Море,
Как ворона крыло, чернелося вдали.
«Хвала тебе, Зевес, что, управляя светом,

Ты рассудил меня снабдить таким полетом,
Что неприступной я не знаю высоты,—
Орел к Юпитеру взывает,—
И что смотрю оттоль на мира красоты,
Куда никто не залетает».—
«Какой же ты хвастун, как погляжу! —
Паук ему тут с ветки отвечает,—
Да ниже ль я тебя, товарищ, здесь сижу?»
Орел глядит: и подлинно, Паук,
Над самым им раскинув сеть вокруг,
На веточке хлопочет,
И, кажется, Орлу заткать он солнце хочет.
«Ты как на этой высоте? —
Спросил Орел,— и те,
Которые полет отважнейший имеют,
Не все сюда пускаться смеют;
А ты без крыл и слаб; неужли ты дополз?» —
«Нет, я б на это не решился».—
«Да как же здесь ты очутился?» —
«Да я к тебе же прицепился,
И снизу на хвосте ты сам меня занес:
Но здесь и без тебя умею я держаться;
И так передо мной прошу не величаться;
И знай, что я...» Тут вихрь, отколе ни возьмись,
И сдунул Паука опять на самый низ.

Как вам, а мне так кажутся похожи
На этаких нередко Пауков
Те, кои без ума и даже без трудов
Тащатся вверх, держась за хвост вельможи;
А надувают грудь,
Как будто б силою их бог снабдил орлиной;
Хоть стоит ветру лишь пахну́ть,
Чтоб их унесть и с паутиной.

ОРЕЛ И КРОТ

Не презирай совета ничьего,
Но прежде рассмотри его.

Со стороны прибыв далекой
В дремучий лес, Орел с Орлицею вдвоем
Задумали навек остаться в нем
И, выбравши ветвистый дуб высокой,
Гнездо себе в его вершине стали вить,
Надеясь и детей тут вывести на лето.
Услыша Крот про это,
Орлу взял смелость доложить,
Что этот дуб для их жилища не годится,
Что весь почти он в корне сгнил
И скоро, может быть, свалится,
Так чтоб Орел гнезда на нем не вил.
Но кстати ли Орлу принять совет из норки,
И от Крота! А где же похвала,
Что у Орла
Глаза так зорки?
И что за стать Кротам мешаться сметь в дела
Царь-птицы!
Так, многого с Кротом не говоря,
К работе поскорей, советчика презря,—
И новоселье у царя
Поспело скоро для царицы.
Всё счастливо: уж есть и дети у Орлицы.
Но что ж? — Однажды, как зарей,
Орел из-под небес к семье своей
С богатым завтраком с охоты торопился,
Он видит: дуб его свалился
И подавило им Орлицу и детей.
От горести не взвидя свету:
«Несчастный! — он сказал,—
За гордость рок меня так люто наказал,
Что не послушался я умного совету.
Но можно ль было ожидать,
Чтобы ничтожный Крот совет мог добрый дать?» —
«Когда бы ты не пре́зрел мною,—
Из норки Крот сказал,— то вспомнил бы, что рою
Свои я норы под землей
И что, случаясь близ корней,
Здорово ль дерево, я знать могу верней».

КВАРТЕТ

Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,—
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка.—
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! —
Кричит Осел,— мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй,— говорят,— возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней,—
Им отвечает Соловей,—
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».

ЛИСТЫ И КОРНИ

В прекрасный летний день,
Бросая по долине тень,
Листы на дереве с зефирами шептали,
Хвалились густотой, зеленостью своей
И вот как о себе зефирам толковали:
«Не правда ли, что мы краса долины всей?
Что нами дерево так пышно и кудряво,
Раскидисто и величаво?
Что б было в нем без нас? Ну, право,
Хвалить себя мы можем без греха!
Не мы ль от зноя пастуха
И странника в тени прохладной укрываем?
Не мы ль красивостью своей
Плясать сюда пастушек привлекаем?
У нас же раннею и позднею зарей
Насвистывает соловей.
Да вы, зефиры, сами
Почти не расстаетесь с нами».—
«Примолвить можно бы спасибо тут и нам»,—
Им голос отвечал из-под земли смиренно.
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!
Вы кто такие там,
Что дерзко так считаться с нами стали?» —
Листы, по дереву шумя, залепетали.
«Мы те,—
Им снизу отвечали,—
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится,
А если корень иссушится,—
Не станет дерева, ни вас».

ВОЛК И ЛИСИЦА

Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим.
Мы это басней поясним,
Затем что истина сноснее вполоткрыта.

Лиса, курятинки накушавшись досыта
И добрый ворошек припрятавши в запас,
Под стогом прилегла вздремнуть в вечерний час.
Глядит, а в гости к ней голодный Волк тащится.
«Что, кумушка, беды! — он говорит.—
Ни косточкой не мог нигде я поживиться;
Меня так голод и морит;
Собаки злы, пастух не спит,
Пришло хоть удавиться!» —
«Неужли?» — «Право, так».— «Бедняжка куманек!
Да не изволишь ли сенца? Вот целый стог:
Я куму услужить готова».
А куму не сенца, хотелось бы мяснова —
Да про запас Лиса ни слова.
И серый рыцарь мой,
Обласкан по уши кумой,
Пошел без ужина домой.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Запущенный под облака,
Бумажный Змей, приметя свысока
В долине Мотылька,
«Поверишь ли! — кричит,— чуть-чуть тебя мне видно:
Признайся, что тебе завидно
Смотреть на мой высокий столь полет».—
«Завидно? Право, нет!
Напрасно о себе ты много так мечтаешь!
Хоть высоко, но ты на привязи летаешь.
Такая жизнь, мой свет,
От счастия весьма далеко;
А я, хоть, правда, невысоко,
Зато лечу,
Куда хочу;
Да я же так, как ты, в забаву для другого,
Пустого
Век целый не трещу».

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав,— судить не нам;
Да только воз и ныне там.

СКВОРЕЦ

У всякого талант есть свой.
Но часто, на успех прельщаяся чужой,
Хватается за то иной,
В чем он совсем не годен.
А мой совет такой:
Берись за то, к чему ты сроден,
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.

Какой-то смолоду Скворец
Так петь щегленком научился,
Как будто бы щегленком сам родился.
Игривым голоском весь лес он веселил,
И всякий Скворушку хвалил.
Иной бы был такой доволен частью;
Но Скворушка услышь, что хвалят соловья,—
А Скворушка завистлив был, к несчастью,—
И думает: «Постойте же, друзья,
Спою не хуже я
И соловьиным ладом».
И подлинно запел,
Да только лишь совсем особым складом:
То он пищал, то он хрипел,
То верещал козленком,
То не путем

Мяукал он котенком;
И, словом, разогнал всех птиц своим пеньём.
Мой милый Скворушка, ну, что́ за прибыль в том?
Пой лучше хорошо щегленком,
Чем дурно соловьем.

ПРУД И РЕКА

«Что это,— говорил Реке соседний Пруд,—
Как на тебя ни взглянешь,
А воды всё твои текут!
Неужли-таки ты, сестрица, не устанешь?
Притом же вижу я почти всегда,
То с грузом тяжкие суда,
То долговязые плоты ты носишь,
Уж я не говорю про лодки, челноки:
Им счету нет! Когда такую жизнь ты бросишь?
Я, право, высох бы с тоски.
В сравнении с твоим, как жребий мой приятен!
Конечно, я не знатен,
По карте не тянусь я через целый лист,
Мне не бренчит похвал какой-нибудь гуслист:
Да это, право, всё пустое!
Зато я в илистых и мягких берегах,
Как барыня в пуховиках,
Лежу и в неге, и в покое;
Не только что судов
Или плотов
Мне здесь не для чего страшиться:
Не знаю даже я, каков тяжел челнок;
И много, ежели случится,
Что по воде моей чуть зыблется листок,
Когда его ко мне забросит ветерок.
Что беззаботную заменит жизнь такую?
За ветрами со всех сторон,
Не движась, я смотрю на суету мирскую
И философствую сквозь сон».—
«А, философствуя, ты помнишь ли закон? —
Река на это отвечает,—
Что свежесть лишь вода движеньем сохраняет?
И если стала я великою рекой,
Так это оттого, что, кинувши покой,
Последую сему уставу.
Зато по всякий год

Обилием и чистотою вод
И пользу приношу, и в честь вхожу и в славу,
И буду, может быть, еще я веки течь,
Когда уже тебя не будет и в помине
И о тебе совсем исчезнет речь».
Слова ее сбылись: она течет поныне;
А бедный Пруд год от году все глох,
Заволочен весь тиною глубокой,
Зацвел, зарос осокой
И наконец совсем иссох.

Так дарование без пользы свету вянет,
Слабея всякий день,
Когда им овладеет лень
И оживлять его деятельность не станет.

ТРИШКИН КАФТАН

У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов —
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на́ четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: «Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю».
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.

Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.

ПУСТЫННИК И МЕДВЕДЬ

Хотя услуга нам при нужде дорога́,
Но за нее не всяк умеет взяться:
Не дай бог с дураком связаться!
Услужливый дурак опаснее врага.

Жил некто человек безродный, одинокой,
Вдали от города, в глуши.
Про жизнь пустынную, как сладко ни пиши,
А в одиночестве способен жить не всякой:
Утешно нам и грусть, и радость разделить.
Мне скажут: «А лужок, а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?» —
«Прекрасны, что и говорить!
А всё прискучится, как не с кем молвить слова».
Так и Пустыннику тому
Соскучилось быть вечно одному.
Идет он в лес толкнуться у соседей,
Чтоб с кем-нибудь знакомство свесть.
В лесу кого набресть,
Кроме волков или медведей?
И точно, встретился с большим Медведем он,
Но делать нечего: снимает шляпу,
И милому соседушке поклон.
Сосед ему протягивает лапу,
И, слово за слово, знакомятся они,
Потом дружатся,
Потом не могут уж расстаться
И целые проводят вместе дни.
О чем у них, и что бывало разговору,
Иль присказок, иль шуточек каких,
И как беседа шла у них,
Я по сию не знаю пору.
Пустынник был не говорлив;
Мишук с природы молчалив:
Так из избы не вынесено сору.
Но как бы ни было, Пустынник очень рад,
Что дал ему бог в друге клад.
Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится
И Мишенькой не может нахвалиться.
Однажды вздумалось друзьям
В день жаркий побродить по рощам, по лугам,
И по долам, и по горам;
А так как человек медведя послабее,

И. А. Крылов. «Любопытный».
Художник В. Фазорский

То и Пустынник наш скорее,
Чем Мишенька, устал
И отставать от друга стал.
То видя, говорит, как путный, Мишка другу:
«Приляг-ка, брат, и отдохни
Да коли хочешь, так сосни;
А я постерегу тебя здесь у досугу».
Пустынник был сговорчив: лег, зевнул,
Да тотчас и заснул.
А Мишка на часах — да он и не без дела:
У друга на нос муха села.
Он друга обмахнул,
Взглянул,
А муха на щеке; согнал, а муха снова
У друга на носу,
И неотвязчивей час от часу.
Вот Мишенька, не говоря ни слова,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу,
Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, вострухy!» —
И, у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть — хвать друга камнем в лоб!
Удар так ловок был, что череп врознь раздался,
И Мишин друг лежать надолго там остался!

ЦВЕТЫ

В отворенном окне богатого покоя
В фарфоровых, расписанных горшках,
Цветы поддельные, с живыми вместе стоя,
На проволочных стебельках
Качалися спесиво
И выставляли всем красу свою на диво.
Вот дождик начал накрапать.
Цветы тафтяные Юпитера тут просят:
Нельзя ли дождь унять;
Дождь всячески они ругают и поносят.
«Юпитер,— молятся,— ты дождик прекрати,
Что в нем пути
И что его на свете хуже?
Смотри, нельзя по улице пройти:
Везде лишь от него и грязь, и лужи».
Однако же Зевес не внял мольбе пустой,
И дождь себе прошел своею полосой.

Прогнавши зной,
Он воздух прохладил; природа оживилась,
И зелень вся как будто обновилась.
Тогда и на окне Цветы живые все
Раскинулись во всей своей красе
И стали от дождя душистей,
Свежее и пушистей.
А бедные Цветы поддельные с тех пор
Лишились всей красы и брошены на двор,
Как сор.

Таланты истинны за критику не злятся:
Их повредить она не может красоты,
Одни поддельные цветы
Дождя боятся.

КРЕСТЬЯНИН И РАЗБОЙНИК

Крестьянин, заводясь домком,
Купил на ярмарке подойник да корову
И с ними сквозь дуброву
Тихонько брел домой проселочным путем,
Как вдруг Разбойнику попался.
Разбойник Мужика как липку ободрал.
«Помилуй,— всплачется Крестьянин,— я пропал,
Меня совсем ты доконал!
Год целый я купить коровушку сбирался:
Насилу этого дождался дня».—
«Добро, не плачься на меня,—
Сказал, разжалобясь, Разбойник.—
И подлинно, ведь мне коровы не доить;
Уж так и быть,
Возьми себе назад подойник».

ЛЮБОПЫТНЫЙ

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» —
«В Кунсткамере*, мой друг! Часа там три ходил;
Всё видел, высмотрел; от удивленья,
Поверишь ли, не станет ни уменья
Пересказать тебе, ни сил.

Уж подлинно, что там чудес палата!
Куда на выдумки природа торовата!
Каких зверей, каких там птиц я не видал!
Какие бабочки, букашки,
Козявки, мушки, таракашки!
Одни как изумруд, другие как коралл!
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки!» —
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!
Я чай, подумал ты, что гору встретил?» —
«Да разве там он?» — «Там».— «Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил».

ЛЕВ НА ЛОВЛЕ

Собака, Лев да Волк с Лисой
В соседстве как-то жили,
И вот какой
Между собой
Они завет все положили:
Чтоб им зверей съобща ловить,
И что наловится, все поровну делить.
Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала
Лиса оленя поймала
И шлет к товарищам послов,
Чтоб шли делить счастливый лов:
Добыча, право, недурная!
Пришли, пришел и Лев; он, когти разминая
И озираючи товарищей кругом,
Дележ располагает
И говорит: «Мы, братцы, вчетвером.—
И начетверо он оленя раздирает.—
Теперь давай делить! Смотрите же, друзья:
Вот эта часть моя
По договору;
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору,
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет».

ДОБРАЯ ЛИСИЦА

Стрелок весной малиновку убил.
Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое,
Но нет; за ней должны еще погибнуть трое:
Он бедных трех ее птенцов осиротил.
Едва из скорлупы, без смыслу и без сил,
Малютки терпят голод
И холод
И писком жалобным зовут напрасно мать.
«Как можно не страдать,
Малюток этих видя;
И сердце чье об них не заболит? —
Лисица птицам говорит,
На камушке против гнезда сироток сидя.—
Не киньте, милые, без помощи детей;
Хотя по зернышку бедняжкам вы снесите,
Хоть по соломинке к их гнездышку приткните:
Вы этим жизнь их сохраните;
Что́ дела доброго святей!
Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь:
Не лучше ль дать себя немножко ощипать
И перьем бы твоим постельку их устлать,
Ведь попусту ж его ты растеряешь.
Ты, жавронок, чем по верхам
Тебе кувыркаться, кружиться,
Ты б корму поискал по нивам, по лугам,
Чтоб с сиротами поделиться.
Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли,
Промыслить корм они и сами бы могли:
Так ты бы с своего гнезда слетела
Да вместо матери к малюткам села,
А деток бы твоих пусть бог
Берег.
Ты б, ласточка, ловила мошек,
Полакомить безродных крошек.
А ты бы, милый соловей,—
Ты знаешь, ка́к всех голос твой прельщает,—
Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает,
Ты б убаюкивал их песенкой своей.
Такою нежностью, я твердо верю,
Вы б заменили им их горькую потерю.
Послушайте меня: докажем, что в лесах
Есть добрые сердца и что...» При сих словах
Малютки бедные все трое,
Не могши с голоду сидеть в покое,

Попадали к Лисе, на низ.
Что ж кумушка? — Тотчас их съела
И поученья не допела.

Читатель, не дивись!
Кто добр поистине, не распложая слова,
В молчанье тот добро творит;
А кто про доброту лишь в уши всем жужжит,
Тот часто только добр на счет другого,.
Затем, что в этом нет убытка никакого.
На деле же почти такие люди все —
Сродни моей Лисе.

МИРСКАЯ СХОДКА

Какой порядок ни затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.

В овечьи старосты у Льва просился Волк.
Стараньем кумушки Лисицы
Словцо о нем замолвлено у Львицы.
Но так как о Волках худой на свете толк,
И не сказали бы, что смотрит Лев на лицы,
То велено звериный весь народ
Созвать на общий сход
И расспросить того, другого,
Что в Волке доброго он знает иль худого.
Исполнен и приказ: все звери созваны.
На сходке голоса чин чином собраны:
Но против Волка нет ни слова,
И Волка велено в овчарню посадить.
Да что же Овцы говорили?
На сходке ведь они уж, верно, были? —
Вот то-то нет! Овец-то и забыли!
А их-то бы всего нужней спросить.

ДЕМЬЯНОВА УХА

«Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушай».—
«Соседушка, я сыт по горло».— «Нужды нет,
Еще тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» —
«Я три тарелки съел».— «И, полно, что за счеты:
Лишь стало бы охоты,
А то во здравье: ешь до дна!
Что за уха! Да как жирна:
Как будто янтарем подернулась она.
Потешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!» —
Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку
И не давал ему ни отдыху, ни сроку;
А с Фоки уж давно катился градом пот.
Однако же еще тарелку он берет:
Сбирается с последней силой
И — очищает всю. «Вот друга я люблю! —
Вскричал Демьян.— Зато уж чванных не терплю.
Ну, скушай же еще тарелочку, мой милой!»
Тут бедный Фока мой,
Как ни любил уху, но от беды такой,
Схватя в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой —
И с той поры к Демьяну ни ногой.

———

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь;
Но если помолчать вовремя не умеешь
И ближнего ушей ты не жалеешь,
То ведай, что твои и проза и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.

МЫШЬ И КРЫСА

«Соседка, слышала ль ты добрую молву? —
Вбежавши, Крысе Мышь сказала,—
Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву?
Вот отдохнуть и нам пора настала!» —
«Не радуйся, мой свет,—

Ей Крыса говорит в ответ,—
И не надейся по-пустому!
Коль до когтей у них дойдет,
То, верно, льву не быть живому:
Сильнее кошки зверя нет!»

Я сколько раз видал, приметьте это сами:
Когда боится трус кого,
То думает, что на того
Весь свет глядит его глазами.

ЧИЖ И ГОЛУБЬ

Чижа захлопнула злодейка западня:
Бедняжка в ней и рвался и метался,
А Голубь молодой над ним же издевался.
«Не стыдно ль,— говорит,— средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня:
За это я ручаюсь смело».
Ан смотришь, тут же сам запутался в силок.
И дело!
Вперед чужой беде не смейся, Голубок.

КАМЕНЬ И ЧЕРВЯК

«Как расшумелся здесь! Какой невежа! —
Про дождик говорит на ниве Камень, лежа.—
А рады все ему, пожалуй — посмотри!
И ждали так, как гостя дорогого,
А что же сделал он такого?
Всего-то шел часа два-три.
Пускай же обо мне расспросят!
Так я уж веки здесь; тих, скромен завсегда,
Лежу смирнехонько, куда меня ни бросят,
А не слыхал себе спасибо никогда.
Недаром, право, свет поносят:
В нем справедливости не вижу я никак».—
«Молчи! — сказал ему Червяк,—
Сей дождик, как его ни кратко было время,
Лишенную засухой сил

Обильно ниву напоил,
И земледельца он надежду оживил;
А ты на ниве сей пустое только бремя».

Так хвалится иной, что служит сорок лет:
А проку в нем, как в этом Камне, нет.

ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка,— говорит,— кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть».—
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» —
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.

КРЕСТЬЯНИН И СМЕРТЬ

Набрав валежнику порой холодной, зимной,
Старик, иссохший весь от нужды и трудов,
Тащился медленно к своей лачужке дымной,
Кряхтя и охая под тяжкой ношей дров.
Нес, нес он их и утомился,
Остановился,
На землю с плеч спустил дрова долой,

Присел на них, вздохнул и думал сам с собой:
«Куда я беден, боже мой!
Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк...
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?»
В таком унынии, на свой пеняя рок,
Зовет он Смерть: она у нас не за горами,
А за плечами:
Явилась вмиг
И говорит: «Зачем ты звал меня, старик?»
Увидевши ее свирепую осанку,
Едва промолвить мог бедняк, оторопев:
«Я звал тебя, коль не во гнев,
Чтоб помогла ты мне поднять мою вязанку».

Из басни сей
Нам видеть можно,
Что как бывает жить ни тошно,
А умирать еще тошней.

ЛЕВ И ВОЛК

Лев убирал за завтраком ягненка;
А собачонка,
Вертясь вкруг царского стола,
У Льва из-под когтей кусочек урвала;
И Царь зверей то снес, не огорчась нимало:
Она глупа еще и молода была.
Увидя то, на мысли Волку вспало,
Что Лев, конечно, не силен,
Коль так смирен:
И лапу протянул к ягненку также он.
Ан вышло с Волком худо:
Он сам ко Льву попал на блюдо.
Лев растерзал его, примолвя так: «Дружок,
Напрасно, смо́тря на собачку,
Ты вздумал, что тебе я также дам потачку:
Она еще глупа, а ты уж не щенок!»

ЛЕВ И ЛИСИЦА

Лиса, не видя сроду Льва,
С ним встретясь, со страстей осталась чуть жива.
Вот, несколько спустя, опять ей Лев попался,
Но уж не так ей страшен показался.
А третий раз потом
Лиса и в разговор пустилася со Львом.

Иного так же мы боимся,
Поколь к нему не приглядимся.

ХМЕЛЬ

Хмель выбежал на огороде
И вкруг сухой тычинки виться стал;
А в поле близко дуб молоденький стоял.
«Что́ в этом пользы есть уроде,
Да и во всей его породе? —
Так про дубок тычинке Хмель жужжал.—
Ну как его сравнить с тобою?
Ты барыня пред ним одной лишь прямизною.
Хоть листьем, правда, он одет,
Да что за жесткость, что за цвет!
За что его земля питает?»
Меж тем, едва неделя протекает,
Хозяин на дрова тычинку ту сломил,
А в огород дубок пересадил.
И труд ему с большим успехом удается:
Дубок и принялся и отпрыски пустил;
Посмотришь, около него мой Хмель уж вьется,
И дубу от него вся честь и похвала!

Такие ж у льстеца поступки и дела:
Он на тебя несет тьму небылиц и бредней;
И как ты хочешь, так трудись,
Но у него в хороших быть не льстись;
А только в случай попадись —
Он первый явится в передней.

ТУЧА

Над изнуренною от зноя стороною
Большая Туча пронеслась;
Ни каплею ее не освежа одною,
Она большим дождем над морем пролилась
И щедростью своей хвалилась пред Горою.
«Что́ сделала добра
Ты щедростью такою? —
Сказала ей Гора.—
И как смотреть на то не больно!
Когда бы на поля свой дождь ты пролила,
Ты б область целую от голода спасла:
А в море без тебя, мой друг, воды довольно».

КЛЕВЕТНИК И ЗМЕЯ

Напрасно про бесов болтают,
Что справедливости совсем они не знают,
А правду тож они нередко наблюдают:
Я и пример тому здесь приведу.
По случаю какому-то в аду
Змея с Клеветником в торжественном ходу
Друг другу первенства оставить не хотели
И зашумели,
Кому из них идти приличней наперед?
А в аде первенство, известно, тот берет,
Кто ближнему наделал больше бед.
Так в споре сем и жарком и немалом
Перед Змеею Клеветник
Свой выставлял язык,
А перед ним Змея своим хвалилась жалом;
Шипела, что нельзя обиды ей снести,
И силилась его переползти.
Вот Клеветник было за ней уж очутился;
Но Вельзевул не потерпел того:
Он сам, спасибо, за него
Вступился
И осадил назад Змею,
Сказав: «Хоть я твои заслуги признаю,
Но первенство ему по правде отдаю;
Ты зла — твое смертельно жало,
Опасна ты, когда близка;
Кусаешь без вины (и то не мало!),

Но можешь ли язвить ты так издалека,
Как злой язык Клеветника,
От коего нельзя спастись ни за горами,
Ни за морями?
Так, стало, он тебя вредней:
Ползи же ты за ним и будь вперед смирней».
С тех пор клеветники в аду почетней змей.

ЛЯГУШКА И ЮПИТЕР

Живущая в болоте, под горой,
Лягушка на гору весной
Переселилась;
Нашла там тинистый в лощинке уголок
И завела домок
Под кустиком, в тени, меж травки, как раек;
Однако ж им она недолго веселилась.
Настало лето, с ним жары,
И дачи Квакушки так сделалися сухи,
Что, ног не замоча, по ним бродили мухи.
«О боги! — молится Лягушка из норы,—
Меня вы, бедную, не погубите
И землю вровень хоть с горою затопите,
Чтобы в моих поместьях никогда
Не высыхала бы вода!»
Лягушка вопит без умолку
И наконец Юпитера бранит,
Что нету в нем ни жалости, ни толку.
«Безумная! — Юпитер говорит
(Знать, не был он тогда сердит),—
Как квакать попусту тебе охота!
И чем мне для твоих затей
Перетопить людей,
Не лучше ль вниз тебе стащиться до болота?»

На свете много мы таких людей найдем,
Которым всё, кроме себя, постыло
И кои думают, лишь мне бы ладно было,
А там весь свет гори огнем.

ВОЛК И ПАСТУХИ

Волк, близко обходя пастуший двор
И видя сквозь забор,
Что, выбрав лучшего себе барана в стаде,
Спокойно Пастухи барашка потрошат,
А псы смирнехонько лежат,
Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде:
«Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья,
Когда бы это сделал я!»

ГРЕБЕНЬ

Дитяти маменька расчесывать головку
Купила частый Гребешок.
Не выпускает вон дитя из рук обновку:
Играет иль твердит из азбуки урок;
Свои всё кудри золотые,
Волнистые, барашком завитые
И мягкие, как тонкий лен,
Любуясь, Гребешком расчесывает он.
И что за Гребешок? Не только не теребит,
Нигде он даже не зацепит:
Так плавен, гладок в волосах.
Нет Гребню и цены у мальчика в глазах.
Случись, однако же, что Гребень затерялся.
Зарезвился мой мальчик, заигрался,
Всклокотил волосы копной.
Лишь няня к волосам, дитя подымет вой:
«Где Гребень мой?»
И Гребень отыскался,
Да только в голове ни взад он, ни вперед:
Лишь волосы до слез дерет.
«Какой ты злой, Гребнишка!» —
Кричит мальчишка.
А Гребень говорит: «Мой друг, всё тот же я;
Да голова всклокочена твоя».
Однако ж мальчик мой, от злости и досады,
Закинул Гребень свой в реку:
Теперь им чешутся Наяды.

Видал я на своем веку,
Что так же с правдой поступают.
Поколе совесть в нас чиста,
То правда нам мила и правда нам свята,
Ее и слушают, и принимают:
Но только стал кривить душей,
То правду дале от ушей.
И всякий, как дитя, чесать волос не хочет,
Когда их склочет.

СКУПОЙ И КУРИЦА

Скупой теряет всё, желая всё достать.
Чтоб долго мне примеров не искать,
Хоть есть и много их, я в том уверен;
Да рыться лень: так я намерен
Вам басню старую сказать.

Вот что в ребячестве читал я про Скупого.
Был человек, который никакого
Не знал ни промысла, ни ремесла,
Но сундуки его полнели очевидно.
Он Курицу имел (как это не завидно!),
Котора яица несла,
Но не простые,
А золотые.
Иной бы и тому был рад,
Что понемногу он становится богат;
Но этого Скупому мало,
Ему на мысли вспало,
Что, взрезав Курицу, он в ней достанет клад.
И так, забыв ее к себе благодеянье,
Неблагодарности не побоясь греха,
Ее зарезал он. И что же? В воздаянье
Он вынул из нее простые потроха.

ДВЕ БОЧКИ

Две Бочки ехали; одна с вином,
Другая
Пустая.

Вот первая — себе без шуму и шажком
Плетется,
Другая вскачь несется;
От ней по мостовой и стукотня, и гром,
И пыль столбом;
Прохожий к стороне скорей от страху жмется,
Ее заслышавши издалека.
Но как та Бочка ни громка,
А польза в ней не так, как в первой, велика.

Кто про свои дела кричит всем без умóлку,
В том, верно, мало толку;
Кто дéлов истинно,— тих часто на словах.
Великий человек лишь громок на делах,
И думает свою он крепко думу
Без шуму.

АПЕЛЛЕС И ОСЛЕНОК

Кто самолюбием чрез меру поражен,
Тот мил себе и в том, чем он другим смешон;
И часто тем ему случается хвалиться,
Чего бы должен он стыдиться.

С Осленком встретясь, Апеллес
Зовет к себе Осленка в гости;
В Осленке заиграли кости!
Осленок хвастовством весь душит лес
И говорит зверям: «Как Апеллес мне скучен,
Я им размучен:
Ну, всё зовет к себе, где с ним ни встречусь я.
Мне кажется, мои друзья,
Намерен он с меня писать Пегаса».—
«Нет,— Апеллес сказал, случася близко тут,—
Намеряся писать Мидасов суд,
Хотел с тебя списать я уши для Мидаса;
И коль пожалуешь ко мне, я буду рад.
Ослиных мне ушей и много хоть встречалось,
Но этаких, какими ты богат,
Не только у ослят,
Ни даже у ослов мне видеть не случалось».

ОХОТНИК

Как часто говорят в делах: еще успею.
Но надобно признаться в том,
Что это говорят, спросяся не с умом,
А с леностью своею.
Итак, коль дело есть, скорей его кончай,
Иль после на себя ропщи, не на случа́й,
Когда оно тебя застанет невзначай.
На это басню вам скажу я, как умею.

Охотник, взяв ружье, патронницу, суму
И друга верного по нраву и обычью,
Гекто́ра,— в лес пошел за дичью,
Не зарядя ружья, хоть был совет ему,
Чтоб зарядил ружье он дома.
«Вот вздор! — он говорит.— Дорога мне знакома,
На ней ни воробья не видел я родясь;
До места ж ходу целый час,
Так зарядить еще успею я сто раз».
Но что ж? Лишь вон из жи́ла
(Как будто бы над ним Фортуна подшутила),
По озерку
Гуляют утки целым стадом;
И нашему б тогда Стрелку
Легко с полдюжины одним зарядом
Убить
И на неделю с хлебом быть,
Когда б не отложил ружья он зарядить.
Теперь к заряду он скорее; только утки
На это чутки:
Пока с ружьем возился он,
Они вскричали, встрепенулись,
Взвились — и за леса веревкой потянулись,
А там из виду скрылись вон.
Напрасно по лесу Стрелок потом таскался,
Ни даже воробей ему не попадался;
А тут к беде еще беда:
Случись тогда
Ненастье.
И так Охотник мой,
Измокши весь, пришел домой
С пустой сумой;
А все-таки пенял не на себя, на счастье.

ОСЕЛ И МУЖИК

Мужик, на лето в огород
Наняв Осла, приставил
Ворон и воробьев гонять нахальный род.
Осел был самых честных правил:
Ни с хищностью, ни с кражей незнаком,
Не поживился он хозяйским ни листком
И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку;
Но Мужику барыш был с огорода плох.
Осел, гоняя птиц, со всех Ослиных ног,
По всем грядам, и вдоль и поперек,
Такую поднял скачку,
Что в огороде всё примял и притоптал.
Увидя тут, что труд его пропал,
Крестьянин на спине Ослиной
Убыток выместил дубиной.
«И ништо! — все кричат,— скотине поделом!
С его ль умом
За это дело браться?»

А я скажу, не с тем, чтоб за Осла вступаться;
Он, точно, виноват (с ним сделан и расчет),
Но, кажется, неправ и тот,
Кто поручил Ослу стеречь свой огород.

ВОЛК И ЖУРАВЛЬ

Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
За то на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул к Волку в пасть и с трудностью большею
Кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь! — зверь вскричал коварный,—
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!

А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес!
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперед ты мне не попадайся».

ПЧЕЛА И МУХИ

Две Мухи собрались лететь в чужие кра́и
И стали подзывать с собой туда Пчелу:
Им насказали попугаи
О дальних сторонах большую похвалу.
Притом же им самим казалося обидно,
Что их, на родине своей,
Везде гоняют из гостей;
И даже до чего (ка́к людям то не стыдно.
И что они за чудаки!):
Чтоб поживиться им не дать сластями
За пышными столами,
Придумали от них стеклянны колпаки;
А в хижинах на них злодеи пауки.
«Путь добрый вам,— Пчела на это отвечала,—
А мне
И на моей приятно стороне.
От всех за соты я любовь себе сыскала —
От поселян и до вельмож.
Но вы летите,
Куда хотите!
Везде вам будет счастье то ж:
Не будете, друзья, нигде, не быв полезны,
Вы ни почтенны, ни любезны.
А рады пауки лишь будут вам
И там».

Кто с пользою отечеству трудится,
Тот с ним легко не разлучится;
А кто полезным быть способности лишен,
Чужая сторона тому всегда приятна:
Не бывши гражданин, там мене презрен он,
И никому его там праздность не досадна.

МУРАВЕЙ

Какой-то Муравей был силы непомерной,
Какой не слыхано ни в древни времена;
Он даже (говорит его историк верной)
Мог поднимать больших ячменных два зерна!
Притом и в храбрости за чудо почитался:
Где б ни завидел червяка,
Тотчас в него впивался
И даже хаживал один на паука.
А тем вошел в такую славу
Он в муравейнике своем,
Что только и речей там было, что о нем.
Я лишние хвалы считаю за отраву;
Но этот Муравей был не такого нраву:
Он их любил,
Своим их чванством мерил
И всем им верил:
А ими наконец так голову набил,
Что вздумал в город показаться,
Чтоб силой там повеличаться.
На самый крупный с сеном воз
Он к мужику спесиво всполз
И въехал в город очень пышно;
Но ах, какой для гордости удар!
Он думал, на него сбежится весь базар,
Как на пожар;
А про него совсем не слышно:
У всякого забота там своя.
Мой Муравей, то взяв листок, потянет,
То припадет он, то привстанет:
Никто не видит Муравья.
Уставши наконец тянуться, выправляться,
С досадою Барбосу он сказал,
Который у воза хозяйского лежал:
«Не правда ль, надобно признаться,
Что в городе у вас
Народ без толку и без глаз?
Возможно ль, что меня никто не примечает,
Как ни тянусь я целый час;
А, кажется, у нас
Меня весь муравейник знает».
И со стыдом отправился домой.

Так думает иной
Затейник,
Что он в подсолнечной гремит.
А он — дивит
Свой только муравейник.

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ

К Крестьянину вползла Змея
И говорит: «Сосед! начнем жить дружно!
Теперь меня тебе стеречься уж не нужно;
Ты видишь, что совсем другая стала я
И кожу нынешней весной переменила».
Однако ж Мужика Змея не убедила.
Мужик схватил обух
И говорит: «Хоть ты и в новой коже,
Да сердце у тебя всё то же».
И вышиб из соседки дух.

Когда извериться в себе ты дашь причину,
Как хочешь ты меняй личину:
Себя под нею не спасешь,
И что с Змеей, с тобой случиться может то ж.

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД

Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись,
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».

ОВЦЫ И СОБАКИ

В каком-то стаде у Овец,
Чтоб Волки не могли их более тревожить,
Положено число Собак умножить.
Что ж? Развелось их столько наконец,
Что Овцы от Волков, то правда, уцелели,
Но и Собакам надо ж есть:
Сперва с Овечек сняли шерсть,
А там, по жеребью, с них шкурки полетели,
А там осталося всего Овец пять-шесть,
И тех Собаки съели.

МЕДВЕДЬ В СЕТЯХ

Медведь
Попался в сеть.
Над смертью издали шути как хочешь смело:
Но смерть вблизи — совсем другое дело.
Не хочется Медведю умереть.
Не отказался бы мой Мишка и от драки,
Да весь опутан сетью он,
А на него со всех сторон
Рогатины, и ружья, и собаки:
Так драка не по нем.
Вот хочет Мишка взять умом
И говорит ловцу: «Мой друг, какой виною
Я проступился пред тобою?
За что моей ты хочешь головы?
Иль веришь клеветам напрасным на медведей,
Что злы они? Ах, мы совсем не таковы!
Я, например, пошлюсь на всех соседей,
Что изо всех зверей мне только одному
Никто не сделает упрека,
Чтоб мертвого я тронул человека».—
«То правда,— отвечал на то ловец ему,—
Хвалю к усопшим я почтение такое;
Зато, где случай ты имел,
Живой уж от тебя не вырывался цел.
Так лучше бы ты мертвых ел
И оставлял живых в покое».

МАЛЬЧИК И ЧЕРВЯК

Не льстись предательством ты счастие сыскать!
У самых тех всегда в глазах предатель низок,
Кто при нужде его не ставит в грех ласкать;
И первый завсегда к беде предатель близок.

Крестьянина Червяк просил его пустить
В свой сад на лето погостить.
Он обещал вести себя там честно,
Не трогая плодов, листочки лишь глодать,
И то которые уж станут увядать.
Крестьянин судит: «Как пристанища не дать?
Ужли от Червяка в саду мне будет тесно?
Пускай его себе живет.
Притом же важного убытку быть не может,
Коль он листочка два-три сгложет».
Позволил: и Червяк на дерево ползет;
Нашел под веточкой приют от непогод:
Живет без нужды, хоть не пышно,
И про него совсем не слышно.
Меж тем уж золотит плоды лучистый Царь,
Вот в самом том саду, где также спеть всё стало,
Наливное, сквозное, как янтарь,
При солнце яблоко на ветке дозревало.
Мальчишка был давно тем яблоком пленен:
Из тысячи других его заметил он,
Да доступ к яблоку мудрен.
На яблоню Мальчишка лезть не смеет,
Ее тряхнуть он силы не имеет
И, словом, яблоко достать не знает как.
Кто ж в краже Мальчику помочь взялся? Червяк.
«Послушай,— говорит,— я знаю это, точно
Хозяин яблоки велел снимать;
Так это яблоко обоим нам непрочно;
Однако ж я берусь его достать,
Лишь поделись со мной. Себе ты можешь взять
Противу моего хоть вдесятеро боле;
А мне и самой малой доли
На целый станет век глодать».
Условье сделано: Мальчишка согласился;
Червяк на яблоню — и работа́ть пустился;
Он яблоко в минуту подточил.
Но что ж в награду получил?
Лишь только яблоко упало,

И с семечками съел его Мальчишка мой;
А как за долей сполз Червяк долой,
То Мальчик Червяка расплющил под пятой:
И так ни Червяка, ни яблока не стало.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ МЕДВЕДЬ

Увидя, что мужик, трудяся над дугами,
Их прибыльно сбывает с рук
(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг),
Медведь задумал жить такими же трудами.
Пошел по лесу треск и стук,
И слышно за версту проказу.
Орешника, березника и вязу
Мой Мишка погубил несметное число,
А не дается ремесло.
Вот идет к мужику он попросить совета
И говорит: «Сосед, что за причина эта?
Деревья-таки я ломать могу,
А не согнул ни одного в дугу.
Скажи, в чем есть тут главное уменье?» —
«В том,— отвечал сосед,—
Чего в тебе, кум, вовсе нет:
В терпенье».

СОВЕТ МЫШЕЙ

Когда-то вздумалось Мышам себя прославить
И, несмотря на кошек и котов,
Свести с ума всех ключниц, поваров
И славу о своих делах трубить заставить
От погребов до чердаков;
А для того Совет назначено составить,
В котором заседать лишь тем, у коих хвост
Длиной во весь их рост:
Поимета у Мышей, что тот, чей хвост длиннее,
Всегда умнее
И расторопнее везде.
Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем;
Притом же об уме мы сами часто судим
По платью иль по бороде.
Лишь нужно знать, что с общего сужденья

Всё длиннохвостых брать назначено в Совет;
У коих же хвоста, к несчастью, нет,
Хотя б лишились их они среди сраженья,
Но так как это знак иль неуменья,
Иль нераденья,
Таких в Совет не принимать,
Чтоб из-за них своих хвостов не растерять.
Всё дело слажено; повещено собранье,
Как ночь настанет на дворе;
И наконец в мучном ларе
Открыто заседанье.
Но лишь позаняли места,
Ан, глядь, сидит тут крыса без хвоста.
Приметя то, седую Мышь толкает
Мышонок молодой
И говорит: «Какой судьбой
Бесхвостая здесь с нами заседает?
И где же делся наш закон?
Дай голос, чтоб ее скорее выслать вон.
Ты знаешь, как народ бесхвостых наш не любит;
И можно ль, чтоб она полезна нам была,
Когда и своего хвоста не сберегла?
Она не только нас, подполицу всю губит».
А Мышь в ответ: «Молчи! всё знаю я сама;
Да эта крыса мне кума».

МЕЛЬНИК

У Мельника вода плотину прососала,
Беда б не велика сначала,
Когда бы руки приложить;
Но кстати ль? Мельник мой не думает тужить;
А течь день ото дня сильнее становится:
Вода так бьет, как из ведра.
«Эй, Мельник, не зевай! Пора,
Пора тебе за ум хватиться!»
А Мельник говорит: «Далеко до беды,
Не море надо мне воды,
И ею мельница по весь мой век богата».
Он спит, а между тем
Вода бежит, как из ушата.
И вот беда пришла совсем:
Стал жернов, мельница не служит.
Хватился Мельник мой: и охает, и тужит,

И думает, как воду уберечь.
Вот у плотины он, осматривая течь,
Увидел, что к реке пришли напиться куры.
«Негодные! — кричит,— хохлатки, дуры!
Я и без вас воды не знаю где достать;
А вы пришли ее здесь вдосталь допивать».—
И в них поленом хвать!
Какое ж сделал тем себе подспорье?
Без кур и без воды пошел в свое подворье.

Видал я иногда,
Что есть такие господа
(И эта басенка им сделана в подарок),
Которым тысячей не жаль на вздор сорить,
А думают хозяйству подспорить,
Коль свечки сберегут огарок,
И рады за него с людьми поднять содом.
С такою бережью диковинка ль, что дом
Скорёшенько пойдет вверх дном?

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ

Когда почтен быть хочешь у людей,—
С разбором заводи знакомства и друзей!

Мужик с Змеею подружился.
Известно, что Змея умна:
Так вкралась к Мужику она,
Что ею только он и клялся, и божился.
С тех пор все прежние приятели, родня,
Никто к нему ногой не побывает.
«Помилуйте,— Мужик пеняет,—
За что вы все покинули меня!
Иль угостить жена вас не умела?
Или хлеб-соль моя вам надоела?» —
«Нет,— кум Матвей сказал ему в ответ,—
К тебе бы рады мы, сосед;
И никогда ты нас (об этом слова нет)
Не огорчил ничем, не опечалил:
Но что за радость, рассуди,
Коль, сидя у тебя, того лишь и гляди,
Чтобы твой друг кого, подползши, не ужалил?»

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит,—
Ей с Дубу Ворон говорит,—
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».—
«Пусть сохнет,— говорит Свинья,—
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».—
«Неблагодарная! — примолвил Дуб ей тут,—
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».

Невежда так же в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

ПАУК И ПЧЕЛА

По мне, таланты те негодны,
В которых Свету пользы нет,
Хоть иногда им и дивится Свет.

Купец на ярмарку привез полотны;
Они такой товар, что надобно для всех.
Купцу на торг пожаловаться грех:
Покупщиков отбою нет; у лавки
Доходит иногда до давки.
Увидя, что товар так ходко идет с рук,
Завистливый Паук
На барыши купца прельстился;
Задумал на продажу ткать,
Купца затеял подорвать

И лавочку открыть в окошке сам решился.
Основу основал, проткал насквозь всю ночь,
Поставил свой товар на диво,
Засел, надувшися, спесиво,
От лавки не отходит прочь
И думает: лишь только день настанет,
То всех покупщиков к себе он переманит.
Вот день настал: но что ж? Проказника метлой
Смели и с лавочкой долой.
Паук мой бесится с досады.
«Вот,— говорит,— жди праведной награды!
На весь я свет пошлюсь, чье тонее тканье:
Купцово иль мое?» —
«Твое: кто в этом спорить смеет? —
Пчела ответствует.— Известно то давно;
Да что́ в нем проку, коль оно
Не одевает и не греет?»

ЛИСИЦА И ОСЕЛ

«Отколе, умная, бредешь ты, голова?» —
Лисица, встретяся с Ослом, его спросила.
«Сейчас лишь ото Льва!
Ну, кумушка, куда его девалась сила:
Бывало, зарычит, так стонет лес кругом,
И я, без памяти, бегом,
Куда глаза глядят, от этого урода;
А ныне в старости и дряхл и хил,
Совсем без сил,
Валяется в пещере, как колода.
Поверишь ли, в зверях
Пропал к нему весь прежний страх,
И поплатился он старинными долгами!
Кто мимо Льва ни шел, всяк вымещал ему
По-своему:
Кто зубом, кто рогами...» —
«Но ты коснуться Льву, конечно, не дерзнул?» —
Лиса Осла перерывает.
«Вот-на! — Осел ей отвечает.—
А мне чего робеть? и я его лягнул:
Пускай ослиные копыта знает!»

Так души низкие, будь знатен, силен ты,
Не смеют на тебя поднять они и взгляды;
Но упади лишь с высоты,
От первых жди от них обиды и досады.

МУХА И ПЧЁЛА

В саду, весной, при легком ветерке,
На тонком стебельке
Качалась Муха, сидя,
И, на цветке Пчелу увидя,
Спесиво говорит: «Уж как тебе не лень
С утра до вечера трудиться целый день!
На месте бы твоем я в сутки захирела.
Вот, например, мое
Так, право, райское житье!
За мною только лишь и дела:
Летать по балам, по гостям;
И молвить, не хвалясь, мне в городе знакомы
Вельмож и богачей все домы.
Когда б ты видела, как я пирую там!
Где только свадьба, именины,—
Из первых я уж верно тут.
И ем с фарфоровых богатых блюд,
И пью из хрусталей блестящих сладки вины,
И прежде всех гостей
Беру, что вздумаю, из лакомых сластей;
Притом же, жалуя пол нежной,
Вкруг молодых красавиц вьюсь
И отдыхать у них сажусь
На щечке розовой иль шейке белоснежной».—
«Всё это знаю я,— ответствует Пчела.—
Но и о том дошли мне слухи,
Что никому ты не мила,
Что на пирах лишь морщатся от Мухи,
Что даже часто, где покажешься ты в дом,
Тебя гоняют со стыдом».—
«Вот,— Муха говорит,— гоняют! Что ж такое?
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».

ЗМЕЯ И ОВЦА

Змея лежала под колодой
И злилася на целый свет;
У ней другого чувства нет,
Как злиться: создана уж так она природой.
Ягненок в близости резвился и скакал;
Он о Змее совсем не помышлял.
Вот, выползши, она в него вонзает жало:
В глазах у бедняка туманно небо стало;
Вся кровь от яду в нем горит.
«Что сделал я тебе?» — Змее он говорит.
«Кто знает? Может быть, ты с тем сюда забрался,
Чтоб раздавить меня,— шипит ему Змея.—
Из осторожности тебя караю я».—
«Ах, нет!» — он отвечал и с жизнью тут расстался.

В ком сердце так сотворено,
Что дружбы, ни любви не чувствует оно
И ненависть одну ко всем питает,
Тот всякого своим злодеем почитает.

ГОЛИК

Запачканный Голи́к попал в большую честь —
Уж он полов не будет в кухнях месть:
Ему поручены господские кафтаны
(Как видно, слуги были пьяны).
Вот развозился мой Голик:
По платью барскому без устали колотит,
И на кафтанах он как будто рожь молотит,
И подлинно, что труд его велик.
Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен.
Что ж пользы от его труда?
Чем больше чистит он, тем только больше пятен.

Бывает столько же вреда,
Когда
Невежда не в свои дела вплетется
И поправлять труды ученого возьмется.

КРЕСТЬЯНИН И ОВЦА

Крестьянин по́звал в суд Овцу;
Он уголовное взвел на бедняжку дело;
Судья — Лиса: оно в минуту закипело.
Запрос ответчику, запрос истцу,
Чтоб рассказать по пунктам и без крика:
Как было дело, в чем улика?
Крестьянин говорит: «Такого-то числа,
Поутру, у меня двух кур недосчитались:
От них лишь косточки да перышки остались;
А на дворе одна Овца была».
Овца же говорит: она всю ночь спала,
И всех соседей в том в свидетели звала,
Что никогда за не́й не знали никакого
Ни воровства,
Ни плутовства;
А сверх того, она совсем не ест мясного.
И приговор Лисы вот, от слова до слова:
«Не принимать никак резонов от Овцы,
Понеже хоронить концы
Все плуты, ведомо, искусны;
По справке ж явствует, что в сказанную ночь —
Овца от кур не отлучалась прочь,
А куры очень вкусны,
И случай был удобен ей;
То я сужу, по совести моей:
Нельзя, чтоб утерпела
И кур она не съела;
И вследствие того казнить Овцу,
И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу».

ВОЛК И МЫШОНОК

Из стада серый Волк
В лес о́вцу затащил, в укромный уголок,
Уж, разумеется, не в гости:
Овечку бедную обжора ободрал,
И так ее он убирал,
Что на зубах хрустели кости.
Но как ни жаден был, а съесть всего не мог;
Оставил к ужину запас и подле лег
Понежиться, вздохнуть от жирного обеда.
Вот близкого его соседа,

Мышонка, запахом пирушки привлекло.
Меж мхов и кочек он тихохонько подкрался,
Схватил кусок мясца — и с ним скорей убрался
К себе домой, в дупло.
Увидя похищенье,
Волк мой
По лесу поднял вой;
Кричит он: «Караул, разбой!
Держите вора! Разоренье,
Расхитили мое именье!»

Такое ж в городе я видел приключенье:
У Климыча-судьи часишки вор стянул.
И он кричит на вора: караул!

ДВА МУЖИКА

«Здоро́во, кум Фаддей!» — «Здоро́во, кум Егор!» —
«Ну, каково, приятель, поживаешь?» —
«Ох, кум, беды моей, что вижу, ты не знаешь!
Бог посетил меня: я сжег дотла свой двор
И по́ миру пошел с тех пор».—
«Ка́к так? Плохая, кум, игрушка!» —
«Да так! О рождестве была у нас пирушка;
Я со свечой пошел дать корму лошадям;
Признаться, в голове шумело;
Я как-то заронил, насилу спасся сам;
А двор и всё добро сгорело.
Ну, ты как?» — «Ох, Фаддей, худое дело!
И на меня прогневался, знать, бог:
Ты видишь, я без ног;
Как сам остался жив, считаю, право, дивом.
Я тож о рождестве пошел в ледник за пивом,
И тоже чересчур, признаться, я хлебнул
С друзьями полугару;
А чтоб в хмелю не сделать мне пожару,
Так я свечу совсем задул:
Ан бес меня впотьмах так с лестницы толкнул,
Что сделал из меня совсем не человека,
И вот я с той поры калека».—
«Пеняйте на себя, друзья! —
Сказал им сват Степан.— Коль молвить правду, я
Совсем не чту за чудо,

Что ты сожег свой двор, а ты на костылях:
Для пьяного и со свечою худо;
Да вряд не хуже ль и впотьмах».

КОТЕНОК И СКВОРЕЦ

В каком-то доме был Скворец,
Плохой певец;
Зато уж филосо́ф презнатный,
И свел с Котенком дружбу он.
Котенок был уж котик преизрядный,
Но тих, и вежлив, и смирен.
Вот как-то был в столе Котенок обделен.
Бедняжку голод мучит:
Задумчив бродит он, скучаючи постом;
Поводит ласково хвостом
И жалобно мяучит.
А филосо́ф Котенка учит —
И говорит ему: «Мой друг, ты очень прост,
Что терпишь добровольно пост;
А в клетке на́д носом твоим висит щегленок:
Я вижу, ты прямой Котенок».—
«Но совесть...» — «Как ты мало знаешь свет!
Поверь, что это сущий бред
И слабых душ одни лишь предрассудки,
А для больших умов — пустые только шутки!
На свете кто силен,
Тот делать всё волён.
Вот доказательства тебе и вот примеры».
Тут, выведя их на свои манеры,
Он философию всю вычерпал до дна.
Котенку натощак понравилась она:
Он вытащил и съел щегленка.
Разлакомил кусок такой Котенка,
Хотя им голода он утолить не мог.
Однако же второй урок
С большим успехом слушал
И говорит Скворцу: «Спасибо, милый кум!
Наставил ты меня на ум».
И, клетку разломав, учителя он скушал.

ДВЕ СОБАКИ

Дворовый верный пес
Барбос,
Который барскую усердно службу нес,
Увидел старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку,
На мягкой пуховой подушке, на окне.
К ней ластяся, как будто бы к родне,
Он, с умиленья, чуть не плачет
И под окном
Визжит, вертит хвостом
И скачет.
«Ну что, Жужутка, как живешь,
С тех пор как господа тебя в хоромы взяли?
Ведь помнишь: на дворе мы часто голодали.
Какую службу ты несешь?» —
«На счастье грех роптать,— Жужутка отвечает,—
Мой господин во мне души не чает;
Живу в довольстве и добре,
И ем, и пью на серебре;
Резвлюся с барином; а ежели устану,
Валяюсь по коврам и мягкому дивану.
Ты как живешь?» — «Я,— отвечал Барбос,
Хвост плетью опустя и свой повеся нос,—
Живу по-прежнему: терплю и холод,
И голод
И, сберегаючи хозяйский дом,
Здесь под забором сплю и мокну под дождем;
А если невпопад залаю,
То и побои принимаю.
Да чем же ты, Жужу, в случа́й попал,
Бессилен бывши так и мал,
Меж тем как я из кожи рвусь напрасно?
Чем служишь ты?» — «Чем служишь! Вот прекрасно!—
С насмешкой отвечал Жужу.—
На задних лапках я хожу».

Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!

КОШКА И СОЛОВЕЙ

Поймала Кошка Соловья,
В бедняжку когти запустила,
И, ласково его сжимая, говорила:
«Соловушка, душа моя!
Я слышу, что тебя везде за песни славят
И с лучшими певцами рядом ставят.
Мне говорит Лиса-кума,
Что голос у тебя так звонок и чудесен,
Что от твоих прелестных песен
Все пастухи, пастушки — без ума.
Хотела б очень я сама
Тебя послушать,
Не трепещися так; не будь, мой друг, упрям;
Не бойся: не хочу совсем тебя я кушать.
Лишь спой мне что-нибудь: тебе я волю дам
И отпущу гулять по рощам и лесам.
В любви я к музыке тебе не уступаю.
И часто, про себя мурлыча, засыпаю».
Меж тем мой бедный Соловей
Едва-едва дышал в когтях у ней.
«Ну, что же? — продолжает Кошка,—
Пропой, дружок, хотя немножко».
Но наш певец не пел, а только что пищал.
«Так этим-то леса ты восхищал! —
С насмешкою она спросила.—
Где ж эта чистота и сила,
О коих все без умолку твердят?
Мне скучен писк такой и от моих котят.
Нет, вижу, что в пенье́ ты вовсе не искусен:
Всё без начала, без конца.
Посмотрим, на зубах каков-то будешь вкусен!»
И съела бедного певца —
До крошки.

Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою?
Худые песни Соловью
В когтях у Кошки.

РЫБЬЯ ПЛЯСКА

От жалоб на судей,
На сильных и на богачей
Лев, вышед из терпенья,
Пустился сам свои осматривать владенья.
Он и́дет, а Мужик, расклавши огонек,
Наудя рыб, изжарить их сбирался.
Бедняжки прыгали от жару кто как мог;
Всяк, видя близкий свой конец, метался,
На Мужика разинув зев,
«Кто ты? что делаешь?» — спросил сердито Лев.
«Всесильный царь! — сказал Мужик, оторопев,—
Я старостою здесь над водяным народом;
А это старшины, все жители воды;
Мы собрались сюды
Поздравить здесь тебя с твоим приходом».—
«Ну, как они живут? Богат ли здешний край?» —
«Великий государь! Здесь не житье им — рай.
Богам о том мы только и молились,
Чтоб дни твои бесценные продлились».
(А рыбы между тем на сковородке бились.) —
«Да отчего же,— Лев спросил,— скажи ты мне,
Они хвостами так и головами машут?» —
«О мудрый царь! — Мужик ответствовал,— оне
От радости, тебя увидя, пляшут».
Тут, старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Еще изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.

ПЕСТРЫЕ ОВЦЫ

Лев пестрых невзлюбил Овец.
Их просто бы ему перевести не трудно;
Но это было бы неправосудно —
Он не на то в лесах носил венец,
Чтоб подданных душить, но им давать расправу;
А видеть пеструю Овцу терпенья нет!
Как сбыть их и сберечь свою на свете славу?
И вот к себе зовет
Медведя он с Лисою на совет —
И им за тайну открывает,
Что, видя пеструю Овцу, он всякий раз
Глазами целый день страдает

И что придет ему совсем лишиться глаз,
И, как такой беде помочь, совсем не знает.
«Всесильный Лев! — сказал, насупяся, Медведь,—
На что тут много разговоров?
Вели без дальних сборов
Овец передушить. Кому о них жалеть?»
Лиса, увидевши, что Лев нахмурил брови,
Смиренно говорит: «О царь! наш добрый царь!
Ты, верно, запретишь гнать эту бедну тварь —
И не прольешь невинной крови.
Осмелюсь я совет иной произнести:
Дай повеленье ты луга им отвести,
Где б был обильный корм для маток
И где бы поскакать, побегать для ягняток;
А так как в пастухах у нас здесь недостаток,
То прикажи Овец Волкам пасти.
Не знаю, как-то мне сдается,
Что род их сам собой переведется.
А между тем пускай блаженствуют оне;
И что б ни сделалось, ты будешь в стороне».
Лисицы мнение в совете силу взяло
И так удачно в ход пошло, что наконец
Не только пестрых там Овец —
И гладких стало мало.
Какие ж у зверей пошли на это толки? —
Что Лев бы и хорош, да всё злодеи Волки.

БЕЛКА

У Льва служила Белка.
Не знаю, как и чем; но дело только в том,
Что служба Белкина угодна перед Львом;
А угодить на Льва, конечно, не безделка.
За то обещан ей орехов целый воз.
Обещан — между тем всё время улетает;
А Белочка моя нередко голодает
И скалит перед Львом зубки́ свои сквозь слез.
Посмотрит: по лесу то там, то сям мелькают
Ее подружки в вышине;
Она лишь глазками моргает, а оне
Орешки знай себе щелкают да щелкают.
Но наша Белочка к орешнику лишь шаг,
Глядит — нельзя никак:
На службу Льву ее то кличут, то толкают.

Вот Белка наконец уж стала и стара
И Льву наскучила: в отставку ей пора.
Отставку Белке дали,
И точно, целый воз орехов ей прислали.
Орехи славные, каких не видел свет;
Все на отбор: орех к ореху — чудо!
Одно лишь только худо —
Давно зубов у Белки нет.

ЩУКА

На Щуку подан в суд донос,
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисаньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи! — Лиса тут приступила,—
Повесить мало, я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно —
Так утопить ее в реке».— «Прекрасно!» —
Кричат судьи́. На том решили все согласно.
И Щуку бросили — в реку!

КУКУШКА И ОРЕЛ

Орел пожаловал Кукушку в Соловьи.
Кукушка в новом чине,
Усевшись важно на осине,
Таланты в музыке свои
Выказывать пустилась:
Глядит — все прочь летят,
Одни смеются ей, а те ее бранят.
Моя Кукушка огорчилась,
И с жалобой на птиц к Орлу спешит она.
«Помилуй! — говорит,— по твоему веленью
Я Соловьем в лесу здесь названа;
А моему смеяться смеют пенью!» —
«Мой друг! — Орел в ответ,— я царь, но я не бог.
Нельзя мне от беды твоей тебя избавить.
Кукушку Соловьем честить я мог заставить;
Но сделать Соловьем Кукушку я не мог».

БРИТВЫ

С знакомцем съехавшись однажды я в дороге,
С ним вместе на одном ночлеге ночевал.
Поутру, чуть лишь я глаза продрал,
И что же узнаю? — Приятель мой в тревоге;
Вчера заснули мы меж шуток, без забот;
Теперь я слушаю — приятель стал не тот.
То вскрикнет он, то охнет, то вздохнет.
«Что сделалось с тобой, мой милый?.. Я надеюсь,
Не болен ты».— «Ох! ничего: я бреюсь».—
«Как! только?» Тут я встал — гляжу: проказник мой
У зеркала сквозь слез так кисло морщит рожу,
Как будто бы с него содрать сбирались кожу.
Узнавши наконец вину беды такой,
«Что дива? — я сказал,— ты сам себя тиранишь.
Пожалуй, посмотри:
Ведь у тебя не Бритвы — косари;
Не бриться — мучиться ты только с ними станешь».—
«Ох, братец, признаюсь,
Что Бритвы очень тупы!
Как этого не знать? Ведь мы не так уж глупы;
Да острыми-то я порезаться боюсь».—
«А я, мой друг, тебя уверить смею,
Что Бритвою тупой изрежешься скорей.

А острою обреешься верней:
Умей владеть лишь ею».

Вам пояснить рассказ мой я готов:
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,
С умом людей — боятся,
И терпят при себе охотней дураков?

БЕДНЫЙ БОГАЧ

«Ну стоит ли богатым быть,
Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить
И только деньги лишь копить?
Да и на что? Умрем, ведь всё оставим.
Мы только лишь себя и мучим и бесславим.
Нет, если б мне далось богатство на удел,
Не только бы рубля, я б тысяч не жалел,
Чтоб жить роскошно, пышно,
И о моих пирах далеко б было слышно;
Я даже делал бы добро другим.
А богачей скупых на муку жизнь похожа».—
Так рассуждал Бедняк с собой самим,
В лачужке низменной, на голой лавке лежа;
Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез,
Кто говорит — колдун, кто говорит — что бес,
Последнее едва ли не вернее:
Из дела будет то виднее.
Предстал — и начал так: «Ты хочешь быть богат,
Я слышал, для чего; служить я другу рад.
Вот кошелек тебе: червонец в нем, не боле;
Но вынешь лишь один, уж там готов другой.
Итак, приятель мой,
Разбогатеть теперь в твоей лишь воле.
Возьми ж — и из него без счету вынимай,
Доколе будешь ты доволен;
Но только знай:
Истратить одного червонца ты не волен,
Пока в реку не бросишь кошелька».
Сказал — и с кошельком оставил Бедняка.
Бедняк от радости едва не помешался;
Но лишь опомнился, за кошелек принялся,
И что́ ж? — Чуть верится ему, что то не сон:
Едва червонец вынет он,

Уж в кошельке другой червонец шевелится.
«Ах, пусть лишь до утра мне счастие продлится! —
Бедняк мой говорит.—
Червонцев я себе повытаскаю груду;
Так завтра же богат я буду —
И заживу, как сибарит».
Однако ж поутру он думает другое.
«То правда,— говорит,— теперь я стал богат;
Да кто ж добру не рад!
И почему бы мне не быть богаче вдвое?
Неужто лень
Над кошельком еще провесть хоть день!
Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу;
Но если накупить могу я деревень,
Не глупо ли, когда случай к тому утрачу?
Так, удержу чудесный кошелек:
Уж так и быть, еще я поговею
Один денек,
А впрочем, ведь пожить всегда успею».
Но что ж? Проходит день, неделя, месяц, год —
Бедняк мой потерял давно в червонцах счет;
Меж тем он скудно ест и скудно пьет;
Но чуть лишь день, а он опять за ту ж работу.
День кончится, и, по его расчету,
Ему всегда чего-нибудь недостает.
Лишь кошелек нести сберется,
То сердце у него сожмется;
Придет к реке,— воротится опять.
«Как можно,— говорит,— от кошелька отстать,
Когда мне золото рекою само льется?»
И наконец Бедняк мой поседел,
Бедняк мой похудел;
Как золото его, Бедняк мой пожелтел.
Уж и о пышности он боле не смекает:
Он стал и слаб и хил; здоровье и покой —
Утратил всё; но всё дрожащею рукой
Из кошелька червонцы вон таскает.
Таскал, таскал... и чем же кончил он?
На лавке, где своим богатством любовался,
На той же лавке он скончался,
Досчитывая свой девятый миллион.

БУЛАТ

Булатной сабли острый клинок
Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок
И мужику задаром продан там.
У мужика затеи не велики:
Он отыскал тотчас в Булате прок.
Мужик мой насадил на кли́нок черенок
И стал Булатом драть в лесу на лапти лыки,
А дома, за́просто, лучину им щепать;
То ветви у плетня, то сучья обрубать
Или обтесывать тычины к огороду.
Ну так, что не прошло и году,
Как мой Булат в зубцах и в ржавчине кругом,
И дети ездят уж на нем
Верхом.
Вот еж, в избе под лавкой лежа,
Куда и кли́нок брошен был,
Однажды так Булату говорил:
«Скажи, на что вся жизнь твоя похожа?
И если про Булат
Так много громкого неложно говорят,
Не стыдно ли тебе щепать лучину
Или обтесывать тычину,
И, наконец, игрушкой быть ребят?» —
«В руках бы воина врагам я был ужасен,—
Булат ответствует,— а здесь мой дар напрасен;
Так, низким лишь трудом я занят здесь в дому:
Но разве я свободен?
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен».

ПУШКИ И ПАРУСА

На корабле у Пушек с Парусами
Восстала страшная вражда.
Вот Пушки, выставясь из бортов вон носами,
Роптали так пред небесами:
«О боги! видано ль когда,
Чтобы ничтожное холстинное творенье
Равняться в польэах нам имело дерзновенье?
Что делают они во весь наш трудный путь?
Лишь только ветер станет дуть,

Они, надув спесиво грудь,
Как будто важного какого сану,
Несутся гоголем по Океану
И только чванятся; а мы — громим в боях!
Не нами ль царствует корабль наш на морях?
Не мы ль несем с собой повсюду смерть и страх?
Нет, не хотим жить боле с Парусами;
Со всеми мы без них управимся и сами;
Лети же, помоги, могущий нам Борей,
И изорви в клочки их поскорей!»
Борей послушался — летит, дохнул, и вскоре
Насупилось и почернело море;
Покрылись тучею тяжелой небеса;
Валы вздымаются и рушатся, как горы;
Гром оглушает слух; слепит блеск молний взоры;
Борей ревет и рвет в лоскутья Паруса.
Не стало их, утихла непогода;
Но что ж? Корабль без Парусов
Игрушкой стал и ветров, и валов,
И носится он в море, как колода;
А в первой встрече со врагом,
Который вдоль его всем бортом страшно грянул,
Корабль мой недвижим: стал скоро решетом,
И с Пушками, как ключ, он ко́ дну канул.

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней все премудро части:
Оружием — врагам она грозна,
А Паруса — гражданские в ней власти.

СОБАКА И ЛОШАДЬ

У одного крестьянина служа,
Собака с Лошадью считаться как-то стали.
«Вот,— говорит Барбос,— большая госпожа!
По мне, хоть бы тебя совсем с двора согнали.
Велика вещь возить или пахать!
Об удальстве твоем другого не слыхать:
И можно ли тебе равняться в чем со мною?
Ни днем, ни ночью я не ведаю покою:
Днем стадо под моим надзором на лугу,
А ночью дом я стерегу».—
«Конечно,— Лошадь отвечала,—

Твоя правдива речь;
Однако же, когда б я не пахала,
То нечего б тебе здесь было и стеречь».

ВОЛК И КОТ

Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая;
За шкуру он свою дрожал:
Охотники за ним гнались и гончих стая.
Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота,
Да то лишь горе,
Что все ворота на запоре.
Вот видит Волк мой на заборе
Кота
И молит: «Васенька, мой друг! скажи скорее,
Кто здесь из мужичков добрее,
Чтобы укрыть меня от злых моих врагов?
Ты слышишь лай собак и страшный звук рогов!
Всё это ведь за мной».— «Проси скорей Степана;
Мужик предобрый он»,— Кот Васька говорит.
«То так; да у него я ободрал барана».—
«Ну, попытайся ж у Демьяна».—
«Боюсь, что на меня и он сердит:
Я у него унес козленка».—
«Беги ж, вон там живет Трофим».—
«К Трофиму? Нет, боюсь и встретиться я с ним:
Он на меня с весны грозится за ягненка!» —
«Ну, плохо ж! Но авось тебя укроет Клим!» —
«Ох, Вася, у него зарезал я теленка!» —
«Что вижу, кум! Ты всем в деревне насолил,—
Сказал тут Васька Волку,—
Какую ж ты себе защиту здесь сулил?
Нет, в наших мужичках не столько мало толку,
Чтоб на свою беду тебя спасли они.
И правы,— сам себя вини:
Что ты посеял — то и жни».

ВОДОПАД И РУЧЕЙ

Кипящий Водопад, свергаяся со скал,
Целебному ключу с надменностью сказал
(Который под горой едва лишь был приметен,
Но силой славился лечебною своей):
«Не странно ль это? Ты так мал, водой так беден,
А у тебя всегда премножество гостей?
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться;
К тебе зачем идут?» — «Лечиться»,—
Смиренно прожурчал Ручей.

ЛЕВ

Когда уж Лев стал хил и стар,
То жесткая ему постеля надоела:
В ней больно и костям; она ж его не грела,
И вот сзывает он к себе своих бояр,
Медведей и волков пушистых и косматых,
И говорит: «Друзья! для старика
Постель моя уж чересчур жестка:
Так как бы, не тягча ни бедных, ни богатых,
Мне шерсти пособрать,
Чтоб не на голых камнях спать».—
«Светлейший Лев! — ответствуют вельможи,—
Кто станет для тебя жалеть своей
Не только шерсти — кожи,
И мало ли у нас мохнатых здесь зверей:
Олени, серны, козы, лани,
Они почти не платят дани;
Набрать с них шерсти поскорей:
От этого их не убудет;
Напротив, им же легче будет».
И тотчас выполнен совет премудрый сей.
Лев не нахвалится усердием друзей;
Но в чем же то они усердие явили?
Тем, что бедняжек захватили
И дочиста обрили,
А сами вдвое хоть богаче шерстью были —
Не поступилися своим ни волоском;
Напротив, всяк из них, кто близко тут случился,
Из той же дани поживился —
И на зиму себе запасся тюфяком.

ПАСТУХ

У Саввы, Пастуха (он барских пас овец),
Вдруг убывать овечки стали.
Наш молодец
В кручине и печали:
Всем плачется и распускает толк,
Что страшный показался волк,
Что начал он овец таскать из стада,
И беспощадно их дерет.
«И не диковина,— твердит народ,—
Какая от волков овцам пощада!»
Вот волка стали стеречи.
Но отчего ж у Саввушки в печи
То щи с бараниной, то бок бараний с кашей?
(Из поваренок, за грехи,
В деревню он был сослан в пастухи:
Так кухня у него немножко схожа с нашей.)
За волком поиски; клянет его весь свет;
Обшарили весь лес,— а волка следу нет.
Друзья! Пустой ваш труд: на волка только слава,
А ест овец-то — Савва.

БЕЛКА

В деревне, в праздник, под окном
Помещичьих хоро́м,
Народ толпился,
На Белку в колесе зевал он и дивился.
Вблизи с березы ей дивился тоже Дрозд:
Так бегала она, что лапки лишь мелькали
И раздувался пышный хвост.
«Землячка старая,— спросил тут Дрозд,— нельзя ли
Сказать, что́ делаешь ты здесь?» —
«Ох, милый друг! Тружусь день весь:
Я по делам гонцом у барина большого;
Ну, некогда ни пить, ни есть,
Ни даже духу перевесть».—
И Белка в колесе бежать пустилась снова.
«Да,— улетая, Дрозд сказал,— то ясно мне,
Что ты бежишь, а всё на том же ты окне».

Посмотришь на дельца иного:
Хлопочет, мечется, ему дивятся все:
Он, кажется, из кожи рвется,
Да только всё вперед не подается,
Как Белка в колесе.

МЫШИ

«Сестрица! знаешь ли, беда! —
На корабле Мышь Мыши говорила,—
Ведь оказалась течь: внизу у нас вода
Чуть не хватила
До самого мне рыла.
(А правда, так она лишь лапки замочила.)
И что́ диковинки — наш капитан
Или с похмелья, или пьян.
Матросы все — один ленивее другого;
Ну, словом, нет порядку никакого.
Сейчас кричала я во весь народ,
Что ко́ дну наш корабль идет:
Куда! — Никто и ухом не ведет,
Как будто б ложные я распускала вести;
А ясно — только в трюм лишь стоит заглянуть,
Что кораблю часа́ не дотянуть.
Сестрица! неужли нам гибнуть с ними вместе!
Пойдем же, кинемся скорее с корабля;
Авось недалеко земля!»
Тут в Океан мои затейницы спрыгну́ли
И — утонули;
А наш корабль, рукой искусною водим,
Достигнул пристани и цел и невредим.

Теперь пойдут вопросы:
А что же капитан, и течь, и что матросы?
Течь слабая, и та
В минуту унята;
А остальное — клевета.

ЛИСА

Зимой, ранехонько, близ жи́ла,
Лиса у проруби пила в большой мороз.
Меж тем оплошность ли, судьба ль (не в этом сила),
Но — кончик хвостика Лисица замочила,
И ко́ льду он примерз.
Беда не велика, легко б ее поправить:
Рвануться только посильней
И волосков хотя десятка два оставить,
Но до людей
Домой убраться поскорей.
Да как испортить хвост? А хвост такой пушистый,
Раскидистый и золотистый!
Нет, лучше подождать — ведь спит еще народ;
А между тем авось и оттепель придет,
Так хвост от проруби оттает.
Вот ждет-пождет, а хвост лишь боле примерзает.
Глядит — и день светает,
Народ шеве́лится, и слышны голоса.
Тут бедная моя Лиса
Туда-сюда метаться;
Но уж от проруби не может оторваться.
По счастью, Волк бежит. «Друг милый! кум! отец! —
Кричит Лиса.— Спаси! Пришел совсем конец!»
Вот кум остановился —
И в спа́сенье Лисы вступился.
Прием его был очень прост:
Он на́чисто отгрыз ей хвост.
Тут без хвоста домой моя пустилась дура.
Уж рада, что на ней цела осталась шкура.

Мне кажется, что смысл не темен басни сей:
Щепотки волосков Лиса не пожалей —
Остался б хвост у ней.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Овечкам от Волков совсем житья не стало,
И до того, что наконец
Правительство зверей благие меры взяло
Вступиться в спа́сенье Овец,—
И учрежден Совет на сей конец.

Большая часть в нем, правда, были Волки;
Но не о всех Волках ведь злые толки.
Видали и таких Волков, и многократ,—
Примеры эти не забыты,—
Которые ходили близко стад
Смирнехонько — когда бывали сыты.
Так почему ж Волкам в Совете и не быть?
Хоть надобно Овец оборонить,
Но и Волков не вовсе ж притеснить.
Вот заседание в глухом лесу открыли;
Судили, думали, рядили
И наконец придумали закон.
Вот вам от слова в слово он:
«Как скоро Волк у стада забуянит
И обижать он Овцу станет,
То Волка тут властна Овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить,
В соседний лес иль в бор».
В законе нечего прибавить, ни убавить.
Да только я видал: до этих пор —
Хоть говорят, Волкам и не спускают,—
Что будь Овца ответчик иль истец,
А только Волки все-таки Овец
В леса таскают.

ДВА МАЛЬЧИКА

«Сенюша, знаешь ли, покамест, как баранов,
Опять нас не погнали в класс,
Пойдем-ка да нарвем в саду себе каштанов!» —
«Нет, Федя, те каштаны не про нас!
Хоть, кажется, они и недалеко,
Ты знаешь ведь, как дерево высоко:
Тебе, ни мне туда не влезть,
И нам каштанов тех не есть!» —
«И, милой, да на что ж догадка!
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка.
Я всё придумал: погоди!
На ближний сук меня лишь подсади.
А там мы сами умудримся —
И досыта каштанов наедимся».
Вот к дереву друзья со всех несутся ног,
Тут Сеня помогать товарищу принялся,

Пыхтел, весь по́том обливался,
И Феде́ наконе́ц вскарабкаться помог.
Взобрался Федя на приволье:
Как мышке в за́кроме, вверху ему раздолье!
Каштанов там не только всех не съесть,—
Не перечесть!
Найдется чем и поживиться,
И с другом поделиться.
Что ж! Сене от того прибыток вышел мал:
Он, бедный, на низу облизывал лишь губки;
Федюша сам вверху каштаны убирал,
А другу с дерева бросал одни скорлупки.

Видал Федюш на свете я,
Которым их друзья
Вскарабкаться наверх усердно помогали,
А после уж от них — скорлупки не видали!

КУКУШКА И ПЕТУХ

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» —
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».—
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала́ ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» —
«Спасибо, кум, зато, по совести моей,
Поёшь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—
Всё ваша музыка плоха!..»

За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

ВЕЛЬМОЖА

Какой-то в древности Вельможа
С богато убранного ложа
Отправился в страну, где царствует Плутон.
Сказать простее,— умер он;
И так, как встарь велось, в аду на суд явился.
Тотчас допрос ему: «Чем был ты? где родился?» —
«Родился в Персии, а чином был сатрап;
Но так как, живучи, я был здоровьем слаб,
То сам я областью не правил,
А все дела секретарю оставил».—
«Что ж делал ты?» — «Пил, ел и спал
Да всё подписывал, что он ни подавал».—
«Скорей же в рай его!» — «Как! где же
справедливость!» —
Меркурий тут вскричал, забывши всю учтивость.
«Эх, братец! — отвечал Эак,—
Не знаешь дела ты никак.
Не видишь разве ты? Покойник — был дурак!
Что, если бы с такою властью
Взялся он за дела, к несчастью,—
Ведь погубил бы целый край!..
И ты б там слез не обобрался!
Затем-то и попал он в рай,
Что за дела не принимался».

Вчера я был в суде и видел там судью:
Ну, так и кажется, что быть ему в раю!

А.С. ГРИБОЕДОВ

Горе от ума

Комедия
в четырех действиях,
в стихах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте.

София Павловна, дочь его.

Лизанька, служанка.

Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме.

Александр Андреевич Чацкий.

Полковник Скалозуб, Сергей Сергеевич.

Наталья Дмитриевна, молодая дама
Платон Михайлович, муж ее
} Горичи.

Князь Тугоуховский.

Княгиня, жена его, с шестью дочерями.

Графиня бабушка
Графиня внучка
} Хрюмины.

Антон Антонович Загорецкий.

Старуха Хлёстова, свояченица Фамусова.

Г. N.*

Г. D.*

Репетилов.

Петрушка и несколько говорящих слуг.

Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде.

Официанты Фамусова.

Действие в Москве, в доме Фамусова.

Действие I

ЯВЛЕНИЕ 1

Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. Лизанька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро, чуть день брезжится.

Лизанька

(вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается)

Светает!.. Ах! как скоро ночь минула!
Вчера просилась спать — отказ.
«Ждем друга».— Нужен глаз да глаз.
Не спи, покудова не скатишься со стула.
Теперь вот только что вздремнула,
Уж день!.. сказать им...

(Стучится к Софии.)

Господа,
Эй, Софья Павловна, беда:
Зашла беседа ваша за ночь;
Вы глухи? — Алексей Степаныч!
Сударыня!..— И страх их не берет!

(Отходит от дверей.)

Ну, гость неприглашенный,
Быть может, батюшка войдет!
Прошу служить у барышни влюбленной!

(Опять к дверям.)

Да расходитесь. Утро.— Что-с?

Голос Софии

Который час?

Лизанька

Всё в доме поднялось.

София

(из своей комнаты)

Который час?

Лизанька

Седьмой, осьмой, девятый.

София

(оттуда же)

Неправда.

Лизанька

(прочь от дверей)

Ах! амур проклятый!
И слышат, не хотят понять,
Ну, что́ бы ставни им отнять?
Переведу часы, хоть знаю: будет гонка,
Заставлю их играть.

(Лезет на стул, передвигает стрелку, часы бьют и играют.)

ЯВЛЕНИЕ 2

Лиза и Фамусов.

Лиза

Ах, барин!

Фамусов

Барин, да.

(Останавливает часовую музыку.)

Ведь экая шалунья ты, девчонка.
Не мог придумать я, что это за беда!
То флейта слышится, то будто фортопьяно;
Для Софьи слишком было б рано??.

Лиза

Нет, сударь, я... лишь невзначай...

Фамусов

Вот то-то невзначай, за вами примечай;
Так, верно, с умыслом.

(Жмется к ней и заигрывает.)

Ой! зелье, баловница.

Лиза

Вы баловник, к лицу ль вам эти лица!

Фамусов

Скромна, а ничего кроме́
Проказ и ветру на уме.

Лиза

Пустите, ветреники сами,
Опомнитесь, вы старики...

Фамусов

Почти.

Лиза

Ну, кто придет, куда мы с вами?

Фамусов

Кому сюда придти?
Ведь Софья спит?

Лиза

Сейчас започивала.

Фамусов

Сейчас! А ночь?

Лиза

Ночь целую читала.

Фамусов

Вишь, прихоти какие завелись!

Лиза

Всё по-французски, вслух, читает запершись.

Фамусов

Скажи-ка, что глаза ей портить не годится,
И в чтенье прок-от не велик:
Ей сна нет от французских книг,
А мне от русских больно спится.

Лиза

Что встанет, доложусь,
Извольте же идти, разбудите, боюсь.

Фамусов

Чего будить? Сама часы заводишь,
На весь квартал симфонию гремишь.

Лиза

(как можно громче)

Да полноте-с!

Фамусов

(зажимает ей рот)

Помилуй, как кричишь.
С ума ты сходишь?

Лиза

Боюсь, чтобы не вышло из того...

Фамусов

Чего?

Лиза

Пора, судáрь, вам знать, вы не ребенок;
У девушек сон утренний так тонок;
Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь:
Всё слышат...

Фамусов

Всё ты лжешь.

Голос Софии

Эй, Лиза!

Фамусов

(торопливо)

Тс!

(Крадется вон из комнаты на цыпочках.)

Лиза

(одна)

Ушел... Ах! от господ подалей;
У них беды́ себе на всякий час готовь,
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

ЯВЛЕНИЕ 3

Лиза, София со свечкою, за ней Молчалин.

София

Что, Лиза, на тебя напало?
Шумишь...

Лиза

Конечно, вам расстаться тяжело?
До света запершись, и кажется всё мало?

София

Ах, в самом деле рассвело!

(Тушит свечу.)

И свет и грусть. Как быстры ночи!

Лиза

Тужите, знай, со стороны нет мочи,
Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла;
Вертелась перед ним, не помню что врала;
Ну что же стали вы? поклон, судáрь, отвесьте.
Подите, сердце не на месте;
Смотрите на часы, взгляните-ка в окно:
Валит народ по улицам давно;
А в доме стук, ходьба, метут и убирают.

София

Счастливые часов не наблюдают.

Лиза

Не наблюдайте, ваша власть;
А что в ответ за вас, конечно, мне попасть.

София
(Молчалину)

Идите; целый день еще потерпим скуку.

Лиза

Бог с вами-с; прочь возьмите руку.
(Разводит их, Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым.)

ЯВЛЕНИЕ 4

София, Лиза, Молчалин, Фамусов.

Фамусов

Что за оказия![*1] Молчалин, ты, брат?

Молчалин

Я-с.

Фамусов

Зачем же здесь? и в этот час?
И Софья!.. Здравствуй, Софья, что ты
Так рано поднялась! а? для какой заботы?
И как вас бог не в пору вместе свел?

София

Он только что теперь в'ошел.

Молчалин

Сейчас с прогулки.

Фамусов

Друг. Нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?
А ты, сударыня, чуть из постели прыг,
С мужчиной! с молодым! — Занятье для девицы!
Всю ночь читает небылицы,
И вот плоды от этих книг!
А всё Кузнецкий мост*, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!

София

Позвольте, батюшка, кружится голова;
Я от испуги дух перевожу едва;
Изволили вбежать вы так проворно,
Смешалась я.

Фамусов

Благодарю покорно,
Я скоро к ним вбежал!

---

[1] Пояснения слов, отмеченных звездочкой, см. в Комментариях, стр. 691—694.

Я помешал! я испужал!
Я, Софья Павловна, расстроен сам, день целый
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.
По должности, по службе хлопотня,
Тот пристает, другой, всем дело до меня!
Но ждал ли новых я хлопот? чтоб был обманут...

София

(сквозь слезы)

Кем, батюшка?

Фамусов

Вот попрекать мне станут,
Что без толку всегда журю.
Не плачь, я дело говорю:
Уж об твоем ли не радели
Об воспитаньи! с колыбели!
Мать умерла: умел я принанять
В мадам Розье вторую мать.
Старушку-золото в надзор к тебе приставил:
Умна была, нрав тихий, редких правил.
Одно не к чести служит ей:
За лишних в год пятьсот рублей
Сманить себя другими допустила.
Да не в мадаме сила.
Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца.
Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем,
Однако бодр и свеж, и дожил до седин,
Свободен, вдов, себе я господин...
Монашеским известен поведеньем!..

Лиза

Осмелюсь я, суда́рь...

Фамусов

Молчать!
Ужасный век! Не знаешь, что начать!
Все умудрились не по ле́там.
А пуще дочери, да сами добряки.
Дались нам эти языки!
Берем же побродяг, и в дом и по билетам*,
Чтоб наших дочерей всему учить, всему —
И танцам! и пенью́! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жены их готовим скоморохам.
Ты, посетитель, что? ты здесь, суда́рь, к чему?

Безродного пригрел и ввел в мое семейство,
Дал чин асессора и взял в секретари;
В Москву переведен через мое содейство;
И будь не я, коптел бы ты в Твери.

София

Я гнева вашего никак не растолкую.
Он в доме здесь живет, великая напасть!
Шел в комнату, попал в другую.

Фамусов

Попал или хотел попасть?
Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно.

София

Вот в чем, однако, случай весь:
Как давиче вы с Лизой были здесь,
Перепугал меня ваш голос чрезвычайно,
И бросилась сюда я со всех ног.

Фамусов

Пожалуй, на меня всю суматоху сложит.
Не в пору голос мой наделал им тревог!

София

По смутном сне безделица тревожит;
Сказать вам сон: поймете вы тогда.

Фамусов

Что за история?

София

Вам рассказать?

Фамусов

Ну да.

(Садится.)

София

Позвольте... видите ль... сначала
Цветистый луг; и я искала
Траву
Какую-то, не вспомню наяву.
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы
Увидим — будто век знакомы,
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умен,
Но робок... Знаете, кто в бедности рожден...

Фамусов

Ах, матушка, не довершай удара!
Кто беден, тот тебе не пара.

София

Потом пропало всё: луга и небеса.—
Мы в темной комнате. Для довершенья чуда
Раскрылся пол — и вы оттуда,
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери,
Нас врознь — и мучили сидевшего со мной.
Он будто мне дороже всех сокровищ,
Хочу к нему — вы тащите с собой:
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ!
Он вслед кричит!..—
Проснулась.— Кто-то говорит,—
Ваш голос был; что́, думаю, так рано?
Бегу сюда — и вас обоих нахожу.

Фамусов

Да, дурен сон; как погляжу,
Тут всё есть, коли нет обмана:
И черти и любовь, и страхи и цветы,
Ну сударь мой, а ты?

Молчалин

Я слышал голос ваш.

Фамусов

Забавно.
Дался им голос мой, и как себе исправно
Всем слышится, и всех сзывает до зари!
На голос мой спешил, за чем же? — говори.

Молчалин

С бумагами-с.

Фамусов

Да. Их недоставало.
Помилуйте, что это вдруг припало
Усердье к письменным делам!

(Встает.)

Ну, Сонюшка, тебе покой я дам:
Бывают странны сны, а наяву страннее;
Искала ты себе травы,

На друга набрела скорее;
Повыкинь вздор из головы;
Где чудеса, там мало складу.—
Поди-ка, ляг, усни опять.

(Молчалину.)

Идем бумаги разбирать.

Молчалин

Я только нес их для докладу,
Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,
Противуречья есть, и многое не дельно.

Фамусов

Боюсь, судáрь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накоплялось их;
Дай волю вам, оно бы и засело;
А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.

(Уходит с Молчалиным, в дверях пропускает его вперед.)

ЯВЛЕНИЕ 5

София, Лиза.

Лиза

Ну вот у праздника! ну вот вам и потеха!
Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва нехороша.

София

Что́ мне молва? Кто хочет, так и судит,
Да батюшка задуматься принудит:
Брюзглив, неугомонен, скор,
Таков всегда, а с этих пор...
Ты можешь посудить...

Лиза

Сужу-с не по рассказам;
Запрет он вас,— добро еще со мной;
А то, помилуй бог, как разом
Меня, Молчалина и всех с двора долой.

София

Подумаешь, как счастье своенравно!
Бывает хуже, с рук сойдет;
Когда ж печальное ничто на ум нейдет,
Забылись музыкой, и время шло так плавно;
Судьба нас будто берегла;
Ни беспокойства, ни сомненья...
А горе ждет из-за угла.

Лиза

Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья
Не жалуете никогда:
Ан вот беда.
На что вам лучшего пророка?
Твердила я: в любви не будет в этой прока
Ни во́ веки веков.
Как все московские, ваш батюшка таков:
Желал бы зятя́ он с звездами да с чинами,
А при звездах не все богаты, между нами;
Ну, разумеется, к тому б
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он ба́лы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.

София

Куда как мил! и весело мне страх
Выслушивать о фрунте и рядах;
Он слова умного не выговорил сроду,—
Мне всё равно, что за него, что в воду.

Лиза

Да-с, так сказать речист, а больно не хитёр;
Но будь военный, будь он статский,
Кто так чувствителен, и весел, и остёр,
Как Александр Андреич Чацкий!
Не для того, чтоб вас смутить;
Давно прошло, не воротить,
А помнится...

София

Что помнится? Он славно
Пересмеять умеет всех;
Болтает, шутит, мне забавно;
Делить со всяким можно смех.

А. С. Грибоедов. «Горе от ума».
Художник Д. Кардовский

Лиза

И только? будто бы? — Слезами обливался,
Я помню, бедный он, как с вами расставался.
— Что, сударь, плачете? живите-ка смеясь...—
А он в ответ: «Недаром, Лиза, плачу:
Кому известно, что́ найду я воротясь?
И сколько, может быть, утрачу!»
Бедняжка будто знал, что года через три...

София

Послушай, вольности ты лишней не бери.
Я очень ветрено, быть может, поступила,
И знаю, и винюсь; но где же изменила?
Кому? чтоб укорять неверностью могли.
Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли;
Привычка вместе быть день каждый неразлучно
Связала детскою нас дружбой; но потом
Он съехал, уж у нас ему казалось скучно,
И редко посещал наш дом;
Потом опять прикинулся влюбленным,
Взыскательным и огорченным!!.
Остёр, умен, красноречив,
В друзьях особенно счастлив,
Вот об себе задумал он высоко —
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать и ездить так далёко?

Лиза

Где носится? в каких краях?
Лечился, говорят, на кислых он водах,
Не от болезни, чай, от скуки,— повольнее.

София

И, верно, счастлив там, где люди посмешнее.
Кого люблю я, не таков:
Молчалин за других себя забыть готов,
Враг дерзости,— всегда застенчиво, несмело
Ночь целую с кем можно так провесть!
Сидим, а на дворе давно уж побелело,
Как думаешь? чем заняты?

Лиза

Бог весть,
Сударыня, мое ли это дело?

София

Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит.—
Смеешься! можно ли! чем повод подала
Тебе я к хохоту такому!

Лиза

Мне-с?.. ваша тетушка на ум теперь пришла,
Как молодой француз сбежал у ней из дому.
Голубушка! хотела схоронить
Свою досаду, не сумела:
Забыла волосы чернить
И через три дни поседела.
(Продолжает хохотать.)

София
(с огорчением)

Вот так же обо мне потом заговорят.

Лиза

Простите, право, как бог свят,
Хотела я, чтоб этот смех дурацкий
Вас несколько развеселить помог.

ЯВЛЕНИЕ 6

София, Лиза, Слуга, за ним Чацкий.

Слуга

К вам Александр Андреич Чацкий.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 7

София, Лиза, Чацкий.

Чацкий

Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног.
(С жаром целует руку.)

Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Что ж, ради? Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот прием!
Как будто не прошло недели;
Как будто бы вчера вдвоем
Мы мочи нет другу другу надоели;
Ни на́ волос любви! куда как хороши!
И между тем, не вспомнюсь без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся,— ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда!

София

Ах, Чацкий, я вам очень рада.

Чацкий

Вы ради? в добрый час.
Однако искренно кто ж радуется эдак?
Мне кажется, так напоследок
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя.

Лиза

Вот, сударь, если бы вы были за дверями,
Ей-богу, нет пяти минут,
Как поминали вас мы тут.
Сударыня, скажите сами.—

София

Всегда, не только что теперь.—
Не можете мне сделать вы упрека.
Кто промелькнет, отворит дверь,
Проездом, случаем, из чужа, из далёка —
С вопросом я, хоть будь моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

Чацкий

Положимте, что так.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! —
Ах! боже мой! ужли я здесь опять,
В Москве! у вас! да как же вас узнать!
Где время то? где возраст тот невинный,
Когда, бывало, в вечер длинный
Мы с вами явимся, исчезнем тут и там,
Играем и шумим по стульям и столам.

А тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом*;
Мы в темном уголке, и кажется, что в этом!
Вы помните? вздрогнём, что скрипнет столик,
дверь...

София

Ребячество!

Чацкий

Да-с, а теперь,
В седьмнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, и это вам известно,
И потому скромны, не смотрите на свет.
Не влюблены ли вы? прошу мне дать ответ,
Без думы, полноте смущаться.

София

Да хоть кого смутят
Вопросы быстрые и любопытный взгляд...

Чацкий

Помилуйте, не вам, чему же удивляться?
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Всё тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

София

Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?

Чацкий

Где нас нет.
Ну что ваш батюшка? всё Английского клоба*
Старинный, верный член до гроба?
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю, как его зовут,
Куда ни сунься: тут как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц,
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?

На лбу написано: Театр и Маскерад,
Дом зеленью раскрашен в виде рощи*,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился*
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
*И дым Отечества нам сладок и приятен!**

София

Вот вас бы с тетушкою свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть.

Чацкий

А тетушка? всё девушкой, Минервой?*
Всё фрейлиной Екатерины Первой?
Воспитанниц и мосек полон дом?
Ах! к воспитанью перейдем.
Что́ нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле?
Не то чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и геогра́фом!
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья! —
А Гильоме, француз, подбитый ветерком?
Он не женат еще?

София

На ком?

Чацкий

Хоть на какой-нибудь княгине
Пульхерии Андревне, например?

София

Танцмейстер! можно ли!

Чацкий

Что ж, он и кавалер.
От нас потребуют с именьем быть и в чине,
А Гильоме!..— Здесь нынче тон каков
На съездах, на больших, по праздникам приходским?
Господствует еще смешенье языков:
Французского с нижегородским?

София

Смесь языков?

Чацкий

Да, двух, без этого нельзя ж.

София

Но мудрено из них один скроить, как ваш.

Чацкий

По крайней мере не надутый.
Вот новости! — я пользуюсь минутой,
Свиданьем с вами оживлен,
И говорлив; а разве нет времен,
Что я Молчалина глупее? Где он, кстати?
Еще ли не сломил безмолвия печати?
Бывало, песенок где новеньких тетрадь
Увидит, пристает: пожалуйте списать.
А впрочем, он дойдет до степеней известных,
Ведь нынче любят *бессловесных*.

София

(в сторону)

Не человек, змея!

(Громко и принужденно.)

Хочу у вас спросить:
Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали?
Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?
Хоть не теперь, а в детстве, может быть.

Чацкий

Когда всё мягко так? и нежно, и незрело?
На что же так давно? вот доброе вам дело:
Звонками только что гремя,
И день и ночь по снеговой пустыне,

Спешу к вам, голову сломя.
И как вас нахожу? в каком-то строгом чине!
Вот полчаса холодности терплю!
Лицо святейшей богомолки!..
И всё-таки я вас без памяти люблю.

Минутное молчание.

Послушайте, ужли слова мои все колки?
И клонятся к чьему-нибудь вреду?
Но если так: ум с сердцем не в ладу.
Я в чудаках иному чуду
Раз посмеюсь, потом забуду:
Велите ж мне в огонь: пойду как на обед.

София

Да, хорошо — сгорите, если ж нет?

ЯВЛЕНИЕ 8

София, Лиза, Чацкий, Фамусов.

Фамусов

Вот и другой!

София

Ах, батюшка, сон в руку.
(Уходит.)

Фамусов
(ей вслед вполголоса)

Проклятый сон.

ЯВЛЕНИЕ 9

Фамусов, Чацкий (смотрит на дверь, в которую София вышла).

Фамусов

Ну выкинул ты штуку!
Три года не писал двух слов!
И грянул вдруг как с облаков.

Обнимаются.

Здорово, друг, здорово, брат, здорово.
Рассказывай, чай, у тебя готово
Собранье важное вестей?
Садись-ка, объяви скорей.

Садятся

Чацкий

(рассеянно)

Как Софья Павловна у вас похорошела!

Фамусов

Вам, людям молодым, другого нету дела,
Как замечать девичьи красоты́:
Сказала что-то вскользь, а ты,
Я чай, надеждами занесся, заколдован.

Чацкий

Ах! нет, надеждами я мало избалован.

Фамусов

«Сон в руку» — мне она изволила шепнуть.
Вот ты задумал...

Чацкий

Я? — Ничуть.

Фамусов

О ком ей снилось? что такое?

Чацкий

Я не отгадчик снов.

Фамусов

Не верь ей, всё пустое.

Чацкий

Я верю собственным глазам;
Век не встречал, подписку дам,
Что б было ей хоть несколько подобно!

Фамусов

Он всё свое. Да расскажи подробно,
Где был? Скитался сколько лет!
Откудова теперь?

Чацкий

Теперь мне до того ли!
Хотел объехать целый свет,
И не объехал сотой доли.

(Встает поспешно.)

Простите; я спешил скорее видеть вас,
Не заезжал домой. Прощайте! Через час
Явлюсь, подробности малейшей не забуду;
Вам первым, вы потом рассказывайте всюду.

(В дверях.)

Как хороша!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 10

Фамусов

(один)

Который же из двух?
«Ах, батюшка, сон в руку!»
И говорит мне это вслух!
Ну, виноват! Какого ж дал я крюку!
Молчалин давиче в сомненье ввел меня.
Теперь... да в полмя из огня:
Тот нищий, этот франт-приятель;
Отъявлен мотом, сорванцом;
Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

(Уходит.)

Действие II

ЯВЛЕНИЕ 1

Фамусов, Слуга.

Фамусов

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтём. Достань-ка календарь;
Читай не так, как пономарь;
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Постой же.— На листе черкни на записном,
Противу будущей недели:
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй — ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьем похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить*
Богат, и на богатой был женат·
Переженил детей, внучат·

Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! —
Что за тузы в Москве живут и умирают! —
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может в пятницу, а может и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить.

ЯВЛЕНИЕ 2

Фамусов, Слуга, Чацкий.

Фамусов

А! Александр Андреич, просим,
Садитесь-ка.

Чацкий

Вы заняты?

Фамусов
(Слуге)

Поди.

Слуга уходит.

Да, разные дела на память в книгу вносим,
Забудется, того гляди.

Чацкий

Вы что-то не весёлы стали;
Скажите, отчего? Приезд не в пору мой?
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?..
У вас в лице, в движеньях суета.

Фамусов

Ах! батюшка, нашел загадку:
Не весел я!.. В мои лета
Не можно же пускаться мне вприсядку!

Чацкий

Никто не приглашает вас;
Я только, что спросил два слова
Об Софье Павловне: быть может, нездорова?

Фамусов

Тьфу, господи прости! Пять тысяч раз
Твердит одно и то же!
То Софьи Павловны на свете нет пригоже,
То Софья Павловна больна.
Скажи, тебе понравилась она?
Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?

Чацкий

А вам на что?

Фамусов

Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.

Чацкий

Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

Фамусов

Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А, главное, поди-тка послужи.

Чацкий

Служить бы рад, прислуживаться тошно.

Фамусов

Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд...
Раскланяйся — тупеем не кивнут*.
Вельможа в случае* — тем паче:
Не как другой, и пил и ел иначе.
А дядя! Что́ твой князь? что́ граф?

Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:
На ку́ртаге* ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высоча́йшею пожалован улыбкой;
- Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдруго́рядь — уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по-вашему? по-нашему — смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист* кто чаще приглашен?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович. Да! Вы, нынешние,— ну-тка!

Чацкий

И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали о́б пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.
Прямой был век покорности и страха,
Всё под личиною усердия к царю.
Я не об дядюшке об вашем говорю;
Его не возмутим мы праха:
Но между тем кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
А сверстничек, а старичок
Иной, глядя на тот скачок,
И разрушаясь в ветхой коже,
Чай приговаривал: «Ах! если бы мне тоже!»
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи.

Фамусов

Ах! боже мой! он карбонари!*

Чацкий

Нет, нынче свет уж не таков.

Фамусов

Опасный человек!

Чацкий

Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.

Фамусов

Что́ говорит! и говорит, как пишет!

Чацкий

У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, поднять платок.

Фамусов

Он вольность хочет проповедать!

Чацкий

Кто путешествует, в деревне кто живет...

Фамусов

Да он властей не признает!

Чацкий

Кто служит делу, а не лицам...

Фамусов

Строжайше б запретил я этим господам
На выстрел подъезжать к столицам.

Чацкий

Я наконец вам отдых дам...

Фамусов

Терпенья, мочи нет, досадно.

Чацкий

Ваш век бранил я беспощадно,
Предоставляю вам во власть:
Откиньте часть,
Хоть нашим временам в придачу;
Уж так и быть, я не поплачу.

Фамусов

И знать вас не хочу, разврата не терплю.

Чацкий

Я досказал.

Фамусов

Добро, заткнул я уши.

Чацкий

На что ж? я их не оскорблю.

Фамусов

(скороговоркой)

Вот рыскают по свету, бьют баклуши,
Воротятся, от них порядка жди.

Чацкий

Я перестал...

Фамусов

Пожалуй, пощади.

Чацкий

Длить споры не мое желанье.

Фамусов

Хоть душу отпусти на покаянье!

ЯВЛЕНИЕ 3

Слуга

(входит)

Полковник Скалозуб.

Фамусов
(ничего не видит и не слышит)

Тебя уж упекут'
Под суд, как пить дадут.

Чацкий

Пожаловал к вам кто-то на́ дом.

Фамусов

Не слушаю, под суд!

Чацкий

К вам человек с докладом.

Фамусов

Не слушаю, под суд! под суд!

Чацкий

Да обернитесь, вас зовут.

Фамусов
(оборачивается)

А? бунт? ну так и жду содома.

Слуга

Полковник Скалозуб. Прикажете принять?

Фамусов
(встает)

Ослы! сто раз вам повторять?
Принять его, позвать, просить, сказать, что дома,
Что очень рад. Пошел же, торопись.

Слуга уходит.

Пожало-ста, суда́рь, при нем остерегись:
Известный человек, солидный,
И знаков тьму отличья нахватал;
Не по летам и чин завидный,
Не нынче завтра генерал.
Пожало-ста при нем веди себя скромненько...
Эх! Александр Андреич, дурно, брат!
Ко мне он жалует частенько;
Я всякому, ты знаешь, рад,
В Москве прибавят вечно втрое:

Вот будто женится на Сонюшке. Пустое!
Он, может быть, и рад бы был душой,
Да надобности сам не вижу я большой
Дочь выдавать ни завтра, ни сегодня;
Ведь Софья молода. А впрочем, власть господня.
Пожало-ста при нем не спорь ты вкривь и вкось
И завиральные идеи эти брось.
Однако нет его! какую бы причину...
А! знать, ко мне пошел в другую половину.

(Поспешно уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 4

Чацкий

Как суетится! что́ за прыть!
А Софья? — Нет ли впрямь тут жениха какого?
С которых пор меня дичатся, как чужого!
Как здесь бы ей не быть!!.
Кто этот Скалозуб? отец им сильно бредит,
А может быть, не только что отец...
Ах! тот скажи любви конец,
Кто на три года вдаль уедет.

ЯВЛЕНИЕ 5

Чацкий, Фамусов, Скалозуб.

Фамусов

Сергей Сергеич, к нам сюда-с.
Прошу покорно, здесь теплее;
Прозябли вы, согреем вас;
От душничек отве́рнем поскорее.

Скалозуб
(густым басом)

Зачем же лазить, например,
Самим!.. Мне совестно, как честный офицер.

Фамусов

Неужто для друзей не делать мне ни шагу,
Сергей Сергеич дорогой!
Кладите шляпу, сденьте шпагу;
Вот вам софа, раскиньтесь на покой.

Скалозуб

Куда прикажете, лишь только бы усесться.

Садятся все трое, Чацкий поодаль.

Фамусов

Ах! батюшка, сказать, чтоб не забыть:
Позвольте нам своими счесться,
Хоть дальними,— наследства не делить;
Не знали вы, а я подавно,—
Спасибо научил двоюродный ваш брат,—
Как вам доводится Настасья Николавна?

Скалозуб

Не знаю-с, виноват;
Мы с нею вместе не служили.

Фамусов

Сергей Сергеич, это вы ли!
Нет! я перед родней, где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском.
При мне служа́щие чужие очень редки;
Всё больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
Однако братец ваш мне друг и говорил,
Что вами выгод тьму по службе получил.

Скалозуб

В тринадцатом году мы отличились с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом.

Фамусов

Да, счастье, у кого есть эдакий сынок!
Имеет, кажется, в петличке орденок?

Скалозуб

За третье августа*; засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею*.

Фамусов

Любезный человек, и посмотреть — так хват.
Прекрасный человек двоюродный ваш брат.

Скалозуб

Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.

Фамусов

Вот молодость!..— читать!.. а после хвать!..
Вы повели себя исправно:
Давно полковники, а служите недавно.

Скалозуб

Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты;
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

Фамусов

Да, чем кого господь поищет, вознесет!

Скалозуб

Бывает, моего счастливее везет.
У нас в пятнадцатой дивизии, не дале,
Об нашем хоть сказать бригадном генерале.

Фамусов

Помилуйте, а вам чего недостает?

Скалозуб

Не жалуюсь, не обходили,
Однако за полком два года поводили.

Фамусов

В погонь ли за полком?
Зато, конечно, в чем другом
За вами далеко тянуться.

Скалозуб

Нет-с, ста́рее меня по корпусу найдутся,
Я с восемьсот девятого служу;
Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы;
Об них как истинный философ я сужу:
Мне только бы досталось в генералы.

Фамусов

И славно судите, дай бог здоровья вам
И генеральский чин; а там
Зачем откладывать бы дальше
Речь завести об генеральше?

Скалозуб

Жениться? Я ничуть не прочь.

Фамусов

Что ж? у кого сестра, племянница есть, дочь;
В Москве ведь нет невестам перевода;
Чего? плодятся год от года;
А, батюшка, признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва.

Скалозуб

Дистанции огромного размера.

Фамусов

Вкус, батюшка, отменная манера;
На всё свои законы есть:
Вот, например, у нас уж исстари ведется,
Что по отцу и сыну честь:
Будь плохенький, да если наберется
Душ тысячки две родовых,—
Тот и жених.
Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в се́мью не включат. На нас не подиви,
Ведь только здесь еще и дорожат дворянством.
Да это ли одно? возьмите вы хлеб-соль:
Кто хочет к нам пожаловать,— изволь;
Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно из иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас ровнёхонько, про всех готов обед.
Возьмите вы от головы до пяток,
На всех московских есть особый отпечаток.
Извольте посмотреть на нашу молодежь,
На юношей — сынков и вну́чат.
Журим мы их, а если разберешь,—
В пятнадцать лет учителей научат!
А наши старички?? — Как их возьмет задор,
Засудят об делах, что слово — приговор,—

Ведь столбовые всё, в ус никого не дуют;
И об правительстве иной раз так толкуют,
  Что если б кто подслушал их... беда!
Не то чтоб новизны вводили,— никогда,
  Спаси нас боже! Нет. А придерутся
  К тому, к сему, а чаще ни к чему,
  Поспорят, пошумят и... разойдутся.
Прямые канцлеры в отставке — по уму!
  Я вам скажу, знать, время не приспело,
  Но что без них не обойдется дело.—
А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей;
Судьи́ всему, везде, над ними нет судей;
За картами когда восстанут общим бунтом,
Дай бог терпение,— ведь сам я был женат.
  Скомандовать велите перед фрунтом!
  Присутствовать пошлите их в Сенат!
Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!
А дочек кто видал,— всяк голову повесь...
Его величество король был прусский здесь,
Дивился не путем московским он девицам,
    Их благонравью, а не лицам;
И точно, можно ли воспитаннее быть!
  Умеют же себя принарядить
    Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой;
  Французские романсы вам поют
    И верхние выводят нотки,
    К военным людям так и льнут.
    А потому, что патриотки.
    Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица, как Москва.

Скалозуб

По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Фамусов

Не поминайте нам, уж мало ли крехтят!
    С тех пор дороги, тротуары,
    Дома и всё на новый лад.

Чацкий

Дома новы́, но предрассудки стары.
  Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.

Фамусов
(Чацкому)

Эй, завяжи на память узелок;
Просил я помолчать, не велика услуга.

(Скалозубу)

Позвольте, батюшка. Вот-с — Чацкого, мне друга,
Андрея Ильича покойного сынок:
Не служит, то есть в том он пользы не находит,
Но захоти — так был бы деловой.
Жаль, очень жаль, он малый с головой.
И славно пишет, переводит.
Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...

Чацкий

Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом?
И похвалы мне ваши досаждают.

Фамусов

Не я один, все также осуждают.

Чацкий

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима.
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма*;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитёй возили на поклон?
Тот Нестор негодяев знатных*,
Толпою окруженный слуг;

Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменил борзые три собаки!!!
Или вон тот еще, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе!
  Но должников не согласил к отсрочке:
    Амуры и Зефиры все
    Распроданы поодиночке!!!
Вот те, которые дожи́ли до седин!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!
    Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—
    Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! опасным!! —
Мундир, один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
    И нам за ними в путь счастливый!
И в женах, дочерях — к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!
Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
  Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали,—
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

Фамусов

(про себя)

Уж втянет он меня в беду.

(Громко.)

Сергей Сергеич, я пойду
И буду ждать вас в кабинете.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 6

Скалозуб, Чацкий.

Скалозуб

Мне нравится, при этой смете
Искусно как коснулись вы
Предубеждения Москвы
К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам,
Их золоту, шитью дивятся, будто солнцам!
А в Первой армии когда отстали? в чем?
Всё так прилажено, и тальи все так узки,
И офицеров вам начтём,
Что даже говорят, иные, по-французски.

ЯВЛЕНИЕ 7

Скалозуб, Чацкий, София, Лиза.

София

(бежит к окну)

Ах! боже мой! упал, убился!

(Теряет чувства.)

Чацкий

Кто?
Кто это?

Скалозуб

С кем беда?

Чацкий

Она мертва со страху!

Скалозуб

Да кто? откудова?

Чацкий

Ушибся обо что?

Скалозуб

Уж не старик ли наш дал маху?

Лиза

(хлопочет около барышни)

Кому назначено-с, не миновать судьбы:
Молчалин на́ лошадь садился, ногу в стремя,
А лошадь на дыбы,
Он о́б землю и прямо в темя.

Скалозуб

Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок.
Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же, без Скалозуба.

Чацкий

Помочь ей чем? Скажи скорее.

Лиза

Там в комнате вода стоит.

Чацкий бежит и приносит. Всё следующее — вполголоса,— до того, как София очнется.

Стакан налейте.

Чацкий

Уж налит.
Шнуровку отпусти вольнее,
Виски ей уксусом потри,
Опрыскивай водой.— Смотри:
Свободнее дыханье стало.
Повеять чем?

Лиза

Вот опахало.

Чацкий

Гляди в окно.
Молчалин на ногах давно!
Безделица ее тревожит.

Лиза

Да-с, барышнин несчастен нрав:
Со стороны смотреть не может,
Как люди падают стремглав.

Чацкий

Опрыскивай еще водою.
Вот так. Еще. Еще.

София

(с глубоким вздохом)

Кто здесь со мною?
Я точно как во сне.

(Торопко и громко.)

Где он? что с ним? Скажите мне.

Чацкий

Пускай себе сломил бы шею,
Вас чуть было не уморил.

София

Убийственны холодностью своею!
Смотреть на вас, вас слушать нету сил.

Чацкий

Прикажете мне за него терзаться?

София

Туда бежать, там быть, помочь ему стараться.

Чацкий

Чтоб оставались вы без помощи одне?

София

На что вы мне?
Да, правда: не свои беды́ — для вас забавы,
Отец родной убейся — всё равно.

(Лизе.)

Пойдем туда, бежим.

Лиза

(отводит ее в сторону)

Опомнитесь! куда вы?
Он жив, здоров, смотрите здесь в окно.

София в окошко высовывается.

Чацкий

Смятенье! обморок! поспешность! гнев! испуга!
Так можно только ощущать,
Когда лишаешься единственного друга.

София

Сюда идут. Руки не может он поднять.

Чацкий

Желал бы с ним убиться...

Лиза

Для компаньи?*

София

Нет, оставайтесь при желаньи.

ЯВЛЕНИЕ 9

София, Лиза, Чацкий, Скалозуб, Молчалин (с подвязанною рукою).

Скалозуб

Воскрес и невредим, рука
Ушиблена слегка,
И впрочем всё фальшивая тревога.

Молчалин

Я вас перепугал, простите ради бога.

Скалозуб

Ну, я не знал, что будет из того
Вам ирритация*. Опрометью вбежали.—
Мы вздрогнули! — Вы в обморок упали,
И что ж? — весь страх из ничего.

София

(не глядя ни на кого)

Ах, очень вижу: из пустого,
А вся еще теперь дрожу.

Чацкий

(про себя)

С Молчалиным ни слова!

София

Однако о себе скажу,
Что не труслива. Так, бывает,
Карета свалится,— подымут: я опять
Готова сызнова скакать;
Но всё малейшее в других меня пугает,
Хоть нет великого несчастья от того,
Хоть незнакомый мне,— до этого нет дела.

Чацкий

(про себя)

Прощенья просит у него,
Что раз о ком-то пожалела!

Скалозуб

Позвольте, расскажу вам весть:
Княгиня Ласова какая-то здесь есть,
Наездница, вдова, но нет примеров,
Чтоб ездило с ней много кавалеров.
На днях расшиблась в пух,—
Жоке́ не поддержал, считал он, видно, мух.—
И без того она, как слышно, неуклюжа,
Теперь ребра недостает,
Так для поддержки ищет мужа.

София

Ах, Александр Андреич, вот —
Яви́тесь вы вполне великодушны:
К несчастью ближнего вы так неравнодушны.

Чацкий

Да-с, это я сейчас явил
Моим усерднейшим стараньем,
И прысканьем, и оттираньем;
Не знаю для кого, но вас я воскресил.
(Берет шляпу и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 10

Те же, кроме Чацкого.

София

Вы вечером к нам будете?

Скалозуб

Как рано?

София

Пораньше; съедутся домашние друзья
Потанцевать под фортопияно,—
Мы в трауре, так балу дать нельзя.

Скалозуб

Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался,
Откланяюсь.

София

Прощайте.

Скалозуб

(жмет руку Молчалину)

Ваш слуга.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 11

София, Лиза, Молчалин.

София

Молчалин! как во мне рассудок цел остался!
Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога!
Зачем же ей играть, и так неосторожно?
Скажите, что у вас с рукой?
Не дать ли капель вам? не нужен ли покой?
Пошлемте к доктору, пренебрегать не должно.

Молчалин

Платком перевязал, не больно мне с тех пор.

Лиза

Ударюсь об заклад, что вздор;
И если б не к лицу, не нужно перевязки;
А то не вздор, что вам не избежать огласки:
На смех, того гляди, подымет Чацкий вас;
И Скалозуб, как свой хохол закру́тит,
Расскажет обморок, прибавит сто прикрас;
Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит!

София

А кем из них я дорожу?
Хочу — люблю, хочу — скажу.
Молчалин! будто я себя не принуждала?
Вошли вы, слова не сказала,
При них не смела я дохнуть,
У вас спросить, на вас взглянуть.

Молчалин

Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны.

София

Откуда скрытность почерпнуть!
Готова я была в окошко, к вам прыгну́ть.
Да что мне до кого? до них? до всей вселенны?
Смешно? — пусть шутят их; досадно? — пусть бранят.

Молчалин

Не повредила бы нам откровенность эта.

София

Неужто на дуэль вас вызвать захотят?

Молчалин

Ах! злые языки страшнее пистолета.

Лиза

Сидят они у батюшки теперь,
Вот кабы вы порхнули в дверь
С лицом веселым, беззаботно:
Когда нам скажут, что хотим —
Куда как верится охотно!
И Александр Андреич,— с ним
О прежних днях, о тех проказах
Поразвернитесь-ка в рассказах:

Улыбочка и пара слов,
И кто влюблен — на всё готов.

Молчалин

Я вам советовать не смею.

(Целует ей руку.)

София

Хотите вы?.. Пойду любезничать сквозь слез;
Боюсь, что выдержать притворства не сумею.
Зачем сюда бог Чацкого принес!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 12

Молчалин, Лиза.

Молчалин

Веселое созданье ты! живое!

Лиза

Прошу пустить, и без меня вас двое.

Молчалин

Какое личико твое!
Как я тебя люблю!

Лиза

А барышню?

Молчалин

Ее
По должности, тебя...

(Хочет ее обнять.)

Лиза

От скуки.
Прошу подальше руки!

Молчалин

Есть у меня вещицы три:
Есть туалет, прехитрая работа —

Снаружи зеркальцо, и зеркальцо внутри,
Кругом всё прорезь, позолота;
Подушечка, из бисера узор;
И перламутровый прибор —
Игольничек и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растертые в белилы!
Помада есть для губ и для других причин,
С духами скляночка: резе́да и жасмин.

Лиза

Вы знаете, что я не льщусь на интересы;
Скажите лучше, почему
Вы с барышней скромны, а с горничной повесы?

Молчалин

Сегодня болен я, обвязки не сниму;
Приди в обед, побудь со мною;
Я правду всю тебе открою.

(Уходит в боковую дверь.)

ЯВЛЕНИЕ 13

София, Лиза.

София

Была у батюшки, там нету никого.
Сегодня я больна, и не пойду обедать,
Скажи Молчалину, и позови его,
Чтоб он пришел меня проведать.

(Уходит к себе.)

ЯВЛЕНИЕ 14

Лиза

Ну, люди в здешней стороне!
Она к нему, а он ко мне,
А я... одна лишь я любви до смерти трушу,—
А как не полюбить буфетчика Петрушу!

А. С. Грибоедов. «Горе от ума».
Художник Д. Кардовский

Действие III

ЯВЛЕНИЕ 1

Чацкий, потом София.

Чацкий

Дождусь ее и вынужу признанье!
Кто наконец ей мил? Молчалин! Скалозуб!
Молчалин прежде был так глуп!..
Жалчайшее созданье!
Уж разве поумнел?.. А тот —
Хрипун, удавленник, фагот*,
Созвездие манёвров и мазурки!
Судьба любви — играть ей в жмурки.
А мне...

Входит София.

Вы здесь? я очень рад.
Я этого желал.

София
(про себя)

И очень невпопад.

Чацкий

Конечно, не меня искали?

София

Я не искала вас.

Чацкий

Дознаться мне нельзя ли,
Хоть и некстати, ну́жды нет:
Кого вы любите?

София

Ах! боже мой! весь свет.

Чацкий

Кто более вам мил?

София

Есть многие, родные.

Чацкий

Все более меня?

София

Иные.

Чацкий

И я чего хочу, когда всё решено?
Мне в петлю лезть, а ей смешно.

София

Хотите ли знать истины два слова?
Малейшая в ком странность чуть видна,
Веселость ваша не скромна,
У вас тотчас уж острота́ готова,
А сами вы...

Чацкий

Я сам? не правда ли, смешон?

София

Да! грозный взгляд, и резкий тон,
И этих в вас особенностей бездна;
А над собой гроза куда не бесполезна.

Чацкий

Я странен, а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож;
Молчалин, например...

София

Примеры мне не новы;
Заметно, что вы желчь на всех излить готовы;
А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь.

Чацкий

(держит ее)

Постойте же.

(В сторону.)

Раз в жизни притворюсь.

(Громко.)

Оставимте мы эти пренья.
Перед Молчалиным не прав я, виноват;
Быть может, он не то, что три года назад:
Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов, и умов;
Есть люди важные, слыли за дураков:
Иной по армии, иной плохим поэтом,
Иной... Боюсь назвать, но признано всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда.
Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый,
Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та?
Чтоб, кроме вас, ему мир целый
Казался прах и суета?
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем, и всем его делам
Душою — вы, вам угожденье?..
Сам это чувствую, сказать я не могу,
Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,
Не пожелал бы я и личному врагу,
А он?.. смолчит и голову повесит.
Конечно, смирен, все такие не резвы;
Бог знает, в нем какая тайна скрыта;
Бог знает, за него что выдумали вы,
Чем голова его ввек не была набита.
Быть может, качеств ваших тьму,
Любуясь им, вы придали ему;
Не грешен он ни в чем, вы во́ сто раз грешнее.
Нет! нет! пускай умен, час от часу умнее,
Но вас он стоит ли? вот вам один вопрос.

Чтоб равнодушнее мне понести утрату,
Как человеку вы, который с вами взрос,
Как другу вашему, как брату,
Мне дайте убедиться в том;
Потом
От сумасшествия могу я остеречься;
Пущусь подалее простыть, охолодеть.
Не думать о любви, но буду я уметь
Теряться по́ свету, забыться и развлечься.

София

(про себя)

Вот нехотя с ума свела!

(Вслух.)

Что притворяться?
Молчалин давиче мог без руки остаться,
Я живо в нем участье приняла;
А вы, случась на эту пору,
Не позаботились расчесть,
Что можно доброй быть ко всем и без разбору;
Но, может, истина в догадках ваших есть,
И горячо его беру я под защиту;
Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?
Что и смирнейшему пощады нет!.. чего?
Случись кому назвать его:
Град колкостей и шуток ваших грянет.
Шутить! и век шутить! как вас на это станет!

Чацкий

Ах! боже мой! неужли я из тех,
Которым цель всей жизни — смех?
Мне весело, когда смешных встречаю,
А чаще с ними я скучаю.

София

Напрасно: это всё относится к другим,
Молчалин вам наскучил бы едва ли,
Когда б сошлись короче с ним.

Чацкий

(с жаром)

Зачем же вы его так ко́ротко узнали?

София

Я не старалась, бог нас свел.
Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел:
При батюшке три года служит,
Тот часто бе́з толку сердит,
А он безмолвием его обезоружит,
От доброты души простит.
И, между прочим,
Веселостей искать бы мог;
Ничуть: от старичков не ступит за порог;
Мы ре́звимся, хохочем,
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет...

Чацкий

Целый день играет!
Молчит, когда его бранят!

(В сторону.)

Она его не уважает.

София

Конечно, нет в нем этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нем хоть что́-нибудь сказал;
Да эдакий ли ум семейство осчастливит?

Чацкий

Сатира и мораль — смысл этого всего?

(В сторону.)

Она не ставит в грош его.

София

Чудеснейшего свойства
Он наконец: уступчив, скромен, тих,
В лице ни тени беспокойства,
И на душе проступков никаких,
Чужих и вкривь и вкось не рубит,—
Вот я за что его люблю.

Чацкий

(в сторону)

Шалит, она его не любит.

(Вслух.)

Докончить я вам пособлю
Молчалина изображенье.
Но Скалозуб? вот загляденье,
За армию стоит горой,
И прямизною стана,
Лицом и голосом герой...

София

Не моего романа.

Чацкий

Не вашего? кто разгадает вас?

ЯВЛЕНИЕ 2

Чацкий, София, Лиза.

Лиза

(шепотом)

Сударыня, за мной сейчас
К вам Алексей Степаныч будет.

София

Простите, надобно идти мне поскорей.

Чацкий

Куда?

София

К прихмахеру.

Чацкий

Бог с ним.

София

Щипцы простудит.

Чацкий

Пускай себе...

София

Нельзя, ждем на́ вечер гостей.

Чацкий

Бог с вами, остаюсь опять с моей загадкой.
Однако дайте мне зайти, хотя украдкой,
К вам в комнату на несколько минут;
Там стены, воздух — всё приятно!
Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут
Воспоминания об том, что невозвратно!
Не засижусь, войду, всего минуты две,
Потом, подумайте, член Английского клуба,
Я там дни целые пожертвую молве
Про ум Молчалина, про душу Скалозуба.

София пожимает плечами, уходит к себе и запирается, за нею и Лиза.

ЯВЛЕНИЕ 3

Чацкий, потом Молчалин.

Чацкий

Ах! Софья! Неужли́ Молчалин избран ей!
А чем не муж? Ума в нем только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.

Входит Молчалин.

Вон он на цыпочках, и не богат словами;
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!

(Обращается к нему.)

Нам, Алексей Степаныч, с вами
Не удалось сказать двух слов.
Ну, образ жизни ваш каков?
Без горя нынче? без печали?

Молчалин

По-прежнему-с.

Чацкий

А прежде как живали?

Молчалин

День за́ день, нынче, как вчера.

Чацкий

К перу от карт? и к картам от пера?
И положённый час приливам и отливам?

Молчалин

По мере я трудов и сил,
С тех пор, как числюсь по Архивам,
Три награжденья получил.

Чацкий

Взманили почести и знатность?

Молчалин

Нет-с, свой талант у всех...

Чацкий

У вас?

Молчалин

Два-с:
Умеренность и аккуратность.

Чацкий

Чудеснейшие два! и стоят наших всех.

Молчалин

Вам не дались чины, по службе неуспех?

Чацкий

Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.

Молчалин

Как удивлялись мы!

Чацкий

Какое ж диво тут?

Молчалин

Жалели вас.

Чацкий

Напрасный труд.

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв...

Чацкий

Ей почему забота?

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

Чацкий

Я с нею не знаком.

Молчалин

С Татьяной Юрьевной!!

Чацкий

С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.

Молчалин

Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!! Известная,— притом
Чиновные и должностные —
Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

Чацкий

На что же?

Молчалин

Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

Молчалин

Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы́ дает нельзя богаче.
От рождества и до поста,
И летом праздники на даче.

Ну, право, что́ бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать и весело пожить?

Чацкий

Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Молчалин

Простите, впрочем тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?

Чацкий

Ну что ж?

Молчалин

При трех министрах был начальник отделенья!
Переведен сюда...

Чацкий

Хорош!
Пустейший человек, из самых бестолковых.

Молчалин

Как можно! слог его здесь ставят в образец!
Читали вы?

Чацкий

Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.

Молчалин

Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,
Не сочинитель я...

Чацкий

И по всему заметно.

Молчалин

Не смею моего сужденья произнесть.

Чацкий

Зачем же так секретно?

Молчалин

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Чацкий

Помилуйте, мы с вами не ребяты,
Зачем же мнения чужие только святы?

Молчалин

Ведь надобно ж зависеть от других.

Чацкий

Зачем же надобно?

Молчалин

В чинах мы небольших.

Чацкий

(почти громко)

С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!

ЯВЛЕНИЕ 4

Вечер. Все двери настежь, кроме в спальню к Софии. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся; один из них, главный, говорит:

Эй! Филька, Фомка, ну, ловчей!
Столы для карт, мел, щеток и свечей!

(Стучится к Софии в дверь.)

Скажите барышне скорее, Лизавета:
Наталья Дмитревна, и с мужем, и к крыльцу
Еще подъехала карета.

Расходятся, остается один Чацкий.

ЯВЛЕНИЕ 5

Чацкий, Наталья Дмитриевна, молодая дама.

Наталья Дмитриевна

Не ошибаюсь ли!.. он точно, по лицу...
Ах, Александр Андреич, вы ли?

Чацкий

С сомненьем смотрите от ног до головы,
Неужли так меня три года изменили?

Наталья Дмитриевна

Я полагала вас далёко от Москвы.
Давно ли?

Чацкий

Нынче лишь...

Наталья Дмитриевна

Надолго?

Чацкий

Как случится.
Однако, кто, смотря на вас, не подивится?
Полнее прежнего, похорошели страх;
Моложе вы, свежее стали;
Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах.

Наталья Дмитриевна

Я замужем.

Чацкий

Давно бы вы сказали!

Наталья Дмитриевна

Мой муж — прелестный муж, вот он сейчас войдет,
Я познакомлю вас, хотите?

Чацкий

Прошу.

Наталья Дмитриевна

И знаю наперед,
Что вам понравится. Взгляните и судите!

Чацкий

Я верю, он вам муж.

Наталья Дмитриевна

О нет-с, не потому;
Сам по себе, по нраву, по уму,
Платон Михайлыч мой единственный, бесценный!
Теперь в отставке, был военный;
И утверждают все, кто только прежде знал,
Что с храбростью его, с талантом,
Когда бы службу продолжал,
Конечно, был бы он московским комендантом.

ЯВЛЕНИЕ 6

Чацкий, Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович.

Наталья Дмитриевна

Вот мой Платон Михайлыч.

Чацкий

Ба!
Друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!

Платон Михайлович

Здоро́во, Чацкий, брат!

Чацкий

Платон любезный, славно.
Похвальный лист тебе: ведешь себя исправно.

Платон Михайлович

Как видишь, брат:
Московский житель и женат.

Чацкий

Забыт шум лагерный, товарищи и братья?
Спокоен и ленив?

Платон Михайлович

Нет, есть-таки занятья:
На флейте я твержу дуэт
А-мольный...

Чацкий

Что твердил назад тому́ пять лет?
Ну, постоянный вкус в мужьях всего дороже!

Платон Михайлович

Брат, женишься, тогда меня вспомянь!
От скуки будешь ты свистеть одно и то же.

Чацкий

От скуки! как? уж ты ей платишь дань?

Наталья Дмитриевна

Платон Михайлыч мой к занятьям склонен разным,
Которых нет теперь,— к ученьям и смотрам,
К манéжу... иногда скучает по утрам.

Чацкий

А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным?
В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?*

Наталья Дмитриевна

Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб.

Чацкий

Здоровьем слаб! Давно ли?

Наталья Дмитриевна

Всё рюматизм и головные боли.

Чацкий

Движенья более. В деревню, в теплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом — рай.

Наталья Дмитриевна

Платон Михайлыч город любит,
Москву; за что в глуши он дни свои погубит!

Чацкий

Москву и город... Ты чудак!
А помнишь прежнее?

Платон Михайлович

Да, брат, теперь не так...

Наталья Дмитриевна

Ах! мой дружочек!
Здесь так свежо, что мочи нет,
Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет.

Платон Михайлович

Теперь, брат, я не тот...

Наталья Дмитриевна

Послушайся разочек,
Мой милый, застегнись скорей.

Платон Михайлович
(хладнокровно)

Сейчас.

Наталья Дмитриевна

Да отойди подальше от дверей,
Сквозной там ветер дует сзади!

Платон Михайлович

Теперь, брат, я не тот...

Наталья Дмитриевна

Мой ангел, бога ради
От двери дальше отойди.

Платон Михайлович

(глаза к небу)

Ах! матушка!

Чацкий

Ну, бог тебя суди;
Уж, точно, стал не тот в короткое ты время;
Не в прошлом ли году, в конце,
В полку тебя я знал? лишь утро: ногу в стремя
И носишься на борзом жеребце;
Осенний ветер дуй, хоть спереди, хоть с тыла.

Платон Михайлович

(со вздохом)

Эх, братец! славное тогда житье-то было.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же, Князь Тугоуховский и Княгиня с шестью дочерьми.

Наталья Дмитриевна

(тоненьким голоском)

Князь Петр Ильич, княгиня! боже мой!
Княжна Зизи! Мими!

Громкие лобызания; потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног.

1-я княжна

Какой фасон прекрасный!

2-я княжна

Какие складочки!

1-я княжна

Обшито бахромой.

Наталья Дмитриевна

Нет, если б видели мой тюрлюрлю* атласный!

3-я княжна

Какой эшарп* cousin[1] мне подарил!

4-я княжна

Ах! да, барежевый!*

5-я княжна

Ах, прелесть!

6-я княжна

Ах! как мил!

Княгиня

Сс! — Кто это в углу, взошли мы, поклонился?

Наталья Дмитриевна

Приезжий, Чацкий.

Княгиня

От-став-ной?

Наталья Дмитриевна

Да, путешествовал, недавно воротился.

Княгиня

И хо-ло-стой?

Наталья Дмитриевна

Да, не женат.

Княгиня

Князь, князь, сюда.— Живее.

Князь

(к ней оборачивает слуховую трубку)

О-хм!

Княгиня

К нам на́ вечер, в четверг, проси скорее
Натальи Дмитревны знакомого! вон он!

---

[1] Cousin *(франц.)* — кузен, двоюродный брат.

Князь

И-хм!

(Отправляется, вьется около Чацкого и покашливает.)

Княгиня

Вот то-то детки:
Им бал, а батюшка таскайся на поклон;
Танцовщики ужасно стали редки!..
Он камер-юнкер?

Наталья Дмитриевна

Нет.

Княгиня

Бо-гат?

Наталья Дмитриевна

О, нет!

Княгиня

(громко, что есть мочи)

Князь, князь! Назад!

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Графини Хрюмины: бабушка и внучка.

Графиня внучка

Ах! grand' maman![1] Ну кто так рано приезжает!
Мы первые!

(Пропадает в боковую комнату.)

Княгиня

Вот нас честит!
Вот первая, и нас за никого считает!
Зла, в девках целый век, уж бог ее простит.

Графиня внучка

(вернувшись, направляет на Чацкого двойной лорнет)

Мсьё Чацкий! вы в Москве! как были, всё такие?

Чацкий

На что меняться мне?

---

[1] Grand' maman *(франц.)* — бабушка.

Графиня внучка

Вернулись холостые?

Чацкий

На ком жениться мне?

Графиня внучка

В чужих краях на ком?
О! наших тьма, без дальних справок,
Там женятся и нас дарят родством
С искусницами модных лавок.

Чацкий

Несчастные! должны ль упреки несть
От подражательниц модисткам?
За то, что смели предпочесть
Оригиналы спискам?

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же и множество других гостей. Между прочими Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и проч. София от себя выходит; все к ней навстречу.

Графиня внучка

Eh! bon soir! vous voilà! Jamais trop diligente,
Vous nous donnez toujours le plaisir de l' attente[1].

Загорецкий

На завтрашний спектакль имеете билет?

София

Нет.

Загорецкий

Позвольте вам вручить, напрасно бы кто взялся
Другой вам услужить, зато
Куда я ни кидался!
В контору — всё взято,
К директору,— он мне приятель,—

---

[1] А! добрый вечер! Наконец-то и вы! Вы не торопитесь, и мы всегда вас с удовольствием поджидаем *(франц.)*.

С зарей в шестом часу, и кстати ль!
Уж с вечера никто достать не мог;
К тому, к сему, всех сбил я с ног;
И этот наконец похитил уже силой
У одного, старик он хилый,
Мне друг, известный домосед;
Пусть дома просидит в покое.

София

Благодарю вас за билет,
А за старанье вдвое.

Являются еще кое-какие, тем временем Загорецкий отходит к мужчинам.

Загорецкий

Платон Михайлыч...

Платон Михайлович

Прочь!
Поди ты к женщинам, лги им и их морочь;
Я правду об тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вот, брат,

(Чацкому)

рекомендую!
Как эдаких людей учтивее зовут?
Нежнее? — человек он светский,
Отъявленный мошенник, плут:
Антон Антоныч Загорецкий.
При нем остерегись: переносить горазд,
И в карты не садись: продаст.

Загорецкий

Оригинал! брюзглив, а без малейшей злобы.

Чацкий

И оскорбляться вам смешно бы;
Окроме честности, есть множество отрад:
Ругают здесь, а там благодарят.

Платон Михайлович

Ох, нет, братец! у нас ругают
Везде, а всюду принимают.

(Загорецкий мешается в толпу.)

ЯВЛЕНИЕ 10

Те же и Хлёстова.

Хлёстова

Легко ли в шестьдесят пять лет
Тащиться мне к тебе, племянница?..— Мученье!
Час битый ехала с Покровки, силы нет;
Ночь — светапреставленье!
От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собачку; —
Вели их накормить ужо, дружочек мой,
От ужина сошли подачку.
Княгиня, здравствуйте!

(Села.)

Ну, Софьюшка, мой друг,
Какая у меня арапка для услуг:
Курчавая! горбом лопатки!
Сердитая! все ко́шачьи ухватки!
Да как черна! да как страшна!
Ведь создал же господь такое племя!
Черт сущий; в девичьей она;
Позвать ли?

София

Нет-с, в другое время.

Хлёстова

Представь: их, как зверей, выводят напоказ...
Я слышала, там... город есть турецкий...
А знаешь ли, кто мне припас? —
Антон Антоныч Загорецкий.

Загорецкий выставляется вперед.

Лгунишка он, картежник, вор.

Загорецкий исчезает.

Я от него было и двери на запор;
Да мастер услужить: мне и сестре Прасковье
Двоих ара́пченков на ярмарке достал;
Купил, он говорит, чай в карты сплутовал;
А мне подарочек, дай бог ему здоровье!

Чацкий

(с хохотом Платону Михайловичу)

Не поздоровится от эдаких похвал,
И Загорецкий сам не выдержал, пропал.

Хлёстова

Кто этот весельчак? Из звания какого?

София

Вон этот? Чацкий.

Хлёстова

Ну? а что нашел смешного?
Чему он рад? Какой тут смех?
Над старостью смеяться грех.
Я помню, ты дитёй с ним часто танцевала,
Я за уши его дирала, только мало.

ЯВЛЕНИЕ 11

Те же и Фамусов.

Фамусов

(громогласно)

Ждем князя Пётра Ильича,
А князь уж здесь! А я забился там, в портретной,
Где Скалозуб Сергей Сергеич? а?
Нет; кажется, что нет.— Он человек заметный —
Сергей Сергеич Скалозуб.

Хлёстова

Творец мой! оглушил, звончее всяких труб!

ЯВЛЕНИЕ 12

Те же и Скалозуб, потом Молчалин.

Фамусов

Сергей Сергеич, запоздали;
А мы вас ждали, ждали, ждали.

(Подводит к Хлёстовой.)

Моя невестушка, которой уж давно
Об вас говорено.

Хлёстова
(сидя)

Вы прежде были здесь... в полку... в том...
в гренадерском?

Скалозуб
(басом)

В его высочества, хотите вы сказать,
Ново-земляном мушкетерском.

Хлёстова

Не мастерица я полки-та различать.

Скалозуб

А форменные есть отлички:
В мундирах выпушки, погончики, петлички.

Фамусов

Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу;
Курьезный вист у нас. За нами, князь! прошу.

(Его и князя уводит с собою.)

Хлёстова
(Софии)

Ух! я точнёхонько избавилась от пе́тли;
Ведь полоумный твой отец:
Дался ему трех сажень удалец,—
Знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли?

Молчалин
(подает ей карту)

Я вашу партию составил: мосьё Кок,
Фома Фомич и я.

Хлёстова

Спасибо, мой дружок.

(Встает.)

Молчалин

Ваш шпиц — прелестный шпиц, не более наперстка!
Я гладил всё его: как шелковая шёрстка!

Хлёстова

Спасибо, мой родной.

Уходит, за нею Молчалин и многие другие.

ЯВЛЕНИЕ 13

Чацкий, София и несколько посторонних, которые в продолжении расходятся.

Чацкий

Ну! тучу разогнал...

София

Нельзя ль не продолжать.

Чацкий

Чем вас я напугал?
За то, что он смягчил разгневанную гостью,
Хотел я похвалить.

София

А кончили бы злостью.

Чацкий

Сказать вам, что я думал? Вот:
Старушки все — народ сердитый;
Не худо, чтоб при них услужник знаменитый
Тут был, как громовой отвод.
Молчалин! — Кто другой так мирно всё уладит!
Там моську вовремя погладит!
Тут в пору карточку вотрет!
В нем Загорецкий не умрет!
Вы давиче его мне исчисляли свойства,
Но многие забыли? — да?

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 14

София, потом Г. N.

София
(про себя)

Ах! этот человек всегда
Причиной мне ужасного расстройства!
Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол!

Г. N.
(подходит)

Вы в размышленьи.

София

Об Чацком.

Г. N.

Как его нашли по возвращеньи?

София

Он не в своем уме.

Г. N.

Ужли с ума сошел?

София

(помолчавши)

Не то, чтобы совсем...

Г. N.

Однако есть приметы?

София

(смотрит на него пристально)

Мне кажется.

Г. N.

Как можно, в эти леты!

София

Как быть!

(В сторону.)

Готов он верить!
А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить,
Угодно ль на себя примерить?

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 15

Г. N., потом Г. D.

Г. N.

С ума сошел!.. Ей кажется!.. вот на!
Недаром? Стало быть... с чего б взяла она?
Ты слышал?

Г. D.

Что?

Г. N.

Об Чацком?

Г. D.

Что такое?

Г. N.

С ума сошел.

Г. D.

Пустое.

Г. N.

Не я сказал, другие говорят.

Г. D.

А ты расславить это рад?

Г. N.

Пойду осведомлюсь; чай, кто-нибудь да знает.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 16

Г. D., потом Загорецкий.

Г. D.

Верь болтуну!
Услышит вздор и тотчас повторяет!
Ты знаешь ли об Чацком?

Загорецкий

Ну?

Г. D.

С ума сошел.

Загорецкий

А, знаю, помню, слышал.
Как мне не знать? примерный случай вышел;
Его в безумные упрятал дядя-плут...
Схватили, в желтый дом, и на́ цепь посадили.

Г. D.

Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут.

Загорецкий

Так с цепи, стало быть, спустили.

Г. D.

Ну, милый друг, с тобой не надобно газет.
Пойду-ка я, расправлю крылья,
У всех повыспрошу; однако чур! секрет.

ЯВЛЕНИЕ 17

Загорецкий, потом Графиня внучка.

Загорецкий

Который Чацкий тут? — Известная фамилья.
С каким-то Чацким я когда-то был знаком.—
Вы слышали об нем?

Графиня внучка

Об ком?

Загорецкий

Об Чацком, он сейчас здесь в комнате был.

Графиня внучка

Знаю.
Я говорила с ним.

Загорецкий

Так я вас поздравляю:
Он сумасшедший...

Графиня внучка

Что?

Загорецкий

Да, он сошел с ума.

Графиня внучка

Представьте, я заметила сама;
И хоть пари держать, со мной в одно вы слово.

ЯВЛЕНИЕ 18

Те же и Графиня бабушка.

Графиня внучка

Ah! grand' maman, вот чудеса! вот ново!
Вы не слыхали здешних бед?
Послушайте. Вот прелести! вот мило!..

Графиня бабушка

Мой *т*руг, мне уши зало*ш*ило;
Ска*ш*и покромче...

Графиня внучка

Время нет!

(Указывает на Загорецкого.)

Il vous dira toute l'histoire...[1]
Пойду, спрошу...

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 19

Загорецкий, Графиня бабушка.

Графиня бабушка

Что? что? уж нет ли здесь по*ш*ара?

Загорецкий

Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму.

Графиня бабушка

Как, Чацкого? Кто свел в тюрьму?

Загорецкий

В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны.

Графиня бабушка

Что? к фармазонам в клоб? Пошел он
в *п*усурманы?

Загорецкий

Ее не вразумишь.

(Уходит.)

---

[1] Он вам расскажет всю историю подробно *(франц.)*.

Графиня бабушка

Антон Антоныч! Ах!
И он пе*шит*, все в страхе, впопыхах.

ЯВЛЕНИЕ 20

Графиня бабушка и Князь Тугоуховский.

Графиня бабушка

Князь, князь! Ох, этот князь, по *па́*лам, сам чуть
тышит!
Князь, слышали?

Князь

А-хм?

Графиня бабушка

Он ничего не слышит.
Хоть, мо*шет*, видели, здесь полицмейстер *п*ыл?

Князь

Э-хм?

Графиня бабушка

В тюрьму-та, князь, кто Чацкого схватил?

Князь

И-хм?

Графиня бабушка

Тесак ему да ранец,
В солтаты! Шутка ли! переменил закон!

Князь

У-хм?

Графиня бабушка

Да!.. в *п*усурманах он!
Ах! окаянный вольтерьянец!
Что? а? глух, мой отец; достаньте свой рожок.
Ох! глухота большой порок.

ЯВЛЕНИЕ 21

Те же и Хлёстова, София, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, Графиня внучка, Княгиня с дочерьми, Загорецкий, Скалозуб, потом Фамусов и многие другие.

Хлёстова

С ума сошел! прошу покорно!
Да невзначай! да как проворно!
Ты, Софья, слышала?

Платон Михайлович

Кто первый разгласил?

Наталья Дмитриевна

Ах, друг мой, все!

Платон Михайлович

Ну все, так верить поневоле;
А мне сомнительно.

Фамусов
(входя)

О чем? о Чацком, что ли?
Чего сомнительно? Я первый, я открыл!
Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет!
Попробуй о властях — и ни́весть что наскажет!
Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом,
Хоть пред монаршиим лицом,
Так назовет он подлецом!..

Хлёстова

Туда же из смешливых;
Сказала что-то я — он начал хохотать.

Молчалин

Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах.

Графиня внучка

Меня модисткою изволил величать!

Наталья Дмитриевна

А мужу моему совет дал жить в деревне.

Загорецкий

Безумный по всему.

Графиня внучка

Я видела из глаз.

Фамусов

По матери пошел, по Анне Алексевне;
Покойница с ума сходила восемь раз.

Хлёстова

На свете дивные бывают приключенья!
В его лета с ума спрыгну́л!
Чай, пил не по летам.

Княгиня

О! верно...

Графиня внучка

Без сомненья.

Хлёстова

Шампанское стаканами тянул.

Наталья Дмитриевна

Бутылками-с, и пребольшими.

Загорецкий
(с жаром)

Нет-с, бочками сороковыми.

Фамусов

Ну вот! великая беда,
Что выпьет лишнее мужчина!
Ученье — вот чума, ученость — вот причина,
Что нынче пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

Хлёстова

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкартачных взаимных обучений*.

Княгиня

Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!! — у них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
От женщин бегает, и даже от меня!

Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.

Скалозуб

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.

Фамусов

Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.

Загорецкий
(с кротостию)

Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни — смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари.

Хлёстова

Отцы мои, уж кто в уме расстроен,
Так всё равно, от книг ли, от питья ль;
А Чацкого мне жаль.
По-христиански так; он жалости достоин;
Был острый человек, имел душ сотни три.

Фамусов

Четыре.

Хлёстова

Три, судáрь.

Фамусов

Четыреста.

Хлёстова

Нет! триста.

Фамусов

В моем календаре...

Хлёстова

Всё врут календари.

Фамусов

Как раз четыреста, ох! спорить голосиста!

Хлёстова

Нет! триста! — уж чужих имений мне не знать!

Фамусов

Четыреста, прошу понять.

Хлёстова

Нет! триста, триста, триста.

ЯВЛЕНИЕ 22

Те же все и Чацкий.

Наталья Дмитриевна

Вот он.

Графиня внучка

Шш!

Все

Шш!

(Пятятся от него в противную сторону.)

Хлёстова

Ну, как с безумных глаз
Затеет драться он, потребует к разделке!

Фамусов

О господи! Помилуй грешных нас!

(Опасливо.)

Любезнейший! Ты не в своей тарелке.
С дороги нужен сон. Дай пульс... Ты нездоров.

Чацкий

Да, мочи нет: мильон терзаний
Груди́ от дружеских тисков,
Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,
А пуще голове от всяких пустяков.

(Подходит к Софье.)

Душа здесь у меня каким-то горем сжата,
И в многолюдстве я потерян, сам не свой.
Нет! недоволен я Москвой.

Хлёстова

Москва, вишь, виновата.

Фамусов

Подальше от него.

(Делает знаки Софии.)

Гм, Софья! — Не глядит!

София

(Чацкому)

Скажите, что вас так гневит?

Чацкий

В той комнате незначащая встреча:
Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал — и нашел, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;
Своя провинция.— Посмотришь, вечерком
Он чувствует себя здесь маленьким царьком;
Такой же толк у дам, такие же наряды...
Он рад, но мы не рады.
Умолк. И тут со всех сторон
Тоска, и оханье, и стон.
Ах! Франция! Нет в мире лучше края! —
Решили две княжны, сестрицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержён.
Куда деваться от княжён! —
Я одаль воссылал желанья
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
Пускай меня отъявят старовером,

Но хуже для меня наш Север во́ сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
«Как европейское поставить в параллель
С национальным? странно что-то!
Ну как перевести *мадам и мадмуазель?*
Ужли *сударыня!!*» — забормотал мне кто-то...
Вообразите, тут у всех
На мой же счет поднялся смех.
«*Сударыня!* Ха! ха! ха! ха! прекрасно!
Сударыня! Ха! ха! ха! ха! ужасно!!» —
Я, рассердясь и жизнь кляня,
Готовил им ответ громовый;
Но все оставили меня.—
Вот случай вам со мною, он не новый;
Москва и Петербург — во всей России то,
Что человек из города Бордо,
Лишь рот открыл, имеет счастье
Во всех княжён вселять участье;
И в Петербурге и в Москве,
Кто недруг выписных лиц, вычур, слов кудрявых,
В чьей, по несчастью, голове
Пять, шесть найдется мыслей здравых
И он осмелится их гласно объявлять,—
Глядь...

Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием.
Старики разбрелись к карточным столам.

Действие IV

У Фамусова в доме парадные сени; большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей; внизу справа (от действующих лиц) выход на крыльцо и швейцарская ложа; слева, на одном же плане, комната Молчалина.

Ночь. Слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих.

ЯВЛЕНИЕ 1

Графиня бабушка, Графиня внучка, впереди их Лакей.

Лакей

Графини Хрюминой карета!

Графиня внучка

(покуда ее укутывают)

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света,
И не с кем говорить, и не с кем танцевать.

Графиня бабушка

Поетем, матушка, мне, прафо, не под силу,
Когда-нибудь я с пала та в могилу.

(Обе уезжают.)

ЯВЛЕНИЕ 2

Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна. Один Лакей около их хлопочет, другой у подъезда кричит:

Карета Горича!

Наталья Дмитриевна

Мой ангел, жизнь моя,
Бесценный, душечка, Попошь, что́ так уныло?

(Целует мужа в лоб.)

Признайся, весело у Фамусовых было.

Платон Михайлович

Наташа-матушка, дремлю на ба́лах я,
До них смертельный неохотник,
А не противлюсь, твой работник,
Дежурю за́ полночь, подчас
Тебе в угодность, как ни грустно,
Пускаюсь по команде в пляс.

Наталья Дмитриевна

Ты притворяешься, и очень неискусно;
Охота смертная прослыть за старика.

(Уходит с лакеем.)

Платон Михайлович
(хладнокровно)

Бал вещь хорошая, неволя-то горька,
И кто жениться нас неволит!
Ведь сказано ж, иному на роду...

Лакей
(с крыльца)

В карете барыня-с, и гневаться изволит.

Платон Михайлович
(со вздохом)

Иду, иду.

(Уезжает.)

ЯВЛЕНИЕ 3

Чацкий и Лакей его впереди.

Чацкий

Кричи, чтобы скорее подавали.

Лакей уходит.

Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли.
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! — Пустое.
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резво́
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь и степь, и пусто и мертво...
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.

Лакей возвращается.

Готово?

Лакей

Кучера-с нигде, вишь, не найдут.

Чацкий

Пошел, ищи, не ночевать же тут.

Лакей опять уходит.

ЯВЛЕНИЕ 4

Чацкий, Репетилов (вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется).

Репетилов

Тьфу! оплошал.— Ах, мой создатель!
Дай протереть глаза; откудова? приятель!..
Сердечный друг! Любезный друг! Mon cher![1]

---

[1] Mon cher *(франц.)* — мой милый.

Вот фарсы мне как часто были петы,
Что пустомеля я, что глуп, что суевер,
Что у меня на всё предчувствия, приметы;
Сейчас... растолковать прошу,
Как будто знал, сюда спешу,
Хвать, об порог задел ногою
И растянулся во весь рост,
Пожалуй, смейся надо мною,
Что Репетилов врет, что Репетилов прост,
А у меня к тебе влеченье, род недуга,
Любовь какая-то и страсть,
Готов я душу прозакласть,
Что в мире не найдешь себе такого друга,
Такого верного, ей-ей;
Пускай лишусь жены, детей,
Оставлен буду целым светом,
Пускай умру на месте этом,
Да разразит меня господь...

Чацкий

Да полно вздор молоть.

Репетилов

Не любишь ты меня, естественное дело:
С другими я и так и сяк,
С тобою говорю несмело,
Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак.

Чацкий

Вот странное уничиженье!

Репетилов

Ругай меня, я сам кляну свое рожденье,
Когда подумаю, как время убивал!
Скажи, который час?

Чацкий

Час ехать спать ложиться;
Коли явился ты на бал,
Так можешь воротиться.

Репетилов

Что́ бал? братец, где мы всю ночь до бела дня,
В приличьях скованы, не вырвемся из ига,
Читал ли ты? есть книга...

Чацкий

А ты читал? задача для меня,
Ты Репетилов ли?

Репетилов

Зови меня вандалом.
Я это имя заслужил.
Людьми пустыми дорожил!
Сам бредил целый век обедом или балом!
Об детях забывал! обманывал жену!
Играл! проигрывал! в опеку взят указом!*
Танцо́вщицу держал! и не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! не спал ночей по девяти!
Всё отвергал: законы! совесть! веру!

Чацкий

Послушай! ври, да знай же меру;
Есть от чего в отчаянье прийти.

Репетилов

Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь
С умнейшими!! — всю ночь не рыщу напролет.

Чацкий

Вот нынче, например?

Репетилов

Что́ ночь одна,— не в счет.
Зато спроси, где был?

Чацкий

И сам я догадаюсь.
Чай, в клубе?

Репетилов

В Английском. Чтоб исповедь начать:
Из шумного я заседанья.
Пожало-ста молчи, я слово дал молчать;
У нас есть общество, и тайные собранья
По четвергам. Секретнейший союз...

Чацкий

Ах! я, братец, боюсь.
Как? в клубе?

Репетилов

Именно.

Чацкий

Вот меры чрезвычайны,
Чтоб взáшеи прогнать и вас, и ваши тайны.

Репетилов

Напрасно страх тебя берет,
Вслух, громко говорим, никто не разберет.
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных*,
О Бейроне, ну о матерьях важных,
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп.
Ах! Alexandre! у нас тебя недоставало;
Послушай, миленький, потешь меня хоть мало;
Поедем-ка сейчас; мы, благо, на ходу;
С какими я тебя сведу
Людьми!! Уж на меня нисколько не похожи!
Что зá люди, mon cher! Сок умной молодежи!

Чацкий

Бог с ними и с тобой. Куда я поскачу?
Зачем? в глухую ночь? Домой, я спать хочу.

Репетилов

Э! брось! кто нынче спит? Ну полно, без прелюдий
Решись, а мы!.. у нас... решительные люди,
Горячих дюжина голов!
Кричим — подумаешь, что сотни голосов!..

Чацкий

Да из чего беснуетесь вы столько?

Репетилов

Шумим, братец, шумим!

Чацкий

Шумите вы? и только?

Репетилов

Не место объяснять теперь и недосуг,
Но государственное дело:
Оно, вот видишь, не созрело,
Нельзя же вдруг.

Что за́ люди! mon cher! Без дальних я историй
Скажу тебе: во-первых, князь Григорий!!
Чудак единственный! нас со́ смеху морит!
Век с англичанами, вся а́нглийская складка,
И так же он сквозь зубы говорит,
И так же коротко обстрижен для порядка.
Ты не знаком? о! познакомься с ним.
Другой — Воркулов Евдоким;
Ты не слыхал, как он поет? о! диво!
Послушай, милый, особливо
Есть у него любимое одно:
«А! нон лашьяр ми, но, но, но».
Еще у нас два брата:
Левон и Боренька, чудесные ребята!
Об них не знаешь что сказать;
Но если гения прикажете назвать:
Удушьев Ипполит Маркелыч!!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет ничего;
Вот эдаких людей бы сечь-то,
И приговаривать: писать, писать, писать;
В журналах можешь ты, однако, отыскать
Его *отрывок, взгляд и нечто.*
Об чем бишь *нечто?* — обо всем;
Всё знает, мы его на черный день пасем.
Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на́ руку нечист;
Да умный человек не может быть не плу́том.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
Вот люди, есть ли им подобные? Навряд...
Ну, между ими я, конечно, зауряд,
Немножко поотстал, ленив, подумать ужас!
Однако ж я, когда умишком понатужась,
Засяду, часу не сижу,
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу.
Другие у меня мысль эту же подцепят
И вшестером, глядь, водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.

Брат, смейся, а что любо, любо:
Способностями бог меня не наградил,
Дал сердце доброе, вот чем я людям мил.
Совру — простят...

Лакей
(у подъезда)

Карета Скалозуба!

Репетилов

Чья?

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Скалозуб, спускаются с лестницы.

Репетилов
(к нему навстречу)

Ах! Скалозуб, душа моя,
Постой, куда же? сделай дружбу.
(Душит его в объятиях.)

Чацкий

Куда деваться мне от них!
(Входит в швейцарскую.)

Репетилов
(Скалозубу)

Слух об тебе давно затих,
Сказали, что ты в полк отправился на службу,
Знакомы вы?
(Ищет Чацкого глазами.)

Упрямец! ускакал!
Нет ну́жды, я тебя нечаянно сыскал,
И просим-ка со мной, сейчас, без отговорок:
У князь-Григория теперь народу тьма,
Увидишь, человек нас сорок,
Фу! сколько, братец, там ума!
Всю ночь толкуют, не наскучат,
Во-первых, напоят шампанским на убой,
А во-вторых, таким вещам научат,
Каких, конечно, нам не выдумать с тобой.

Скалозуб

Избавь. Ученостью меня не обморочишь,
Скликай других, а если хочешь,
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Волтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит.

Репетилов

Всё служба на уме! Mon cher, гляди сюда:
И я в чины бы лез, да неудачи встретил.
Как, может быть, никто и никогда;
По статской я служил, тогда
Барон фон Клоц в министры метил,
А я —
К нему в зятья.
Шел напрямик без дальней думы,
С его женой и с ним пускался в реверси*,
Ему и ей какие суммы
Спустил, что боже упаси!
Он на Фонтанке жил, я возле дом построил,
С колоннами! огромный! сколько стоил!
Женился наконец на дочери его,
Приданого взял — шиш, по службе — ничего.
Тесть немец, а что проку?
Боялся, видишь, он упреку
За слабость будто бы к родне!
Боялся, прах его возьми, да легче ль мне?
Секретари его все хамы, все продажны,
Людишки, пишущая тварь,
Все вышли в знать, все нынче важны,
Гляди-ка в адрес-календарь.
Тьфу! служба и чины, кресты — души мытарства;
Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что радикальные потребны тут лекарства,
Желудок дольше не варит.

(Останавливается, увидя, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который покудова уехал.)

ЯВЛЕНИЕ 6

Репетилов, Загорецкий.

Загорецкий

Извольте продолжать, вам искренно призна́юсь,
Такой же я, как вы, ужасный либерал!
И оттого, что прям и смело объясняюсь,
Куда как много потерял!..

Репетилов

(с досадой)

Все врознь, не говоря ни слова;
Чуть из виду один, гляди уж нет другого.
Был Чацкий, вдруг исчез, потом и Скалозуб.

Загорецкий

Как думаете вы об Чацком?

Репетилов

Он не глуп,
Сейчас столкнулись мы, тут всякие турусы,
И дельный разговор зашел про водевиль.
Да! водевиль есть вещь, а прочее всё гиль.
Мы с ним... у нас... одни и те же вкусы.

Загорецкий

А вы заметили, что он
В уме сурьезно поврежден?

Репетилов

Какая чепуха!

Загорецкий

Об нем все этой веры.

Репетилов

Вранье!

Загорецкий

Спросите всех!

Репетилов

Химеры*.

Загорецкий

А кстати, вот князь Петр Ильич,
Княгиня и с княжнами.

Репетилов

Дичь.

ЯВЛЕНИЕ 7

Репетилов, Загорецкий, Князь и Княгиня с шестью дочерями; немного погодя Хлёстова спускается с парадной лестницы.
Молчалин ведет ее под руку. Лакеи в суетах.

Загорецкий

Княжны́, пожалуйте, скажите ваше мненье,
Безумный Чацкий или нет?

1-я княжна

Какое ж в этом есть сомненье?

2-я княжна

Про это знает целый свет.

3-я княжна

Дрянские, Хворовы, Варлянские, Скачковы.

4-я княжна

Ах! вести старые, кому они новы́?

5-я княжна

Кто сомневается?

Загорецкий

Да вот не верит...

6-я княжна

Вы!

Все вместе

Мсьё Репетилов! Вы! Мсьё Репетилов! что́ вы!
Да как вы! Можно ль против всех!
Да почему вы? стыд и смех.

Репетилов

(затыкает себе уши)

Простите, я не знал, что это слишком гласно.

Княгиня

Еще не гласно бы, с ним говорить опасно.
Давно бы запереть пора.
Послушать, так его мизинец
Умнее всех, и даже князь-Петра!
Я думаю, он просто якобинец,
Ваш Чацкий!!!.. Едемте. Князь, ты везти бы мог
Катишь или Зизи, мы сядем в шестиместной.

Хлёстова

(с лестницы)

Княгиня, карточный должок.

Княгиня

За мною, матушка.

Все

(друг к другу)

Прощайте.

Княжеская фамилия уезжает и Загорецкий тоже.

ЯВЛЕНИЕ 8

Репетилов, Хлёстова, Молчалин.

Репетилов

Царь небесный!
Амфиса Ниловна! Ах! Чацкий! бедный! вот!
Что́ наш высокий ум! и тысяча забот!
Скажите, из чего на свете мы хлопочем!

Хлёстова

Так бог ему судил; а впрочем,
Полечат, вылечат авось;
А ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось.
Изволил вовремя явиться!
Молчалин, вон чуланчик твой,
Не нужны проводы; поди, господь с тобой.

Молчалин уходит к себе в комнату.

Прощайте, батюшка; пора перебеситься.

(Уезжает.)

ЯВЛЕНИЕ 9

Репетилов со своим Лакеем.

Репетилов

Куда теперь направить путь?
А дело уж идет к рассвету.
Поди, сажай меня в карету,
Вези куда-нибудь.
(Уезжает.)

ЯВЛЕНИЕ 10

Послéдняя лампа гаснет.

Чацкий
(выходит из швейцарской)

Что это? слышал ли моими я ушами!
Не смех, а явно злость. Какими чудесами,
Через какое колдовство
Нелепость обо мне все в голос повторяют!
И для иных как словно торжество,
Другие будто сострадают...
О! если б кто в людей проник:
Что хуже в них? душа или язык?
Чье это сочиненье!
Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мненье!
И вот та родина... Нет, в нынешний приезд,
Я вижу, что она мне скоро надоест.
А Софья знает ли? — Конечно, рассказали,
Она не то, чтобы мне именно во вред
Потешилась, и правда или нет —
Ей всё равно, другой ли, я ли,
Никем по совести она не дорожит.
Но этот обморок, беспамятство откуда??
Нерв избалованность, причуда,—
Возбу́дит малость их, и малость утишит,—
Я признаком почел живых страстей.— Ни крошки:
Она, конечно бы, лишилась так же сил,
Когда бы кто-нибудь ступил
На хвост собачки или кошки.

София

(над лестницей во втором этаже со свечкою)

Молчалин, вы?

(Поспешно опять дверь припирает.)

Чацкий

Она! она сама!
Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи.
Явилась! нет ее! неу́жели в виденьи?
Не впрямь ли я сошел с ума?
К необычайности я точно приготовлен;
Но не виденье тут, свиданья час условлен.
К чему обманывать себя мне самого?
Звала Молчалина, вот комната его.

Лакей его

(с крыльца)

Каре...

Чацкий

Сс!

(Выталкивает его вон.)

Буду здесь, и не смыкаю глазу,
Хоть до утра. Уж коли горе пить,
Так лучше сразу,
Чем медлить,— а беды медленьем не избыть.
Дверь отворяется.

(Прячется за колонну.)

ЯВЛЕНИЕ 11

Чацкий спрятан, Лиза со свечкой.

Лиза

Ах, мочи нет! робею.
В пустые сени! в ночь! боишься домовых,
Боишься и людей живых.
Мучительница-барышня, бог с нею,
И Чацкий, как бельмо в глазу;
Вишь, показался ей он где-то здесь внизу.

(Осматривается.)

Да! как же! по сеням бродить ему охота!

Он, чай, давно уж за ворота,
Любовь на завтра поберег,
Домой, и спать залег.
Однако велено к сердечному толкнуться.

(Стучится к Молчалину.)

Послушайте-с. Извольте-ка проснуться.
Вас кличет барышня, вас барышня зовет.
Да поскорей, чтоб не застали.

ЯВЛЕНИЕ 12

Чацкий за колонною, Лиза, Молчалин (потягивается и зевает), София (крадется сверху).

Лиза

Вы, сударь, камень, сударь, лед.

Молчалин

Ах! Лизанька, ты от себя ли?

Лиза

От барышни-с.

Молчалин

Кто б отгадал,
Что в этих щечках, в этих жилках
Любви еще румянец не играл!
Охота быть тебе лишь только на посылках?

Лиза

А вам, искателям невест,
Не нежиться и не зевать бы;
Пригож и мил, кто не доест
И не доспит до свадьбы.

Молчалин

Какая свадьба? с кем?

Лиза

А с барышней?

Молчалин

Поди,
Надежды много впереди,
Без свадьбы время проволо́чим.

Лиза

Что вы, судáрь! да мы кого ж
Себе в мужья другого прочим?

Молчалин

Не знаю. А меня так разбирает дрожь,
И при одной я мысли трушу,
Что Павел Афанасьич раз
Когда-нибудь поймает нас,
Разгонит, проклянёт!.. Да что? открыть ли душу?
Я в Софье Павловне не вижу ничего
Завидного. Дай бог ей век прожить богато,
Любила Чацкого когда-то,
Меня разлюбит, как его.
Мой ангельчик, желал бы вполовину
К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе;
Да нет, как ни твержу себе,
Готовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну.

София

(в сторону)

Какие низости!

Чацкий

(за колонною)

Подлец!

Лиза

И вам не совестно?

Молчалин

Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.

Лиза

Сказать, судáрь, у вас огромная опека!

Молчалин

И вот любовника я принимаю вид
В угодность дочери такого человека...

Лиза

Который кормит и поит,
А иногда и чином подарит?
Пойдемте же, довольно толковали.

Молчалин

Пойдем любовь делить плачевной нашей крали.
Дай обниму тебя от сердца полноты.

Лиза не дается.

Зачем она не ты!

(Хочет идти, София не пускает.)

София

(почти шепотом, вся сцена вполголоса)

Нейдите далее, наслушалась я много,
Ужасный человек! себя я, стен стыжусь.

Молчалин

Как! Софья Павловна...

София

Ни слова, ради бога,
Молчите, я на всё решусь.

Молчалин

(бросается на колена, София отталкивает его)

Ах, вспомните! не гневайтеся, взгляньте!..

София

Не помню ничего, не докучайте мне.
Воспоминания! как острый нож оне.

Молчалин
(ползает у ног ее)

Помилуйте...

София

Не подличайте, встаньте.
Ответа не хочу, я знаю ваш ответ,
Солжете...

Молчалин

Сделайте мне милость...

София

Нет. Нет. Нет.

Молчалин

Шутил, и не сказал я ничего окро́ме...

София

Отстаньте, говорю, сейчас,
Я криком разбужу всех в доме
И погублю себя и вас.

Молчалин встает.

Я с этих пор вас будто не знавала.
Упреков, жалоб, слез моих
Не смейте ожидать, не стоите вы их;
Но чтобы в доме здесь заря вас не застала,
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала.

Молчалин

Как вы прикажете.

София

Иначе расскажу
Всю правду батюшке, с досады.
Вы знаете, что я собой не дорожу.
Подите.— Стойте, будьте рады,
Что при свиданиях со мной в ночной тиши
Держались более вы робости во нраве,
Чем даже днем, и при людях, и въяве;
В вас меньше дерзости, чем кривизны души.
Сама довольна тем, что ночью всё узнала:
Нет укоряющих свидетелей в глазах,
Как давиче, когда я в обморок упала,
Здесь Чацкий был...

Чацкий

(бросается между ними)

Он здесь, притворщица!

Лиза и София

Ах! Ах!

Лиза свечку роняет с испугу; Молчалин скрывается к себе в комнату.

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же, кроме Молчалина.

Чацкий

Скорее в обморок, теперь оно в порядке,
Важнее давишной причина есть тому,
Вот наконец решение загадке!
Вот я пожертвован кому!
Не знаю, как в себе я бешенство умерил!
Глядел, и видел, и не верил!
А милый, для кого забыт
И прежний друг, и женский страх и стыд,—
За двери прячется, боится быть в ответе.
Ах! как игру судьбы постичь?
Людей с душой гонительница, бич! —
Молчалины блаженствуют на свете!

София

(вся в слезах)

Не продолжайте, я виню себя кругом.
Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен!

Лиза

Стук! шум! ах! боже мой! сюда бежит весь дом.
Ваш батюшка вот будет благодарен.

ЯВЛЕНИЕ 14

Чацкий, София, Лиза, Фамусов, толпа слуг со свечами.

Фамусов

Сюда! за мной! скорей! скорей!
Свечей побольше, фонарей!
Где домовые? Ба! знакомые всё лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять, она,
Как мать ее, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врозь — уж где-нибудь с мужчиной!
Побойся бога, как? чем он тебя прельстил?
Сама его безумным называла!
Нет! глупость на меня и слепота напала!
Всё это заговор, и в заговоре был
Он сам, и гости все. За что я так наказан!..

Чацкий
(Софии)

Так этим вымыслом я вам еще обязан?

Фамусов

Брат, не финти, не дамся я в обман,
Хоть подеретесь, не поверю.
Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвел ленивую тетерю,
Не знает ни про что, не чует ничего.
Где был? куда ты вышел?
Сеней не запер для чего?
И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас*:
За грош продать меня готовы.
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там выучилась ты любовников сводить,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь-ка в и́збу, марш, за птицами ходить;
Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю,
Еще дни два терпение возьми:
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать,
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, суда́рь, прошу я толком
Туда не жаловать ни прямо, ни просёлком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот
И оглашу во весь народ:
В сенат подам, министрам, государю.

Чацкий
(после некоторого молчания)

Не образумлюсь... виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто всё еще мне объяснить хотят.
Растерян мыслями... чего-то ожидаю.
(С жаром.)
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.

Пред кем я давиче так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! о боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!
Зачем меня надеждой завлекли!
Зачем мне прямо не сказали,
Что всё прошедшее вы обратили в смех?!
Что память даже вам постыла
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
Сказали бы, что вам внезапный мой приезд,
Мой вид, мои слова, поступки — всё противно,—
Я с вами тотчас бы сношения пресек
И перед тем, как навсегда расстаться,
Не стал бы очень добираться,
Кто этот вам любезный человек?

(Насмешливо.)

Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом.
Себя крушить, и для чего!
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спосылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей —
Высокий идеал московских всех мужей.—
Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом.
А вы, судáрь отец, вы, страстные к чинам:
Желаю вам дремать в неведеньи счастливом,
Я сватаньем моим не угрожаю вам.
Другой найдется, благонравный,
Низкопоклонник и делец,
Достоинствами, наконец,
Он будущему тестю равный.
Так! отрезвился я сполна,
Мечтанья с глаз долой — и спала пелена;
Теперь не худо б было сряду
На дочь и на отца
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю желчь и всю досаду.
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,

Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором,—
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!

(Уезжает.)

ЯВЛЕНИЕ 15

Кроме Чацкого.

Фамусов

Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?
Скажи сурьезно:
Безумный! что он тут за чепуху молол!
Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно!
А ты меня решилась уморить?
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!

Н. А. НЕКРАСОВ

Стихотворения и поэмы

Стихотворения

СОВРЕМЕННАЯ ОДА

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь.

Не гнушаешься темной породою:
«Братья нам по Христу мужички!»
И родню свою длиннобородую
Не гоняешь с порога в толчки.

Не спрошу я, откуда явилося,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе всё свалилося
За твою добродетель и честь!..

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(Подражание Лермонтову[1])*

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По губернии раздался
Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался —
Явных тьма улик.
Но отец твой — плут известный —
Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный!
Баюшки-баю.

Подрастешь — и мир крещеный
Скоро сам поймешь,
Купишь фрак темно-зеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: «я благонамерен,
За добро стою!»
Спи — твой путь грядущий верен!
Баюшки-баю.

Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду —
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —

---

[1] Пояснения слов, отмеченных звездочкой, см. в Комментариях, стр. 695—713. Примечания под строкой принадлежат Некрасову.

И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь — и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.

* * *

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;

Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня;

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена,—

Верь: я внимал не без участья,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял всё, дитя несчастья!
Я всё простил и всё забыл.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе — пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,

В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки и сыты и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

ОГОРОДНИК

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.

Я в немецком саду работа́л по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою.

По торговым села́м, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой,
Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой.

Черноброва, статна, словно сахар бела!..
Стало жутко, я песни своей не допел.

А она — ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней как шальной я глядел.

Я слыхал на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден,—
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль, молодца, кудри — чесаный лен...

Разыгралась душа на часок, на другой...
Да как глянул я вдруг на хоромы ее —
Посвистал и махнул молодецкой рукой,
Да скорей за мужицкое дело свое!

А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою
И смеялась со мной и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?

Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь...
«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал,— чай, пора уж тебе отдохнуть».

— Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
Пособи мужику, поработай часок.—
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенек:

Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралася кровь.
«Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?»

— От кого у тебя перстенек золотой?
«Скоро старость придет, коли будешь всё знать».
— Дай-ка я погляжу, несговорный какой! —
И за палец меня белой рученькой хвать!

Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал — не давал золотой перстенек...
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как — в щеку девицу чмок!..

Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой... В ясны очи глядел,

Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Целовал-миловал, песни волжские пел.

Мигом лето прошло, ночи стали свежей,
А под утро мороз под ногами хрустит.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» — кричит.

Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел...
И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.

Постегали плетьми, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перёд закрыт;
И «пошел!» — привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

* * *

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днем бесполезно губя;

Что я, силы своей не пытав ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом

И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!

Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,

Что любить я хочу... что люблю я весь мир,
А брожу дикарем — бесприютен и сир*,

И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаюсь за нож — замирает рука!

РОДИНА

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...

Воспоминания дней юности — известных
Под громким именем роскошных и чудесных,—
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И всё, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров*, ни слуг,—
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал... Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой...
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,—
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И, с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада,—
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

* * *

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты — другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...

Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба —
Вместе свезут и положат рядком...

В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,

Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...

Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной,
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья —
И бесполезно замрут!..

* * *

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную*;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

* * *

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства;
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе —
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья,—

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных, и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

ЗА ГОРОДОМ

«Смешно! нас веселит ручей, вдали журчащий,
И этот темный дуб, таинственно шумящий;
Нас тешит песнею задумчивой своей,
Как праздных юношей, вечерний соловей;
Далекий свод небес, усеянный звездами,
Нам кажется, простерт с любовию над нами;
Любуясь месяцем, оглядывая даль,
Мы чувствуем в душе ту тихую печаль,
Что слаще радости... Откуда чувства эти?
Чем так довольны мы?.. Ведь мы уже не дети!
Ужель поденный труд наклонности к мечтам
Еще в нас не убил?.. И нам ли, беднякам,
На отвлеченные природой наслажденья
Свободы краткие истрачивать мгновенья?»

— Э! полно рассуждать! искать всему причин!
Деревня согнала с души давнишний сплин.
Забыта тяжкая, гнетущая работа,
Докучной бедности бессменная забота,—
И сердцу весело... И лучше поскорей
Судьбе воздать хвалу, что в нищете своей,
Лишенные даров довольства и свободы,
Мы живо чувствуем сокровища природы,
Которых сильные и сытые земли
Отнять у бедняков голодных не могли...

ПАМЯТИ БЕЛИНСКОГО

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел — и быстро ты угас!
Ты нас любил, ты дружеству был верен —
И мы тебя почтили в добрый час!
Ты по судьбе печальной беспримерен:
Твой труд живет и долго не умрет,
А ты погиб, несчастлив и незнаем!
И с дерева неведомого плод,
Беспечные, беспечно мы вкушаем.
Нам дела нет, кто возрастил его,
Кто посвящал ему и труд и время,

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам сдержанное племя...
И, с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других — и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял?..»

Ветер несет им печальный ответ:
— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли, как плети,

Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою.

* * *

Я сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум,
Так глубоко, глубоко спокоен
Мой истерзанный пыткою ум,—

Что недуг, мое сердце гнетущий,
Как-то горько меня веселит —
Встречу смерти, грозящей, идущей,
Сам пошел бы... Но сон освежит —

Завтра встану и выбегу жадно
Встречу первому солнца лучу:
Вся душа встрепенется отрадно,
И мучительно жить захочу!

А недуг, сокрушающий силы,
Будет так же и завтра томить
И о близости темной могилы
Так же внятно душе говорить...

* * *

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Если долго сдержанные муки,
Накипев, под сердце подойдут,
Я пишу: рифмованные звуки
Нарушают мой обычный труд.

Всё ж они не хуже плоской прозы
И волнуют мягкие сердца,
Как внезапно хлынувшие слезы
С огорченного лица.

Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них...
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь,—

Та любовь, что́ добрых прославляет,
Что́ клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет
Беззащитного певца...

* * *

Безвестен я. Я вами не стяжал
Ни почестей, ни денег, ни похвал,
Стихи мои — плод жизни несчастливой,
У отдыха похищенных часов,
Сокрытых слез и думы боязливой;
Но вами я не восхвалял глупцов,
Но с подлостью не заключал союза,
Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза
И под кнутом без звука умерла.

* * *

Тяжелый крест достался ей на долю:
Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;
Кому и страсть, и молодость, и волю —
Всё отдала,— тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;
Угнетена, пуглива и грустна,

Безумные, язвительные речи
Безропотно выслушивать должна:

«Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей;
Не говори!.. близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей!

Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю —
Не проклинай! близка моя могила:
Поправлю всё, всё смертью искуплю!

Не говори, что дни твои унылы,
Тюремщиком больного не зови:
Передо мной — холодный мрак могилы,
Перед тобой — объятия любви!

Я знаю: ты другого полюбила,
Шадить и ждать наскучило тебе...
О, погоди! близка моя могила —
Начатое и кончить дай судьбе!..»

Ужасные, убийственные звуки!..
Как статуя прекрасна и бледна,
Она молчит, свои ломая руки...
И что сказать могла б ему она?..

НА РОДИНЕ

Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив,—
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

* * *

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю — и молчу.

К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча...

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя — во сне и наяву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя,— теперь уж не зову!

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

* * *

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена...
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

ШКОЛЬНИК

— Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что́ проезжая купчиха
Подарила на чаёк.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадешь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик*
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете—
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай,—

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

* * *

Как ты кротка, как ты послушна,
Ты рада быть его рабой,
Но он внимает равнодушно,
Уныл и холоден душой.

А прежде... помнишь? Молода,
Горда, надменна и прекрасна,
Ты им играла самовластно,
Но он любил, любил тогда!

Так солнце осени — без туч
Стоит, не грея, на лазури,
А летом и сквозь сумрак бури
Бросает животворный луч...

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Гражданин
(входит)

Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.

Поэт

Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.

Гражданин

Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нем нет, поверь,
А просто пошлое юродство.
Лежать умеет дикий зверь...

Поэт

Так что же?

Гражданин

Да глядеть обидно.

Поэт

Ну, так уйди.

Гражданин

Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Поэт

Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.

Гражданин

Вот новость! Ты имеешь дело,
Ты только временно уснул,
Проснись: громи пороки смело...

Поэт

А! знаю: «вишь, куда метнул!»
Но я обстрелянная птица.
Жаль, нет охоты говорить.

(Берет книгу.)

Спаситель Пушкин! — Вот страница:
Прочти и перестань корить!

Гражданин
(читает)

«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв»*.

Поэт
(с восторгом)

Неподражаемые звуки!..
Когда бы с Музою моей

Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!

Гражданин

Да, звуки чудные... ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра
С души поэта соскочила.

Душевно радуюсь — пора!
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю.

Поэт

Не говори же чепухи!
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему,— великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи пожалуйста?!

Гражданин

Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо,—
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя

Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Гроза молчит, с волной бездонной
В сиянье спорят небеса,
И ветер, ласковый и сонный,
Едва колеблет паруса,—
Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце путников спокойно,
Как будто вместо корабля
Под ними твердая земля.
Но гром ударил; буря стонет,
И снасти рвет, и мачту клонит,—
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной
Ленивцев уши услаждать
И бури грохот заглушать?

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!»
Хитро скрывает ум надменный
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!

Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет гроша укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром... дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не сто́ит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

Поэт

Ты кончил?.. чуть я не уснул.
Куда нам до таких воззрений!
Ты слишком далеко шагнул.
Учить других — потребен гений,
Потребна сильная душа,
А мы с своей душой ленивой,
Самолюбивой и пугливой,
Не сто́им медного гроша.
Спеша известности добиться,

Боимся мы с дороги сбиться
И тропкой торною идем,
А если в сторону свернем —
Пропали, хоть беги со света!
Куда жалка ты, роль поэта!
Блажен безмолвный гражданин:
Он, музам чуждый с колыбели,
Своих поступков господин,
Ведет их к благородной цели,
И труд его успешен, спор...

Гражданин

Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! будет с нас купцов, кадетов*,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор*,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!!.
Ему тяжелый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он, как свои, на теле носит
Все язвы родины своей.

. . . . . .
. . . . . .

Гроза шумит и к бездне гонит
Свободы шаткую ладью,
Поэт клянет или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Под иго голову свою.
Когда же... Но молчу. Хоть мало

И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!..
Лентяй! смешны твои мечты
И легкомысленные пени!
В твоем сравненье смыслу нет.
Вот слово правды беспристрастной:
Блажен болтающий поэт,
И жалок гражданин безгласный!

Поэт

Не мудрено того добить,
Кого уж добивать не надо.
Ты прав: поэту легче жить —
В свободном слове есть отрада.
Но был ли я причастен ей?
Ах, в годы юности моей,
Печальной, бескорыстной, трудной,
Короче — очень безрассудной,—
Куда ретив был мой Пегас!*
Не розы — я вплетал крапиву
В его размашистую гриву
И гордо покидал Парнас*.
Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!
И что ж?.. мои послышав звуки,
Сочли их черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой...
Что было делать? Безрассудно
Винить людей, винить судьбу.
Когда б я видел хоть борьбу,
Бороться стал бы, как ни трудно,
Но... гибнуть, гибнуть... и когда?
Мне было двадцать лет тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои —
Душа пугливо отступила...
Но сколько б ни было причин,
Я горькой правды не скрываю

И робко голову склоняю
При слове: честный гражданин.
Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Бедняк! и из чего попрал
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын больной больного века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою...
Ах! песнею моей прощальной
Та песня первая была!
Склонила Муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.
С тех пор не часты были встречи:
Украдкой, бледная, придет
И шепчет пламенные речи,
И песни гордые поет.
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна,
Но загремят внезапно цепи,
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя —
То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.
Бичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.
Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И Муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! сокрылась навсегда.
Как свет, я сам ее не знаю
И не узнаю никогда.
О Муза, гостьею случайной
Являлась ты душе моей?

Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! кто знает? рок суровый
Всё скрыл в глубокой темноте.
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте...

* * *

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

* * *

Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд

Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.

Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти»,— говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они.
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя,—
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны,— как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу? —
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик:
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьма́м, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,

Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухóм городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурла́ки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля,—
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,—
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ

«Стой, ямщик! жара несносная,
Дальше ехать не могу!»
Вишь, пора-то сенокосная —
Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого
Только нянюшка сидит,
Закачав ребенка малого,
И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку
Да, зевая, крестит рот.
Сел я рядом с ней на лесенку;
Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,

Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей.

В люди выдешь, всё с вельможами
Будешь дружество водить,
С молодицами пригожими
Шутки вольные шутить.

И привольная и праздная
Жизнь покатится шутя...»
Эка песня безобразная!
— Няня! дай-ка мне дитя!

«На, родной! да ты откудова?»
— Я проезжий, городской.
«Покачай; а я покудова
Подремлю... да песню спой!»

— Как не спеть! спою, родимая,
Только, знаешь, не твою.
У меня своя, любимая...
«Баю-баюшки, баю!

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.

С ними ты рожден природою —
Возлелей их, сохрани!

Братством, Равенством, Свободою*
Называются они.

Возлюби их! на служение
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца.

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей:

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

И тогда-то...» Вдруг проснулося
И заплакало дитя.
Няня быстро встрепенулася
И взяла его, крестя.

«Покормись, родимый, грудкою!
Сыт?.. Ну, баюшки-баю!»
И запела над малюткою
Снова песенку свою...

* * *

Что ты, сердце мое, расходилося?..
Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
Клевета по Руси по родной.
Не тужи! пусть растет, прибавляется,
Не тужи! как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
Добрым словцом.

НА ВОЛГЕ

(Детство Валежникова)

1

. . . . . .
. . . . . .

Не торопись, мой верный пес!
Зачем на грудь ко мне скакать?
Еще успеем мы стрелять.
Ты удивлен, что я прирос
На Волге: целый час стою
Недвижно, хмурюсь и молчу.
Я вспомнил молодость мою
И весь отдаться ей хочу
Здесь на свободе. Я похож
На нищего: вот бедный дом,
Тут, может, подали бы грош.
Но вот другой — богаче: в нем
Авось побольше подадут.
И нищий мимо; между тем
В богатом доме дворник-плут
Не наделил его ничем.
Вот дом еще пышней, но там
Чуть не прогнали по шеям!
И, как нарочно, всё село
Прошел — нигде не повезло!
Пуста, хоть выверни суму.
Тогда вернулся он назад
К убогой хижине — и рад,
Что корку бросили ему;
Бедняк ее, как робкий пес,
Подальше от людей унес
И гложет... Рано пренебрег
Я тем, что было под рукой,
И чуть не детскою ногой
Ступил за отческий порог.
Меня старались удержать
Мои друзья, молила мать,
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей,
И той же песенкою полн
Был говор этих милых волн.

Но я не верил ничему.
Нет,— говорил я жизни той.—
Ничем не купленный покой
Противен сердцу моему...

Быть может, недостало сил
Или мой труд не нужен был,
Но жизнь напрасно я убил,
И то, о чем дерзал мечтать,
Теперь мне стыдно вспоминать!
Все силы сердца моего
Истратив в медленной борьбе,
Не допросившись ничего
От жизни ближним и себе,
Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
— О юность бедная моя!
Прости меня, смирился я!
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой!
Не помяни мне глупых слез,
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготясь!
Но благодушно что-нибудь,
На чем бы сердцем отдохнуть
Я мог, пошли мне! Я устал,
В себя я веру потерял,
И только память детских дней
Не тяготит души моей...

Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки,
Где лишь кричали кулики,
Шумели глухо камыши,
Рядами стаи белых птиц,
Как изваяния гробниц,
Сидели важно на песке;
Виднелись горы вдалеке,
И синий бесконечный лес
Скрывал ту сторону небес,
Куда, дневной окончив путь,
Уходит солнце отдохнуть.

Я страха смолоду не знал,
Считал я братьями людей
И даже скоро перестал
Бояться леших и чертей.
Однажды няня говорит:
«Не бегай ночью — волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду!»
И в ту же ночь пошел я в сад.
Не то чтоб я чертям был рад,
А так — хотелось видеть их.
Иду. Ночная тишина
Какой-то зоркостью полна,
Как будто с умыслом притих
Весь божий мир — и наблюдал,
Что дерзкий мальчик затевал!
И как-то не шагалось мне
В всезрящей этой тишине.
Не воротиться ли домой?
А то как черти нападут
И потащат с собою в пруд,
И жить заставят под водой?
Однако я не шел назад.
Играет месяц над прудом,
И отражается на нем
Береговых деревьев ряд.
Я постоял на берегу,
Послушал — черти ни гугу!
Я пруд три раза обошел,
Но черт не выплыл, не пришел!
Смотрел я меж ветвей дерев
И меж широких лопухов,
Что́ поросли вдоль берегов,
В воде: не спрятался ли там?
Узнать бы можно по рогам.
Нет никого! Пошел я прочь,
Нарочно сдерживая шаг.
Сошла мне даром эта ночь,
Но если б друг какой иль враг
Засел в кусту и закричал,
Иль даже, спугнутая мной,
Взвилась сова над головой,—
Наверно б мертвый я упал!
Так, любопытствуя, давил
Я страхи ложные в себе
И в бесполезной той борьбе

Немало силы погубил.
Зато добытая с тех пор
Привычка не искать опор
Меня вела своим путем,
Пока рожденного рабом
Самолюбивая судьба
Не обратила вновь в раба!

3

О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом всё та же даль и ширь,
Всё тот же виден монастырь
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.
Всё то же, то же... только нет
Убитых сил, прожитых лет...

Уж скоро полдень. Жар такой,
Что на песке горят следы,
Рыбалки* дремлют над водой,
Усевшись в плотные ряды;
Куют кузнечики, с лугов
Несется крик перепелов.
Не нарушая тишины
Ленивой, медленной волны,
Расшива* движется рекой.
Приказчик, парень молодой,
Смеясь, за спутницей своей
Бежит по палубе: она
Мила, дородна и красна.
И слышу я, кричит он ей:
«Постой, проказница, ужо
Вот догоню!..» Догнал, поймал,—
И поцелуй их прозвучал
Над Волгой вкусно и свежо.
Нас так никто не целовал!
Да в подрумяненных губах
У наших барынь городских
И звуков даже нет таких.

В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушел бы никуда —
Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой!

Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушен.
Я знать хотел, что́ значит он,—
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
И меж собою повели

Н. А. Некрасов.

Художник А. Пластов

Неторопливый разговор.
— Когда-то в Нижний* попадем? —
Один сказал.— Когда б попасть
Хоть на Илью...* — «Авось придем,—
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил.— Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы еще...»
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И выражающий укор
Спокойно-безнадежный взор...

Без шапки, бледный, чуть живой,
Лишь поздно вечером домой
Я воротился. Кто тут был —
У всех ответа я просил
На то, что видел, и во сне
О том, что рассказали мне,
Я бредил. Няню испугал:
«Сиди, родименькой, сиди!
Гулять сегодня не ходи!»
Но я на Волгу убежал.

Бог весть что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их ярко-свежая трава,
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же милых волн
Иною музыкою полн!

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,

И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

Но если вы — наивный бред,
Обеты юношеских лет,
Зачем же вам забвенья нет?
И вами вызванный упрек
Так сокрушительно жесток?..

4

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поешь,
Всё ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность без конца...
Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал,
Бродя по этим берегам,
И перед смертию не знал,
Что заповедать сыновьям.
И, как ему,— не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, безвестно пропадешь.
Так заметается песком
Твой след на этих берегах,
Где ты шагаешь под ярмом
Не краше узника в цепях,
Твердя постылые слова,
От века те же: «раз да два!»
С болезненным припевом: «ой!»
И в такт мотая головой...

ПЛАЧ ДЕТЕЙ

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?

«В золотую по́ру малолетства
Всё живое счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!

Колесо чугунное вертится,
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, всё кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки —
Всё и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
— Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать! —
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!

Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попа́дали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но зачем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКО

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по божией милости
Русской земли человек замечательный
С давнего времени: молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед за тем долгие дни заточения.

Всё он изведал: тюрьму петербургскую,
Справки, допросы, жандармов любезности,
Всё — и раздольную степь Оренбургскую,
И ее крепость. В нужде, в неизвестности
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою.

Но, сократить не желая страдания,
Поберегло его в годы изгнания
Русских людей провиденье игривое.
Кончилось время его несчастливое,
Всё, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалося.
Тут ему бог позавидовал:
Жизнь оборвалася.

* * *

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведренный день впереди;

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ[1]

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако: всё зелено,
И воздух, и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Скромна моя хозяюшка
Наталья Патрикеевна,
Водой не замутит!
Да с ней беда случилася,
Как лето жил я в Питере...
Сама сказала, глупая,
Типун ей на язык!

В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит — молчит жена.
Молчу... а дума лютая
Покоя не дает:
Убить... так жаль сердечную!
Стерпеть — так силы нет!
А тут зима косматая
Ревет и день и ночь:
«Убей, убей изменницу!
Злодея изведи!
Не то весь век промаешься,
Ни днем, ни долгой ноченькой
Покоя не найдешь.
В глаза твои бесстыжие
Соседи наплюют!..»
Под песню-вьюгу зимнюю
Окрепла дума лютая —
Припас я острый нож...
Да вдруг весна подкралася...

---

[1] Так народ называет пробуждение природы весной.

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И всё мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — бог тебе судья!»

* * *

В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты! — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная —
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!

Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую —
Некогда кровь унимать!

Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда — растрепалися косыньки,—
Надо ребенка качать!

Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!..

Слезы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,
Канут они — всё равно!

Вот она губы свои опаленные
Жадно подносит к краям...
Вкусны ли, милая, слезы соленые
С кислым кваском пополам?..

РЫЦАРЬ НА ЧАС

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка,
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,

Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Я советую гнать ее прочь —
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины,
Что, как иней, к земле прилегли,—
Всё отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвой;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый —
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу, ворон тяжелый —
Видишь — дремлет на старой ели!
Всё, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном — золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов,—
Всё доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:

Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна —
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто может,— я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой...
В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! — и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околотке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит — бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит бога о ведренном дне.

Звук за звуком, гудя, прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Всё, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен,— всё живет предо мной,
Всё так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидать я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты,— грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!

Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что́ в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная —
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на всё безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,

Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билося,
Что умел он любить...
. . . . . .

(Утром, в постели)

О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Всё в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись — о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...»

* * *

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.

Но люблю я, весна золотая,
Твой сплошной, чудно-смешанный шум;
Ты ликуешь, на миг не смолкая,
Как дитя, без заботы и дум.
В обаянии счастья и славы,
Чувству жизни ты вся предана,—
Что-то шепчут зеленые травы,

Говорливо струится волна;
В стаде весело ржет жеребенок,
Бык с землей вырывает траву,
А в лесу белокурый ребенок —
Чу! кричит: «Парасковья, ау!»
По холмам, по лесам, над долиной
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышны — напев соловьиный
И нестройные писки галчат,
Грохот тройки, скрипенье подводы,
Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок,— в просторе свободы
Всё в гармонию жизни слилось...
Я наслушался шума иного...
Оглушенный, подавленный им,
Мать-природа! иду к тебе снова
Со всегдашним желаньем моим —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.

КАЛИСТРАТ

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!
Будешь жить ты припеваючи!»

И сбылось, по воле божией,
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!

В ключевой воде купаюся,
Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаюся
С непосеянной полосыньки!

А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою,
Пуще мужа наряжается —
Носит лапти с подковыркою!..

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ваня
(в кучерском армячке)
Папаша! кто строил эту дорогу?
Папаша
(в пальто на красной подкладке)
Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

I

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

II

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки-Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

III

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!
«Видел, папаша, я сон удивительный,—
Ваня сказал,— тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и *он* мне сказал:

«Вот они — нашей дороги строители!..»
Захохотал генерал!

— Был я недавно в стенах Ватикана*,
По Колизею* две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана*,
Что же... всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский*
Хуже печного горшка?

Вот ваш народ — эти термы* и бани,
Чудо искусства — он всё растаскал!
«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:

— Ваш славянин, англосакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...

IV

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да́ вот, поди ты!..» Махнули рукой...

В синем кафтане — почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... нешто́... молодца́!.. молодца́!..

С богом, теперь по домам,— проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И — *недоимку дарю!..*»

Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай, и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой,

Но слишком рано твой ударил час
И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

* * *

(Посвящается неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть»)

Умру я скоро. Жалкое наследство,
О родина! оставлю я тебе.
Под гнетом роковым провел я детство
И молодость — в мучительной борьбе.
Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая — навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины.
На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след.
Как мало знал свободных вдохновений,
О родина! печальный твой поэт!
Каких преград не встретил мимоходом
С своей угрюмой музой на пути?..
За каплю крови, общую с народом,
И малый труд в заслугу мне сочти!

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука... Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,

Но где они, друзья мои, теперь?
Одни давно расстались со мною,
Перед другими сам я запер дверь;
Те жребием постигнуты жестоким,
А те прешли уже земной предел...
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов всё больше на пути —
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой,
И песнь моя бесследно пролетела
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!..

МАТЬ

Она была исполнена печали,
И между тем как, шумны и резвы,
Три отрока вокруг нее играли,
Ее уста задумчиво шептали:
«Несчастные! зачем родились вы?
Пойдете вы дорогою прямою,
И вам судьбы своей не избежать!»
Не омрачай веселья их тоскою,
Не плачь над ними, мученица-мать!
Но говори им с молодости ранней:
Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка...

* * *

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу народного горя
Всю расплещи!..

ЭЛЕГИЯ

(А. Н. Еракову)

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая — «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна,—
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?..

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленье...
«Довольно ликовать в наивном увлеченье,—
Шепнула муза мне.— Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,
Старик ли медленный шагает за сохою,

Бежит ли по лугу, играя и свистя,
С отцовским завтраком довольное дитя,
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: «В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смену
Свобода, наконец, внесла ли перемену
В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?..»

Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,
По нивам, по лугам, уставленным стогами,
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,
И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье:
На сельские труды зову благословенье,
Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю,
И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся... Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,—
Увы! не внемлет он — и не дает ответа...

СЕЯТЕЛЯМ

Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

* * *

О Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

Поэмы

Мороз, Красный нос

Сестре

Ты опять упрекнула меня,
Что я с музой моей раздружился,
Что заботам текущего дня
И забавам его подчинился.
Для житейских расчетов и чар
Не расстался б я с музой моею,
Но бог весть, не погас ли тот дар,
Что́, бывало, дружил меня с нею?
Но не брат еще людям поэт,
И тернист его путь, и непрочен,
Я умел не бояться клевет,
Не был ими я сам озабочен;
Но я знал, чье во мраке ночном
Надрывалося сердце с печали,
И на чью они грудь упадали свинцом,
И кому они жизнь отравляли.
И пускай они мимо прошли,
Надо мною ходившие грозы,
Знаю я, чьи молитвы и слезы
Роковую стрелу отвели...
Да и время ушло,— я устал...
Пусть я не был бойцом без упрека,
Но я силы в себе сознавал,
Я во многое верил глубоко,
А теперь — мне пора умирать...

Не затем же пускаться в дорогу,
Чтобы в любящем сердце опять
Пробудить роковую тревогу...

Присмиревшую музу мою
Я и сам неохотно ласкаю...
Я последнюю песню пою
Для тебя — и тебе посвящаю.
Но не будет она веселей,
Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней
И в грядущем еще безнадежней...

Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,
И ту иву, что мать посадила,
Эту иву, которую ты
С нашей участью странно связала,
На которой поблекли листы
В ночь, как бедная мать умирала...

И дрожит и пестреет окно...
Чу! как крупные градины скачут!
Милый друг, поняла ты давно —
Здесь одни только камни не плачут...
. . . . . .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА

I

Савраска увяз в половине сугроба —
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.

Старуха в больших рукавицах
Савраску сошла понукать.
Сосульки у ней на ресницах,
С морозу — должно полагать.

II

Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит:
Как саваном, снегом одета,
Избушка в деревне стоит.

В избушке — теленок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети,
Тихонько рыдает жена.

Сшивая проворной иголкой
На саван куски полотна,
Как дождь, зарядивший надолго,
Негромко рыдает она.

III

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Века протекали — всё к счастью стремилось,
Всё в мире по нескольку раз изменилось,
Одну только бог изменить забывал
Суровую долю крестьянки.
И все мы согласны, что тип измельчал
Красивой и мощной славянки.

Случайная жертва судьбы!
Ты глухо, незримо страдала,
Ты свету кровавой борьбы
И жалоб своих не вверяла,—

Но мне ты их скажешь, мой друг!
Ты с детства со мною знакома.
Ты вся — воплощенный испуг,
Ты вся — вековая истома!
Тот сердца в груди не носил,
Кто слез над тобою не лил!

IV

Однако же речь о крестьянке
Затеяли мы, чтоб сказать,
Что тип величавой славянки
Возможно и ныне сыскать.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.

И голод и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!

Платок у ней на ухо сбился,
Того гляди косы падут.
Какой-то парнёк изловчился
И кверху подбросил их, шут!

Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженьки босы,
Мешают крестьянке взглянуть.

Она отвела их руками,
На парня сердито глядит.
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит...

По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.

Такого сердечного смеха
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха!» —
Твердят мужики меж собой.

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,— спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Красивые, ровные зубы,
Что крупные перлы, у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —

Она улыбается редко...
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;

Не жалок ей нищий убогий —
Вольно́ ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.

В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде,

Всегда у них теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.

Идет эта баба к обедне
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле, двухлетний
Ребенок у ней на груди,

Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведет...
И по́ сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!

V

И ты красотою дивила,
Была и ловка и сильна,
Но горе тебя иссушило,
Уснувшего Прокла жена!

Горда ты — ты плакать не хочешь,
Крепишься, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.

Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...

VI

В селе, за четыре версты,
У церкви, где ветер шатает
Подбитые бурей кресты,
Местечко старик выбирает;
Устал он, работа трудна,
Тут тоже сноровка нужна —

Чтоб крест было видно с дороги,
Чтоб солнце играло кругом.
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом,

Вся в инее шапка большая,
Усы, борода в серебре.
Недвижно стоит, размышляя,
Старик на высоком бугре.

Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать,
Крестом осенился и начал
Лопатою снег разгребать.

Иные приемы тут были,
Кладбище не то, что поля:
Из снегу кресты выходили,
Крестами ложилась земля.

Согнув свою старую спину,
Он долго, прилежно копал,
И желтую мерзлую глину
Тотчас же снежок застилал.

Ворона к нему подлетела,
Потыкала носом, прошлась:
Земля, как железо, звенела —
Ворона ни с чем убралась...

Могила на славу готова,—
«Не мне б эту яму копать!»
(У старого вырвалось слово):
«Не Проклу бы в ней почивать,

Не Проклу!..» Старик оступился,
Из рук его выскользнул лом
И в белую яму скатился,
Старик его вынул с трудом.

Пошел... по дороге шагает...
Нет солнца, луна не взошла...
Как будто весь мир умирает:
Затишье, снежок, полумгла...

VII

В овраге, у речки Желтухи,
Старик свою бабу нагнал
И тихо спросил у старухи:
«Хорош ли гробок-то попал?»

Уста ее чуть прошептали
В ответ старику: «Ничего».
Потом они оба молчали,
И дровни так тихо бежали,
Как будто боялись чего...

Деревня еще не открылась,
А близко — мелькает огонь.

Старуха крестом осенилась,
Шарахнулся в сторону конь —

Без шапки, с ногами босыми,
С большим заостренным колом,
Внезапно предстал перед ними
Старинный знакомец Пахом.

Прикрыты рубахою женской,
Звенели вериги на нем;
Постукал дурак деревенский
В морозную землю колом,

Потом помычал сердобольно,
Вздохнул и сказал: «Не беда!
На вас он работал довольно!
И ваша пришла череда!

Мать сыну-то гроб покупала,
Отец ему яму копал,
Жена ему саван сшивала —
Всем разом работу вам дал!..»

Опять помычал — и без цели
В пространство дурак побежал.
Вериги уныло звенели,
И голые икры блестели,
И посох по снегу черкал.

VIII

У дома оставили крышу,
К соседке свели ночевать
Зазябнувших Машу и Гришу
И стали сынка обряжать.

Медлительно, важно, сурово
Печальное дело велось:
Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.

Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе,

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой
И в липовых новых лаптях.

Большие, с мозолями руки,
Подъявшие много труда,
Красивое, чуждое муки
Лицо — и до рук борода...

IX

Пока мертвеца обряжали,
Не выдали словом тоски
И только глядеть избегали
Друг другу в глаза бедняки.

Но вот уже кончено дело,
Нет ну́жды бороться с тоской,
И что на душе накипело,
Из уст полилося рекой.

Не ветер гудит по ковыли,
Не свадебный поезд гремит,—
Родные по Прокле завыли,
По Прокле семья голосит:

«Голубчик ты наш сизокрылой!
Куда ты от нас улетел?
Пригожеством, ростом и силой
Ты ровни в селе не имел,

Родителям был ты советник,
Работничек в поле ты был,
Гостям хлебосол и приветник,
Жену и детей ты любил...

Что ж мало гулял ты по свету?
За что нас покинул, родной?
Одумал ты думушку эту,
Одумал с сырою землей —

Одумал — а нам оставаться
Велел во миру́, сиротам,
Не свежей водой умываться,
Слезами горючими нам!

Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Художник А. Пластов

Старуха помрет со кручины,
Не жить и отцу твоему,
Береза в лесу без вершины —
Хозяйка без мужа в дому.

Ее не жалеешь ты, бедной,
Детей не жалеешь... Вставай!
С полоски своей заповедной
По лету сберешь урожай!

Сплесни, ненаглядный, руками,
Сокольим глазком посмотри,
Тряхни шелковы́ми кудрями,
Саха́рны уста раствори!

На радости мы бы сварили
И меду, и браги хмельной,
За стол бы тебя посадили —
«Покушай, желанный, родной!»

А сами напротив бы стали —
Кормилец, надёжа семьи!
Очей бы с тебя не спускали,
Ловили бы речи твои...»

X

На эти рыданья и стоны
Соседи валили гурьбой:
Свечу положив у иконы,
Творили земные поклоны
И шли молчаливо домой.

На смену входили другие.
Но вот уж толпа разбрелась,
Поужинать сели родные —
Капуста да с хлебушком квас.

Старик бесполезной кручине
Собой овладеть не давал:
Подладившись ближе к лучине,
Он лапоть худой ковырял.

Протяжно и громко вздыхая,
Старуха на печку легла,

А Дарья, вдова молодая,
Проведать ребяток пошла.

Всю ноченьку, стоя у свечки,
Читал над усопшим дьячок,
И вторил ему из-за печки
Пронзительным свистом сверчок.

XI

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утром свидетелем было
Печальной картины оно.

Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий
Покойника вынес народ.

— Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..

В торговом селе Чистополье
Купил он тебя сосунком,
Взрастил он тебя на приволье,
И вышел ты добрым конем.

С хозяином дружно старался,
На зимушку хлеб запасал,
Во стаде ребенку давался,
Травой да мякиной питался,
А тело изрядно держал.

Когда же работы кончались
И сковывал землю мороз,
С хозяином вы отправлялись
С домашнего корма в извоз.

Немало и тут доставалось —
Возил ты тяжелую кладь,

В жестокую бурю случалось,
Измучась, дорогу терять.

Видна на боках твоих впалых
Кнута не одна полоса,
Зато на дворах постоялых
Покушал ты вволю овса.

Слыхал ты в январские ночи
Метели пронзительный вой
И волчьи горящие очи
Видал на опушке лесной.

Продрогнешь, натерпишься страху,
А там — и опять ничего!
Да, видно, хозяин дал маху —
Зима доконала его!..

XII

Случилось в глубоком сугробе
Полсуток ему простоять,
Потом то в жару, то в ознобе
Три дня за подводой шагать:

Покойник на срок торопился
До места доставить товар.
Доставил, домой воротился —
Нет голоса, в теле пожар!

Старуха его окатила
Водой с девяти веретен
И в жаркую баню сводила,
Да нет — не поправился он!

Тогда ворожеек созвали —
И поят, и шепчут, и трут —
Всё худо! Его продевали
Три раза сквозь потный хомут,

Спускали родимого в пролубь,
Под куричий клали насест...
Всему покорялся, как голубь,—
А плохо — не пьет и не ест!

Еще положить под медведя,
Чтоб тот ему кости размял,
Ходебщик сергачевский Федя* —
Случившийся тут — предлагал.

Но Дарья, хозяйка больного,
Прогнала советчика прочь:
Испробовать средства иного
Задумала баба: и в ночь

Пошла в монастырь отдаленной
(Верстах в десяти от села),
Где в некой иконе явленной
Целебная сила была.

Пошла, воротилась с иконой —
Больной уж безгласен лежал,
Одетый, как в гроб, причащенный.
Увидел жену, простонал

И умер...

XIII

...Саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!

Чу! два похоронных удара!
Попы ожидают — иди!..
Убитая, скорбная пара,
Шли мать и отец впереди.

Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать

Шагала... Глаза ее впали,
И был не белей ее щек
Надетый на ней в знак печали
Из белой холстины платок.

За Дарьей — соседей, соседок
Плелась негустая толпа,

Толкуя, что Прокловых деток
Теперь незавидна судьба,

Что Дарье работы прибудет,
Что ждут ее черные дни.
«Жалеть ее некому будет»,—
Согласно решили они...

XIV

Как водится, в яму спустили,
Засыпали Прокла землей;
Поплакали, громко повыли,
Семью пожалели, почтили
Покойника щедрой хвалой.

Сам староста, Сидор Иваныч,
Вполголоса бабам подвыл,
И «мир тебе, Прокл Севастьяныч! —
Сказал: — благодушен ты был,

Жил честно, а главное: в сроки,
Уж как тебя бог выручал,
Платил господину оброки
И подать царю представлял!»

Истратив запас красноречья,
Почтенный мужик покряхтел.
«Да, вот она — жизнь человечья!» —
Прибавил — и шапку надел.

«Свалился... а то-то был в силе!..
Свалимся... не минуть и нам!..»
Еще покрестились могиле
И с богом пошли по домам.

Высокий, седой, сухопарый,
Без шапки, недвижно-немой,
Как памятник, дедушка старый
Стоял на могиле родной!

Потом старина бородатый
Задвигался тихо по ней,
Ровняя землицу лопатой,
Под вопли старухи своей.

Когда же, оставивши сына,
Он с бабой в деревню входил:
«Как пьяных, шатает кручина!
Гляди-тко!..» — народ говорил.

XV

А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить,

Ан глядь — ни полена дровишек!
Задумалась бедная мать:
Покинуть ей жаль ребятишек.
Хотелось бы их приласкать,

Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова,
И тотчас, на том же савраске,
Поехала в лес по дрова...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС

XVI

Морозно. Равнины белеют под снегом,
Чернеется лес впереди,
Савраска плетется ни шагом, ни бегом,
Не встретишь души на пути.

Как тихо! В деревне раздавшийся голос
Как будто у самого уха гудёт,
О корень древесный запнувшийся полоз
Стучит, и визжит, и за сердце скребет.

Кругом — поглядеть нету мочи,
Равнина в алмазах блестит...
У Дарьи слезами наполнились очи,—
Должно быть, их солнце слепит...

XVII

В полях было тихо, но тише
В лесу и как будто светлей.
Чем дале — деревья всё выше,
А тени длинней и длинней.

Деревья, и солнце, и тени,
И мертвый, могильный покой...
Но — чу! заунывные пени*,
Глухой сокрушительный вой!

Осилило Дарьюшку горе,
И лес безучастно внимал,
Как стоны лились на просторе
И голос рвался и дрожал,

И солнце, кругло́ и бездушно,
Как желтое око совы,
Глядело с небес равнодушно
На тяжкие муки вдовы.

И много ли струн оборвалось
У бедной крестьянской души,
Навеки сокрыто осталось
В лесной нелюдимой глуши.

Великое горе вдовицы
И матери малых сирот
Подслушали вольные птицы,
Но выдать не смели в народ...

XVIII

Не псарь по дубровушке тру́бит,
Гогочет сорвиголова,—
Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова.

Срубивши, на дровни бросает —
Наполнить бы их поскорей,
И вряд ли сама замечает,
Что слезы всё льют из очей:

Иная с ресницы сорвется
И на́ снег с размаху падет —

До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжет;

Другую на дерево кинет,
На плашку,— и смотришь, она
Жемчужиной крупной застынет —
Бела, и кругла, и плотна.

А та на глазу поблистает,
Стрелой по щеке побежит,
И солнышко в ней поиграет...
Управиться Дарья спешит,

Знай рубит,— не чувствует стужи,
Не слышит, что ноги знобит,
И, полная мыслью о муже,
Зовет его, с ним говорит...

XIX

. . . . . .
. . . . . .

«Голубчик! красавицу нашу
Весной в хороводе опять
Подхватят подруженьки Машу
И станут на ручках качать!

Станут качать,
Кверху бросать,
Маковкой звать,
Мак отряхать![1]

Вся раскраснеется наша
Маковым цветиком Маша
С синими глазками, с русой косой!

Ножками бить и смеяться
Будет... а мы-то с тобой,
Мы на нее любоваться
Будем, желанный ты мой!..

---

[1] Известная народная игра, называемая: сеять мак. Маковкой садится в середине круга красивая девочка, которую под конец подкидывают вверх, представляя тем отряхиванье мака, а то еще маком бывает простоватый детина, которому при подкидывании достается немало колотушек.

XX

Умер, не дожил ты веку,
Умер и в землю зарыт!
Любо весной человеку!
Солнышко ярко горит.

Солнышко всё оживило,
Божьи открылись красы,
Поле сохи запросило,
Травушки просят косы,

Рано я, горькая, встала,
Дома не ела, с собой не брала,
До ночи пашню пахала,
Ночью я косу клепала,
Утром косить я пошла...

Крепче вы, ноженьки, стойте!
Белые руки, не нойте!
Надо одной поспевать!
В поле одной-то надсадно,
В поле одной неповадно,
Стану я милого звать!

Ладно ли пашню вспахала?
Выди, родимый, взгляни!
Сухо ли сено убрала?
Прямо ли стоги сметала?..
Я на граблях отдыхала
Все сенокосные дни!

Некому бабью работу поправить!
Некому бабу на разум наставить...

XXI

Стала скотинушка в лес убираться,
Стала рожь-матушка в колос метаться,
Бог нам послал урожай!
Нынче солома по грудь человеку,
Бог нам послал урожай!
Да не продлил тебе веку,—
Хочешь не хочешь, одна поспевай!..

Овод жужжит и кусает,
Смертная жажда томит,
Солнышко серп нагревает,
Солнышко очи слепит,
Жжет оно голову, плечи,
Ноженьки, рученьки жжет,
Изо ржи, словно из печи,
Тоже теплом обдает,
Спинушка ноет с натуги,
Руки и ноги болят,
Красные, желтые круги
Перед очами стоят...
Жни-дожинай поскорее,
Видишь — зерно потекло...

Вместе бы дело спорее,
Вместе повадней бы шло...

XXII

Сон мой был в руку, родная!
Сон перед спасовым днем.
В поле заснула одна я
После полудня, с серпом,
Вижу — меня оступает
Сила — несметная рать,—
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает.
Думала я убежать,
Да не послушались ноги.
Стала просить я помоги,
Стала я громко кричать.

Слышу, земля задрожала —
Первая мать прибежала,
Травушки рвутся, шумят —
Детки к родимой спешат.
Шибко без ветру не машет
Мельница в поле крылом:
Братец идет да приляжет,
Свекор плетется шажком.
Все прибрели, прибежали,
Только дружка одного
Очи мои не видали...

Стала я кликать его:
«Видишь, меня оступает
Сила — несметная рать,—
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает:
Что не идешь выручать?..»
Тут я кругом огляделась —
Господи! Что куда делось?
Что это было со мной?..
Рати тут нет никакой!
Это не люди лихие,
Не бусурманская рать,
Это колосья ржаные,
Спелым зерном налитые,
Вышли со мной воевать!

Машут, шумят, наступают,
Руки, лицо щекотят,
Сами солому под серп нагибают —
Больше стоять не хотят!

Жать принялась я проворно,
Жну, а на шею мою
Сыплются крупные зерна —
Словно под градом стою!

Вытечет, вытечет за ночь
Вся наша матушка-рожь...
Где же ты, Прокл Севастьяныч?
Что пособлять не идешь?..

Сон мой был в руку, родная!
Жать теперь буду одна я.

Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!

Слезы мои не жемчужны,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы господу нужны,
Чем ему дороги вы?..

XXIII

Долги вы, зимние ноченьки,
Скучно без милого спать,
Лишь бы не плакали оченьки,
Стану полотна я ткать.

Много натку я полотен,
Тонких добротных новин,
Вырастет крепок и плотен,
Вырастет ласковый сын.

Будет по нашему месту
Он хоть куда женихом,
Высватать парню невесту
Сватов надежных пошлем...

Кудри сама расчесала я Грише,
Кровь с молоком наш сынок-первенец,
Кровь с молоком и невеста... Иди же!
Благослови молодых под венец!..

Этого дня мы как праздника ждали,
Помнишь, как начал Гришуха ходить,
Целую ноченьку мы толковали,
Как его будем женить,
Стали на свадьбу копить понемногу...
Вот — дождались, слава богу!

Чу, бубенцы говорят!
Поезд вернулся назад,
Выди навстречу проворно —
Пава-невеста, соколик-жених! —
Сыпь на них хлебные зерна,
Хмелем осыпь молодых!..[1]

XXIV

Стадо у лесу у темного бродит,
Лыки в лесу пастушонко дерет,
Из лесу серый волчище выходит.
Чью он овцу унесет?

---

[1] Хмелем и хлебным зерном осыпают молодых в знак будущего богатства.

Черная туча, густая-густая,
Прямо над нашей деревней висит,
Прыснет из тучи стрела громовая,
В чей она дом сноровит?

Вести недобрые ходят в народе,
Парням недолго гулять на свободе,
Скоро — рекрутский набор!

Наш-то молодчик в семье одиночка,
Всех у нас деток — Гришуха да дочка,
Да голова у нас вор —
Скажет: мирской приговор!

Сгибнет ни за́ что, ни про́ что детина,
Встань, заступись за родимого сына!

Нет! не заступишься ты!..
Белые руки твои опустились,
Ясные очи навеки закрылись...
Горькие мы сироты!..

XXV

Я ль не молила царицу небесную?
Я ли ленива была?
Ночью одна по икону чудесную
Я не сробела — пошла.

Ветер шумит, наметает сугробы,
Месяца нет — хоть бы луч!
На́ небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч...

Я ли о нем не старалась?
Я ли жалела чего?
Я ему молвить боялась,
Как я любила его!

Звездочки будут у ночи,
Будет ли нам-то светлей?..

Заяц спрыгнул из-под кочи.
Заинька, стой! не посмей
Перебежать мне дорогу!

В лес укатил, слава богу...
К полночи стало страшней,—

Слышу, нечистая сила
Залотошила, завыла,
Заголосила в лесу.

Что мне до силы нечистой?
Чур меня! Деве пречистой
Я приношенье несу!

Слышу я конское ржанье,
Слышу волков завыванье,
Слышу погоню за мной,—
Зверь на меня не кидайся!
Лих человек не касайся,
Дорог наш грош трудовой!

Лето он жил работаючи,
Зиму не видел детей,
Ночи о нем помышляючи,
Я не смыкала очей.

Едет он, зябнет... а я-то, печальная,
Из волокнистого льну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тяну.

Веретено мое прыгает, вертится,
В пол ударяется,
Проклушка пеш идет, в рытвине крестится.
К возу на горочке сам припрягается.

Лето за летом, зима за зимой,
Этак-то мы раздобылись казной!

Милостив буди к крестьянину бедному,
Господи! всё отдаем,
Что по копейке, по грошику медному
Мы сколотили трудом!..

XXVI

Вся ты, тропина лесная!
Кончился лес.
К утру звезда золотая
С божьих небес
Вдруг сорвалась — и упала,
Дунул господь на нее,
Дрогнуло сердце мое:
Думала я, вспоминала —
Что было в мыслях тогда,
Как покатилась звезда?
Вспомнила! ноженьки стали,
Силюсь идти, а нейду!
Думала я, что едва ли
Прокла в живых я найду...

Нет! не попустит царица небесная!
Даст исцеленье икона чудесная!

Я осенилась крестом
И побежала бегом...

Сила-то в нем богатырская,
Милостив бог, не умрет...
Вот и стена монастырская!
Тень уж моя головой достает
До монастырских ворот.

Я поклонилася земным поклоном,
Стала на ноженьки, глядь —
Ворон сидит на кресте золоченом,
Дрогнуло сердце опять!

XXVII

Долго меня продержали —
Схимницу сестры в тот день погребали.

Утреня шла,
Тихо по церкви ходили монашины,
В черные рясы наряжены,
Только покойница в белом была:
Спит — молодая, спокойная,
Знает, что будет в раю.

Поцеловала и я, недостойная,
Белую ручку твою!
В личико долго глядела я:
Всех ты моложе, нарядней, милей,
Ты меж сестер словно горлинка белая
Промежду сизых, простых голубей.

В ручках чернеются четки,
Писаный венчик на лбу,
Черный покров на гробу —
Этак-то ангелы кротки!

Молви, касатка моя,
Богу святыми устами,
Чтоб не осталася я
Горькой вдовой с сиротами!

Гроб на руках до могилы снесли,
С пеньем и плачем ее погребли.

XXVIII

Двинулась с миром икона святая.
Сестры запели, ее провожая,
Все приложилися к ней.

Много владычице было почету:
Старый и малый бросали работу,
Из деревень шли за ней.

К ней выносили больных и убогих...
Знаю, владычица! знаю: у многих
Ты осушила слезу...

Только ты милости к нам не явила!
. . . . . .
. . . . . .
Господи! сколько я дров нарубила!
Не увезёшь на возу...»

XXIX

Окончив привычное дело,
На дровни поклала дрова,

За вожжи взялась и хотела
Пуститься в дорогу вдова.

Да вновь пораздумалась, стоя,
Топор машинально взяла
И тихо, прерывисто воя,
К высокой сосне подошла.

Едва ее ноги держали,
Душа истомилась тоской,
Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!

Стоит под сосной чуть живая,
Без думы, без стона, без слез.
В лесу тишина гробовая —
День светел, крепчает мороз.

XXX

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,—
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

Дорога везде чародею,
Чу! ближе подходит седой.
И вдруг очутился над нею,
Над самой ее головой!

Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:

XXXI

«Вглядись, молодица, смелее,
Каков воевода Мороз!
Навряд тебе парня сильнее
И краше видать привелось?

Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-окияны —
Построю дворцы изо льда.

Задумаю — реки большие
Надолго упрячу под гнёт,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.

Где быстрые, шумные воды
Недавно свободно текли,—
Сегодня прошли пешеходы,
Обозы с товаром прошли.

Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.

На горе недоброму вору,
На страх седоку и коню,
Люблю я в вечернюю пору
Затеять в лесу трескотню.

Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.

Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам — хоть руби топором!

Богат я, казны не считаю,
А всё не скудеет добро;
Я царство мое убираю
В алмазы, жемчу́г, серебро.

Войди в мое царство со мною
И будь ты царицею в нем!
Поцарствуем славно зимою,
А летом глубоко уснем.

Войди! приголублю, согрею,
Дворец отведу голубой...»
И стал воевода над нею
Махать ледяной булавой.

XXXII

«Тепло ли тебе, молодица?» —
С высокой сосны ей кричит.
— Тепло! — отвечает вдовица,
Сама холодеет, дрожит.

Морозко спустился пониже,
Опять помахал булавой
И шепчет ей ласковей, тише:
«Тепло ли?..» — Тепло, золотой!

Тепло — а сама коченеет.
Морозко коснулся ее:
В лицо ей дыханием веет
И иглы колючие сеет
С седой бороды на нее.

И вот перед ней опустился!
«Тепло ли?» — промолвил опять,
И в Проклушку вдруг обратился
И стал он ее целовать.

В уста ее, в очи и в плечи
Седой чародей целовал
И те же ей сладкие речи,
Что милый о свадьбе, шептал.

И так-то ли любо ей было
Внимать его сладким речам,

Что Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам,

Улыбка у горькой вдовицы
Играет на бледных губах,
Пушисты и белы ресницы,
Морозные иглы в бровях...

XXXIII

В сверкающий иней одета,
Стоит, холодеет она,
И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена,

Но сжата,— полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.

Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковкой в руке.

Телега, скрипя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.

— Бог помочь! А где же Гришуха?..—
Отец мимоходом сказал.
«В горохах»,— сказала старуха.
— Гришуха! — отец закричал,

На небо взглянул.— Чай, не рано?
Испить бы...— Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.

Гришуха меж тем отозвался:
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.

— Бежит!.. у!.. бежит, постреленок,
Горит под ногами трава! —
Гришуха черен, как галчонок,
Бела лишь одна голова.

Крича, подбегает вприсядку
(На шее горох хомутом).
Попотчевал баушку, матку,
Сестренку — вертится вьюном!

От матери молодцу ласка,
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и савраска:
Он шею тянул да тянул,

Добрался,— оскаливши зубы,
Горох аппетитно жует,
И в мягкие добрые губы
Гришухино ухо берет...

XXXIV

Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, с собой! —
Спрыгну́ла с мешка — и упала,
Отец ее поднял. «Не вой!

Убилась — не важное дело!..
Девчонок не надобно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!

Смотри же!..» Жена застыдилась:
— Довольно с тебя одного!
(А знала, под сердцем уж билось
Дитя)... «Ну! Машук, ничего!»

И Проклушка, став на телегу,
Машутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.

Воробушков стая слетела
С снопов, над телегой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,

Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей...

Чу, песня! знакомые звуки!
Хорош голосок у певца...
Последние признаки муки
У Дарьи исчезли с лица,

Душой улетая за песней,
Она отдалась ей вполне...
Нет в мире той песни прелестней,
Которую слышим во сне!

О чем она — бог ее знает!
Я слов уловить не умел,
Но сердце она утоляет,
В ней дольнего счастья предел.

В ней кроткая ласка участья,
Обеты любви без конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица.

XXXV

Какой бы ценой ни досталось
Забвенье крестьянке моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалеть мы не будем о ней.

Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес,

Нигде так глубоко и вольно
Не дышит усталая грудь,
И ежели жить нам довольно,
Нам слаще нигде не уснуть!

XXXVI

Ни звука! Душа умирает
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, как покоряет
Ее эта мертвая тишь.

Ни звука! И видишь ты синий
Свод неба, да солнце, да лес,
В серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудес,

Влекущий неведомой тайной,
Глубоко-бесстрастный... Но вот
Послышался шорох случайный —
Вершинами белка идет.

Ком снегу она уронила
На Дарью, прыгнув по сосне.
А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне...

Русские женщины

КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ

Поэма в двух частях
(1826 год)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Покоен, прочен и легóк
На диво слаженный возок;

Сам граф-отец не раз, не два
Его попробовал сперва.

Шесть лошадей в него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли.

Сам граф подушки поправлял,
Медвежью полость в ноги стлал,

Творя молитву, образок
Повесил в правый уголок

И — зарыдал... Княгиня-дочь...
Куда-то едет в эту ночь...

I

«Да, рвем мы сердце пополам
Друг другу, но, родной,
Скажи, что ж больше делать нам?
Поможешь ли тоской!

Один, кто мог бы нам помочь
Теперь... Прости, прости!
Благослови родную дочь
И с миром отпусти!

II

Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы, надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но нелегко
С тобой расстаться мне!

III

О, видит бог!.. Но долг другой,
И выше и трудней,
Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!

IV

Прости и ты, мой край родной,
Прости, несчастный край!
И ты... о город роковой,
Гнездо царей... прощай!
Кто видел Лондон и Париж,
Венецию и Рим,
Того ты блеском не прельстишь,
Но был ты мной любим.

V

Счастливо молодость моя
Прошла в стенах твоих,
Твои балы любила я,

Катанья с гор крутых,
Любила плеск Невы твоей
В вечерней тишине,
И эту площадь перед ней
С героем на коне...

VI

Мне не забыть... Потом, потом
Расскажут нашу быль...
А ты будь проклят, мрачный дом,
Где первую кадриль
Я танцевала... Та рука
Досель мне руку жжет...
Ликуй... . . . . .
. . . . . .»

* * *

Покоен, прочен и легóк,
Катится городом возок.

Вся в черном, мертвенно-бледна,
Княгиня едет в нем одна,

А секретарь отца (в крестах,
Чтоб наводить дорогой страх)

С прислугой скачет впереди...
Свища бичом, крича: «Пади!»

Ямщик столицу миновал...
Далек княгине путь лежал,

Была суровая зима...
На каждой станции сама

Выходит путница: «Скорей
Перепрягайте лошадей!»

И сыплет щедрою рукой
Червонцы челяди ямской.

Но труден путь! В двадцатый день
Едва приехали в Тюмень,

Еще скакали десять дней.
«Увидим скоро Енисей,—

Сказал княгине секретарь.—
Не ездит так и государь!..»

* * *

Вперед! Душа полна тоски,
Дорога всё трудней,
Но грезы мирны и легки —
Приснилась юность ей.
Богатство, блеск! Высокий дом
На берегу Невы,
Обита лестница ковром,
Перед подъездом — львы,
Изящно убран пышный зал,
Огнями весь горит.
О, радость! нынче детский бал,
Чу! музыка гремит!
Ей ленты алые вплели
В две русые косы,
Цветы, наряды принесли
Невиданной красы.
Пришел папаша — сед, румян,—
К гостям ее зовет:
«Ну, Катя! чудо сарафан!
Он всех с ума сведет!»
Ей любо, любо без границ.
Кружится перед ней
Цветник из милый детских лиц,
Головок и кудрей.
Нарядны дети, как цветы,
Нарядней старики:
Плюмажи, ленты и кресты,
Со звоном каблуки...
Танцует, прыгает дитя,
Не мысля ни о чем,
И детство резвое шутя
Проносится... Потом
Другое время, бал другой
Ей снится: перед ней

Стоит красавец молодой,
Он что-то шепчет ей...
Потом опять балы, балы...
Она — хозяйка их,
У них сановники, послы,
Весь модный свет у них...

«О милый! что ты так угрюм?
Что на́ сердце твоем?»
— Дитя! Мне скучен светский шум,
Уйдем скорей, уйдем!

И вот уехала она
С избранником своим.
Пред нею чудная страна,
Пред нею — вечный Рим...
Ах! чем бы жизнь нам помянуть —
Не будь у нас тех дней,
Когда, урвавшись как-нибудь
Из родины своей
И скучный север миновав,
Примчимся мы на юг.
До нас нужды, над нами прав
Ни у кого... Сам-друг
Всегда лишь с тем, кто дорог нам,
Живем мы, как хотим;
Сегодня смотрим древний храм,
А завтра посетим
Дворец, развалины, музей...
Как весело притом
Делиться мыслию своей
С любимым существом!

Под обаяньем красоты,
Во власти строгих дум,
По Ватикану бродишь ты
Подавлен и угрюм;
Отжившим миром окружен,
Не помнишь о живом.
Зато как странно поражен
Ты в первый миг потом,
Когда, покинув Ватикан,
Вернешься в мир живой,
Где ржет осел, шумит фонтан,
Поет мастеровой;
Торговля бойкая кипит,

Кричат на все лады:
— Кораллов! раковин! улит!
Мороженой воды! —
Танцует, ест, дерется голь,
Довольная собой,
И косу черную, как смоль,
Римлянке молодой
Старуха чешет... Жарок день,
Несносен черни гам,
Где нам найти покой и тень?
Заходим в первый храм.

Не слышен здесь житейский шум,
Прохлада, тишина
И полусумрак... Строгих дум
Опять душа полна.
Святых и ангелов толпой
Вверху украшен храм,
Порфир и яшма под ногой
И мрамор по стенам...

Как сладко слушать моря шум!
Сидишь по часу нем,
Неугнетенный, бодрый ум
Работает меж тем...
До солнца горною тропой
Взберешься высоко—
Какое утро пред тобой!
Как дышится легко!
Но жарче, жарче южный день,
На зелени долин
Росинки нет... Уйдем под тень
Зонтообразных пинн...

Княгине памятны те дни
Прогулок и бесед,
В душе оставили они
Неизгладимый след.
Но не вернуть ей дней былых,
Тех дней надежд и грёз,
Как не вернуть потом о них
Пролитых ею слез!..

Исчезли радужные сны,
Пред нею ряд картин
Забытой богом стороны:

Суровый господин
И жалкий труженик-мужик
С понурой головой...
Как первый властвовать привык,
Как рабствует второй!
Ей снятся группы бедняков
На нивах, на лугах,
Ей снятся стоны бурлаков
На волжских берегах...
Наивным ужасом полна,
Она не ест, не спит,
Засыпать спутника она
Вопросами спешит:
«Скажи, ужель весь край таков?
Довольства тени нет?..»
— Ты в царстве нищих и рабов! —
Короткий был ответ...

Она проснулась — в руку сон!
Чу, слышен впереди
Печальный звон — кандальный звон!
— Эй, кучер, погоди! —
То ссыльных партия идет,
Больней заныла грудь,
Княгиня деньги им дает,—
«Спасибо, добрый путь!»
Ей долго, долго лица их
Мерещатся потом,
И не прогнать ей дум своих,
Не позабыться сном!
«И та здесь партия была...
Да... нет других путей...
Но след их вьюга замела.
Скорей, ямщик, скорей!..»

* * *

Мороз сильней, пустынней путь,
Чем дале на восток;
На триста верст какой-нибудь
Убогий городок,
Зато как радостно глядишь
На темный ряд домов,
Но где же люди? Всюду тишь,
Не слышно даже псов.

Под кровлю всех загнал мороз,
Чаёк от скуки пьют.
Прошел солдат, проехал воз,
Куранты где-то бьют.
Замерзли окна... огонек
В одном чуть-чуть мелькнул...
Собор... на выезде острог...
Ямщик кнутом махнул:
«Эй, вы!» — и нет уж городка,
Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
Налево — темный лес...

Кипит больной, усталый ум,
Бессонный до утра,
Тоскует сердце. Смена дум
Мучительно быстра;
Княгиня видит то друзей,
То мрачную тюрьму,
И тут же думается ей —
Бог знает почему,—
Что небо звездное — песком
Посыпанный листок,
А месяц — красным сургучом
Оттиснутый кружок...

Пропали горы; началась
Равнина без конца.
Еще мертвей! Не встретит глаз
Живого деревца.
«А вот и тундра!» — говорит
Ямщик, бурят степной.
Княгиня пристально глядит
И думает с тоской:
«Сюда-то жадный человек
За золотом идет!
Оно лежит по руслам рек,
Оно на дне болот.
Трудна добыча на реке,
Болота стра́шны в зной,
Но хуже, хуже в руднике,
Глубоко под землей!..
Там гробовая тишина,
Там безрассветный мрак...
Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?..»

* * *

Чредой спустилась ночи мгла,
Опять взошла луна.
Княгиня долго не спала,
Тяжелых дум полна...
Уснула... Башня снится ей...
Она вверху стоит;
Знакомый город перед ней
Волнуется, шумит;
К Сенатской площади бегут
Несметные толпы:
Чиновный люд, торговый люд,
Разносчики, попы;
Пестреют шляпки, бархат, шелк,
Тулупы, армяки...
Стоял уж там Московский полк,
Пришли еще полки,
Побольше тысячи солдат
Сошлось. Они «ура!» кричат,
Они чего-то ждут...

Народ галдел, народ зевал,
Едва ли сотый понимал,
Что делается тут...
Зато посмеивался в ус,
Лукаво щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафёр...*

Приспели новые полки:
«Сдавайтесь!» — тем кричат.
Ответ им — пули и штыки,
Сдаваться не хотят.
Какой-то бравый генерал*,
Влетев в каре, грозиться стал —
С коня снесли его.
Другой приблизился к рядам:
«Прощенье царь дарует вам!»
Убили и того.

Явился сам митрополит
С хоругвями, с крестом:
«Покайтесь, братия! — гласит,—
Падите пред царем!»
Солдаты слушали, крестясь,

Но дружен был ответ:
«Уйди, старик! молись за нас!
Тебе здесь дела нет...»

Тогда-то пушки навели,
Сам царь скомандовал: «Па-ли!..»
...О, милый! Жив ли ты?

Княгиня, память потеряв,
Вперед рванулась и стремглав
Упала с высоты.

Пред нею длинный и сырой
Подземный коридор,
У каждой двери часовой,
Все двери на запор.
Прибою волн подобный плеск
Снаружи слышен ей;
Внутри — бряцанье, ружей блеск
При свете фонарей;
Да отдаленный шум шагов
И долгий гул от них,
Да перекрестный бой часов,
Да крики часовых...

С ключами старый и седой,
Усатый инвалид —
«Иди, печальница, за мной! —
Ей тихо говорит.—
Я проведу тебя к нему,
Он жив и невредим...»
Она доверилась ему,
Она пошла за ним...

Шли долго, долго... Наконец
Дверь визгнула,— и вдруг
Пред нею он... живой мертвец...
Пред нею — бедный друг!
Упав на грудь ему, она
Торопится спросить:
«Скажи, что делать? Я сильна,
Могу я страшно мстить!
Достанет мужества в груди,
Готовность горяча,
Просить ли надо?..» — Не ходи,
Не тронешь палача!

«О милый! что сказал ты? Слов
Не слышу я твоих.
То этот страшный бой часов,
То крики часовых!
Зачем тут третий между нас?..»
— Наивен твой вопрос.

«Пора! пробил урочный час!» —
Тот «третий» произнес...

* * *

Княгиня вздрогнула,— глядит
Испуганно кругом,
Ей ужас сердце леденит:
Не всё тут было сном!..

Луна плыла среди небес
Без блеска, без лучей,
Налево был угрюмый лес,
Направо — Енисей.
Темно! Навстречу ни души,
Ямщик на козлах спал,
Голодный волк в лесной глуши
Пронзительно стонал,
Да ветер бился и ревел,
Играя на реке,
Да инородец где-то пел
На странном языке,
Суровым пафосом звучал
Неведомый язык,
И пуще сердце надрывал,
Как в бурю чайки крик...

Княгине холодно; в ту ночь
Мороз был нестерпим,
Упали силы; ей невмочь
Бороться больше с ним.
Рассудком ужас овладел,
Что не доехать ей.
Ямщик давно уже не пел,
Не понукал коней,
Передней тройки не слыхать,
«Эй! жив ли ты, ямщик?

Что ты замолк? не вздумай спать!»
— Не бойтесь, я привык...

Летят... Из мерзлого окна
Не видно ничего,
Опасный гонит сон она,
Но не прогнать его!
Он волю женщины больной
Мгновенно покорил
И, как волшебник, в край иной
Ее переселил.
Тот край — он ей уже знаком,—
Как прежде неги полн,
И теплым солнечным лучом
И сладким пеньем волн
Ее приветствовал, как друг...
Куда ни поглядит:
«Да, это юг! да, это юг!» —
Все взору говорит...

Ни тучки в небе голубом,
Долина вся в цветах,
Всё солнцем залито,— на всем,
Внизу и на горах,
Печать могучей красоты,
Ликует всё вокруг;
Ей солнце, море и цветы
Поют: «Да — это юг!»

В долине между цепью гор
И морем голубым
Она летит во весь опор
С избранником своим.
Дорога их — роскошный сад,
С деревьев льется аромат,
На каждом дереве горит
Румяный, пышный плод;
Сквозь ветви темные сквозит
Лазурь небес и вод;
По морю реют корабли,
Мелькают паруса,
А горы, видные вдали,
Уходят в небеса.
Как чудны краски их! За час
Рубины рдели там,
Теперь заискрился топаз

По белым их хребтам...
Вот вьючный мул идет шажком,
В бубенчиках, в цветах,
За мулом — женщина с венком,
С корзинкою в руках.
Она кричит им: «Добрый путь!»
И, засмеявшись вдруг,
Бросает быстро ей на грудь
Цветок... да! это юг!
Страна античных, смуглых дев
И вечных роз страна...
Чу! мелодический напев,
Чу! музыка слышна!..

«Да, это юг! да, это юг!
(Поет ей добрый сон.)
Опять с тобой любимый друг,
Опять свободен он!..»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Уже два месяца почти
Бессменно день и ночь в пути

На диво слаженный возок,
А всё конец пути далек!

Княгинин спутник так устал,
Что под Иркутском захворал,

Два дня прождав его, она
Помчалась далее одна.

Ее в Иркутске встретил сам
Начальник городской;
Как мощи сух, как палка прям,
Высокий и седой.
Сползла с плеча его доха,
Под ней — кресты, мундир,
На шляпе — перья петуха.
Почтенный бригадир,
Ругнув за что-то ямщика,
Поспешно подскочил
И дверцы прочного возка
Княгине отворил...

Княгиня

(входит в станционный дом)

В Нерчинск! Закладывать скорей!

Губернатор

Пришел я — встретить вас.

Княгиня

Велите ж дать мне лошадей!

Губернатор

Прошу помедлить час.
Дорога наша так дурна,
Вам нужно отдохнуть...

Княгиня

Благодарю вас! Я сильна...
Уж недалек мой путь...

Губернатор

Всё ж будет верст до восьмисот,
А главная беда:
Дорога хуже тут пойдет,
Опасная езда!..
Два слова нужно вам сказать
По службе,— и притом
Имел я счастье графа знать,
Семь лет служил при нем.
Отец ваш редкий человек
По сердцу, по уму,
Запечатлев в душе навек
Признательность к нему,
К услугам дочери его
Готов я... весь я ваш...

Княгиня

Но мне не нужно ничего!

(Отворяя дверь в сени.)

Готов ли экипаж?

Губернатор

Покуда я не прикажу,
Его не подадут...

Княгиня

Так прикажите ж! Я прошу...

Губернатор

Но есть зацепка тут:
С последней почтой прислана
Бумага...

Княгиня

Что же в ней:
Уж не вернуться ль я должна?

Губернатор

Да-с, было бы верней.

Княгиня

Да кто ж прислал вам и о чем
Бумагу? что же — там
Шутили, что ли, над отцом?
Он всё устроил сам!

Губернатор

Нет... не решусь я утверждать...
Но путь еще далек...

Княгиня

Так что же даром и болтать!
Готов ли мой возок?

Губернатор

Нет! Я еще не приказал...
Княгиня! здесь я — царь!
Садитесь! Я уже сказал,
Что знал я графа встарь,
А граф... хоть он вас отпустил,
По доброте своей,
Но ваш отъезд его убил...
Вернитесь поскорей!

Княгиня

Нет! что однажды решено —
Исполню до конца!
Мне вам рассказывать смешно,
Как я люблю отца,
Как любит он. Но долг другой,
И выше и святей,
Меня зовет. Мучитель мой!
Давайте лошадей!

Губернатор

Позвольте-с. Я согласен сам,
Что дорог каждый час,
Но хорошо ль известно вам,
Что ожидает вас?
Бесплодна наша сторона,
А та — еще бедней,
Короче нашей там весна,
Зима — еще длинней.
Да-с, восемь месяцев зима
Там — знаете ли вы?
Там люди редки без клейма*,
И те душой черствы;
На воле рыскают кругом
Там только варнаки*;
Ужасен там тюремный дом,
Глубоки рудники.
Вам не придется с мужем быть
Минуты глаз на глаз:
В казарме общей надо жить,
А пища: хлеб да квас.
Пять тысяч каторжников там,
Озлоблены судьбой,
Заводят драки по ночам,
Убийства и разбой;
Короток им и страшен суд,
Грознее нет суда!
И вы, княгиня, вечно тут
Свидетельницей... Да!
Поверьте, вас не пощадят,
Не сжалится никто!
Пускай ваш муж — он виноват...
А вам терпеть... за что?

Княгиня

Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя
Не радостней его!

Губернатор

Но вы не будете там жить:
Тот климат вас убьет!
Я вас обязан убедить,
Не ездите вперед!
Ах! вам ли жить в стране такой,

Где воздух у людей
Не паром — пылью ледяной
Выходит из ноздрей?
Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары —
Непросыхающих болот
Зловредные пары?
Да... страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной...

Княгиня

Живут же люди в том краю,
Привыкну я шутя...

Губернатор

Живут? Но молодость свою
Припомните... дитя!
Здесь мать — водицей снеговой,
Родив, омоет дочь,
Малютку грозной бури вой
Баюкает всю ночь,
А будит дикий зверь, рыча
Близ хижины лесной,
Да пу́рга, бешено стуча
В окно, как домовой.
С глухих лесов, с пустынных рек
Сбирая дань свою,
Окреп туземный человек
С природою в бою,
А вы?..

Княгиня

Пусть смерть мне суждена —
Мне нечего жалеть!..
Я еду! еду! я должна
Близ мужа умереть.

Губернатор

Да, вы умрете, но сперва
Измучите того,
Чья безвозвратно голова
Погибла. Для него
Прошу: не ездите туда!
Сноснее одному,
Устав от тяжкого труда,

Прийти в свою тюрьму,
Прийти — и лечь на голый пол
И с черствым сухарем
Заснуть... а добрый сон пришел —
И узник стал царем!
Летя мечтой к родным, к друзьям,
Увидя вас самих,
Проснется он к дневным трудам
И бодр, и сердцем тих.
А с вами?.. с вами не знавать
Ему счастливых грез,
В себе он будет сознавать
Причину ваших слез.

Княгиня

Ах!.. Эти речи поберечь
Вам лучше для других.
Всем вашим пыткам не извлечь
Слезы из глаз моих!
Покинув родину, друзей,
Любимого отца,
Приняв обет в душе моей
Исполнить до конца
Мой долг,— я слез не принесу
В проклятую тюрьму —
Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему!
Презренье к нашим палачам,
Сознанье правоты
Опорой верной будет нам.

Губернатор

Прекрасные мечты!
Но их достанет на пять дней.
Не век же вам грустить?
Поверьте совести моей,
Захочется вам жить.
Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор,
Нужда и вечный гнет,
А там балы, блестящий двор,
Свобода и почет.
Как знать? Быть может, бог судил...
Понравится другой,
Закон вас права не лишил...

Княгиня

Молчите!.. Боже мой!..

Губернатор

Да, откровенно говорю,
Вернитесь лучше в свет.

Княгиня

Благодарю, благодарю
За добрый ваш совет!
И прежде был там рай земной,
А нынче этот рай
Своей заботливой рукой
Расчистил Николай.
Там люди заживо гниют —
Ходячие гробы,
Мужчины — сборище Иуд,
А женщины — рабы.
Что там найду я? Ханжество,
Поруганную честь,
Нахальной дряни торжество
И подленькую месть.
Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят,
Где были дубы до небес,
А нынче пни торчат!
Вернуться? жить среди клевет,
Пустых и темных дел?..
Там места нет, там друга нет
Тому, кто раз прозрел!
Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.
Забыть того, кто нас любил,
Вернуться — всё простя?..

Губернатор

Но он же вас не пощадил?
Подумайте, дитя:
О ком тоска? к кому любовь?

Княгиня

Молчите, генерал!

Губернатор

Когда б не доблестная кровь
Текла в вас — я б молчал.
Но если рветесь вы вперед,

Не веря ничему,
Быть может, гордость вас спасет...
Достались вы ему
С богатством, с именем, с умом,
С доверчивой душой,
А он, не думая о том,
Что́ станется с женой,
Увлекся призраком пустым,
И — вот его судьба!..
И что ж?.. бежите вы за ним,
Как жалкая раба!

Княгиня

Нет! я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей верна!
О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

* * *

Княгиня кончила... Молчал
Упрямый старичок.
— Ну что ж? Велите, генерал,
Готовить мой возок? —
Не отвечая на вопрос,
Смотрел он долго в пол,
Потом в раздумье произнес:
«До завтра»,— и ушел...

* * *

Назавтра тот же разговор.
Просил и убеждал,
Но получил опять отпор
Почтенный генерал.
Все убежденья истощив
И выбившись из сил,

Он долго, важен, молчалив,
По комнате ходил
И наконец сказал: «Быть так!
Вас не спасешь, увы!..
Но знайте: сделав этот шаг,
Всего лишитесь вы!..»

— Да что же мне еще терять?

«За мужем поскакав,
Вы отреченье подписать
Должны от ваших прав!»

Старик эффектно замолчал,
От этих страшных слов
Он, очевидно, пользы ждал.
Но был ответ таков:
«У вас седая голова,
А вы еще дитя!
Вам наши кажутся права
Правами — не шутя.
Нет! ими я не дорожу,
Возьмите их скорей!
Где отреченье? Подпишу!
И живо — лошадей!..»

Губернатор

Бумагу эту подписать!
Да что вы?.. Боже мой!
Ведь это значит нищей стать
И женщиной простой!
Всему вы скажете прости,
Что вам дано отцом,
Что по наследству перейти
Должно бы к вам потом!
Права имущества, права
Дворянства потерять!
Нет, вы подумайте сперва,—
Зайду я к вам опять!..

* * *

Ушел и не был целый день...
Когда спустилась тьма,
Княгиня, слабая как тень,

Пошла к нему сама.
Ее не принял генерал:
Хворает тяжело...
Пять дней, покуда он хворал,
Мучительных прошло,
А на шестой пришел он сам
И круто молвил ей:
«Я отпустить не вправе вам,
Княгиня, лошадей!
Вас по этапу поведут
С конвоем...»

Княгиня

Боже мой!
Но так ведь месяцы пройдут
В дороге?..

Губернатор

Да, весной
В Нерчинск придете, если вас
Дорога не убьет.
Навряд версты четыре в час
Закованный идет;
Посередине дня — привал,
С закатом дня — ночлег,
А ураган в степи застал —
Закапывайся в снег!
Да-с, промедленьям нет числа,
Иной упал, ослаб...

Княгиня

Не хорошо я поняла —
Что́ значит ваш этап?

Губернатор

Под караулом казаков
С оружием в руках,
Этапом водим мы воров
И каторжных в цепях,
Они дорогою шалят,
Того гляди сбегут,
Так их канатом прикрутят
Друг к другу — и ведут.
Трудненек путь! Да вот-с каков:
Отправится пятьсот,
А до нерчинских рудников
И трети не дойдет!

Они как мухи мрут в пути,
Особенно зимой...
И вам, княгиня, так идти?..
Вернитесь-ка домой!

Княгиня

О нет! я этого ждала...
Но вы, но вы... злодей!..
Неделя целая прошла...
Нет сердца у людей!
Зачем бы разом не сказать?..
Уж шла бы я давно...
Велите ж партию сбирать —
Иду! мне всё равно!..

* * *

«Нет! вы поедете!..— вскричал
Нежданно старый генерал,
Закрыв рукой глаза.—
Как я вас мучил... Боже мой!..
(Из-под руки на ус седой
Скатилася слеза.)
Простите! да, я мучил вас,
Но мучился и сам,
Но строгий я имел приказ
Преграды ставить вам!
И разве их не ставил я?
Я делал всё, что мог,
Перед царем душа моя
Чиста, свидетель бог!
Острожным жестким сухарем
И жизнью взаперти,
Позором, ужасом, трудом
Этапного пути
Я вас старался напугать.
Не испугались вы!
И хоть бы мне не удержать
На плéчах головы,
Я не могу, я не хочу
Тиранить больше вас...
Я вас в три дня туда домчу...

(Отворяя дверь, кричит.)

Эй! запрягать сейчас!..»

КНЯГИНЯ М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

Бабушкины записки
(1826—27)

ГЛАВА I

Проказники внуки! Сегодня они
С прогулки опять воротились:
«Нам, бабушка, скучно! В ненастные дни,
Когда мы в портретной садились
И ты начинала рассказывать нам,
Так весело было!.. Родная,
Еще что-нибудь расскажи!..» По углам
Уселись. Но их прогнала я:
«Успеете слушать; рассказов моих
Достанет на целые томы,
Но вы еще глупы: узнаете их,
Как будете с жизнью знакомы!
Я всё рассказала доступное вам
По вашим ребяческим летам;
Идите гулять по полям, по лугам!
Идите же... пользуйтесь летом!»

И вот, не желая остаться в долгу
У внуков, пишу я записки;
Для них я портреты людей берегу,
Которые были мне близки.
Я им завещаю альбом — и цветы
С могилы сестры — Муравьевой*,
Коллекцию бабочек, флору Читы
И виды страны той суровой;
Я им завещаю железный браслет...
Пускай берегут его свято:
В подарок жене его выковал дед
Из собственной цепи когда-то...

Роди́лась я, милые внуки мои,
Под Киевом, в тихой деревне;
Любимая дочь я была у семьи.
Наш род был богатый и древний,
Но пуще отец мой возвысил его:

Заманчивей славы героя
Дороже отчизны — не знал ничего
Боец, не любивший покоя.
Творя чудеса, девятнадцати лет
Он был полковым командиром,
Он мужеством до́был и лавры побед
И почести, чтимые миром.
Вои́нская слава его началась
Персидским и шведским походом,
Но память о нем нераздельно слилась
С великим двенадцатым годом:
Тут жизнь его долгим сраженьем была.
Походы мы с ним разделяли
И в месяц иной не запомним числа,
Когда б за него не дрожали.
«Защитник Смоленска» всегда впереди
Опасного дела являлся...
Под Лейпцигом раненный, с пулей в груди,
Он вновь через сутки сражался,
Так летопись жизни его говорит:
В ряду полководцев России,
Покуда отечество наше стоит,
Он памятен будет! Витии
Отца моего осыпали хвалой,
Бессмертным его называя;
Жуковский почтил его громкой строфой,
Российских вождей прославляя:
Под Да́шковой личного мужества жар
И жертву отца-патриота
Поэт воспевает. Воинственный дар
Являя в сраженьях без счета,
Не силой одною врагов побеждал
Ваш прадед в борьбе исполинской:
О нем говорили, что он сочетал
С отвагою гений вои́нский.

Войной озабочен, в семействе своем
Отец ни во что не мешался,
Но крут был порою; почти божеством
Он матери нашей казался,
И сам он глубоко привязан был к ней.
Отца мы любили — в герое.
Окончив походы, в усадьбе своей
Он медленно гас на покое.
Мы жили в большом подгоро́дном дому.
Детей поручив англичанке,

Старик отдыхал. Я училась всему,
Что нужно богатой дворянке.
А после уроков бежала я в сад
И пела весь день беззаботно,
Мой голос был очень хорош, говорят,
Отец его слушал охотно;
Записки свои приводил он к концу,
Читал он газеты, журналы,
Пиры задавал; наезжали к отцу
Седые, как он, генералы,
И шли бесконечные споры тогда;
Меж тем молодежь танцевала.
Сказать ли вам правду? была я всегда
В то время царицею бала:
Очей моих томных огонь голубой,
И черная с синим отливом
Большая коса, и румянец густой
На личике смуглом, красивом,
И рост мой высокий, и гибкий мой стан,
И гордая поступь — пленяли
Тогдашних красавцев: гусаров, улан,
Что́ близко с полками стояли.
Но слушала я неохотно их лесть...
Отец за меня постарался:
«Не время ли замуж? Жених уже есть,
Он славно под Лейпцигом дрался,
Его полюбил государь, наш отец,
И дал ему чин генерала.
Постарше тебя... а собой молодец,
Волконский! Его ты видала
На царском смотру... и у нас он бывал,
По парку с тобой всё шатался!»
— Да, помню! Высокий такой генерал...
«Он самый!» — Старик засмеялся...
— Отец! он так мало со мной говорил! —
Заметила я, покраснела...
«Ты будешь с ним счастлива!» — круто решил
Старик,— возражать я не смела...

Прошло две недели — и я под венцом
С Сергеем Волконским стояла,
Не много я знала его женихом,
Не много и мужем узнала,—
Так мало мы жили под кровлей одной,
Так редко друг друга видали!
По дальним селеньям, на зимний постой,

Бригаду его разбросали,
Ее объезжал беспрестанно Сергей.
А я между тем расхворалась;
В Одессе потом, по совету врачей,
Я целое лето купалась;
Зимой он приехал за мною туда,
С неделю я с ним отдохнула
При главной квартире... и снова беда!
Однажды я крепко уснула,
Вдруг слышу я голос Сергея (в ночи,
Почти на рассвете то было):
«Вставай! поскорее найди мне ключи!
Камин затопи!» Я вскочила...
Взглянула: встревожен и бледен он был.
Камин затопила я живо.
Из ящиков муж мой бумаги сносил
К камину — и жег торопливо.
Иные прочитывал бегло, спеша,
Иные бросал не читая.
И я помогала Сергею, дрожа
И глубже в огонь их толкая...
Потом он сказал: «Мы поедем сейчас»,—
Волос моих нежно касаясь.
Всё скоро уложено было у нас,
И утром, ни с кем не прощаясь,
Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня,
Сергей был угрюм, торопился,
Довез до отцовской усадьбы меня
И тотчас со мною простился.

ГЛАВА II

«Уехал!.. Что́ значила бледность его
И всё, что в ту ночь совершилось?
Зачем не сказал он жене ничего?
Недоброе что-то случилось!»
Я долго не знала покоя и сна,
Сомнения душу терзали:
«Уехал, уехал! опять я одна!..»
Родные меня утешали,
Отец торопливость его объяснял
Каким-нибудь делом случайным:
«Куда-нибудь сам император послал
Его с поручением тайным,

Не плачь! Ты походы делила со мной,
Превратности жизни военной
Ты знаешь; он скоро вернется домой!
Под сердцем залог драгоценный
Ты носишь: теперь ты беречься должна!
Всё кончится ладно, родная;
Жена муженька проводила одна,
А встретит, ребенка качая!..»

Увы! предсказанье его не сбылось!
Увидеться с бедной женою
И с первенцем-сыном отцу довелось
Не здесь — не под кровлей родною!

Как дорого стоил мне первенец мой!
Два месяца я прохворала.
Измучена телом, убита душой,
Я первую няню узнала.
Спросила о муже.— Еще не бывал!
«Писал ли?» — И писем нет даже.
«А где мой отец?» — В Петербург ускакал.
«А брат мой?» — Уехал туда же.

«Мой муж не приехал, нет даже письма,
И брат и отец ускакали,—
Сказала я матушке.— Еду сама!
Довольно, довольно мы ждали!»
И как ни старалась упрашивать дочь
Старушка, я твердо решилась;
Припомнила я ту последнюю ночь
И всё, что тогда совершилось,
И ясно сознала, что с мужем моим
Недоброе что-то творится...

Стояла весна, по разливам речным
Пришлось черепахой тащиться.

Доехала я чуть живая опять.
«Где муж мой?» — отца я спросила.
— В Молдавию муж твой ушел воевать.
«Не пишет он?..» Глянул уныло
И вышел отец... Недоволен был брат,
Прислуга молчала, вздыхая.
Заметила я, что со мною хитрят,
Заботливо что-то скрывая;
Ссылаясь на то, что мне нужен покой,

Ко мне никого не пускали,
Меня окружили какой-то стеной,
Мне даже газет не давали!
Я вспомнила: много у мужа родных,
Пишу — отвечать умоляю.
Проходят недели,— ни слова от них!
Я плачу, я силы теряю...

Нет чувства мучительней тайной грозы.
Я клятвой отца уверяла,
Что я не пролью ни единой слезы,—
И он и кругом всё молчало!
Любя, меня мучил мой бедный отец;
Жалея, удваивал горе...
Узнала, узнала я всё наконец!..
Прочла я в самом приговоре,
Что был заговорщиком бедный Сергей:
Стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.
В вину ему ставилось тоже,
Что он... Закружилась моя голова...
Я верить глазам не хотела...
«Ужели?..» — в уме не вязались слова:
Сергей — и бесчестное дело!

Я помню, сто раз я прочла приговор,
Вникая в слова роковые;
К отцу побежала,— с отцом разговор
Меня успокоил, родные!
С души словно камень тяжелый упал.
В одном я Сергея винила:
Зачем он жене ничего не сказал?
Подумав, и то я простила:
«Как мог он болтать? Я была молода,
Когда ж он со мной расставался,
Я сына под сердцем носила тогда:
За мать и дитя он боялся! —
Так думала я.— Пусть беда велика,
Не всё потеряла я в мире.
Сибирь так ужасна, Сибирь далека,
Но люди живут и в Сибири!..»

Всю ночь я горела, мечтая о том,
Как буду лелеять Сергея.
Под утро глубоким, крепительным сном
Уснула,— и встала бодрее.

Поправилось скоро здоровье мое,
Приятельниц я повидала,
Нашла я сестру, расспросила ее
И горького много узнала!
Несчастные люди!.. «Всё время Сергей
(Сказала сестра) содержался
В тюрьме; не видал ни родных, ни друзей...
Вчера только с ним повидался
Отец. Повидаться с ним можешь и ты:
Когда приговор прочитали,
Одели их в рубище, сняли кресты,
Но право свиданья им дали!..»

Подробностей ряд пропустила я тут...
Оставив следы роковые,
Доныне о мщенье они вопиют...
Не знайте их лучше, родные.

Я в крепость поехала к мужу с сестрой.
Пришли мы сперва к «генералу»,
Потом нас привел генерал пожилой
В обширную мрачную залу.
«Дождитесь, княгиня! мы будем сейчас!»
Раскланявшись вежливо с нами,
Он вышел. С дверей не спускала я глаз,
Минуты казались часами.
Шаги постепенно смолкали вдали,
За ними я мыслью летела.
Мне чудилось: связку ключей принесли,
И ржавая дверь заскрипела;
В угрюмой каморке с железным окном
Измученный узник томился.
«Жена к вам приехала!..» Бледный лицом,
Он весь задрожал, оживился:
— Жена!..— Коридором он быстро бежал,
Довериться слуху не смея...

«Вот он!» — громогласно сказал генерал.
И я увидала Сергея...

Недаром над ним пронеслася гроза:
Морщины на лбу появились,
Лицо было мертвенно-бледно, глаза
Не так уже ярко светились,
Но больше в них было, чем в прежние дни,
Той тихой, знакомой печали;

С минуту пытливо смотрели они
И радостью вдруг заблистали,
Казалось, он в душу мою заглянул...
Я горько, припав к его груди,
Рыдала... Он обнял меня и шепнул:
«Здесь есть посторонние люди».
Потом он сказал, что полезно ему
Узнать добродетель смиренья,
Что, впрочем, легко переносит тюрьму,
И несколько слов ободренья
Прибавил... По комнате важно шагал
Свидетель; нам было неловко...
Сергей на одежду свою показал:
«Поздравь меня, Маша, с обновкой,—
И тихо прибавил: — *пойми и прости*»,—
Глаза засверкали слезою,
Но тут соглядатай успел подойти,
Он низко поник головою.
Я громко сказала: «Да, я не ждала
Найти тебя в этой одежде,—
И тихо шепнула: — *я всё поняла.*
Люблю тебя больше, чем прежде...»
«Что делать? И в каторге буду я жить
(Покуда мне жить не наскучит)».
— Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить;
(Ведь каторга нас не разлучит?)

«Так вот ты какая!» — Сергей говорил,
Лицо его весело было...
Он вынул платок, на окно положил,
И рядом я свой положила,
Потом, расставаясь, Сергеев платок
Взяла я — мой мужу остался...
Нам после годичной разлуки часок
Свиданья короток казался,
Но что ж было делать! Наш срок миновал —
Пришлось бы другим дожидаться...
В карету меня подсадил генерал,
Счастливо желал оставаться...

Великую радость нашла я в платке:
Целуя его, увидала
Я несколько слов на одном уголке;
Вот что я, дрожа, прочитала:
«Мой друг, ты свободна. Пойми — не пеняй!
Душевно я бодр и — желаю

Жену мою видеть такой же. Прощай!
Малютке поклон посылаю...»

Была в Петербурге большая родня
У мужа; всё знать — да какая!
Я ездила к ним, волновалась три дня,
Сергея спасти умоляя.
Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь?
Я всё испытал — бесполезно!»
И правда: они уж пытались помочь,
Моля императора слезно,
Но просьбы до сердца его не дошли...
Я с мужем еще повидалась,
И время приспело: его увезли!..
Как только одна я осталась,
Я тотчас послышала в сердце моем,
Что надо и мне торопиться,
Мне душен казался родительский дом,
И стала я к мужу проситься.

Теперь расскажу вам подробно, друзья,
Мою роковую победу.
Вся дружно и грозно восстала семья,
Когда я сказала: «Я еду!»
Не знаю, как мне удалось устоять,
Чего натерпелась я... Боже!..
Была из-под Киева вызвана мать,
И братья приехали тоже:
Отец «образумить» меня приказал.
Они убеждали, просили,
Но волю мою сам господь подкреплял,
Их речи ее не сломили!
А много и горько поплакать пришлось...
Когда собрались мы к обеду,
Отец мимоходом мне бросил вопрос:
«На что ты решилась?» — Я еду! —
Отец промолчал... промолчала семья...
Я вечером горько всплакнула,
Качая ребенка, задумалась я...
Вдруг входит отец,— я вздрогнула...
Ждала я грозы, но, печален и тих,
Сказал он сердечно и кротко:
«За что обижаешь ты кровных родных?
Что будет с несчастным сироткой?
Что будет с тобою, голубка моя?
Там нужно не женскую силу!

Напрасна великая жертва твоя,
Найдешь ты там только могилу!»
И ждал он ответа и взгляд мой ловил,
Лаская меня и целуя...
«Я сам виноват! Я тебя погубил! —
Воскликнул он вдруг негодуя.—
Где был мой рассудок? Где были глаза?
Уж знала вся армия наша...»
И рвал он седые свои волоса:
«Прости! не казни меня, Маша!
Останься!..» И снова молил горячо...
Бог знает, как я устояла!
Припав головою к нему на плечо,
«Поеду!» — я тихо сказала...

«Посмотрим!..» И вдруг распрямился старик,
Глаза его гневом сверкали:
«Одно повторяет твой глупый язык:
Поеду! Сказать не пора ли,
Куда и зачем? Ты подумай сперва!
Не знаешь сама, что болтаешь!
Умеет ли думать твоя голова?
Врагами ты, что ли, считаешь
И мать и отца? Или глупы они...
Что споришь ты с ними, как с ровней?
Поглубже ты в сердце свое загляни,
Вперед посмотри хладнокровней,
Подумай!.. Я завтра увижусь с тобой...»

Ушел он, грозящий и гневный,
А я, чуть жива, пред иконой святой
Упала — в истоме душевной...

ГЛАВА III

«Подумай!..» Я целую ночь не спала,
Молилась и плакала много.
Я божию матерь на помощь звала,
Совета просила у бога,
Я думать училась: отец приказал
Подумать... нелегкое дело!
Давно ли он думал за нас — и решал,
И жизнь наша мирно летела?

Училась я много; на трех языках
Читала. Заметна была я
В парадных гостиных, на светских балах,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всем,
Я музыку знала, я пела,
Я даже отлично скакала верхом,
Но думать совсем не умела.

Я только в последний, двадцатый мой год
Узнала, что жизнь не игрушка.
Да в детстве, бывало, сердечко вздрогнет,
Как грянет нечаянно пушка.
Жилось хорошо и привольно; отец
Со мной не говаривал строго;
Осьмнадцати лет я пошла под венец
И тоже не думала много...

В последнее время моя голова
Работала сильно, пылала;
Меня неизвестность томила сперва.
Когда же беду я узнала,
Бессменно стоял предо мною Сергей,
Тюрьмою измученный, бледный,
И много неведомых прежде страстей
Посеял в душе моей бедной.

Я всё испытала, а больше всего
Жестокое чувство бессилья.
Я небо и сильных людей за него
Молила — напрасны усилья!
И гнев мою душу больную палил,
И я волновалась нестройно,
Рвалась, проклинала... но не было сил,
Ни времени думать спокойно.

Теперь непременно я думать должна —
Отцу моему так угодно.
Пусть воля моя неизменно одна,
Пусть всякая дума бесплодна,
Я честно исполнить отцовский приказ
Решилась, мои дорогие.

Старик говорил: «Ты подумай о нас,
Мы люди тебе не чужие:
И мать, и отца, и дитя, наконец,—

Ты всех безрассудно бросаешь,
За что же?» — Я долг исполняю, отец!
«За что ты себя обрекаешь
На муку?» — Не буду я мучиться там!
Здесь ждет меня страшная мука.
Да, если останусь, послушная вам,
Меня истерзает разлука.
Не зная покоя ни ночью, ни днем,
Рыдая над бедным сироткой,
Всё буду я думать о муже моем
Да слышать упрек его кроткий.
Куда ни пойду я — на лицах людей
Я свой приговор прочитаю:
В их шепоте — повесть измены моей,
В улыбке укор угадаю:
Что место мое не на пышном балу,
А в дальней пустыне угрюмой,
Где узник усталый в тюремном углу
Терзается лютою думой,
Один... без опоры... Скорее к нему!
Там только вздохну я свободно.
Делила с ним радость, делить и тюрьму
Должна я... Так небу угодно!..

Простите, родные! Мне сердце давно
Мое подсказало решенье.
И верю я твердо: от бога оно!
А в вас говорит — сожаленье.
Да, ежели выбор решить я должна
Меж мужем и сыном — не боле,
Иду я туда, где я больше нужна,
Иду я к тому, кто в неволе!
Я сына оставлю в семействе родном,
Он скоро меня позабудет.
Пусть дедушка будет малютке отцом,
Сестра ему матерью будет.
Он так еще мал! А когда подрастет
И страшную тайну узнает,
Я верю: он матери чувство поймет
И в сердце ее оправдает!

Но если останусь я с ним... и потом
Он тайну узнает и спросит:
«Зачем не пошла ты за бедным отцом?..»
И слово укора мне бросит?
О, лучше в могилу мне заживо лечь,

Чем мужа лишить утешенья
И в будущем сына презренье навлечь...
Нет, нет! не хочу я презренья!..

А может случиться — подумать боюсь! —
Я первого мужа забуду,
Условиям новой семьи подчинюсь
И сыну не матерью буду,
А мачехой лютой?.. Горю со стыда...
Прости меня, бедный изгнанник!
Тебя позабыть! Никогда! никогда!
Ты сердца единый избранник...

Отец! ты не знаешь, как дорог он мне!
Его ты не знаешь! Сначала,
В блестящем наряде, на гордом коне,
Его пред полком я видала;
О подвигах жизни его боевой
Рассказы товарищей боя
Я слушала жадно — и всею душой
Я в нем полюбила героя...

Позднее я в нем полюбила отца
Малютки, рожденного мною.
Разлука тянулась меж тем без конца.
Он твердо стоял под грозою...
Вы знаете, где мы увиделись вновь —
Судьба свою волю творила! —
Последнюю, лучшую сердца любовь
В тюрьме я ему подарила!

Напрасно чернила его клевета,
Он был безупречней, чем прежде,
И я полюбила его, как Христа...
В своей арестантской одежде
Теперь он бессменно стоит предо мной,
Величием кротким сияя.
Терновый венец над его головой,
Во взоре — любовь неземная...

Отец мой! должна я увидеть его...
Умру я, тоскуя по муже...
Ты, долгу служа, не щадил ничего,
И нас научил ты тому же...
Герой, выводивший своих сыновей
Туда, где смертельней сраженье,—

Не верю, чтоб дочери бедной своей
Ты сам не одобрил решенье!

Вот что́ я продумала в долгую ночь,
И так я с отцом говорила...
Он тихо сказал: «Сумасшедшая дочь!» —
И вышел; молчали уныло
И братья и мать... Я ушла наконец...
Тяжелые дни потянулись:
Как туча ходил недовольный отец,
Другие домашние дулись.
Никто не хотел ни советом помочь,
Ни делом; но я не дремала,
Опять провела я бессонную ночь,
Письмо к государю писала.
(В то время молва начала разглашать,
Что будто вернуть Трубецкую
С дороги велел государь. Испытать
Боялась я участь такую,
Но слух был неверен.) Письмо отвезла
Сестра моя, Катя Орлова*.
Сам царь отвечал мне... Спасибо, нашла
В ответе я доброе слово!
Он был элегантен и мил. (Николай
Писал по-французски.) Сначала
Сказал государь, как ужасен тот край,
Куда я поехать желала,
Как грубы там люди, как жизнь тяжела,
Как возраст мой хрупок и нежен;
Потом намекнул (я не вдруг поняла)
На то, что возврат безнадежен;
А дальше — изволил хвалою почтить
Решимость мою, сожалея,
Что, долгу покорный, не мог пощадить
Преступного мужа... Не смея
Противиться чувствам высоким таким,
Давал он свое позволенье;
Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим
Осталась я дома...

Волненье
Меня охватило. «Я еду!» Давно
Так радостно сердце не билось...
«Я еду! я еду! Теперь решено!..»
Я плакала, жарко молилась...

В три дня я в далекий мой путь собралась,
Всё ценное я заложила,
Надежною шубой, бельем запаслась,
Простую кибитку купила.
Родные смотрели на сборы мои,
Загадочно как-то вздыхая;
Отъезду не верил никто из семьи...
Последнюю ночь провела я
С ребенком. Нагнувшись над сыном моим,
Улыбку малютки родного
Запомнить старалась; играла я с ним
Печатью письма рокового.
Играла и думала: «Бедный мой сын!
Не знаешь ты, чем ты играешь!
Здесь участь твоя: ты проснешься один,
Несчастный! Ты мать потеряешь!»
И в горе, упав на ручонки его
Лицом, я шептала, рыдая:
«Прости, что тебя для отца твоего,
Мой бедный, покинуть должна я...»

А он улыбался; не думал он спать,
Любуясь красивым пакетом;
Большая и красная эта печать
Его забавляла...
С рассветом
Спокойно и крепко заснуло дитя,
И щечки его заалели.
С любимого личика глаз не сводя,
Молясь у его колыбели,
Я встретила утро...
Я вмиг собралась.
Сестру заклинала я снова
Быть матерью сыну... Сестра поклялась...
Кибитка была уж готова.

Сурово молчали родные мои,
Прощание было немое.
Я думала: «Я умерла для семьи,
Всё милое, всё дорогое
Теряю... нет счета печальных потерь!..»
Мать как-то спокойно сидела,
Казалось, не веря еще и теперь,
Чтоб дочка уехать посмела,
И каждый с вопросом смотрел на отца.
Сидел он поодаль понуро,

Не молвил словечка, не поднял лица,—
Оно было бледно и хмуро.
Последние вещи в кибитку снесли,
Я плакала, бодрость теряя,
Минуты мучительно медленно шли...
Сестру наконец обняла я
И мать обняла. «Ну, господь вас храни!» —
Сказала я, братьев целуя.
Отцу подражая, молчали они...
Старик поднялся, негодуя,
По сжатым губам, по морщинам чела
Ходили зловещие тени...
Я молча ему образок подала
И стала пред ним на колени:
«Я еду! хоть слово, хоть слово, отец!
Прости свою дочь, ради бога!..»
Старик на меня поглядел наконец
Задумчиво, пристально, строго
И, руки с угрозой подняв надо мной,
Чуть слышно сказал (я дрожала):
«Смотри! через год возвращайся домой,
Не то — прокляну!..»

Я упала...

ГЛАВА IV

«Довольно, довольно объятий и слез!»
Я села — и тройка помчалась.
«Прощайте, родные!» В декабрьский мороз
Я с домом отцовским рассталась
И мчалась без отдыху с лишком три дня;
Меня быстрота увлекала,
Она была лучшим врачом для меня...
Я скоро в Москву прискакала,
К сестре Зинаиде*. Мила и умна
Была молодая княгиня.
Как музыку знала! Как пела она!
Искусство ей было святыня.
Она нам оставила книгу новелл,
Исполненных грации нежной,
Поэт Веневитинов стансы ей пел,
Влюбленный в нее безнадежно;
В Италии год Зинаида жила

И к нам — по сказанью поэта —
«Цвет южного неба в очах принесла».
Царица московского света,
Она не чуждалась артистов,— житье
Им было у Зины в гостиной;
Они уважали, любили ее
И Северной звали Коринной*.

Поплакали мы. По душе ей была
Решимость моя роковая:
«Крепись, моя бедная! будь весела!
Ты мрачная стала такая.
Чем мне эти темные тучи прогнать?
Как мы распростимся с тобою?
А вот что! ложись ты до вечера спать,
А вечером пир я устрою.
Не бойся! всё будет во вкусе твоем,
Друзья у меня не повесы,
Любимые песни твои мы споем,
Сыграем любимые пьесы...»
И вечером весть, что приехала я,
В Москве уже многие знали.
В то время несчастные наши мужья
Вниманье Москвы занимали:
Едва огласилось решенье суда,
Всем было неловко и жутко,
В салонах Москвы повторялась тогда
Одна растопчинская шутка*:
«В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует,— понятное дело!
У нас революцию сделала знать:
В сапожники, что ль, захотела?..»

И сделалась я «героинею дня».
Не только артисты, поэты —
Вся двинулась знатная наша родня;
Парадные, цугом кареты
Гремели; напудрив свои парики,
Потемкину ровня по летам,
Явились былые тузы-старики
С отменно-учтивым приветом;
Старушки статс-дамы былого двора
В объятья меня заключали:
«Какое геройство!.. Какая пора!..» —
И в такт головами качали.

Ну, словом, что было в Москве повидней,
Что в ней мимоездом гостило,
Все вечером съехалось к Зине моей*:
Артистов тут множество было,
Певцов-итальянцев тут слышала я,
Что были тогда знамениты,
Отца моего сослуживцы, друзья
Тут были, печалью убиты.
Тут были родные ушедших туда,
Куда я сама торопилась,
Писателей группа, любимых тогда,
Со мной дружелюбно простилась:
Тут были Одоевский, Вяземский; был
Поэт вдохновенный и милый*,
Поклонник кузины, что рано почил,
Безвременно взятый могилой.

И Пушкин тут был... Я узнала его...
Он другом был нашего детства,
В Юрзуфе он жил у отца моего.
В ту пору проказ и кокетства
Смеялись, болтали мы, бегали с ним,
Бросали друг в друга цветами.
Всё наше семейство поехало в Крым,
И Пушкин отправился с нами.
Мы ехали весело. Вот наконец
И горы и Черное море!
Велел постоять экипажам отец,
Гуляли мы тут на просторе.

Тогда уже был мне шестнадцатый год.
Гибка, высока не по летам,
Покинув семью, я стрелою вперед
Умчалась с курчавым поэтом;
Без шляпки, с распущенной длинной косой,
Полуденным солнцем палима,
Я к морю летела,— и был предо мной
Вид южного берега Крыма!
Я радостным взором глядела кругом,
Я прыгала, с морем играла;
Когда удалялся прилив, я бегом
До самой воды добегала,
Когда же прилив возвращался опять
И волны грядой подступали,
От них я спешила назад убежать,
А волны меня настигали!..

Н. А. Некрасов. «Русские женщины».
Художник Д. Кардовский

И Пушкин смотрел... и смеялся, что я
Ботинки мои промочила.
«Молчите! идет гувернантка моя!» —
Сказала я строго... (Я скрыла,
Что ноги промокли...) Потом я прочла
В «Онегине» чудные строки*.
Я вспыхнула вся — я довольна была...
Теперь я стара, так далеки
Те красные дни! Я не буду скрывать,
Что Пушкин в то время казался
Влюбленным в меня... но, по правде сказать,
В кого он тогда не влюблялся!
Но, думаю, он не любил никого
Тогда, кроме Музы: едва ли
Не больше любви занимали его
Волненья ее и печали...

Юрзуф живописен: в роскошных садах
Долины его потонули,
У ног его море, вдали Аюдаг...
Татарские хижины льнули
К подножию скал; виноград выбегал
На кручу лозой отягченной,
И тополь местами недвижно стоял
Зеленой и стройной колонной.
Мы заняли дом под нависшей скалой,
Поэт наверху приютился.
Он нам говорил, что доволен судьбой,
Что в море и горы влюбился.
Прогулки его продолжались по дням
И были всегда одиноки,
Он у́ моря часто бродил по ночам.
По-английски брал он уроки
У Лены, сестры моей: Байрон тогда
Его занимал чрезвычайно.
Случалось сестре перевесть иногда
Из Байрона что-нибудь — тайно;
Она мне читала попытки свои,
А после рвала и бросала,
Но Пушкину кто-то сказал из семьи,
Что Лена стихи сочиняла;
Поэт подобрал лоскутки под окном
И вывел всё дело на сцену.
Хваля переводы, он долго потом
Конфузил несчастную Лену...
Окончив занятья, спускался он вниз

И с нами делился досугом;
У самой террасы стоял кипарис,
Поэт называл его другом,
Под ним заставал его часто рассвет,
Он с ним, уезжая, прощался...
И мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался:
«К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел,— и, певцам
Внимая, природа смолкала!
Потом соловей,— повествует народ,—
Летал сюда каждое лето:
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэта!
Но умер поэт — прилетать перестал
Пернатый певец... Полный горя,
С тех пор кипарис сиротою стоял,
Внимая лишь ропоту моря...»
Но Пушкин надолго прославил его:
Туристы его навещают,
Садятся под ним и на память с него
Душистые ветки срывают...

Печальна была наша встреча. Поэт
Подавлен был истинным горем.
Припомнил он игры ребяческих лет
В далеком Юрзуфе, над морем.
Покинув привычный насмешливый тон,
С любовью, с тоской бесконечной,
С участием брата напутствовал он
Подругу той жизни беспечной!
Со мной он по комнате долго ходил,
Судьбой озабочен моею,
Я помню, родные, что он говорил,
Да так передать не сумею:
«Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты,
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не сто́ит сей свет ненавистный!
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!
Что свет? опостылевший всем маскарад!

В нем сердце черствеет и дремлет,
В нем царствует вечный, рассчитанный хлад
И пылкую правду объемлет...

Вражда умирится влияньем годов,
Пред временем рухнет преграда,
И вам возвратятся пенаты отцов
И сени домашнего сада!
Целебно вольется в усталую грудь
Долины наследственной сладость,
Вы гордо оглянете пройденный путь
И снова узнаете радость.

Да, верю! недолго вам горе терпеть,
Гнев царский не будет же вечным...
Но если придется в степи умереть,
Помянут вас словом сердечным:
Пленителен образ отважной жены,
Явившей душевную силу
И в снежных пустынях суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу!

Умрете, но ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Они им покажут, вздохнув от души,
Черты незабвенные ваши,
И в память прабабки, погибшей в глуши,
Осушатся полные чаши!..
Пускай долговечнее мрамор могил,
Чем крест деревянный в пустыне,
Но мир Долгорукой еще не забыл,
А Бирона нет и в помине*.

Но что я?.. Дай бог вам здоровья и сил!
А там и увидеться можно:
Мне царь «Пугачева» писать поручил*,
Пугач меня мучит безбожно,
Расправиться с ним я на славу хочу,
Мне быть на Урале придется.
Поеду весной, поскорей захвачу,
Что путного там соберется,
Да к вам и махну, переехав Урал...»

Поэт написал «Пугачева»,
Но в дальние наши снега не попал.
Как мог он сдержать это слово?..

Я слушала музыку, грусти полна,
Я пению жадно внимала;
Сама я не пела — была я больна,
Я только других умоляла:
«Подумайте: я уезжаю с зарей...
О, пойте же, пойте! играйте!..
Ни музыки я не услышу такой,
Ни песни... Наслушаться дайте!»

И чудные звуки лились без конца!
Торжественной песней прощальной
Окончился вечер,— не помню лица
Без грусти, без думы печальной!
Черты неподвижных, суровых старух
Утратили холод надменный,
И взор, что, казалось, навеки потух,
Светился слезой умиленной...
Артисты старались себя превзойти,
Не знаю я песни прелестней
Той песни-молитвы о добром пути,
Той благословляющей песни...
О, как вдохновенно играли они!
Как пели!.. и плакали сами...
И каждый сказал мне: «Господь вас храни!»,
Прощаясь со мной со слезами...

ГЛАВА V

Морозно. Дорога бела и гладка,
Ни тучи на всем небосклоне...
Обмерзли усы, борода ямщика,
Дрожит он в своем балахоне.
Спина его, плечи и шапка в снегу,
Хрипит он, коней понукая,
И кашляют кони его на бегу,
Глубоко и трудно вздыхая...

Обычные виды: былая краса
Пустынного русского края,

Угрюмо шумят строевые леса,
Гигантские тени бросая;
Равнины покрыты алмазным ковром,
Деревни в снегу потонули,
Мелькнул на пригорке помещичий дом,
Церковные главы блеснули...

Обычные встречи: обоз без конца,
Толпа богомолок-старушек,
Гремящая почта, фигура купца
На груде перин и подушек;
Казенная фура! с десяток подвод:
Навалены ружья и ранцы.
Солдатики! Жидкий безусый народ,
Должно быть, еще новобранцы;
Сынков провожают отцы-мужики
Да матери, сестры и жены:
«Уводят, уводят сердечных в полки!»
Доносятся горькие стоны...

Подняв кулаки над спиной ямщика,
Неистово мчится фельдъегерь.
На самой дороге догнав русака,
Усатый помещичий егерь
Махнул через ров на проворном коне,
Добычу у псов отбивает.
Со всей своей свитой стоит в стороне
Помещик — борзых подзывает...

Обычные сцены: на станциях ад —
Ругаются, спорят, толкутся.
«Ну, трогай!» Из окон ребята глядят,
Попы у харчевен дерутся;
У кузницы бьется лошадка в станке,
Выходит, весь сажей покрытый,
Кузнец, с раскаленной подковой в руке:
«Эй, парень, держи ей копыты!..»

В Казани я сделала первый привал,
На жестком диване уснула;
Из окон гостиницы видела бал
И, каюсь, глубоко вздохнула!
Я вспомнила: час или два с небольшим
Осталось до нового года.
«Счастливые люди! как весело им!
У них и покой и свобода,

Танцуют, смеются!.. а мне не знавать
Веселья... я еду на муки!..»
Не надо бы мыслей таких допускать,
Да молодость, молодость, внуки!

Здесь снова пугали меня Трубецкой,
Что будто ее воротили:
«Но я не боюсь — позволенье со мной!»
Часы уже десять пробили,
Пора! я оделась. «Готов ли ямщик?»
— Княгиня, вам лучше дождаться
Рассвета,— заметил смотритель-старик: —
Метель начала подыматься!
«Ах! то ли придется еще испытать!
Поеду. Скорей, ради бога!..»

Звенит колокольчик, ни зги не видать,
Что дальше, то хуже дорога,
Поталкивать начало сильно в бока,
Какими-то едем грядами,
Не вижу я даже спины ямщика:
Бугор намело между нами.
Чуть-чуть не упала кибитка моя,
Шарахнулась тройка и стала.
Ямщик мой заохал: «Докладывал я:
Пождать бы! дорога пропала!..»

Послала дорогу искать ямщика,
Кибитку рогожей закрыла,
Подумала: верно, уж полночь близка,
Пружинку часов подавила:
Двенадцать ударило. Кончился год,
И новый успел народиться!
Откинув циновку, гляжу я вперед —
По-прежнему вьюга крутится.
Какое ей дело до наших скорбей,
До нашего нового года?
И я равнодушна к тревоге твоей
И к стонам твоим, непогода!
Своя у меня роковая тоска,
И с ней я борюсь одиноко...

Поздравила я моего ямщика.
«Зимовка тут есть недалеко,—
Сказал он,— рассвета дождемся мы в ней!»
Подъехали мы, разбудили

Каких-то убогих лесных сторожей,
Их дымную печь затопили.
Рассказывал ужасы житель лесной,
Да я его сказки забыла...
Согрелись мы чаем. Пора на покой!
Метель всё ужаснее выла.
Лесник покрестился, ночник погасил
И с помощью пасынка Феди
Огромных два камня к дверям привалил.
«Зачем?» — Одолели медведи!

Потом он улегся на голом полу,
Всё скоро уснуло в сторожке,
Я думала, думала... лежа в углу
На мерзлой и жесткой рогожке...
Сначала веселые были мечты:
Я вспомнила праздники наши,
Огнями горящую залу, цветы,
Подарки, заздравные чаши,
И шумные речи, и ласки... кругом
Всё милое, всё дорогое —
Но где же Сергей?.. И, подумав о нем,
Забыла я всё остальное!

Я живо вскочила, как только ямщик
Продрогший в окно постучался.
Чуть свет на дорогу нас вывел лесник,
Но деньги принять отказался.
«Не надо, родная! Бог вас защити,
Дороги-то дальше опасны!»
Крепчали морозы по мере пути
И сделались скоро ужасны.
Совсем я закрыла кибитку мою —
И тёмно, и страшная скука.
Что делать? Стихи вспоминаю, пою...
Когда-нибудь кончится мука!
Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет
И путь мой заносят метели,
А все-таки я подвигаюсь вперед!
Так ехала я три недели...

Однажды, заслышав какой-то содом,
Циновку мою я открыла,
Взглянула: мы едем обширным селом,
Мне сразу глаза ослепило:
Пылали костры по дороге моей...

Тут были крестьяне, крестьянки,
Солдаты — и целый табун лошадей...
«Здесь станция: ждут серебрянки[1],—
Сказал мой ямщик.— Мы увидим ее,
Она, чай, идет недалече...»

Сибирь высылала богатство свое,
Я рада была этой встрече:
«Дождусь серебрянки! Авось что-нибудь
О муже, о наших узнаю.
При ней офицер, из Нерчинска их путь...»
В харчевне сижу, поджидаю...
Вошел молодой офицер; он курил,
Он мне не кивнул головою,
Он как-то надменно глядел и ходил,
И вот я сказала с тоскою:
«Вы видели, верно... известны ли вам
Те... жертвы декабрьского дела...
Здоровы они? Каково-то им там?
О муже я знать бы хотела...»
Нахально ко мне повернул он лицо,—
Черты были злы и суровы,—
И, выпустив изо рту дыму кольцо,
Сказал: «Несомненно здоровы,
Но я их не знаю — и знать не хочу,
Я мало ли каторжных видел!..»
Как больно мне было, родные! Молчу...
Несчастный! меня же обидел!..
Я бросила только презрительный взгляд,
С достоинством юноша вышел...
У печки тут грелся какой-то солдат,
Проклятье мое он услышал
И доброе слово — не варварский смех —
Нашел в своем сердце солдатском:
«Здоровы! — сказал он: — Я видел их всех,
Живут в руднике Благодатском!..»
Но тут возвратился надменный герой,
Поспешно ушла я в кибитку.
Спасибо, солдатик! спасибо, родной!
Недаром я вынесла пытку!

Поутру на белые степи гляжу,
Послышался звон колокольный,
Тихонько в убогую церковь вхожу,

---

[1] Обоз с серебром.

Смешалась с толпой богомольной.
Отслушав обедню, к попу подошла,
Молебен служить попросила...
Всё было спокойно,— толпа не ушла...
Совсем меня горе сломило!
За что мы обижены столько, Христос?
За что поруганьем покрыты?
И реки давно накопившихся слез
Упали на жесткие плиты!
Казалось, народ мою грусть разделял,
Молясь молчаливо и строго,
И голос священника скорбью звучал,
Прося об изгнанниках бога...
Убогий, в пустыне затерянный храм!
В нем плакать мне было не стыдно,
Участье страдальцев, молящихся там,
Убитой душе не обидно...

(Отец Иоанн, что молебен служил
И так непритворно молился,
Потом в каземате священником был
И с нами душой породнился.)

А ночью ямщик не сдержал лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетела с кибиткой моей
С высокой вершины Алтая!

В Иркутске проделали то же со мной,
Чем там Трубецкую терзали...
Байкал. Переправа — и холод такой,
Что слезы в глазах замерзали.
Потом я рассталась с кибиткой моей
(Пропала санная дорога).
Мне жаль ее было: я плакала в ней
И думала, думала много!

Дорога без снегу — в телеге! Сперва
Телега меня занимала,
Но вскоре потом, ни жива ни мертва,
Я прелесть телеги узнала.
Узнала и голод на этом пути,
К несчастию, мне не сказали,
Что тут ничего невозможно найти,
Тут почту бурята держали.
Говядину вялят на солнце они

Да греются чаем кирпичным,
И тот еще с салом! Господь сохрани
Попробовать вам, непривычным!
Зато под Нерчинском мне задали бал:
Какой-то купец тороватый
В Иркутске заметил меня, обогнал
И в честь мою праздник богатый
Устроил... Спасибо! я рада была
И вкусным пельменям и бане...
А праздник, как мертвая, весь проспала
В гостиной его на диване...

Не знала я, что впереди меня ждет!
Я утром в Нерчинск прискакала,
Не верю глазам — Трубецкая идет!
«Догнала тебя я, догнала!»
— *Они в Благодатске!* — Я бросилась к ней,
Счастливые слезы роняя...
В двенадцати только верстах мой Сергей,
И Катя со мной Трубецкая!

ГЛАВА VI

Кто знал одиночество в дальнем пути,
Чьи спутники — горе да вьюга,
Кому провиденьем дано обрести
В пустыне негаданно друга,
Тот нашу взаимную радость поймет...
— Устала, устала я, Маша!
«Не плачь, моя бедная Катя! Спасет
Нас дружба и молодость наша!
Нас жребий один неразрывно связал,
Судьба нас равно обманула,
И тот же поток твое счастье умчал,
В котором мое потонуло.
Пойдем же мы об руку трудным путем,
Как шли зеленеющим лугом.
И обе достойно свой крест понесем,
И будем мы сильны друг другом.
Что мы потеряли? подумай, сестра!
Игрушки тщеславья... Немного!
Теперь перед нами дорога добра,
Дорога избранников бога!
Найдем мы униженных, скорбных мужей,

Но будем мы им утешеньем,
Мы кротостью нашей смягчим палачей,
Страданье осилим терпеньем.
Опорою гибнущим, слабым, больным
Мы будем в тюрьме ненавистной
И рук не положим, пока не свершим
Обета любви бескорыстной!..
Чиста наша жертва,— мы всё отдаем
Избранникам нашим и богу,
И верю я: мы невредимо пройдем
Всю трудную нашу дорогу...»

Природа устала с собой воевать —
День ясный, морозный и тихий.
Снега под Нерчинском явились опять,
В санях покатили мы лихо...
О ссыльных рассказывал русский ямщик
(Он знал их фамилии даже):
«На этих конях я возил их в рудник,
Да только в другом экипаже.
Должно быть, дорога легка им была:
Шутили, смешили друг дружку;
На завтрак ватрушку мне мать испекла,
Так я подарил им ватрушку,
Двугривенный дали — я брать не хотел...
— Возьми, паренек, пригодится...»
Болтая, он живо в село прилетел.
«Ну, барыни! где становиться?»
— Вези нас к начальнику прямо в острог.
«Эй, други, не дайте в обиду!»

Начальник был тучен и, кажется, строг,
Спросил: по какому мы виду?
«В Иркутске читали инструкцию нам
И выслать в Нерчинск обещали...»
— Застряла, застряла, голубушка, там!
«Вот копия, нам ее дали...»
— Что копия? с ней попадешься впросак!
«Вот царское вам позволенье!»
Не знал по-французски упрямый чудак,
Не верил нам,— смех и мученье!
«Вы видите подпись царя: Николай?»
До подписи нет ему дела,
Ему из Нерчинска бумагу подай!
Поехать за ней я хотела,
Но он объявил, что отправится сам

И к утру бумагу добудет.
«Да точно ли?..» — Честное слово! А вам
Полезнее выспаться будет!..

И мы добрались до какой-то избы,
О завтрашнем утре мечтая;
С оконцем из слю́ды, низка, без трубы,
Была наша хата такая,
Что я головою касалась стены,
А в дверь упиралась ногами;
Но мелочи эти нам были смешны,
Не то уж случалося с нами.
Мы вместе! Теперь бы легко я снесла
И самые трудные муки...

Проснулась я рано, а Катя спала.
Пошла по деревне от скуки:
Избушки такие ж, как наша, числом
До сотни, в овраге торчали,
А вот и кирпичный с решетками дом!
При нем часовые стояли.
— Не здесь ли преступники? — «Здесь, да ушли».
— Куда? — «На работу, вестимо!»
Какие-то дети меня повели...
Бежали мы все — нестерпимо
Хотелось мне мужа увидеть скорей;
Он близко! Он шел тут недавно!
— Вы видите их? — я спросила детей.
«Да, видим! Поют они славно!
Вон дверца... гляди же! Пойдем мы теперь,
Прощай!..» Убежали ребята...

И словно под землю ведущую дверь
Увидела я — и солдата.
Сурово смотрел часовой,— наголо
В руке его сабля сверкала.
Не золото, внуки, и здесь помогло,
Хоть золото я предлагала!
Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди!
Помедлим немного. Хочу я сказать
Спасибо вам, русские люди!
В дороге, в изгнанье, где я ни была,
Всё трудное каторги время,
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.

Пусть много скорбей тебе пало на часть,
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!..
Ты любишь несчастного, русский народ!
Страдания нас породнили...
«Вас в каторге самый закон не спасет!» —
На родине мне говорили;
Но добрых людей я встречала и там,
На крайней ступени паденья,
Умели по-своему выразить нам
Преступники дань уваженья;
Меня с неразлучною Катей моей
Довольной улыбкой встречали:
«Вы — ангелы наши!» За наших мужей
Уроки они исполняли.
Не раз мне украдкой давал из полы
Картофель колодник клейменый:
«Покушай! горячий, сейчас из золы!»
Хорош был картофель печеный,
Но грудь и теперь занывает с тоски,
Когда я о нем вспоминаю...
Примите мой низкий поклон, бедняки!
Спасибо вам всем посылаю!
Спасибо!.. Считали свой труд ни во что
Для нас эти люди простые,
Но горечи в чашу не подлил никто,
Никто — из народа, родные!..

Рыданьям моим часовой уступил.
Как бога его я просила!
Светильник (род факела) он засветил,
В какой-то подвал я вступила
И долго спускалась всё ниже; потом
Пошла я глухим коридором,
Уступами шел он; темно было в нем
И душно; где плесень узором
Лежала; где тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорох: земля иногда
Комками со стен упадала;
Я видела страшные ямы в стенах;
Казалось, такие ж дороги
От них начинались. Забыла я страх,
Проворно несли меня ноги!

И вдруг я услышала крики: «Куда,
Куда вы? Убиться хотите?
Ходить не позволено дамам туда!
Вернитесь скорей! Погодите!»
Беда моя! видно, дежурный пришел
(Его часовой так боялся),
Кричал он так грозно, так голос был зол,
Шум скорых шагов приближался...
Что делать? Я факел задула. Вперед
Впотьмах наугад побежала...
Господь, коли хочет, везде проведет!
Не знаю, как я не упала,
Как голову я не оставила там!
Судьба берегла меня. Мимо
Ужасных расселин, провалов и ям
Бог вывел меня невредимо:
Я скоро увидела свет впереди,
Там звездочка словно светилась...
И вылетел радостный крик из груди:
«Огонь!» Я крестом осенилась...
Я сбросила шубу... Бегу на огонь,
Как бог уберег во мне душу!
Попавший в трясину испуганный конь
Так рвется, завидевши сушу...

И стало, родные, светлей и светлей!
Увидела я возвышенье:
Какая-то площадь... и тени на ней...
Чу... молот! работа, движенье...
Там люди! Увидят ли только они?
Фигуры отчетливей стали...
Вот ближе, сильней замелькали огни.
Должно быть, меня увидали...
И кто-то, стоявший на самом краю,
Воскликнул: «Не ангел ли божий?
Смотрите, смотрите!» — Ведь мы не в раю:
Проклятая шахта похожей
На ад! — говорили другие, смеясь,
И быстро на край выбегали,
И я приближалась поспешно. Дивясь,
Недвижно они ожидали.

«Волконская!» — вдруг закричал Трубецкой
(Узнала я голос). Спустили
Мне лестницу; я поднялася стрелой!
Всё люди знакомые были:

Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев,
Борисовы, князь Оболенский...
Потоком сердечных, восторженных слов,
Похвал моей дерзости женской
Была я осыпана; слезы текли
По лицам их, полным участья...
Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли,
Не умер бы только от счастья!
Кончает урок: по три пуда руды
Мы в день достаем для России,
Как видите, нас не убили труды!»
Веселые были такие,
Шутили, но я под веселостью их
Печальную повесть читала
(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют — я не знала)...
Известьем о Кате, о милой жене,
Утешила я Трубецкого;
Все письма, по счастию, были при мне,
С приветом из края родного.
Спешила я их передать. Между тем
Внизу офицер горячился:
«Кто лестницу принял? Куда и зачем
Смотритель работ отлучился?
Сударыня! Вспомните слово мое,
Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти!
Живей!.. (Но никто не подставил ее...)
Убьетесь, убьетесь до смерти!
Извольте спуститься! да что ж вы?..» Но мы
Всё вглубь уходили... Отвсюду
Бежали к нам мрачные дети тюрьмы,
Дивясь небывалому чуду.
Они пролагали мне путь впереди,
Носилки свои предлагали...

Орудья подземных работ на пути,
Провалы, бугры мы встречали.
Работа кипела под звуки оков,
Под песни — работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.
Там с ношею узник шагал по бревну,
Невольно кричала я: «Тише!»
Там новую мину вели в глубину,
Там люди карабкались выше
По шатким подпоркам... Какие труды!

Какая отвага!.. Сверкали
Местами добытые глыбы руды
И щедрую дань обещали...

Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он! идет!»
Окинув пространство глазами,
Я чуть не упала, рванувшись вперед,—
Канава была перед нами.
«Потише, потише! Ужели затем
Вы тысячи верст пролетели,—
Сказал Трубецкой,— чтоб на горе нам всем
В канаве погибнуть — у цели? —
И за руку крепко меня он держал.—
Что б было, когда б вы упали?»
Сергей торопился, но тихо шагал.
Оковы уныло звучали.
Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О, мстительный трус и мучитель!),—
Но кроток он был, как избравший его
Орудьем своим искупитель.
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали...
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали...

Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,
Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком: «Иду!» — я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку.
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мне ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбежала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки.
Он много страдал, и умел он страдать!..

Невольно пред ним я склонила
Колени — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

И тихого ангела бог ниспослал
В подземные копи — в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал,
И замерло словно движенье,
Чужие, свои — со слезами в глазах,
Взволнованы, бледны, суровы —
Стояли кругом. На недвижных ногах
Не издали звука оковы,
И в воздухе поднятый молот застыл...
Всё тихо — ни песни, ни речи...
Казалось, что каждый здесь с нами делил
И горечь и счастие встречи!
Святая, святая была тишина!
Какой-то высокой печали,
Какой-то торжественной думы полна.

«Да где же вы все запропали?» —
Вдруг снизу донесся неистовый крик.
Смотритель работ появился.
«Уйдите! — сказал со слезами старик.—
Нарочно я, барыня, скрылся,
Теперь уходите. Пора! Забранят!
Начальники — люди крутые...»
И словно из рая спустилась я в ад...
И только... и только, родные!
По-русски меня офицер обругал,
Внизу ожидавший в тревоге,
А сверху мне муж по-французски сказал:
«Увидимся, Маша,— в остроге!..»

Кому на Руси жить хорошо

ПРОЛОГ

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных*,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень —
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож.
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...

Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь,
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Такой ли спор затеяли,
Что думают прохожие —
Знать, клад нашли ребятушки
И делят меж собой...

По делу всяк по своему
До полдня вышел из дому:
Тот путь держал до кузницы,
Тот шел в село Иваньково
Позвать отца Прокофия
Ребенка окрестить.
Пахом соты медовые
Нес на базар в Великое,
А два братана Губины
Так просто с недоуздочком
Ловить коня упрямого
В свое же стадо шли.
Давно пора бы каждому
Вернуть своей дорогою —
Они рядком идут!
Идут, как будто гонятся
За ними волки серые,
Что дале — то скорей.
Идут — перекоряются!
Кричат — не образумятся!
А времечко не ждет.

За спором не заметили,
Как село солнце красное,
Как вечер наступил.
Наверно б, ночку целую
Так шли — куда, не ведая,
Когда б им баба встречная,
Корявая Дурандиха,
Не крикнула: «Почтенные!
Куда вы, на ночь глядючи,
Надумали идти?..»

Спросила, засмеялася,
Хлестнула, ведьма, мерина
И укатила вскачь...

— Куда?..— Переглянулися
Тут наши мужики,
Стоят, молчат, потупились...
Уж ночь давно сошла,
Зажглися звезды частые
В высоких небесах,
Всплыл месяц, тени черные
Дорогу перерезали
Ретивым ходокам.
Ой тени! тени черные!
Кого вы не нагоните?
Кого не перегоните?
Вас только, тени черные,
Нельзя поймать — обнять!

На лес, на путь-дороженьку
Глядел, молчал Пахом,
Глядел — умом раскидывал
И молвил наконец:

«Ну, леший шутку славную
Над нами подшутил!
Никак, ведь мы без малого
Верст тридцать отошли!
Домой теперь ворочаться
Устали — не дойдем;
Присядем,— делать нечего,
До солнца отдохнем!..»

Свалив беду на лешего,
Под лесом при дороженьке
Уселись мужики.
Зажгли костер, сложилися,
За водкой двое сбегали,
А прочие покудова
Стаканчик изготовили,
Бересты понадрав.
Приспела скоро водочка,
Приспела и закусочка —
Пируют мужички!
Косушки* по три выпили,
Поели — и заспорили
Опять: кому жить весело,
Вольготно на Руси?
Роман кричит: помещику,
Демьян кричит: чиновнику,

Лука кричит: попу;
Купчине толстопузому,—
Кричат братаны Губины,
Иван и Митродор;
Пахом кричит: светлейшему
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров кричит: царю!

Забрало пуще прежнего
Задорных мужиков,
Ругательски ругаются,
Не мудрено, что вцепятся
Друг другу в волоса...

Гляди — уж и вцепилися!
Роман тузит Пахомушку,
Демьян тузит Луку.
А два братана Губины
Утюжат Прова дюжего —
И всяк свое кричит!

Проснулось эхо гулкое,
Пошло гулять-погуливать,
Пошло кричать-покрикивать,
Как будто подзадоривать
Упрямых мужиков.
Царю! — направо слышится,
Налево отзывается:
Попу! попу! попу!
Весь лес переполо́шился,
С летающими птицами,
Зверями быстроногими
И гадами ползущими,
И стон, и рев, и гул!

Всех прежде зайка серенький
Из кустика соседнего
Вдруг выскочил, как встрепанный,
И наутек пошел!
За ним галчата малые
Вверху березы подняли
Противный, резкий писк.
А тут еще у пеночки
С испугу птенчик крохотный
Из гнездышка упал;

Щебечет, плачет пеночка,
Где птенчик? — не найдет!
Потом кукушка старая
Проснулась и надумала
Кому-то куковать;
Раз десять принималася,
Да всякий раз сбивалася
И начинала вновь...
Кукуй, кукуй, кукушечка!
Заколосится хлеб,
Подавишься ты колосом —
Не будешь куковать![1]
Слетелися семь филинов,
Любуются побоищем
С семи больших дерев,
Хохочут полуночники!
А их глазищи желтые
Горят, как воску ярого
Четырнадцать свечей!
И ворон, птица умная,
Приспел, сидит на дереве
У самого костра,
Сидит да черту молится,
Чтоб до смерти ухлопали
Которого-нибудь!
Корова с колокольчиком,
Что с вечера отбилася
От стада, чуть послышала
Людские голоса —
Пришла к костру, уставила
Глаза на мужиков,
Шальных речей послушала
И начала, сердечная,
Мычать, мычать, мычать!
Мычит корова глупая,
Пищат галчата малые,
Кричат ребята буйные,
А эхо вторит всем.
Ему одна заботушка —
Честных людей поддразнивать,
Пугать ребят и баб!
Никто его не видывал,
А слышать всякий слыхивал,

---

[1] Кукушка перестает куковать, когда заколосится хлеб («Подавившись колосом»,— говорит народ).

Без тела — а живет оно,
Без языка — кричит!

Сова — замоскворецкая
Княгиня* — тут же мычется,
Летает над крестьянами,
Шарахаясь то о́ землю,
То о кусты крылом...

Сама лисица хитрая,
По любопытству бабьему,
Подкралась к мужикам,
Послушала, послушала
И прочь пошла, подумавши:
«И черт их не поймет!»
И вправду: сами спорщики
Едва ли знали, помнили —
О чем они шумят...

Намяв бока порядочно
Друг другу, образумились
Крестьяне наконец,
Из лужицы напилися,
Умылись, освежилися,
Сон начал их кренить...

Тем часом птенчик крохотный,
Помалу, по полсаженки,
Низком перелетаючи,
К костру подобрался.
Поймал его Пахомушка,
Поднес к огню, разглядывал
И молвил: «Пташка малая,
А ноготок востер!
Дыхну — с ладони скатишься,
Чихну — в огонь укатишься,
Щелкну́ — мертва покатишься,
А всё ж ты, пташка малая,
Сильнее мужика!
Окрепнут скоро крылышки,
Тю-тю! куда ни вздумаешь,
Туда и полетишь!
Ой ты, пичуга малая!
Отдай свои нам крылышки,
Всё царство облетим,
Посмотрим, поразведаем,

Поспросим — и дознаемся:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?»

— Не надо бы и крылышек,
Кабы нам только хлебушка
По полупуду в день,—
И так бы мы Русь-матушку
Ногами перемеряли! —
Сказал угрюмый Пров.

— Да по ведру бы водочки,—
Прибавили охочие
До водки братья Губины,
Иван и Митродор.

— Да утром бы огурчиков
Соленых по десяточку,—
Шутили мужики.

— А в полдень бы по жбанчику
Холодного кваску.

— А вечером по чайничку
Горячего чайку...

Пока они гуторили,
Вилась, кружилась пеночка
Над ними: всё прослушала
И села у костра.
Чивикнула, подпрыгнула
И человечьим голосом
Пахому говорит:

«Пусти на волю птенчика!
За птенчика за малого
Я выкуп дам большой».

— А что ты дашь?
«Дам хлебушка
По полупуду в день,
Дам водки по ведерочку,
Поутру дам огурчиков,
А в полдень квасу кислого,
А вечером чайку!»

— А где, пичуга малая,—
Спросили братья Губины,—
Найдешь вина и хлебушка
Ты на семь мужиков?

«Найти — найдете сами вы.
А я, пичуга малая,
Скажу вам, как найти».

— Скажи!
«Идите по лесу,
Против столба тридцатого
Прямехонько версту:
Придете на поляночку,
Стоят на той поляночке
Две старые сосны;
Под этими под соснами
Закопана коробочка.
Добудьте вы ее,—
Коробка та волшебная:
В ней скатерть самобранная,
Когда ни пожелаете,
Накормит, напоит!
Тихонько только молвите:
— *Эй, скатерть самобранная!*
Попотчуй мужиков! —
По вашему хотению,
По моему велению,
Всё явится тотчас,
Теперь — пустите птенчика!»

— Постой! мы люди бедные,
Идем в дорогу дальнюю,—
Ответил ей Пахом.—
Ты, вижу, птица мудрая,
Уважь — одёжу старую
На нас заворожи!

— Чтоб армяки мужицкие
Носились, не сносилися! —
Потребовал Роман.

— Чтоб липовые лапотки
Служили, не разбилися,—
Потребовал Демьян.

— Чтоб вошь, блоха паскудная
В рубахах не плодилася,—
Потребовал Лука.

— Не прели бы онученьки...—
Потребовали Губины...

А птичка им в ответ:
«Всё скатерть самобранная
Чинить, стирать, просушивать
Вам будет... Ну, пусти!..»

Раскрыв ладонь широкую,
Пахом птенца пустил.
Пустил — и птенчик крохотный
Помалу, по полсаженки,
Низком перелетаючи,
Направился к дуплу.
За ним взвилася пеночка
И на лету прибавила:
«Смотрите, чур, одно!
Съестного сколько вынесет
Утроба — то и спрашивай,
А водки можно требовать
В день ровно по ведру.
Коли вы больше спросите,
И раз и два — исполнится
По вашему желанию,
А в третий быть беде!»

И улетела пеночка
С своим родимым птенчиком,
А мужики гуськом
К дороге потянулися
Искать столба тридцатого.
Нашли! — Молчком идут
Прямехонько, вернехонько
По лесу по дремучему,
Считают каждый шаг.
И как версту отмеряли,
Увидели поляночку —
Стоят на той поляночке
Две старые сосны...

Крестьяне покопалися,
Достали ту коробочку,

Открыли — и нашли
Ту скатерть самобранную!
Нашли и разом вскрикнули:
«Эй, скатерть самобранная!
Попотчуй мужиков!»

Глядь — скатерть развернулася,
Откудова ни взялися
Две дюжие руки,
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять.

— А что же нет огурчиков?
— Что нет чайку горячего?

Всё появилось вдруг...

Крестьяне распоясались,
У скатерти уселися,
Пошел тут пир горой!
На радости целуются,
Друг дружке обещаются
Вперед не драться зря,
А с толком дело спорное
По разуму, по-божески,
На чести повести —
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда делу спорному
Решенья не найдут,
Покуда не доведают,
Как ни на есть — доподлинно,
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?

Зарок такой поставивши,
Под утро как убитые
Заснули мужики...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

ПОП

Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Далёко протянулася,
Песчана и глуха.
По сторонам дороженьки
Идут холмы пологие
С полями, с сенокосами,
А чаще с неудобною,
Заброшенной землей;
Стоят деревни старые,
Стоят деревни новые
У речек, у прудов...

Леса, луга поёмные,
Ручьи и реки русские
Весною хороши.
Но вы, поля весенние!
На ваши всходы бедные
Невесело глядеть!
«Недаром в зиму долгую
(Толкуют наши странники)
Снег каждый день валил.
Пришла весна — сказался снег!
Он смирен до поры:
Летит — молчит, лежит — молчит,
Когда умрет, тогда ревет.
Вода — куда ни глянь!
Поля совсем затоплены,
Навоз возить — дороги нет,
А время уж не раннее —
Подходит месяц май!»
Нелюбо и на старые,
Больней того на новые
Деревни им глядеть*.
Ой, избы, избы новые!
Нарядны вы, да строит вас
Не лишняя копеечка,
А кровная беда!..

С утра встречались странникам
Всё больше люди малые:
Свой брат крестьянин-лапотник,
Мастеровые, нищие,
Солдаты, ямщики.
У нищих, у солдатиков
Не спрашивали странники,
Как им — легко ли, трудно ли
Живется на Руси?
Солдаты шилом бреются,
Солдаты дымом греются,
Какое счастье тут?..

Уж день клонился к вечеру,
Идут путем-дорогою,
Навстречу едет поп.
Крестьяне сняли шапочки,
Низенько поклонилися,
Повыстроились в ряд
И мерину саврасому
Загородили путь.
Священник поднял голову,
Глядел, глазами спрашивал:
Чего они хотят?

— Небось! мы не грабители! —
Сказал попу Лука.
(Лука — мужик присадистый,
С широкой бородищею,
Упрям, речист и глуп.
Лука похож на мельницу:
Одним не птица мельница,
Что, как ни машет крыльями,
Небось не полетит.)

— Мы мужики степенные,
Из временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Окольных деревень —
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож.
Идем по делу важному:

У нас забота есть,
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Ты дай нам слово верное
На нашу речь мужицкую
Без смеху и без хитрости,
По совести, по разуму,
По правде отвечать,
Не то с своей заботушкой
К другому мы пойдем...

«Даю вам слово верное:
Коли вы дело спросите,
Без смеху и без хитрости,
По правде и по разуму,
Как должно отвечать.
Аминь!..»

— Спасибо. Слушай же!
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлися и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
А я сказал: попу.
Купчине толстопузому,—
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю...
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши — повздорили,
Повздоривши — подралися,
Подравшися — одумали:
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,

Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно:
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
Скажи ж ты нам по-божески:
Сладка ли жизнь поповская?
Ты как — вольготно, счастливо
Живешь, честной отец?..

Потупился, задумался,
В тележке сидя, поп
И молвил: «Православные!
Роптать на бога грех,
Несу мой крест с терпением,
Живу... а как? Послушайте!
Скажу вам правду-истину,
А вы крестьянским разумом
Смекайте!»
— Начинай!

«В чем счастие, по-вашему?
Покой, богатство, честь —
Не так ли, други милые?»

Они сказали: так...

«Теперь посмотрим, братия,
Каков попу *покой?*
Начать, признаться, надо бы
Почти с рожденья самого,
Как достается грамота
Поповскому сынку*,
Какой ценой поповичем
Священство покупается*,
Да лучше помолчим!
. . . . . .
. . . . . .

Дороги наши трудные,
Приход у нас большой.
Болящий, умирающий,

Рождающийся в мир
Не избирают времени:
В жнитво и в сенокос,
В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые,
И в половодье вешнее
Иди — куда зовут!
Идешь безотговорочно.
И пусть бы только косточки
Ломалися одни,—
Нет! всякий раз намается,
Переболит душа.
Не верьте, православные,
Привычке есть предел:
Нет сердца, выносящего
Без некоего трепета
Предсмертное хрипение,
Надгробное рыдание,
Сиротскую печаль!
Аминь!.. Теперь подумайте,
Каков попу покой?..»

Крестьяне мало думали.
Дав отдохнуть священнику,
Они с поклоном молвили:
— Что скажешь нам еще?

«Теперь посмотрим, братия,
Каков попу *почет?*
Задача щекотливая,
Не прогневить бы вас...

Скажите, православные,
Кого вы называете
Породой жеребячьею?
Чур! отвечать на спрос?»

Крестьяне позамялися,
Молчат — и поп молчит...

«С кем встречи вы боитеся,
Идя путем-дорогою?
Чур! отвечать на спрос!»

Кряхтят, переминаются,
Молчат!

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо».
Художник А. Пластов

«О ком слагаете
Вы сказки балагурные,
И песни непристойные,
И всякую хулу?..

Мать-попадью степенную,
Попову дочь безвинную,
Семинариста всякого —
Как чествуете вы?
Кому вдогон, злорадствуя,
Кричите: го-го-го?..»

Потупились ребятушки,
Молчат — и поп молчит...

Крестьяне думу думали,
А поп широкой шляпою
В лицо себе помахивал
Да на небо глядел.
Весной, что внуки малые,
С румяным солнцем-дедушкой
Играют облака:
Вот правая сторонушка
Одной сплошною тучею
Покрылась — затуманилась,
Стемнела и заплакала:
Рядами нити серые
Повисли до земли.
А ближе, над крестьянами,
Из небольших разорванных,
Веселых облачков
Смеется солнце красное,
Как девка из снопов.
Но туча передвинулась,
Поп шляпой накрывается,—
Быть сильному дождю.
А правая сторонушка
Уже светла и радостна,
Там дождь перестает:
Не дождь, там чудо божие:
Там с золотыми нитками
Развешаны мотки...

«Не сами... по родителям
Мы так-то...» — братья Губины
Сказали наконец.

И прочие поддакнули:
«Не сами, по родителям!»
А поп сказал: «Аминь!
Простите, православные!
Не в осужденье ближнего,
А по желанью вашему
Я правду вам сказал.
Таков почет священнику
В крестьянстве. А помещики...»

— Ты мимо их, помещиков!
Известны нам они!

«Теперь посмотрим, братия,
Откудова *богачество*
Поповское идет?..
Во время недалекое
Империя российская
Дворянскими усадьбами
Была полным-полна.
И жили там помещики,
Владельцы именитые,
Каких теперь уж нет!
Плодилися и множились
И нам давали жить.
Что́ свадеб там игралося,
Что́ деток нарождалося
На даровых хлебах!
Хоть часто крутонравные,
Однако доброхотные
То были господа,
Прихода не чуждалися:
У нас они венчалися,
У нас крестили детушек,
К нам приходили каяться,
Мы отпевали их.
А если и случалося,
Что жил помещик в городе,
Так умирать наверное
В деревню приезжал.
Коли умрет нечаянно,
И тут накажет накрепко
В приходе схоронить.
Глядишь, ко храму сельскому
На колеснице траурной
В шесть лошадей наследники

Покойника везут —
Попу поправка добрая,
Мирянам праздник праздником...
А ныне уж не то!
Как племя иудейское,
Рассеялись помещики
По дальней чужеземщине
И по Руси родной.
Теперь уж не до гордости
Лежать в родном владении
Рядком с отцами, с дедами,
Да и владенья многие
Барышникам пошли.
Ой, холеные косточки
Российские, дворянские!
Где вы не позакопаны?
В какой земле вас нет?

Потом, статья... раскольники...*
Не грешен, не живился я
С раскольников ничем.
По счастью, нужды не было:
В моем приходе числится
Живущих в православии
Две трети прихожан.
А есть такие волости,
Где сплошь почти раскольники,
Так тут как быть попу?

Всё в мире переменчиво,
Прейдет и самый мир...
Законы, прежде строгие
К раскольникам, смягчилися,
А с ними и поповскому
Доходу мат пришел.
Перевелись помещики,
В усадьбах не живут они
И умирать на старости
Уже не едут к нам.
Богатые помещицы,
Старушки богомольные,
Которые повымерли,
Которые пристроились
Вблизи монастырей.
Никто теперь подрясника
Попу не подарит!

Никто не вышьет воздухов...*
Живи с одних крестьян,
Сбирай мирские гривенки,
Да пироги по праздникам,
Да яйца о святой.
Крестьянин сам нуждается,
И рад бы дал, да нечего...

А то еще не всякому
И мил крестьянский грош.
Угоды наши скудные,
Пески, болота, мхи,
Скотинка ходит впроголодь,
Родится хлеб сам-друг,
А если и раздобрится
Сыра земля-кормилица,
Так новая беда:
Деваться с хлебом некуда!
Припрет нужда, продашь его
За сущую безделицу,
А там — неурожай!
Тогда плати втридо́рога,
Скотинку продавай.
Молитесь, православные!
Грозит беда великая
И в нынешнем году:
Зима стояла лютая,
Весна стоит дождливая,
Давно бы сеять надобно,
А на полях — вода!
Умилосердись, господи!
Пошли крутую радугу
На наши небеса![1]
(Сняв шляпу, пастырь крестится,
И слушатели тож.)

Деревни наши бедные,
А в них крестьяне хворые
Да женщины печальницы,
Кормилицы, поилицы,
Рабыни, богомолицы
И труженицы вечные,
Господь, прибавь им сил!
С таких трудов копейками

---

[1] К р у т а я р а д у г а — к вёдру; п о л о г а я — к дождю.

Живиться тяжело!
Случается, к недужному
Придешь: не умирающий,
Страшна семья крестьянская
В тот час, как ей приходится
Кормильца потерять!
Напутствуешь усопшего
И поддержать в оставшихся
По мере сил стараешься
Дух бодр! А тут к тебе
Старуха, мать покойника,
Глядь, тянется с костлявою,
Мозолистой рукой.
Душа переворотится,
Как звякнут в этой рученьке
Два медных пятака!
Конечно, дело чистое —
За требу воздаяние*,
Не брать — так нечем жить,
Да слово утешения
Замрет на языке,
И словно как обиженный
Уйдешь домой... Аминь...»

Покончил речь — и мерина
Хлестнул легонько поп.
Крестьяне расступилися,
Низенько поклонилися,
Конь медленно побрел.
А шестеро товарищей,
Как будто сговорилися,
Накинулись с упреками,
С отборной крупной руганью
На бедного Луку:

— Что́, взял? башка упрямая!
Дубина деревенская!
Туда же лезет в спор:
«Дворяне колокольные —
Попы живут по-княжески.
Идут под небо самое
Поповы терема,
Гудит попова вотчина —
Колокола горластые —
На целый божий мир.
Три года я, робятушки,

Жил у попа в работниках,
Малина — не житье!
Попова каша — с маслицем,
Попов пирог — с начинкою,
Поповы щи — с снетком!
Жена попова толстая,
Попова дочка белая,
Попова лошадь жирная,
Пчела попова сытая,
Как колокол гудет!»
Ну, вот тебе хваленое
Поповское житье!
Чего орал, куражился?
На драку лез, анафема?
Не тем ли думал взять,
Что борода лопатою?
Так с бородой козел
Гулял по свету ранее,
Чем праотец Адам,
А дураком считается
И посейчас козел!..

Лука стоял, помалчивал,
Боялся, не наклали бы
Товарищи в бока.
Оно быть так и сталося,
Да к счастию крестьянина
Дорога позагнулася —
Лицо попово строгое
Явилось на бугре...

Глава 2

СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА

Недаром наши странники
Поругивали мокрую,
Холодную весну.
Весна нужна крестьянину
И ранняя и дружная,
А тут — хоть волком вой!
Не греет землю солнышко,
И облака дождливые,
Как дойные коровушки,

Идут по небесам.
Согнало снег, а зелени
Ни травки, ни листа!
Вода не убирается,
Земля не одевается
Зеленым ярким бархатом
И, как мертвец без савана,
Лежит под небом пасмурным
Печальна и нага.

Жаль бедного крестьянина,
А пуще жаль скотинушку:
Скормив запасы скудные,
Хозяин хворостиною
Прогнал ее в луга,
А что там взять? Чернехонько!
Лишь на Николу вешнего*
Погода поуставилась,
Зеленой свежей травушкой
Полакомился скот.

День жаркий. Под березками
Крестьяне пробираются,
Гуторят меж собой:
«Идем одной деревнею,
Идем другой — пустехонько!
А день сегодня праздничный.
Куда пропал народ?..»
Идут селом — на улице
Одни ребята малые,
В домах — старухи старые,
А то и вовсе заперты
Калитки на замок.
Замок — собачка верная:
Не лает, не кусается,
А не пускает в дом!

Прошли село, увидели
В зеленой раме зеркало:
С краями полный пруд.
Над прудом реют ласточки;
Какие-то комарики,
Проворные и тощие,
Вприпрыжку, словно по́суху,
Гуляют по воде.

По берегам, в ракитнике,
Коростели скрипят.
На длинном, шатком плотике
С вальком поповна толстая
Стоит, как стог подщипанный,
Подтыкавши подол.
На этом же на плотике
Спит уточка с утятами...
Чу! лошадиный храп!
Крестьяне разом глянули
И над водой увидели
Две головы: мужицкую,
Курчавую и смуглую,
С серьгой (мигало солнышко
На белой той серьге),
Другую — лошадиную
С веревкой сажен в пять.
Мужик берет веревку в рот,
Мужик плывет — и конь плывет,
Мужик заржал — и конь заржал.
Плывут, орут! Под бабою,
Под малыми утятами
Плот ходит ходенем.

Догнал коня — за холку хвать!
Вскочил и на луг выехал
Детина: тело белое,
А шея как смола;
Вода ручьями катится
С коня и с седока.

— А что у вас в селении
Ни старого, ни малого,
Как вымер весь народ?
«Ушли в село Кузьминское,
Сегодня там и ярмонка
И праздник храмовой»*.
— А далеко Кузьминское?

«Да будет версты три».

— Пойдем в село Кузьминское,
Посмотрим праздник-ярмонку! —
Решили мужики,
А про себя подумали:

Не там ли он скрывается,
Кто счастливо живет?..

Кузьминское богатое,
А пуще того — грязное
Торговое село.
По косогору тянется,
Потом в овраг спускается,
А там опять на горочку —
Как грязи тут не быть?
Две церкви в нем старинные,
Одна старообрядская,
Другая православная,
Дом с надписью: училище,
Пустой, забитый наглухо,
Изба в одно окошечко,
С изображеньем фельдшера,
Пускающего кровь.
Есть грязная гостиница,
Украшенная вывеской
(С большим носатым чайником
Поднос в руках подносчика,
И маленькими чашками,
Как гу́сыня гусятами,
Тот чайник окружен).
Есть лавки постоянные
В подобие уездного
Гостиного двора...*

Пришли на площадь странники:
Товару много всякого
И видимо-невидимо
Народу! Не потеха ли?
Кажись, нет ходу крестного,
А словно пред иконами
Без шапок мужики.
Такая уж сторонушка!
Гляди, куда деваются
Крестьянские шлыки*:
Помимо складу винного,
Харчевни, ресторации,
Десятка штофных лавочек*,
Трех постоялых двориков,
Да «ренскового погреба»*,
Да пары кабаков,
Одиннадцать кабачников

Для праздника поставили
Палатки на селе.
При каждой пять подносчиков;
Подносчики — молодчики,
Наметанные, дошлые,
А всё им не поспеть,
Со сдачей не управиться!
Гляди, что́ протянулося
Крестьянских рук, со шляпами,
С платками, с рукавицами.
Ой, жажда православная,
Куда ты велика!
Лишь окатить бы душеньку,
А там добудут шапочки,
Как отойдет базар.

По пьяным по головушкам
Играет солнце вешнее...
Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!
Штаны на парнях плисовы,
Жилетки полосатые,
Рубахи всех цветов;
На бабах платья красные,
У девок косы с лентами,
Лебедками плывут!
А есть еще затейницы,
Одеты по-столичному —
И ширится и дуется
Подол на обручах!*
Заступишь — расфуфырятся!
Вольно же, новомодницы,
Вам снасти рыболовные
Под юбками носить!
На баб нарядных глядючи,
Старообрядка злющая
Товарке говорит:
«Быть голоду! быть голоду!
Дивись, что всходы вымокли,
Что половодье вешнее
Стоит до Петрова!*
С тех пор, как бабы начали
Рядиться в ситцы красные,—
Леса не подымаются,
А хлеба хоть не сей!»

— Да чем же ситцы красные
Тут провинились, матушка?
Ума не приложу!

«А ситцы те французские —
Собачьей кровью крашены!
Ну... поняла теперь?..»

По конной потолкался,
По взгорью, где навалены
Косули*, грабли, бо́роны,
Багры, станки тележные,
Ободья, топоры.
Там шла торговля бойкая,
С божбою, с прибаутками,
С здоровым, громким хохотом.
И как не хохотать?
Мужик какой-то крохотный
Ходил, ободья пробовал:
Погнул один — не нравится,
Погнул другой, потужился,
А обод как распрямится —
Щелк по лбу мужика!
Мужик ревет над ободом,
«Вязовою дубиною»
Ругает драчуна.
Другой приехал с разною
Поделкой деревянною —
И вывалил весь воз!
Пьяненек! Ось сломалася,
А стал ее уделывать —
Топор сломал! Раздумался
Мужик над топором,
Бранит его, корит его,
Как будто дело делает:
«Подлец ты, не топор!
Пустую службу, плевую,
И ту не сослужил.
Всю жизнь свою ты кланялся,
А ласков не бывал!»

Пошли по лавкам странники:
Любуются платочками,
Ивановскими ситцами,
Шлеями, новой обувью,
Издельем кимряков*.

У той сапожной лавочки
Опять смеются странники:
Тут башмачки козловые
Дед внучке торговал,
Пять раз про цену спрашивал,
Вертел в руках, оглядывал:
Товар первейший сорт!
— Ну, дядя! два двугривенных
Плати, не то проваливай!—
Сказал ему купец.
«А ты постой!» Любуется
Старик ботинкой крохотной,
Такую держит речь:

«Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль! Повесилась
На шею егоза:
Купи гостинчик, дедушка,
Купи! — Головкой шелковой
Лицо щекочет, ластится,
Целует старика.
Постой, ползунья бо́сая!
Постой, юла! Козловые
Ботиночки куплю...
Расхвастался Вавилушка,
И старому и малому
Подарков насулил,
А пропился до грошика!
Как я глаза бесстыжие
Домашним покажу?..

Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль!..» — Пошел опять
Про внучку! Убивается!..

Народ собрался, слушает,
Не смеючись, жалеючи;
Случись, работой, хлебушком
Ему бы помогли,
А вынуть два двугривенных,
Так сам ни с чем останешься.
Да был тут человек,
Павлуша Веретенников*.
(Какого роду, звания,

Не знали мужики,
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоялых двориках,
В харчевнях, в кабаках.)
Так он Вавилу выручил —
Купил ему ботиночки.
Вавило их схватил
И был таков! — На радости
Спасибо даже барину
Забыл сказать старик,
Зато крестьяне прочие
Так были разутешены,
Так рады, словно каждого
Он подарил рублем!

Была тут также лавочка
С картинами и книгами,
Офени* запасалися
Своим товаром в ней.
— А генералов надобно? —
Спросил их купчик-выжига.
«И генералов дай!
Да только ты по совести,
Чтоб были настоящие —
Потолще, погрозней».

— Чудны́е! как вы смотрите! —
Сказал купец с усмешкою.—
Тут дело не в комплекции...

«А в чем же? шутишь, друг!
Дрянь, что ли, сбыть желательно?
А мы куда с ней денемся?
Шалишь! Перед крестьянином
Все генералы равные,
Как шишки на ели:
Чтобы продать плюгавого,
Попасть на доку надобно,
А толстого да грозного

Я всякому всучу...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз навыкате,
Да чтобы больше звезд!»

— А статских* не желаете?
«Ну, вот еще со статскими!»
(Однако взяли — дешево! —
Какого-то сановника
За брюхо с бочку винную
И за семнадцать звезд.)
Купец — со всем почтением,
Что любо, тем и потчует
(С Лубянки — первый вор!)*,
Спустил по сотне Блюхера,
Архимандрита Фотия,
Разбойника Сипко*,
Сбыл книги: «Шут Балакирев»
И «Английский милорд»...*

Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке,
На невысокой стеночке...
Черт знает для чего!

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?*
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики

Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать...

«И рад бы в рай, да дверь-то где?» —
Такая речь врывается
В лавчонку неожиданно.
— Тебе какую дверь?
«Да в балаган. Чу! музыка!..»
— Пойдем, я укажу!

•

Про балаган прослышавши,
Пошли и наши странники
Послушать, поглазеть.
Комедию с Петрушкою,
С козою с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому*, квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз!
Шалаш полным-полнехонек,
Народ орешки щелкает,
А то два-три крестьянина
Словечком перекинутся —
Гляди, явилась водочка:
Посмотрят да попьют!
Хохочут, утешаются
И часто в речь Петрушкину
Вставляют слово меткое,
Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо!

Такие есть любители —
Как кончится комедия,
За ширмочки пойдут,
Целуются, братаются,
Гуторят с музыкантами:
— Откуда, молодцы?
«А были мы господские,
Играли на помещика,
Теперь мы люди вольные,
Кто поднесет-попотчует,
Тот нам и господин!»

— И дело, други милые,
Довольно бар вы тешили,
Потешьте мужиков!
Эй, малый, сладкой водочки!
Наливки! чаю! по́лпива!
Цимлянского — живей!

И море разливанное
Пойдет, щедрее барского
Ребяток угостят.

Не ветры веют буйные,
Не мать-земля колышется,—
Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется,
Дерется и целуется
У праздника народ!
Крестьянам показалося,
Как вышли на пригорочек,
Что всё село шатается,
Что даже церковь старую
С высокой колокольнею
Шатнуло раз-другой! —
Тут трезвому, что голому,
Неловко... Наши странники
Прошлись еще по площади
И к вечеру покинули
Бурливое село...

Глава 3

ПЬЯНАЯ НОЧЬ

Не ригой, не амбарами,
Не кабаком, не мельницей,
Как часто на Руси,
Село кончалось низеньким
Бревенчатым строением
С железными решетками
В окошках небольших.
За тем этапным зданием*
Широкая дороженька,
Березками обставлена,

Открылась тут как тут.
По будням малолюдная,
Печальная и тихая,
Не та она теперь!

По всей по той дороженьке
И по окольным тропочкам,
Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахтались пьяные,
И стоном стон стоял!

Скрипят телеги грузные,
И, как телячьи головы,
Качаются, мотаются
Победные головушки*
Уснувших мужиков!

Народ идет — и падает,
Как будто из-за валиков
Картечью неприятели
Палят по мужикам!

Ночь тихая спускается,
Уж вышла в небо темное
Луна, уж пишет грамоту
Господь червонным золотом
По синему по бархату,
Ту грамоту мудреную,
Которой ни разумникам,
Ни глупым не прочесть.

Дорога стоголосая
Гудит! Что́ море синее,
Смолкает, подымается
Народная молва.

«А мы полтинник писарю:
Прошенье изготовили
К начальнику губернии...»

— Эй! с возу куль упал!

«Куда же ты, Оленушка?
Постой! еще дам пряничка.
Ты, как блоха проворная,

Наелась — и упрыгнула,
Погладить не далась!»

— Добра ты, царска грамота,
Да не при нас ты писана...*

«Посторонись, народ!»
(Акцизные чиновники*
С бубенчиками, с бляхами
С базара пронеслись.)

— А я к тому теперича:
И веник дрянь, Иван Ильич,
А погуляет по полу,
Куда как напылит!

«Избави бог, Парашенька,
Ты в Питер не ходи!
Такие есть чиновники:
Ты день у них кухаркою,
А ночь у них сударкою —
Так это наплевать!»

«Куда ты скачешь, Саввушка?»
(Кричит священник сотскому*
Верхом, с казенной бляхою.)
— В Кузьминское скачу
За становым*. Оказия:
Там впереди крестьянина
Убили...— «Эх!.. грехи!..»

— Худа ты стала, Дарьюшка!
«Не веретенце, друг!
Вот то́, чем больше вертится,
Пузатее становится,
А я как день-деньской...»

«Эй, парень, парень глупенький,
Оборванный, паршивенький,
Эй, полюби меня!
Меня, простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа-паааа-чканную!..»

Крестьяне наши трезвые,
Поглядывая, слушая,
Идут своим путем.

Средь самой средь дороженьки
Какой-то парень тихонький
Большую яму выкопал.
— Что делаешь ты тут?
«А хороню я матушку!»
— Дурак! какая матушка!
Гляди: поддевку новую
Ты в землю закопал!
Иди скорей да хрюкалом
В канаву ляг, воды испей!
Авось соскочит дурь!

«А ну, давай потянемся!»

Садятся два крестьянина,
Ногами упираются,
И жилятся, и тужатся,
Кряхтят — на скалке тянутся,
Суставчики трещат!
На скалке не понравилось:
«Давай теперь попробуем
Тянуться бородой!»
Когда порядком бороды
Друг дружке поубавили,
Вцепились за скулы!
Пыхтят, краснеют, корчатся,
Мычат, визжат, а тянутся!
«Да будет вам, проклятые!
Не разольешь водой!»

В канаве бабы ссорятся,
Одна кричит: «Домой идти
Тошнее, чем на каторгу!»
Другая: «Врешь, в моем дому
Похуже твоего!
Мне старший зять ребро сломал,
Середний зять клубок украл,
Клубок — плевок, да дело в том —
Полтинник был замотан в нем,
А младший зять всё нож берет,
Того гляди, убьет, убьет!..»

«Ну, полно, полно, миленький!
Ну, не сердись!» За валиком
Неподалеку слышится:
«Я ничего... пойдем!»
Такая ночь бедовая!
Направо ли, налево ли
С дороги поглядишь:
Идут дружненько парочки,
Не к той ли роще правятся?
Та роща манит всякого,
В той роще голосистые
Соловушки поют...

Дорога многолюдная
Что позже — безобразнее:
Всё чаще попадаются
Избитые, ползущие,
Лежащие пластом.
Без ругани, как водится,
Словечко не промолвится,
Шальная, непотребная,
Слышней всего она!
У кабаков смятение,
Подводы перепутались,
Испуганные лошади
Без седоков бегут;
Тут плачут дети малые,
Тоскуют жены, матери:
Легко ли из питейного
Дозваться мужиков?..

У столбика дорожного
Знакомый голос слышится,
Подходят наши странники
И видят: Веретенников
(Что башмачки козловые
Вавиле подарил)
Беседует с крестьянами.
Крестьяне открываются
Миляге по душе:
Похвалит Павел песенку —
Пять раз споют, записывай!
Понравится пословица —
Пословицу пиши!
Позаписав достаточно,
Сказал им Веретенников:

«Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся —
Обидно поглядеть!»

Крестьяне речь ту слушали,
Поддакивали барину.
Павлуша что-то в книжечку
Хотел уже писать.
Да выискался пьяненький
Мужик,— он против барина
На животе лежал,
В глаза ему поглядывал,
Помалчивал — да вдруг
Как вскочит! Прямо к барину —
Хвать карандаш из рук!
«Постой, башка порожняя!
Шальных вестей, бессовестных
Про нас не разноси!
Чему ты позавидовал!
Что веселится бедная
Крестьянская душа?
Пьем много мы по времени,
А больше мы работаем,
Нас пьяных много видится,
А больше трезвых нас.
По деревням ты хаживал?
Возьмем ведерко с водкою,
Пойдем-ка по изба́м:
В одной, в другой навалятся,
А в третьей не притронутся —
У нас на се́мью пьющую
Непьющая семья!
Не пьют, а так же маются,
Уж лучше б пили, глупые,
Да совесть такова...
Чудно́ смотреть, как ввалится
В такую избу трезвую
Мужицкая беда,
И не глядел бы!.. Видывал
В страду деревни русские?
В питейном, что ль, народ?
У нас поля обширные,
А не гораздо щедрые,
Скажи-ка, чьей рукой

С весны они оденутся,
А осенью разденутся?
Встречал ты мужика
После работы вечером?
На пожне* гору добрую
Поставил, съел с горошину:
— Эй, богатырь! соломинкой
Сшибу, посторонись!

Сладка еда крестьянская,
Весь век пила железная
Жует, а есть не ест!
Да брюхо-то не зеркало,
Мы на еду не плачемся...
Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!
А есть еще губитель-тать*
Четвертый, злей татарина,
Так тот и не поделится,
Всё слопает один!*
У нас пристал третьеводни
Такой же барин плохонький,
Как ты, из-под Москвы.
Записывает песенки,
Скажи ему пословицу,
Загадку загани.
А был другой — допытывал,
На сколько в день сработаешь,
По малу ли, по многу ли
Кусков пихаешь в рот?
Иной угодья меряет,
Иной в селенье жителей
По пальцам перечтет*,
А вот не сосчитали же,
По скольку в лето каждое
Пожар пускает на́ ветер
Крестьянского труда?..

Нет меры хмелю русскому.
А горе наше меряли?
Работе мера есть?
Вино валит крестьянина,
А горе не валит его?
Работа не валит?

Мужик беды не меряет,
Со всякою справляется,
Какая ни приди.
Мужик, трудясь, не думает,
Что силы надорвет,
Так неужли над чаркою
Задуматься, что с лишнего
В канаву угодишь?
А что глядеть зазорно вам,
Как пьяные валяются,
Так погляди поди,
Как из болота волоком
Крестьяне сено мокрое,
Скосивши, волокут:
Где не пробраться лошади,
Где и без ноши пешему
Опасно перейти,
Там рать-орда крестьянская
По кочам, по зажоринам*
Ползком ползет с плетюхами*,—
Трещит крестьянский пуп!

Под солнышком без шапочек,
В поту, в грязи по ма́кушку,
Осокою изрезаны,
Болотным гадом-мошкою
Изъеденные в кровь,—
Небось мы тут красивее?

Жалеть — жалей умеючи,
На мерочку господскую
Крестьянина не мерь!
Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и в гульбе!..

У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна,— и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А всё вином кончается.
Пошла по жилам чарочка,
И рассмеялась добрая
Крестьянская душа!
Не горевать тут надобно,

Гляди кругом — возрадуйся!
Ай парни, ай молодушки,
Умеют погулять!
Повымахали косточки,
Повымотали душеньку,
А удаль молодецкую
Про случай сберегли!..»

Мужик стоял на валике,
Притопывал лаптишками
И, помолчав минуточку,
Прибавил громким голосом,
Любуясь на веселую,
Ревущую толпу:
«Эй! царство ты мужицкое,
Бесшапочное, пьяное,
Шуми — вольней шуми!..»

— Как звать тебя, старинушка?

«А что? запишешь в книжечку?
Пожалуй, нужды нет!
Пиши: *В деревне Босове*
Яким Нагой живет,
Он до́ смерти работает,
До полусмерти пьет!..»

Крестьяне рассмеялися
И рассказали барину,
Каков мужик Яким.

Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.
С тех пор лет тридцать жарится
На полосе под солнышком.
Под бороной спасается
От частого дождя,
Живет — с сохою возится,
А смерть придет Якимушке —
Как ком земли отвалится,
Что на сохе присох...

С ним случай был: картиночек
Он сыну накупил,
Развешал их по стеночкам
И сам не меньше мальчика
Любил на них глядеть.
Пришла немилость божия,
Деревня загорелася —
А было у Якимушки
За целый век накоплено
Целковых тридцать пять.
Скорей бы взять целковые,
А он сперва картиночки
Стал со стены срывать;
Жена его тем временем
С иконами возилася,
А тут изба и рухнула —
Так оплошал Яким!
Слились в комок целковики,
За тот комок дают ему
Одиннадцать рублей...
«Ой, брат Яким! не дешево
Картинки обошлись!
Зато и в и́збу новую
Повесил их небось?»

— Повесил — есть и новые,—
Сказал Яким — и смолк.

Вгляделся барин в пахаря:
Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.

Крестьяне как заметили,
Что не обидны барину
Якимовы слова,
И сами согласилися
С Якимом: «Слово верное:
Нам подобает пить!

Пьем — значит, силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить!..
Работа не свалила бы,
Беда не одолела бы,
Нас хмель не одолит!
Не так ли?»
— Да, бог милостив!

«Ну, выпей с нами чарочку!»

Достали водки, выпили.
Якиму Веретенников
Два шкалика поднес.

«Ай барин! не прогневался,
Разумная головушка!
(Сказал ему Яким):
Разумной-то головушке
Как не понять крестьянина?
А свиньи ходят по́ земи —
Не видят неба век!..»

Вдруг песня хором грянула,
Удала́я, согласная:
Десятка три молодчиков,
Хмельненьки, а не валятся,
Идут рядком, поют,
Поют про Волгу-матушку,
Про удаль молодецкую,
Про девичью красу.
Притихла вся дороженька,
Одна та песня складная
Широко, вольно катится,
Как рожь под ветром стелется,
По сердцу по крестьянскому
Идет огнем-тоской!..

Под песню ту удалую
Раздумалась, расплакалась
Молодушка одна:
«Мой век — что день без солнышка,
Мой век — что ночь без месяца,
А я, млада-младешенька,
Что борзый конь на привязи,
Что ласточка без крыл!

Мой старый муж, ревнивый муж
Напился пьян, храпо́м храпит,
Меня, младу-младешеньку,
И сонный сторожит!»

Так плакалась молодушка
Да с возу вдруг и спрыгнула!
«Куда?» — кричит ревнивый муж,
Привстал — и бабу за косу,
Как редьку за вихор!

Ой! ночка, ночка пьяная!
Не светлая, а звездная,
Не жаркая, а с ласковым
Весенним ветерком!
И нашим добрым молодцам
Ты даром не прошла!
Сгрустнулось им по женушкам,
Оно и правда: с женушкой
Теперь бы веселей!
Иван кричит: «Я спать хочу»,
А Марьюшка: «И я с тобой!»
Иван кричит: «Постель узка»,
А Марьюшка: «Уляжемся!»
Иван кричит: «Ой, холодно»,
А Марьюшка: «Угреемся!»
Как вспомнили тут песенку,
Без слова — согласилися
Ларец свой попытать.

Одна — зачем, бог ведает,
Меж полем и дорогою
Густая липа выросла.
Под ней присели странники
И осторожно молвили:
«Эй! скатерть самобранная,
Попотчуй мужиков!»

И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися
Две дюжие руки:
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять.

Крестьяне подкрепилися,
Роман за караульного
Остался у ведра,
А прочие вмешалися
В толпу — искать счастливого:
Им крепко захотелося
Скорей попасть домой...

Глава 4

СЧАСТЛИВЫЕ

В толпе горластой, праздничной
Похаживали странники,
Прокликивали клич:
«Эй! нет ли где счастливого?
Явись! Коли окажется,
Что счастливо живешь,
У нас ведро готовое:
Пей даром, сколько вздумаешь —
На славу угостим!..»
Таким речам неслыханным
Смеялись люди трезвые,
А пьяные да умные
Чуть не плевали в бороду
Ретивым крикунам.
Однако и охотников
Хлебнуть вина бесплатного
Достаточно нашлось.
Когда вернулись странники
Под липу, клич прокликавши,
Их обступил народ.
Пришел дьячок уволенный,
Тощо́й, как спичка серная,
И лясы распустил,
Что счастие не в пажитях*,
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
— А в чем же?
«В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
А мудрого владение —
Весь вертоград Христов!*
Коль обогреет солнышко

Да пропущу косушечку,
Так вот и счастлив я!»

— А где возьмешь косушечку?
«Да вы же дать сулилися...»

— Проваливай! шалишь!..

Пришла старуха старая,
Рябая, одноглазая
И объявила, кланяясь,
Что счастлива она:
Что у нее по осени
Родилось реп до тысячи
На небольшой гряде.
Такая репа крупная,
Такая репа вкусная,
А вся гряда — сажени три,
А впоперечь — аршин!»
Над бабой посмеялися,
А водки капли не дали:
— Ты дома выпей, старая,
Той репой закуси!

Пришел солдат с медалями,
Чуть жив, а выпить хочется:
«Я счастлив!» — говорит.

— Ну, открывай, старинушка,
В чем счастие солдатское?
Да не таись смотри!
«А в том, во-первых, счастие,
Что в двадцати сражениях
Я был, а не убит!
А во-вторых, важней того,
Я и во время мирное
Ходил ни сыт, ни голоден,
А смерти не дался!
А в-третьих — за провинности
Великие и малые
Нещадно бит я палками,
А хоть пощупай — жив!»

— На! выпивай, служивенький!
С тобой и спорить нечего:
Ты счастлив — слова нет! —

Пришел с тяжелым молотом
Каменотес оло́нчанин*,
Плечистый, молодой:
«И я живу — не жалуюсь,—
Сказал он,— с жёнкой, с матушкой
Не знаем мы нужды!»

— Да в чем же ваше счастие?

«А вот гляди (и молотом,
Как перышком, махнул):
Коли проснусь до солнышка
Да разогнусь о полночи,
Так гору сокрушу!
Случалось, не похвастаю,
Щебенки наколачивать
В день на пять серебром!»

Пахом приподнял «счастие»
И, крякнувши порядочно,
Работнику поднес:
— Ну, веско! А не будет ли
Носиться с этим счастием
Под старость тяжело?..

«Смотри, не хвастай силою,—
Сказал мужик с одышкою,
Расслабленный, худой
(Нос вострый, как у мертвого,
Как грабли руки тощие,
Как спицы ноги длинные,
Не человек — комар).—
Я был — не хуже каменщик,
Да тоже хвастал силою,
Вот бог и наказал!
Смекнул подрядчик, бестия,
Что простоват детинушка,
Учал меня хвалить,
А я-то сдуру радуюсь,
За четверых работаю!
Однажды ношу добрую
Наклал я кирпичей,
А тут его, проклятого,
И нанеси нелегкая.
«Что это? — говорит.—
Не узнаю я Трифона!

Идти с такою ношею
Не стыдно молодцу?»
— А коли мало кажется,
Прибавь рукой хозяйскою! —
Сказал я осердясь.
Ну, с полчаса, я думаю,
Я ждал, а он подкладывал,
И подложил, подлец!
Сам слышу — тяга страшная,
Да не хотелось пятиться.
И внес ту ношу чертову
Я во второй этаж!
Глядит подрядчик, дивится,
Кричит, подлец, оттудова:
«Ай, молодец, Трофим![1]
Не знаешь сам, что сделал ты:
Ты снес один по крайности
Четырнадцать пудов!»
Ой, знаю! сердце молотом
Стучит в груди, кровавые
В глазах круги стоят,
Спина как будто треснула...
Дрожат, ослабли ноженьки.
Зачах я с той поры!..
Налей, брат, полстаканчика!»

— Налить! Да где ж тут счастие?
Мы потчуем счастливого,
А ты что рассказал!
«Дослушай! будет счастие!»

— Да в чем же, говори!

«А вот в чем. Мне на родине,
Как всякому крестьянину,
Хотелось умереть.
Из Питера, расслабленный,
Шальной, почти без памяти,
Я на машину сел.
Ну, вот мы и поехали.
В вагоне — лихорадочных,
Горячечных работничков
Нас много набралось,
Всем одного желалося,

---

[1] Выше то же лицо названо Трифоном.— *Ред.*

Как мне: попасть на родину,
Чтоб дома помереть.
Однако нужно счастие
И тут: мы летом ехали,
В жарище, в духоте
У многих помутилися
Вконец больные головы,
В вагоне ад пошел:
Тот стонет, тот катается,
Как оглашенный, по полу,
Тот бредит жёнкой, матушкой.
Ну, на ближайшей станции
Такого и долой!
Глядел я на товарищей,
Сам весь горел, подумывал —
Несдобровать и мне.
В глазах кружки́ багровые,
И всё мне, братец, чудится,
Что режу пеунов*
(Мы тоже пеунятники,
Случалось в год откармливать
До тысячи зобов).
Где вспомнились, проклятые!
Уж я молиться пробовал,
Нет! всё с ума нейдут!
Поверишь ли? вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют!
А я с ножом: «Да полно вам!»
Уж как господь помиловал,
Что я не закричал?
Сижу, креплюсь... по счастию,
День кончился, а к вечеру
Похолодало,— сжалился
Над сиротами бог!
Ну, так мы и доехали,
И я добрел на родину,
А здесь, по божьей милости,
И легче стало мне...»

— Чего вы тут расхвастались
Своим мужицким счастием? —
Кричит, разбитый на ноги,
Дворовый человек.—
А вы меня попотчуйте:

Я счастлив, видит бог!
У первого боярина,
У князя Переметьева*,
Я был любимый раб.
Жена — раба любимая,
А дочка вместе с барышней
Училась и французскому
И всяким языкам,
Садиться позволялось ей
В присутствии княжны...
Ой! как кольнуло!.. батюшки!.. —
(И начал ногу правую
Ладонями тереть.)
Крестьяне рассмеялися.
— Чего смеетесь, глупые! —
Озлившись неожиданно,
Дворовый закричал.—
Я болен, а сказать ли вам,
О чем молюсь я господу,
Вставая и ложась?
Молюсь: «Оставь мне, господи,
Болезнь мою почетную,
По ней я дворянин!»
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею —
Болезнью благородною,
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтоб получить ее,
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить...
За стулом у светлейшего
У князя Переметьева*
Я сорок лет стоял,
С французским лучшим трюфелем*
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал...
Ну, наливай!
— Проваливай!
У нас вино мужицкое,
Простое, не заморское —
Не по твоим губам! —

Желтоволосый, сгорбленный,
Подкрался робко к странникам
Крестьянин-белорус,
Туда же к водке тянется:
«Налей и мне маненичко,
Я счастлив!» — говорит.

— А ты не лезь с ручищами!
Докладывай, доказывай
Сперва, чем счастлив ты?

«А счастье наше — в хлебушке:
Я дома в Белоруссии
С мякиною, с кострикою*
Ячменный хлеб жевал;
Бывало, во́пишь го́лосом,
Как роженица корчишься,
Как схватит животы.
А ныне, милость божия! —
Досыта у Губонина*
Дают ржаного хлебушка,
Жую — не нажуюсь!»

Пришел какой-то пасмурный
Мужик с скулой свороченной,
Направо всё глядит:
«Хожу я за медведями,
И счастье мне великое:
Троих моих товарищей
Сломали мишуки,
А я живу, бог милостив!»

— А ну-ка, влево глянь!

Не глянул, как ни пробовал,
Какие рожи страшные
Ни корчил мужичок:
«Свернула мне медведица
Маненичко скулу!»
— А ты с другой померяйся,
Подставь ей щеку правую —
Поправит...— Посмеялися,
Однако поднесли.

Оборванные нищие,
Послышав запах пенного,

И те пришли доказывать,
Как счастливы они:
«Нас у порога лавочник
Встречает подаянием,
А в дом войдем, так из дому
Проводит до ворот...
Чуть запоем мы песенку,
Бежит к окну хозяюшка
С краюхою, с ножом,
А мы-то заливаемся:
«Давать давай — весь каравай,
Не мнется и не крошится,
Тебе скорей, а нам спорей...»

Смекнули наши странники,
Что даром водку тратили.
Да кстати и ведерочку
Конец. «Ну, будет с вас!
Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!»

«А вам бы, други милые,
Спросить Ермилу Гирина,—
Сказал, подсевши к странникам,
Деревни Дымоглотова
Крестьянин Федосей: —
Коли Ермил не выручит,
Счастливцем не объявится,
Так и шататься нечего...»

— А кто такой Ермил?
Князь, что ли, граф сиятельный?

«Не князь, не граф сиятельный,
А просто он — мужик!»

— Ты говори толковее,
Садись, а мы послушаем,
Какой такой Ермил?

«А вот какой: сиротскую
Держал Ермила мельницу*
На Унже. По суду

Продать решили мельницу:
Пришел Ермило с прочими
В палату на торги*.
Пустые покупатели
Скоренько отвалилися,
Один купец Алтынников
С Ермилом в бой вступил,
Не отстает, торгуется,
Наносит по копеечке.
Ермило как рассердится —
Хвать сразу пять рублей!
Купец опять копеечку,
Пошло у них сражение:
Купец его копейкою,
А тот его рублем!
Не устоял Алтынников!
Да вышла тут оказия:
Тотчас же стали требовать
Задатков третью часть,
А третья часть — до тысячи.
С Ермилом денег не было,
Уж сам ли он сплошал,
Схитрили ли подьячие,
А дело вышло дрянь!
Повеселел Алтынников:
— Моя, выходит, мельница!

«Нет! — говорит Ермил,
Подходит к председателю: —
Нельзя ли вашей милости
Помешкать полчаса?»

— Что в полчаса ты сделаешь?

«Я деньги принесу!»

— А где найдешь? В уме ли ты?
Верст тридцать пять до мельницы,
А через час присутствию*
Конец, любезный мой!

«Так полчаса позволите?»

— Пожалуй, час промешкаем! —

Пошел Ермил; подьячие
С купцом переглянулися,
Смеются, подлецы!
На площадь на торговую
Пришел Ермило (в городе
Тот день базарный был),
Стал на́ воз, видим: крестится,
На все четыре стороны
Поклон,— и громким голосом
Кричит: «Эй, люди добрые!
Притихните, послушайте,
Я слово вам скажу!»
Притихла площадь людная,
И тут Ермил про мельницу
Народу рассказал:
«Давно купец Алтынников
Присватывался к мельнице,
Да не плошал и я,
Раз пять справлялся в городе,
Сказали: с переторжкою*
Назначены торги.
Без дела, сами знаете,
Возить казну крестьянину
Проселком не рука.
Приехал я без грошика,
Ан глядь — они спроворили
Без переторжки торг!
Схитрили души подлые,
Да и смеются нехристи:
«Что часом ты поделаешь?
Где денег ты найдешь?»
Авось найду, бог милостив!
Хитры, сильны подьячие,
А мир их посильней,
Богат купец Алтынников,
А всё не устоять ему
Против мирской казны,—
Ее, как рыбу из моря,
Века ловить — не выловить.
Ну, братцы! видит бог,
Разделаюсь в ту пятницу!
Не дорога мне мельница,
Обида велика!
Коли Ермила знаете,
Коли Ермилу верите,
Так выручайте, что ль!..»

И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, по́лу левую
Заворотило вдруг!
Крестьянство раскошелилось,
Несут Ермилу денежки,
Дают, кто чем богат.
Ермило парень грамотный,
Да некогда записывать,
Успей пересчитать!
Наклали шляпу полную
Целковиков, лобанчиков*,
Прожженной, битой, трепаной
Крестьянской ассигнации.
Ермило брал — не брезговал
И медным пятаком.
Еще бы стал он брезговать,
Когда тут попадалася
Иная гривна медная*
Дороже ста рублей!

Уж сумма вся исполнилась,
А щедрота народная
Росла: «Бери, Ермил Ильич,
Отдашь, не пропадет!»
Ермил народу кланялся
На все четыре стороны,
В палату шел со шляпою,
Зажавши в ней казну.
Сдивилися подьячие,
Позеленел Алтынников,
Как он сполна всю тысячу
Им выложил на стол!..
Не волчий зуб, так лисий хвост,—
Пошли юлить подьячие,
С покупкой поздравлять!
Да не таков Ермил Ильич,
Не молвил слова лишнего,
Копейки не дал им!

Глядеть весь город съехался,
Как в день базарный, пятницу,
Через неделю времени
Ермил на той же площади
Рассчитывал народ.
Упомнить где же всякого?

В ту пору дело делалось
В горячке, второпях!
Однако споров не было,
И выдать гро́ша лишнего
Ермилу не пришлось.
Еще, он сам рассказывал —
Рубль лишний, чей — бог ведает!
Остался у него.
Весь день с мошной раскрытою
Ходил Ермил, допытывал,
Чей рубль? да не нашел.
Уж солнце закатилося,
Когда с базарной площади
Ермил последний тронулся,
Отдав тот рубль слепым...
Так вот каков Ермил Ильич».

— Чудён! — сказали странники.—
Однако знать желательно,
Каким же колдовством
Мужик над всей округою
Такую силу взял?

«Не колдовством, а правдою.
Слыхали про Адовщину,
Юрлова князя вотчину?»

— Слыхали, ну так что ж?

«В ней главный управляющий
Был корпуса жандармского
Полковник со звездой,
При нем пять-шесть помощников,
А наш Ермило писарем
В конторе состоял.

Лет двадцать было малому.
Какая воля писарю?
Однако для крестьянина
И писарь человек.
К нему подходишь к первому,
А он и посоветует
И справку наведет;
Где хватит силы — выручит,
Не спросит благодарности,
И дашь, так не возьмет!

Худую совесть надобно —
Крестьянину с крестьянина
Копейку вымогать.

Таким путем вся вотчина
В пять лет Ермилу Гирина
Узнала хорошо.
А тут его и выгнали...
Жалели крепко Гирина,
Трудненько было к новому,
Хапуге, привыкать,
Однако делать нечего,
По времени приладились
И к новому писцу.
Тот ни строки без трёшника,
Ни слова без семишника*,
Прожженный, из кутейников* —
Ему и бог велел!

Однако, волей божией,
Недолго он поцарствовал,—
Скончался старый князь,
Приехал князь молоденький,
Прогнал того полковника,
Прогнал его помощника,
Контору всю прогнал,
А нам велел из вотчины
Бурмистра изобрать.
Ну, мы недолго думали,
Шесть тысяч душ, всей вотчиной
Кричим: «Ермилу Гирина!» —
Как человек един!
Зовут Ермилу к барину.
Поговорив с крестьянином,
С балкона князь кричит:
«Ну, братцы! будь по-вашему.
Моей печатью княжеской
Ваш выбор утвержден:
Мужик проворный, грамотный,
Одно скажу: не молод ли?..»

А мы: «Нужды нет, батюшка,
И молод, да умен!»
Пошел Ермило царствовать
Над всей княжою вотчиной,
И царствовал же он!

В семь лет мирской копеечки
Под ноготь не зажал,
В семь лет не тронул правого,
Не попустил виновному,
Душой не покривил...»

— Стой! — крикнул укорительно
Какой-то попик седенький
Рассказчику.— Грешишь!
Шла борона прямехонько,
Да вдруг махнула в сторону —
На камень зуб попал!
Коли взялся рассказывать,
Так слова не выкидывай
Из песни: или странникам
Ты сказку говоришь?..
Я знал Ермилу Гирина...

«А я небось не знал?
Одной мы были вотчины,
Одной и той же волости,
Да нас перевели...»

— А коли знал ты Гирина,
Так знал и брата Митрия
Подумай-ка, дружок.

Рассказчик призадумался
И, помолчав, сказал:
«Соврал я: слово лишнее
Сорвалось на маху!
Был случай, и Ермил-мужик
Свихнулся: из рекрутчины*
Меньшого брата Митрия
Повыгородил он.
Молчим: тут спорить нечего,
Сам барин брата старосты
Забрить бы не велел,
Одна Ненила Власьевна
По сыне горько плачется,
Кричит: не наш черед!
Известно, покричала бы,
Да с тем бы и отъехала.
Так что же? Сам Ермил,
Покончивши с рекрутчиной,
Стал тосковать, печалиться,

Не пьет, не ест: тем кончилось,
Что в деннике* с веревкою
Застал его отец.
Тут сын отцу покаялся:
«С тех пор, как сына Власьевны
Поставил я не в очередь,
Постыл мне белый свет!»
А сам к веревке тянется.
Пытали уговаривать
Отец его и брат,
Он всё одно: «Преступник я!
Злодей! вяжите руки мне,
Ведите в суд меня!»
Чтоб хуже не случилося,
Отец связал сердечного,
Приставил караул.

Сошелся мир, шумит, галдит,
Такого дела чудного
Вовек не приходилося
Ни видеть, ни решать.
Ермиловы семейные
Уж не о том старалися,
Чтоб мы им помирволили*,
А строже рассуди —
Верни парнишку Власьевне,
Не то Ермил повесится,
За ним не углядишь!
Пришел и сам Ермил Ильич,
Босой, худой, с колодками*,
С веревкой на руках,
Пришел, сказал: «Была пора,
Судил я вас по совести,
Теперь я сам грешнее вас:
Судите вы меня!»
И в ноги поклонился нам.
Ни дать ни взять юродивый,
Стоит, вздыхает, крестится,
Жаль было нам глядеть,
Как он перед старухою,
Перед Ненилой Власьевной,
Вдруг на колени пал!

Ну, дело всё обладилось,
У господина сильного
Везде рука: сын Власьевны

Вернулся, сдали Митрия,
Да, говорят, и Митрию
Не тяжело служить:
Сам князь о нем заботится.
А за провинность с Гирина
Мы положили штраф:
Штрафные деньги рекруту,
Часть небольшая Власьевне,
Часть миру на вино...

Однако после этого
Ермил не скоро справился,
С год как шальной ходил.
Как ни просила вотчина,
От должности уволился,
В аренду снял ту мельницу,
И стал он пуще прежнего
Всему народу люб:
Брал за помол по совести,
Народу не задерживал —
Приказчик, управляющий,
Богатые помещики
И мужики беднейшие —
Все очереди слушались,
Порядок строгий вел!
Я сам уж в той губернии
Давненько не бывал,
А про Ермилу слыхивал,
Народ им не нахвалится,
Сходите вы к нему».

— Напрасно вы проходите,—
Сказал уж раз заспоривший
Седоволосый поп.—
Я знал Ермилу Гирина,
Попал я в ту губернию
Назад тому лет пять
(Я в жизни много странствовал,
Преосвященный наш
Переводить священников
Любил)... С Ермилой Гириным
Соседи были мы.
Да! был мужик единственный!
Имел он всё, что надобно
Для счастья: и спокойствие,
И деньги, и почет,

Почет завидный, истинный,
Не купленный ни де́ньгами,
Ни страхом: строгой правдою,
Умом и добротой!
Да только, повторяю вам,
Напрасно вы проходите,
В остроге он сидит...

«Как так?»
— А воля божия!
Слыхал ли кто из вас,
Как бунтовалась вотчина
Помещика Обрубкова,
Испуганной губернии,
Уезда Недыханьева,
Деревня Столбняки?..
Как о пожарах пишется
В газетах (я их читывал):
«Осталась неизвестною
Причина» — так и тут:
До сей поры неведомо
Ни земскому исправнику*,
Ни высшему правительству,
Ни Столбнякам самим,
С чего стряслась оказия,
А вышло дело дрянь.
Потребовалось воинство,
Сам государев посланный*
К народу речь держал,
То руганью попробует
И плечи с эполетами
Подымет высоко,
То лаской попробует,
И грудь с крестами царскими
Во все четыре стороны
Повертывать начнет.
Да брань была тут лишняя,
А ласка непонятная:
«Крестьянство православное!
Русь-матушка! царь-батюшка!»
И больше ничего!
Побившись так достаточно,
Хотели уж солдатикам
Скомандовать: пали!
Да волостному писарю
Пришла тут мысль счастливая,

Он про Ермилу Гирина
Начальнику сказал:
«Народ поверит Гирину,
Народ его послушает...»
— Позвать его, живей!
. . . . . .

Вдруг крик: «Ай, ай! помилуйте!»,
Раздавшись неожиданно,
Нарушил речь священника,
Все бросились глядеть:
У валика дорожного
Секут лакея пьяного —
Попался в воровстве!
Где пойман, тут и суд ему:
Судей сошлось десятка три,
Решили дать по лозочке,
И каждый дал лозу!
Лакей вскочил и, шлепая
Худыми сапожнишками,
Без слова тягу дал.
«Вишь, побежал, как встрепанный! —
Шутили наши странники,
Узнавши в нем балясника,
Что хвастался какою-то
Особенной болезнию
От иностранных вин.—
Откуда прыть явилася!
Болезнь ту благородную
Вдруг сняло как рукой!»

— Эй, эй, куда ж ты, батюшка!
Ты доскажи историю,
Как взбунтовалась вотчина
Помещика Обрубкова,
Деревня Столбняки?

«Пора домой, родимые.
Бог даст, опять мы встретимся,
Тогда и доскажу!»

Под утро поразъехалась,
Поразбрелась толпа.
Крестьяне спать надумали,
Вдруг тройка с колокольчиком
Откуда ни взялась,
Летит! а в ней качается
Какой-то барин кругленький,
Усатенький, пузатенький,
С сигарочкой во рту.
Крестьяне разом бросились
К дороге, сняли шапочки,
Низенько поклонилися,
Повыстроились в ряд
И тройке с колокольчиком
Загородили путь...

Глава 5

ПОМЕЩИК

Соседнего помещика
Гаврилу Афанасьича
Оболта-Оболдуева
Та троечка везла.
Помещик был румяненький,
Осанистый, присадистый,
Шестидесяти лет;
Усы седые, длинные,
Ухватки молодецкие,
Венгерка с бранденбурами*,
Широкие штаны.
Гаврило Афанасьевич,
Должно быть, перетрусился,
Увидев перед тройкою
Семь рослых мужиков.
Он пистолетик выхватил,
Как сам, такой же толстенький,
И дуло шестиствольное
На странников навел:
— Ни с места! Если тронетесь,
Разбойники! грабители!
На месте уложу!..—
Крестьяне рассмеялися:
«Какие мы разбойники,
Гляди — у нас ни ножика,

Ни топоров, ни вил!»
— Кто ж вы? чего вам надобно?

«У нас забота есть,
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Ты дай нам слово крепкое
На нашу речь мужицкую
Без смеху и без хитрости,
По правде и по разуму,
Как до́лжно, отвечать,
Тогда свою заботушку
Поведаем тебе...»

— Извольте: слово честное,
Дворянское даю!
«Нет, ты нам не дворянское,
Дай слово христианское!
Дворянское с побранкою,
С толчком да с зуботычиной,
То непригодно нам!»

— Эге! какие новости!
А впрочем, будь по-вашему!
Ну, в чем же ваша речь?..
«Спрячь пистолетик! выслушай!
Вот так! Мы не грабители,
Мы мужики смиренные,
Из временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из разных деревень —
Несытова, Неелова,
Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодухина,
Неурожайка тож.
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,

Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому,—
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю:..
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь! Как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши — повздорили,
Повздоривши — подрались,
Подравшися — удумали:
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть доподлинно:
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
Скажи ж ты нам по-божески,
Сладка ли жизнь помещичья?
Ты как — вольготно, счастливо,
Помещичек, живешь?»

Гаврило Афанасьевич
Из тарантаса выпрыгнул,
К крестьянам подошел:
Как лекарь, руку каждому
Пощупал, в лица глянул им,
Схватился за бока
И покатился со смеху...
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Здоровый смех помещичий
По утреннему воздуху
Раскатываться стал...

Нахохотавшись досыта,
Помещик не без горечи

Сказал: «Наденьте шапочки,
Садитесь, *господа!*»

— Мы господа не важные,
Перед твоею милостью
И постоим...
«Нет! нет!
Прошу садиться, *граждане!*»
Крестьяне поупрямились,
Однако делать нечего,
Уселись на валу.

«И мне присесть позволите?
Эй, Прошка, рюмку хересу,
Подушку и ковер!»

Расположась на коврике
И выпив рюмку хересу,
Помещик начал так:

«Я дал вам слово честное
Ответ держать по совести,
А нелегко оно!
Хоть люди вы почтенные,
Однако не ученые,
Как с вами говорить?
Сперва понять вам надо бы,
Что́ значит слово самое:
Помещик, дворянин.
Скажите вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?»
— Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое! —
Сказали мужики.
«Попали пальцем в небо вы!..
Скажу вам вразумительней:
Я роду именитого,
Мой предок Оболдуй
Впервые поминается
В старинных русских грамотах
Два века с половиною
Назад тому. Гласит
Та грамота: «Татарину
Оболту Оболдуеву
Дано суконце доброе,

Ценою в два рубля:
Волками и лисицами
Он тешил государыню,
В день царских именин
Спускал медведя дикого
С своим, и Оболдуева
Медведь тот ободрал...»
Ну, поняли, любезные?»
— Как не понять! С медведями
Немало их шатается,
Прохвостов, и теперь.

«Вы всё свое, любезные!
Молчать! уж лучше слушайте,
К чему я речь веду:
Тот Оболдуй, потешивший
Зверями государыню,
Был корень роду нашему,
А было то, как сказано,
С залишком двести лет.
Прапрадед мой по матери
Был и того древней:
«Князь Щепин с Васькой Гусевым
(Гласит другая грамота)
Пытал поджечь Москву,
Казну пограбить думали,
Да их казнили смертию»,
А было то, любезные,
Без мала триста лет.
Так вот оно откудова
То дерево дворянское
Идет, друзья мои!»

— А ты, примерно, яблочко
С того выходишь дерева? —
Сказали мужики.

«Ну, яблочко так яблочко!
Согласен! Благо поняли
Вы дело наконец.
Теперь — вы сами знаете —
Чем дерево дворянское
Древней, тем именитее,
Почетней дворянин.
Не так ли, благодетели?»

— Так! — отвечали странники.—
Кость белая, кость черная,
И поглядеть, так разные,—
Им разный и почет!

«Ну, вижу, вижу: поняли!
Так вот, друзья,— и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,
Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе,
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!
Пойдешь ли деревенькою —
Крестьяне в ноги валятся,
Пойдешь лесными дачами* —
Столетними деревьями
Преклонятся леса!
Пойдешь ли пашней, нивою —
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор!
Там рыба в речке плещется:
«Жирей-жирей до времени!»
Там заяц лугом крадется:
«Гуляй-гуляй до осени!»
Всё веселило барина,
Любовно травка каждая
Шептала: «Я твоя!»

Краса и гордость русская,
Белели церкви божии
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.
Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с а́нглийскими парками;
На каждом флаг играл,
Играл-манил приветливо,
Гостеприимство русское
И ласку обещал.

Французу не привидится
Во сне — какие праздники,
Не день, не два — по месяцу
Мы задавали тут.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актеры, музыка,
Прислуги — целый полк!

Пять поваров да пекаря,
Двух кузнецов, обойщика,
Семнадцать музыкантиков
И двадцать два охотника
Держал я... Боже мой!..»

Помещик закручинился,
Упал лицом в подушечку,
Потом привстал, поправился.
— Эй, Прошка! — закричал.
Лакей, по слову барскому,
Принес кувшинчик с водкою.
Гаврило Афанасьевич,
Откушав, продолжал:
«Бывало, в осень позднюю
Леса твои, Русь-матушка,
Одушевляли громкие
Охотничьи рога.
Унылые, поблекшие
Леса полураздетые
Жить начинали вновь,
Стояли по опушечкам
Борзовщики-разбойники,
Стоял помещик сам,
А там, в лесу, выжлятники
Ревели, сорвиголовы,
Варили-варом гончие*.
Чу! подзывает рог!..
Чу! стая воет! сгрудились!
Никак, по зверю красному
Погнали?.. улю-лю!
Лисица черно-бурая,
Пушистая, матерая
Летит, хвостом метет!
Присели, притаилися,
Дрожа всем телом, рьяные,
Догадливые псы:

Пожалуй, гостья жданная!
Поближе к нам, молодчикам,
Подальше от кустов!
Пора! Ну, ну! не выдай, конь!
Не выдайте, собаченьки!
Эй! улю-лю! родимые!
Эй! — улю-лю!.. а-ту!..»
Гаврило Афанасьевич,
Вскочив с ковра персидского,
Махал рукой, подпрыгивал,
Кричал! Ему мерещилось,
Что травит он лису...

Крестьяне молча слушали,
Глядели, любовалися,
Посмеивались в ус...

«Ой ты, охота псовая!
Забудут всё помещики,
Но ты, исконно-русская
Потеха! не забудешься
Ни во́ веки веков!
Не о себе печалимся,
Нам жаль, что ты, Русь-матушка,
С охотою утратила
Свой рыцарский, воинственный,
Величественный вид!
Бывало, нас по осени
До полусотни съедется
В отъезжие поля*;
У каждого помещика
Сто гончих в напуску*,
У каждого по дюжине
Борзовщиков верхом,
При каждом с кашеварами,
С провизией обоз.
Как с песнями да с музыкой
Мы двинемся вперед,
На что кавалерийская
Дивизия твоя!
Летело время соколом,
Дышала грудь помещичья
Свободно и легко.
Во времена боярские,
В порядки древнерусские
Переносился дух!

Ни в ком противоречия,
Кого хочу — помилую,
Кого хочу — казню.
Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот!..»

Вдруг, как струна порвалася,
Осеклась речь помещичья.
Потупился, нахмурился,
— Эй, Прошка! — закричал.
Глотнул — и мягким голосом
Сказал: «Вы сами знаете,
Нельзя же и без строгости?
Но я карал — любя.
Порвалась цепь великая —
Теперь не бьем крестьянина,
Зато уж и отечески
Не милуем его.
Да, был я строг по времени,
А впрочем, больше ласкою
Я привлекал сердца.

Я в воскресенье светлое
Со всей своею вотчиной
Христосовался сам!
Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший,
На нем и яйца красные,
И пасха, и кулич!
Моя супруга, бабушка,
Сынишки, даже барышни
Не брезгуют, целуются
С последним мужиком.
«Христос воскрес!» — «Воистину!»
Крестьяне разговляются,
Пьют брагу и вино...

Пред каждым почитаемым
Двунадесятым праздником*
В моих парадных горницах
Поп всенощну служил.
И к той домашней всенощной
Крестьяне допускалися,

Молись — хоть лоб разбей!
Страдало обоняние,
Сбивали после с вотчины
Баб отмывать полы!
Да чистота духовная
Тем самым сберегалася,
Духовное родство!
Не так ли, благодетели?»

— Так! — отвечали странники,
А про себя подумали:
«Колом сбивал их, что ли, ты
Молиться в барский дом?..»

«Зато, скажу не хвастая,
Любил меня мужик!
В моей сурминской вотчине
Крестьяне всё подрядчики*,—
Бывало, дома скучно им,
Все на чужую сторону
Отпросятся с весны...
Ждешь — не дождешься осени,
Жена, детишки малые
И те гадают, ссорятся:
Какого им гостинчику
Крестьяне принесут!
И точно: поверх барщины,
Холста, яиц и живности,
Всего, что на помещика
Сбиралось искони,—
Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли!
Из Киева — с вареньями,
Из Астрахани — с рыбою,
А тот, кто подостаточней,
И с шелковой материей:
Глядь, чмокнул руку барыне
И сверток подает!
Детя́м игрушки, лакомства,
А мне, седому бражнику,
Из Питера вина!
Толк вызнали, разбойники,
Небось не к Кривоногову,
К французу забежит.
Тут с ними разгуляешься,
По-братски побеседуешь,

Жена рукою собственной
По чарке им нальет.
А детки тут же малые
Посасывают прянички
Да слушают досужие
Рассказы мужиков —
Про трудные их промыслы,
Про чужедальны стороны,
Про Петербург, про Астрахань,
Про Киев, про Казань...

Так вот как, благодетели,
Я жил с моею вотчиной,
Не правда ль, хорошо?..»
— Да, было вам, помещикам,
Житье куда завидное,
Не надо умирать!

«И всё прошло! всё минуло!..
Чу! похоронный звон!..»

Прислушалися странники,
И точно: из Кузьминского
По утреннему воздуху
Те звуки, грудь щемящие,
Неслись. «Покой крестьянину
И царствие небесное!» —
Проговорили странники
И покрестились все...

Гаврило Афанасьевич
Снял шапочку — и набожно
Перекрестился тож:
«Звонят не по крестьянину!
По жизни по помещичьей
Звонят!.. Ой, жизнь широкая!
Прости-прощай навек!
Прощай и Русь помещичья!
Теперь не та уж Русь!
Эй, Прошка!» (выпил водочки
И посвистал)...
«Невесело
Глядеть, как изменилося
Лицо твое, несчастная
Родная сторона!

Сословье благородное
Как будто всё попряталось,
Повымерло! Куда
Ни едешь, попадаются
Одни крестьяне пьяные,
Акцизные чиновники,
Поляки пересыльные*,
Да глупые посредники*,
Да иногда пройдет
Команда. Догадаешься:
Должно быть, взбунтовалося
В избытке благодарности
Селенье где-нибудь!
А прежде что́ тут мчалося
Колясок, бричек троечных,
Дормезов* шестерней!
Катит семья помещичья —
Тут маменьки солидные,
Тут дочки миловидные
И резвые сынки!
Поющих колокольчиков,
Воркующих бубенчиков
Наслушаешься всласть.
А нынче чем рассеешься?
Картиной возмутительной
Что шаг — ты поражен:
Кладбищем вдруг повеяло,
Ну, значит, приближаемся
К усадьбе... Боже мой!
Разобран по кирпичику
Красивый дом помещичий,
И аккуратно сложены
В колонны кирпичи!
Обширный сад помещичий,
Столетьями взлелеянный,
Под топором крестьянина
Весь лег,— мужик любуется,
Как много вышло дров!
Черства душа крестьянина,
Подумает ли он,
Что дуб, сейчас им сваленный,
Мой дед рукою собственной
Когда-то насадил?
Что вон под той рябиною
Резвились наши детушки,
И Ганичка и Верочка,

Аукались со мной?
Что тут, под этой липою,
Жена моя призналась мне,
Что тяжела она
Гаврюшей, нашим первенцем,
И спрятала на грудь мою
Как вишня покрасневшее
Прелестное лицо?..
Ему была бы выгода —
Радехонек помещичьи
Усадьбы изводить!
Деревней ехать совестно,
Мужик сидит — не двинется,
Не гордость благородную —
Желчь чувствуешь в груди.
В лесу не рог охотничий
Звучит — топор разбойничий,
Шалят!.. а что поделаешь?
Кем лес убережешь?..
Поля — недоработаны,
Посевы — недосеяны,
Порядку нет следа!
О матушка! о родина!
Не о себе печалимся,
Тебя, родная, жаль.
Ты, как вдова печальная,
Стоишь с косой распущенной,
С неубранным лицом!..
Усадьбы переводятся,
Взамен их распложаются
Питейные дома!..
Поят народ распущенный,
Зовут на службы земские,
Сажают, учат грамоте,—
Нужна ему она!
На всей тебе, Русь-матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
«Навынос и распивочно».
Чтоб их читать, крестьянина
Мудреной русской грамоте
Не сто́ит обучать!..

А нам земля осталася...
Ой ты, земля помещичья!

Ты нам не мать, а мачеха
Теперь... «А кто велел? —
Кричат писаки праздные,—
Так вымогать, насиловать
Кормилицу свою!»
А я скажу: а кто же ждал?
Ох! эти проповедники!
Кричат: «Довольно барствовать!
Проснись, помещик заспанный!
Вставай! — учись! трудись!..»

Трудись! Кому вы вздумали
Читать такую проповедь!
Я не крестьянин-лапотник —
Я божиею милостью
Российский дворянин!
Россия — не неметчина,
Нам чувства деликатные,
Нам гордость внушена!
Сословья благородные
У нас труду не учатся.
У нас чиновник плохонький
И тот полов не выметет,
Не станет печь топить...
Скажу я вам, не хвастая,
Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отличу ячменного,
А мне поют: «Трудись!»

А если и действительно
Свой долг мы ложно поняли
И наше назначение
Не в том, чтоб имя древнее,
Достоинство дворянское
Поддерживать охотою,
Пирами, всякой роскошью
И жить чужим трудом,
Так надо было ранее
Сказать... Чему учился я?
Что видел я вокруг?..
Коптил я небо божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную

И думал век так жить...
И вдруг... Владыко праведный!..»

Помещик зарыдал...

Крестьяне добродушные
Чуть тоже не заплакали,
Подумав про себя:
«Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..»

ПОСЛЕДЫШ

(Из второй части)

1

Петровки*. Время жаркое.
В разгаре сенокос.

Минув деревню бедную,
Безграмотной губернии,
Старо-Вахлацкой волости,
Большие Вахлаки,
Пришли на Волгу странники...
Над Волгой чайки носятся;
Гуляют кулики
По отмели. А по́ лугу,
Что гол, как у подьячего
Щека, вчера побритая,
Стоят «князья Волконские»[1]
И детки их, что ранее
Родятся, чем отцы[2].

— Прокосы широчайшие! —
Сказал Пахом Онисимыч.—
Здесь богатырь-народ! —

---

[1] Стоги.
[2] Копны.

Смеются братья Губины:
Давно они заметили
Высокого крестьянина
Со жбаном — на стогу;
Он пил, а баба с вилами,
Задравши кверху голову,
Глядела на него.
Со стогом поравнялися —
Всё пьет мужик! Отмерили
Еще шагов полста,
Все разом оглянулися:
По-прежнему, закинувшись,
Стоит мужик; посудина
Дном кверху поднята...

Под берегом раскинуты
Шатры; старухи, лошади
С порожними телегами
Да дети видны тут.
А дальше, где кончается
Отава подкошённая,
Народу тьма! Там белые
Рубахи баб, да пестрые
Рубахи мужиков,
Да голоса, да звяканье
Проворных кос. «Бог на́ помочь!»
— Спасибо, молодцы!

Остановились странники...
Размахи сенокосные
Идут чредою правильной:
Все разом занесенные
Сверкнули косы, звякнули,
Трава мгновенно дрогнула
И пала, прошумев!

По низменному берегу,
На Волге травы рослые,
Веселая косьба.
Не выдержали странники:
«Давно мы не работали,
Давайте покоси́м!»
Семь баб им косы отдали.
Проснулась, разгорелася
Привычка позабытая
К труду! Как зубы с голоду,

Работает у каждого
Проворная рука.
Валят траву высокую
Под песню, незнакомую
Вахлацкой стороне;
Под песню, что навеяна
Метелями и вьюгами
Родимых деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож...

Натешившись, усталые,
Присели к стогу завтракать...

«Откуда, молодцы? —
Спросил у наших странников
Седой мужик (которого
Бабёнки звали Власушкой).—
Куда вас бог несет?»

— А мы...— сказали странники
И замолчали вдруг:
Послышалась им музыка!
«Помещик наш катается,—
Промолвил Влас и бросился
К рабочим: — Не зевать!
Коси дружней! А главное:
Не огорчить помещика.
Рассердится — поклон ему!
Похвалит вас — «ура» кричи...
Эй, бабы! не галдеть!»
Другой мужик, присадистый,
С широкой бородищею,
Почти что то же самое
Народу приказал,
Надел кафтан — и барина
Бежит встречать. «Что за люди? —
Оторопелым странникам
Кричит он на бегу.—
Снимите шапки!»

К берегу
Причалили три лодочки.
В одной — прислуга, музыка,

В другой — кормилка дюжая
С ребенком, няня старая
И приживалка тихая,
А в третьей — господа:
Две барыни красивые
(Потоньше — белокурая,
Потолще — чернобровая),
Усатые два барина,
Три ба́рченка-погодочки
Да старый старичок:
Худой! как зайцы зимние,
Весь бел, и шапка белая*,
Высокая, с околышем
Из красного сукна.
Нос клювом, как у ястреба,
Усы седые, длинные
И — разные глаза:
Один здоровый — светится,
А левый — мутный, пасмурный,
Как оловянный грош!

При них собачки белые,
Мохнатые, с султанчиком,
На крохотных ногах...

Старик, поднявшись на́ берег,
На красном мягком коврике
Долгонько отдыхал,
Потом покос осматривал:
Его водили под руки
То господа усатые,
То молодые барыни,—
И так, со всею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Всё поле сенокосное
Помещик обошел.
Крестьяне низко кланялись.
Бурмистр (смекнули странники,
Что тот мужик присадистый
Бурмистр) перед помещиком,
Как бес перед заутреней,
Юлил: «Так точно! Слушаю-с!» —
И кланялся помещику
Чуть-чуть не до земли.

В один стожище ма́терой,
Сегодня только смётанный,
Помещик пальцем ткнул,
Нашел, что сено мокрое,
Вспылил: «Добро господское
Гноить? Я вас, мошенников,
Самих сгною на барщине!
Пересушить сейчас!..»
Засуетился староста:
«Недосмотрел маненичко!
Сыренько: виноват!»
Созвал народ — и вилами
Богатыря кряжистого,
В присутствии помещика,
По клочьям разнесли.
Помещик успокоился.

(Попробовали странники:
Сухохонько сенцо!)

Бежит лакей с салфеткою,
Хромает: «Кушать подано!»
Со всей своею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Пошел помещик завтракать,
Работы осмотрев.
С реки из лодки грянула
Навстречу барам музыка,
Накрытый стол белеется
На самом берегу...

Дивятся наши странники.
Пристали к Власу: — Дедушка!
Что за порядки чу́дные?
Что за чудно́й старик?

«Помещик наш: Утятин князь!»

— Чего же он куражится?
Теперь порядки новые,
А он дурит по-старому:
Сенцо сухим-сухохонько —
Велел пересушить!

«А то еще диковинней,
Что и сенцо-то самое,
И пожня — не его!»

— А чья же?

«Нашей вотчины».

— Чего же он тут су́ется,
Ин вы у бога не́люди?

«Нет, мы, по божьей милости,
Теперь крестьяне вольные,
У нас, как у людей,
Порядки тоже новые,
Да тут статья особая...»

— Какая же статья?

Под стогом лег старинушка
И — больше ни словца!
К тому же стогу странники
Присели; тихо молвили:
— *Эй! скатерть самобранная,*
Попотчуй мужиков! —
И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися
Две дюжие руки:
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять...

Налив стаканчик дедушке,
Опять пристали странники:
— Уважь! скажи нам, Власушка,
Какая тут статья?

«Да пустяки! Тут нечего
Рассказывать... А сами вы
Что за́ люди? Откуда вы?
Куда вас бог несет?»

— Мы люди чужестранные,
Давно, по делу важному,
Домишки мы покинули,
У нас забота есть...

Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды...

Остановились странники...

«О чем же вы хлопочете?»

— Да помолчим! Поели мы,
Так отдохнуть желательно.—
И улеглись. Молчат!

«Вы так-то! а по-нашему,
Коль начал, так досказывай!»
— А сам небось молчишь!
Мы не в тебя, старинушка!
Изволь, мы скажем: видишь ли,
Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошеной волости,
Избыткова села!..—
И рассказали странники,
Как встретились нечаянно,
Как подрались, заспоривши,
Как дали свой зарок
И как потом шатались,
Искали по губерниям
Подтянутой, Подстреленной,
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?

Влас слушал — и рассказчиков
Глазами мерял: «Вижу я,
Вы тоже люди странные! —
Сказал он наконец.—
Чудим и мы достаточно,
А вы — и нас чудней!»

— Да что ж у вас-то деется?
Еще стаканчик, дедушка!

Как выпил два стаканчика,
Разговорился Влас:

2

«Помещик наш особенный,
Богатство непомерное,
Чин важный, род вельможеский,
Весь век чудил, дурил,
Да вдруг гроза и грянула...
Не верит: врут, разбойники!
Посредника, исправника
Прогнал! дурит по-старому.
Стал крепко подозрителен,
Не поклонись — дерет!
Сам губернатор к барину
Приехал: долго спорили,
Сердитый голос барина
В застольной дворня слышала;
Озлился так, что к вечеру
Хватил его удар!
Всю половину левую
Отбило: словно мертвая,
И, как земля, черна...
Пропал ни за копеечку!
Известно, не корысть,
А спесь его подрезала,
Соринку он терял».

— Что значит, други милые,
Привычка-то помещичья! —
Заметил Митродор.

— Не только над помещиком,
Привычка над крестьянином
Сильна,— сказал Пахом.—
Я раз, по подозрению
В острог попавши, чудного
Там видел мужика.
За конокрадство, кажется,
Судился, звали Сидором,
Так из острога барину
Он посылал оброк!
(Доходы арестантские
Известны: подаяние,
Да что-нибудь сработает,
Да стащит что-нибудь.)
Ему смеялись прочие:

— А ну, на поселение
Сошлют — пропали денежки!
«Всё лучше»,— говорит...

— Ну, дальше, дальше, дедушка!

«Соринка — дело плевое,
Да только не в глазу:
Пал дуб на море тихое,
И море всё заплакало —
Лежит старик без памяти
(Не встанет, так и думали!).
Приехали сыны,
Гвардейцы черноусые
(Вы их на пожне видели,
А барыни красивые —
То жены молодцов).
У старшего доверенность
Была: по ней с посредником
Установили грамоту...*
Ан вдруг и встал старик!
Чуть заикнулись... Господи!
Как зверь метнулся раненый
И загремел, как гром!
Дела-то всё недавние,
Я был в то время старостой,
Случился тут — так слышал сам,
Как он честил помещиков,
До слова помню всё:
«Корят жидов, что предали
Христа... а вы что сделали?
Права свои дворянские,
Веками освященные,
Вы предали!..» Сынам
Сказал: «Вы трусы подлые!
Не дети вы мои!
Пускай бы люди мелкие,
Что вышли из поповичей
Да, понажившись взятками,
Купили мужиков,
Пускай бы... им простительно!
А вы... князья Утятины?
Какие вы У-тя-ти-ны!
Идите вон!.. подкидыши,
Не дети вы мои!»

Оробели наследники:
А ну как перед смертию
Лишит наследства? Мало ли
Лесов, земель у батюшки?
Что́ денег понакоплено,
Куда пойдет добро?
Гадай! У князя в Питере
Три дочери побочные
За генералов выданы,
Не отказал бы им!

А князь опять больнехонек...
Чтоб только время выиграть,
Придумать, как тут быть?
Которая-то барыня
(Должно быть, белокурая:
Она ему, сердечному,
Слыхал я, терла щеткою
В то время левый бок)
Возьми и брякни барину,
Что мужиков помещикам
Велели воротить!

Поверил! Проще малого
Ребенка стал старинушка,
Как паралич расшиб!
Заплакал! пред иконами
Со всей семьею молится,
Велит служить молебствие,
Звонить в колокола!

И силы словно прибыло,
Опять: охота, музыка,
Дворовых дует палкою,
Велит созвать крестьян.

С дворовыми наследники
Стакнулись, разумеется,
А есть один (он давеча
С салфеткой прибегал),
Того и уговаривать
Не надо было: барина
Столь много любит он!
Ипатом прозывается.

Как воля нам готовилась,
Так он не верил ей:
«Шалишь! Князья Утятины
Останутся без вотчины?
Нет, руки коротки!»
Явилось «Положение»,—
Ипат сказал: «Балуйтесь вы!
А я князей Утятиных
Холоп — и весь тут сказ!»
Не может барских милостей
Забыть Ипат! Потешные
О детстве и о младости,
Да и о самой старости
Рассказы у него
(Придешь, бывало, к барину,
Ждешь, ждешь... Неволей слушаешь,
Сто раз я слышал их):
«Как был я мал, наш князюшка
Меня рукою собственной
В тележку запрягал;
Достиг я резвой младости:
Приехал в отпуск князюшка
И, подгулявши, выкупал
Меня, раба последнего,
Зимою в проруби́!
Да как чудно́! Две проруби:
В одну опустит в неводе,
В другую мигом вытянет —
И водки поднесет.
Клониться стал я к старости.
Зимой дороги узкие,
Так часто с князем ездили
Мы гусем в пять коней.
Однажды князь — затейник же! —
И посади фалетуром*
Меня, раба последнего,
Со скрипкой — впереди.
Любил он крепко музыку.
«Играй, Ипат!» А кучеру
Кричит: «Пошел живей!»
Метель была изрядная,
Играл я: руки заняты,
А лошадь спотыкливая —
Свалился я с нее!
Ну, сани, разумеется,
Через меня проехали,

Попридавили грудь.
Не то беда: а холодно,
Замерзнешь — нет спасения,
Кругом пустыня, снег...
Гляжу на звезды частые
Да каюсь во грехах.
Так что же, друг ты истинный?
Послышал я бубенчики,
Чу, ближе! чу, звончей!
Вернулся князь (закапали
Тут слезы у дворового,
И сколько ни рассказывал,
Всегда тут плакал он!),
Одел меня, согрел меня
И рядом, недостойного,
С своей особой княжеской
В санях привез домой!»

Похохотали странники...
Глонув вина (в четвертый раз),
Влас продолжал: «Наследники
Ударили и вотчине
Челом: «Нам жаль родителя,
Порядков новых, нонешних
Ему не перенесть.
Поберегите батюшку!
Помалчивайте, кланяйтесь
Да не перечьте хворому,
Мы вас вознаградим:
За лишний труд, за барщину,
За слово даже бранное —
За всё заплатим вам.
Не долго жить сердечному,
Навряд ли два-три месяца,
Сам дохтур объявил!
Уважьте нас, послушайтесь,
Мы вам луга поёмные
По Волге подарим:
Сейчас пошлем посреднику
Бумагу, дело верное!»

Собрался мир, галдит!

Луга-то (эти самые),
Да водка, да с три короба
Посулов то и сделали,

Что мир решил помалчивать
До смерти старика.
Поехали к посреднику:
Смеется! «Дело доброе,
Да и луга хорошие,
Дурачьтесь, бог простит!
Нет на Руси, вы знаете,
Помалчивать да кланяться
Запрета никому!»
Однако я противился:
— Вам, мужикам, спола́горя,
А мне-то каково?
Что ни случится: к барину
Бурмистра! что ни вздумает,
За мной пошлет! Как буду я
На спросы бестолковые
Ответствовать? дурацкие
Приказы исполнять?

«Ты стой пред ним без шапочки,
Помалчивай да кланяйся,
Уйдешь — и дело кончено.
Старик больной, расслабленный,
Не помнит ничего!»

Оно и правда: можно бы!
Морочить полоумного
Нехитрая статья.
Да быть шутом гороховым,
Признаться, не хотелося.
И так я на веку,
У притолоки стоючи,
Помялся перед барином
Досыта! «Коли мир
(Сказал я, миру кланяясь)
Дозволит покуражиться
Уволенному барину
В останные часы,
Молчу и я — покорствую,
А только что от должности
Увольте вы меня!»

Чуть дело не разладилось.
Да Климка Лавин выручил:
«А вы бурмистром сделайте
Меня! Я удовольствую

И старика и вас.
Бог приберет Последыша
Скоренько, а у вотчины
Останутся луга.
Так будем мы начальствовать,
Такие мы строжайшие
Порядки заведем,
Что надорвет животики
Вся вотчина... Увидите!»

Долгонько думал мир.
Что ни на есть отчаянный
Был Клим мужик: и пьяница,
И на руку не чист.
Работать не работает,
С цыганами возжается,
Бродяга, коновал!
Смеется над трудящимся:
С работы, как ни мучайся,
Не будешь ты богат,
А будешь ты горбат!
А впрочем, парень грамотный,
Бывал в Москве и в Питере,
В Сибирь езжал с купечеством,
Жаль, не остался там!
Умен, а грош не держится,
Хитер, а попадается
Впросак! Бахвал мужик!
Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество,
Москва первопрестольная,
Душа великорусская.
«Я — русский мужичок!» —
Горланил диким голосом
И, кокнув в лоб посудою,
Пил залпом полуштоф!
Как рукомойник, кланяться
Готов за водку всякому,
А есть казна — поделится,
Со встречным всё пропьет!
Горазд орать, балясничать,
Гнилой товар показывать
С хазового конца*.
Нахвастает с три короба,
А уличишь — отшутится
Бесстыжей поговоркою,

Что «за погудку правую
Смычком* по роже бьют!»

Подумавши, оставили
Меня бурмистром: правлю я
Делами и теперь.
А перед старым барином
Бурмистром Климку на́звали,
Пускай его! По барину
Бурмистр! перед Последышем
Последний человек!

У Клима совесть глиняна,
А бородища Минина,
Посмотришь, так подумаешь,
Что не найти крестьянина
Степенней и трезвей.
Наследники построили
Кафтан ему: одел его,
И сделался Клим Яковлич
Из Климки бесшабашного
Бурмистр первейший сорт.

Пошли порядки старые!
Последышу-то нашему,
Как на беду, приказаны
Прогулки. Что ни день,
Через деревню катится
Рессорная колясочка:
Вставай! картуз долой!
Бог весть с чего накинется.
Бранит, корит; с угрозою
Подступит — ты молчи!
Увидит в поле пахаря
И за его же полосу
Облает: и лентяи-то,
И лежебоки мы!
А полоса сработана,
Как никогда на барина
Не работа́л мужик,
Да невдомек Последышу,
Что уж давно не барская,
А наша полоса!

Сойдемся — смех! У каждого
Свой сказ про юродивого

Помещика: икается,
Я думаю, ему!
А тут еще Клим Яковлич.
Придет, глядит начальником
(Горда свинья: чесалася
О барское крыльцо!),
Кричит: «Приказ по вотчине!»
Ну, слушаем приказ:
«Докладывал я барину,
Что у вдовы Терентьевны
Избенка развалилася,
Что баба побирается
Христовым подаянием,
Так барин приказал:
На той вдове Терентьевой
Женить Гаврилу Жохова,
Избу поправить заново,
Чтоб жили в ней, плодилися
И правили тягло!»*
А той вдове — под семьдесят,
А жениху — шесть лет!
Ну, хохот, разумеется!..
Другой приказ: «Коровушки
Вчера гнались до солнышка
Близ барского двора
И так мычали глупые,
Что разбудили барина,—
Так пастухам приказано
Впредь унимать коров!»
Опять смеется вотчина.
«А что смеетесь? Всякие
Бывают приказания:
Сидел на губернаторстве
В Якутске генерал.
Так на́ кол тот коровушек
Сажал! Долгонько слушались:
Весь город разукрасили,
Как Питер монументами,
Казненными коровами,
Пока не догадалися,
Что спятил он с ума!»
Еще приказ: «У сторожа,
У ундера Софронова,
Собака непочтительна:
Залаяла на барина,
Так ундера прогнать,

А сторожем к помещичьей
Усадьбе назначается
Ерёмка!..» Покатилися
Опять крестьяне со смеху:
Ерёмка тот с рождения
Глухонемой дурак!

Доволен Клим. Нашел-таки
По нраву должность! Бегает,
Чудит, во всё мешается,
Пить даже меньше стал!
Бабенка есть тут бойкая,
Орефьевна, кума ему,
Так с ней Климаха барина
Дурачит заодно.
Лафа бабенкам! бегают
На барский двор с полотнами,
С грибами, с земляникою:
Всё покупают барыни,
И кормят, и поят!
Шутили мы, дурачились,
Да вдруг и дошутилися
До сущей до беды:
Был грубый, непокладистый
У нас мужик Агап Петров,
Он много нас корил:
«Ай, мужики! Царь сжалился,
Так вы в хомут охотою...
Бог с ними, с сенокосами!
Знать не хочу господ!..»
Тем только успокоили,
Что штоф вина поставили
(Винцо-то он любил).
Да черт его со временем
Нанес-таки на барина:
Везет Агап бревно
(Вишь, мало ночи глупому,
Так воровать отправился
Лес — среди бела дня!),
Навстречу та колясочка,
И барин в ней: «Откудова
Бревно такое славное
Везешь ты, мужичок?..»
А сам смекнул, откудова.
Агап молчит: бревешко-то
Из лесу из господского,

Так что тут говорить!
Да больно уж окрысился
Старик: пилил, пилил его,
Права свои дворянские
Высчитывал ему!

Крестьянское терпение
Выносливо, а временем
Есть и ему конец.
Агап раненько выехал,
Без завтрака: крестьянина
Тошнило уж и так,
А тут еще речь барская,
Как муха неотвязная,
Жужжит под ухо самое...

Захохотал Агап!
«Ах, шут ты, шут гороховый!
Нишкни!» — да и пошел!
Досталось тут Последышу
За дедов и за прадедов,
Не только за себя.
Известно, гневу нашему
Дай волю! Брань господская,
Что́ жало комариное,
Мужицкая — обух!
Опешил барин! Легче бы
Стоять ему под пулями,
Под каменным дождем!
Опешили и сродники,
Бабенки было бросились
К Агапу с уговорами,
Так он вскричал: убью!..

«Что брага, раскуражились
Подонки из поганого
Корыта... Цыц! Нишкни!
Крестьянских душ владение
Покончено. Последыш ты!
Последыш ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы Последышу
Пинка — и кончен бал!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Нишкни!..»

— Ты бунтовщик! — с хрипо́тою
Сказал старик; затрясся весь
И полумертвый пал!
«Теперь конец!» — подумали
Гвардейцы черноусые
И барыни красивые;
Ан вышло — не конец!

Приказ: пред всею вотчиной,
В присутствии помещика,
За дерзость беспримерную
Агапа наказать.
Забегали наследники
И жены их — к Агапушке,
И к Климу, и ко мне!
«Спасите нас, голубчики!
Спасите!» Ходят бледные:
«Коли обман откроется,
Пропали мы совсем!»
Пошел бурмистр орудовать!
С Агапом пил до вечера,
Обнявшись, до полуночи
Деревней с ним гулял,
Потом опять с полуночи
Поил его — и пьяного
Привел на барский двор.
Всё обошлось любёхонько:
Не мог с крылечка сдвинуться
Последыш — так расстроился...
Ну, Климке и лафа!

В конюшню плут преступника
Привел, перед крестьянином
Поставил штоф вина:
«Пей да кричи: помилуйте!
Ой, батюшки! ой, матушки!»
Послушался Агап,
Чу, во́пит! Словно музыку,
Последыш стоны слушает,
Чуть мы не рассмеялися,
Как стал он приговаривать:
«Ка-тай его, раз-бой-ника,
Бун-тов-щи-ка... Ка-тай!»
Ни дать ни взять под розгами
Кричал Агап, дурачился,
Пока не до́пил штоф:

Как из конюшни вынесли
Его мертвецки пьяного
Четыре мужика,
Так барин даже сжалился:
«Сам виноват, Агапушка!» —
Он ласково сказал...»

— Вишь, тоже добрый! сжалился,—
Заметил Пров, а Влас ему:
«Не зол... да есть пословица:
Хвали траву в стогу,
А барина в гробу!
Всё лучше, кабы бог его
Прибрал... Уж нет Агапушки...»

— Как! Умер?

«Да, почтенные:
Почти что в тот же день!
Он к вечеру разохался,
К полуночи попа просил,
К белу́ свету́ преставился.
Зарыли и поставили
Животворящий крест...
С чего? Один бог ведает!
Конечно, мы не тронули
Его не только розгами,
И пальцем. Ну а всё ж
Нет-нет — да и подумаешь:
Не будь такой оказии,
Не умер бы Агап!
Мужик сырой, особенный,
Головка непоклончива,
А тут: иди, ложись!
Положим: ладно кончилось,
А всё Агап надумался:
Упрешься — мир осердится,
А мир дурак — доймет!
Всё разом так подстроилось:
Чуть молодые барыни
Не целовали старого,
Полсотни, чай, подсунули,
А пуще: Клим, бессовестный,
Сгубил его, анафема,
Винищем!..

Вон от барина
Посол идёт: откушали!
Зовет, должно быть, старосту,
Пойду взгляну камедь!»

3

Пошли за Власом странники;
Бабенок тоже несколько
И парней с ними тронулось;
Был полдень, время отдыха,
Так набралось порядочно
Народу — поглазеть.
Все стали в ряд почтительно
Поодаль от господ...

За длинным белым столиком,
Уставленным бутылками
И кушаньями разными,
Сидели господа:
На первом месте — старый князь
Седой, одетый в белое,
Лицо перекошённое,
И — разные глаза.
В петлице крестик беленький
(Влас говорит: «Георгия
Победоносца крест»*).
За стулом в белом галстуке
Ипат, дворовый преданный,
Обмахивает мух.
По сторонам помещика
Две молодые барыни:
Одна черноволосая,
Как свекла губы красные,
По яблоку — глаза!
Другая белокурая,
С распущенной косой,
Ай, косонька! как золото
На солнышке горит!
На трех высоких стульчиках
Три мальчика нарядные,
Салфеточки подвязаны
Под горло у детей.
При них старуха нянюшка,
А дальше — челядь разная:

Учительницы, бедные
Дворянки. Против барина —
Гвардейцы черноусые,
Последыша сыны.

За каждым стулом девочка,
А то и баба с веткою —
Обмахивает мух.
А под столом мохнатые
Собачки белошерстые.
Барчонки дразнят их...

Без шапки перед барином
Стоял бурмистр.

«А скоро ли,—
Спросил помещик, кушая,—
Окончим сенокос?»

— Да как теперь прикажете:
У нас по положению
Три дня в неделю барские,
С тягла: работник с лошадью,
Подросток или женщина,
Да полстарухи в день.
Господский срок кончается...

«Тсс! тсс! — сказал Утятин-князь,
Как человек, заметивший,
Что на тончайшей хитрости
Другого изловил.—
Какой такой *господский срок?*
Откудова ты взял его?» —
И на бурмистра верного
Навел пытливый глаз.

Бурмистр потупил голову.
— Как приказать изволите!
Два-три денька хорошие,
И сено вашей милости
Всё уберем, бог даст!
Не правда ли, ребятушки?..
(Бурмистр воротит к барщине
Широкое лицо.) —
За барщину ответила
Проворная Орефьевна,

Бурмистрова кума:
— Вестимо так, Клим Яковлич,
Покуда вёдро* держится,
Убрать бы сено барское,
А наше — подождет!

«Бабенка, а умней тебя! —
Помещик вдруг осклабился
И начал хохотать.—
Ха-ха! дурак!.. Ха-ха-ха-ха!
Дурак! дурак! дурак!
Придумали: господский срок!
Ха-ха... дурак! ха-ха-ха-ха!
Господский срок — вся жизнь раба!
Забыли, что ли, вы:
Я божиею милостью,
И древней царской грамотой,
И родом и заслугами
Над вами господин!..»

Влас наземь опускается.
— Что так? — спросили странники.
«Да отдохну пока!
Теперь не скоро князюшка
Сойдет с коня любимого!
С тех пор, как слух прошел,
Что воля нам готовится,
У князя речь одна:
Что мужику у барина
До светопреставления
Зажату быть в горсти!..»

И точно: час без малого
Последыш говорил!
Язык его не слушался:
Старик слюною брызгался,
Шипел! И так расстроился,
Что правый глаз задергало,
А левый вдруг расширился
И — круглый, как у филина,—
Вертелся колесом.
Права свои дворянские,
Веками освященные,
Заслуги, имя древнее
Помещик поминал,
Царевым гневом, божиим

Грозил крестьянам, ежели
Взбунтуются они,
И на́крепко приказывал,
Чтоб пустяков не думала,
Не баловалась вотчина,
А слушалась господ!

— Отцы! — сказал Клим Яковлич
С каким-то визгом в голосе,
Как будто вся утроба в нем,
При мысли о помещиках,
Заликовала вдруг.—
Кого же нам и слушаться?
Кого любить? надеяться
Крестьянству на кого?
Бедами упиваемся,
Слезами умываемся,
Куда нам бунтовать?
Всё ваше, всё господское —
Домишки наши ветхие,
И животишки хворые,
И сами — ваши мы!
Зерно, что́ в землю брошено,
И овощь огородная,
И волос на нечесаной
Мужицкой голове —
Всё ваше, всё господское!
В могилках наши прадеды,
На печках деды старые
И в зыбках дети малые —
Всё ваше, всё господское!
А мы, как рыба в неводе,
Хозяева в дому!

Бурмистра речь покорная
Понравилась помещику:
Здоровый глаз на старосту
Глядел с благоволением,
А левый успокоился:
Как месяц в небе стал!
Налив рукою собственной
Стакан вина заморского,
«Пей!» — барин говорит.
Вино на солнце искрится,
Густое, маслянистое.

Клим выпил, не поморщился
И вновь сказал: «Отцы!
Живем за вашей милостью,
Как у Христа за пазухой:
Попробуй-ка без барина
Крестьянин так пожить!
(И снова, плут естественный,
Глонул вина заморского.)
Куда нам без господ?
Бояре — кипарисовы,
Стоят, не гнут головушки!
Над ними — царь один!
А мужики вязо́вые —
И гнутся-то и тянутся,
Скрипят! Где мат крестьянину,
Там барину спола́горя:
Под мужиком лед ломится,
Под барином трещит!
Отцы! руководители!
Не будь у нас помещиков,
Не наготовим хлебушка,
Не запасем травы!
Хранители! радетели!
И мир давно бы рушился
Без разума господского,
Без нашей простоты!
Вам на роду написано
Блюсти крестьянство глупое,
А нам работать, слушаться,
Молиться за господ!»

Дворовый, что́ у барина
Стоял за стулом с веткою,
Вдруг всхлипнул! Слезы катятся
По старому лицу.
«Помолимся же господу
За долголетье барина!» —
Сказал холуй чувствительный
И стал креститься дряхлою,
Дрожащею рукой.
Гвардейцы черноусые
Кисленько как-то глянули
На верного слугу;
Однако — делать нечего! —
Фуражки сняли, крестятся.
Перекрестились барыни,

Перекрестилась нянюшка,
Перекрестился Клим...

Да и мигнул Орефьевне:
И бабы, что́ протискались
Поближе к господам,
Креститься тоже начали,
Одна так даже всхлипнула
Вподобие дворового.
(«Урчи! вдова Терентьевна!
Старуха полоумная!» —
Сказал сердито Влас.)
Из тучи солнце красное
Вдруг выглянуло; музыка
Протяжная и тихая
Послышалась с реки...

Помещик так растрогался,
Что правый глаз заплаканный
Ему платочком вытерла
Сноха с косой распущенной
И чмокнула старинушку
В здоровый этот глаз.
«Вот! — молвил он торжественно
Сынам своим наследникам
И молодым снохам.—
Желал бы я, чтоб видели
Шуты, врали́ столичные,
Что обзывают дикими
Крепостниками нас,
Чтоб видели, чтоб слышали...»

Тут случай неожиданный
Нарушил речь господскую:
Один мужик не выдержал —
Как захохочет вдруг!

Задергало Последыша,
Вскочил, лицом уставился
Вперед! Как рысь, высматривал
Добычу. Левый глаз
Заколесил... «Сы-скать его!
Сы-скать бун-тов-щи-ка!»

Бурмистр в толпу отправился;
Не ищет виноватого,

А думает: как быть?
Пришел в ряды последние,
Где были наши странники,
И ласково сказал:
«Вы люди чужестранные,
Что с вами он поделает?
Подите кто-нибудь!»
Замялись наши странники,
Желательно бы выручить
Несчастных вахлаков,
Да барин глуп: судись потом,
Как влепит сотню добрую
При всем честном миру!
— Иди-ка ты, Романушка! —
Сказали братья Губины.—
Иди! ты любишь бар!
«Нет, сами вы попробуйте!»
И стали наши странники
Друг дружку посылать.
Клим плюнул. «Ну-ка, Власушка,
Придумай, что тут сделаем?
А я устал; мне мочи нет!»

— Ну, да и врал же ты!

«Эх, Влас Ильич! где враки-то? —
Сказал бурмистр с досадою.—
Не в их руках мы, что ль?..
Придет пора последняя:
Заедем все в ухаб[1],
Не выедем никак,
В кромешный ад провалимся,
Так ждет и там крестьянина
Работа на господ!»

«Что ж там-то будет, Климушка?»

«А будет, что назначено:
Они в котле кипеть,
А мы дрова подкладывать!»

(Смеются мужики.)
Пришли сыны Последыша:
«Эх, Клим-чудак! до смеху ли?

---

[1] Могила.

Старик прислал нас; сердится,
Что долго нет виновного...
Да кто у вас сплошал?»

— А кто сплошал, и надо бы
Того тащить к помещику,
Да всё испортит он!
Мужик богатый... Питерщик...*
Вишь, принесла нелегкая
Домой его на грех!
Порядки наши чудные
Ему пока в диковину,
Так смех и разобрал!
А мы теперь расхлебывай!

«Ну... вы его не трогайте,
А лучше киньте жеребий,
Заплатим мы: вот пять рублей...»

— Нет! разбегутся все...

«Ну, так скажите барину,
Что виноватый спрятался».

— А завтра как? Забыли вы
Агапа неповинного?

«Что ж делать?.. Вот беда!»

— Давай сюда бумажку ту!
Постойте! я вас выручу! —
Вдруг объявила бойкая
Бурмистрова кума
И побежала к барину;
Бух в ноги: «Красно солнышко!
Прости, не погуби!
Сыночек мой единственный,
Сыночек надурил!
Господь его без разуму
Пустил на свет! Глупешенек:
Идет из бани — чешется!
Лаптишком вместо ковшика
Напиться норовит!
Работать не работает,
Знай скалит зубы белые,
Смешлив... так бог родил!

В дому-то мало радости:
Избенка развалилася,
Случается, есть нечего —
Смеется дурачок!
Подаст ли кто копеечку,
Ударит ли по темени —
Смеется дурачок!
Смешлив... что с ним поделаешь?
Из дурака, родименький,
И горе смехом прет!»

Такая баба ловкая!
Орет, как на девишнике,
Целует ноги барину,
«Ну, бог с тобой! Иди! —
Сказал Последыш ласково.—
Я не сержусь на глупого,
Я сам над ним смеюсь!»
— Какой ты добрый! — молвила
Сноха черноволосая
И старика погладила
По белой голове.
Гвардейцы черноусые
Словечко тоже вставили:
Где ж дурню деревенскому
Понять слова господские,
Особенно Последыша
Столь умные слова?
А Клим полой суконною
Отер глаза бесстыжие
И пробурчал: «Отцы!
Отцы! сыны атечества!
Умеют наказать,
Умеют и помиловать!»

Повеселел старик!
Спросил вина шипучего.
Высоко пробки прянули,
Попадали на баб.
С испугу бабы визгнули,
Шарахнулись. Старинушка
Захохотал! За ним
Захохотали барыни,
За ними — их мужья,
Потом дворецкий преданный,
Потом кормилки, нянюшки,

А там — и весь народ!
Пошло веселье! Барыни,
По приказанью барина,
Крестьянам поднесли,
Подросткам дали пряников,
Девицам сладкой водочки,
А бабы тоже выпили
По рюмке простяку...

Последыш пил да чокался,
Красивых снох пощипывал.
(«Вот так-то! чем бы старому
Лекарство пить,— заметил Влас,—
Он пьет вино стаканами.
Давно уж меру всякую
Как в гневе, так и в радости
Последыш потерял».)

Гремит на Волге музыка,
Поют и пляшут де́вицы —
Ну, словом, пир горой!
К девицам присоседиться
Хотел старик, встал на ноги
И чуть не полетел!
Сын поддержал родителя.
Старик стоял: притопывал,
Присвистывал, прищелкивал,
А глаз свое выделывал —
Вертелся колесом!

— А вы что ж не танцуете? —
Сказал Последыш барыням
И молодым сынам.—
Танцуйте! — Делать нечего!
Прошлись они под музыку.
Старик их осмеял!
Качаясь, как на палубе
В погоду непокойную,
Представил он, как тешились
В его-то времена!
«Спой, Люба!» Не хотелося
Петь белокурой барыне,
Да старый так пристал!

Чудесно спела барыня!
Ласкала слух та песенка,

Негромкая и нежная,
Как ветер летним вечером,
Легонько пробегающий
По бархатной муравушке,
Как шум дождя весеннего
По листьям молодым!

Под песню ту прекрасную
Уснул Последыш. Бережно
Снесли его в ладью
И уложили сонного.
Над ним с зеленым зонтиком
Стоял дворовый преданный,
Другой рукой отмахивал
Слепней и комаров.
Сидели молча бравые
Гребцы; играла музыка
Чуть слышно... лодка тронулась
И мерно поплыла...
У белокурой барыни
Коса, как флаг распущенный,
Играла на ветру...

— Уважил я Последыша! —
Сказал бурмистр.— Господь с тобой!
Куражься, колоброд!
Не знай про волю новую,
Умри, как жил, помещиком,
Под песни наши рабские,
Под музыку холопскую —
Да только поскорей!
Дай отдохнуть крестьянину!
Ну, братцы! поклонитесь мне,
Скажи спасибо, Влас Ильич:
Я миру порадел!
Стоять перед Последышем
Напасть... язык примелется,
А пуще смех долит.
Глаз этот... как завертится,
Беда! Глядишь да думаешь:
«Куда ты, друг единственный?
По надобности собственной
Аль по чужим делам?
Должно быть, раздобылся ты
Курьерской подорожною!..*»
Чуть раз не прыснул я.

Мужик я пьяный, ветреный,
В амбаре крысы с голоду
Подохли, дом пустехонек,
А не́ взял бы, свидетель бог,
Я за такую каторгу
И тысячи рублей,
Когда б не знал доподлинно,
Что я перед *последышем*
Стою... что он куражится
По воле по моей...

Влас отвечал задумчиво:
— Бахвалься! А давно ли мы,
Не мы одни — вся вотчина...
(Да... всё крестьянство русское!)
Не в шутку, не за денежки,
Не три-четыре месяца,
А целый век... да что уж тут!
Куда уж нам бахвалиться,
Недаром вахлаки!

Однако Клима Лавина
Крестьяне полупьяные
Уважили: «Качать его!»
И ну качать... «ура!»
Потом вдову Терентьевну
С Гаврилкой, малолеточком,
Клим посадил рядком
И жениха с невестою
Поздравил! Подурачились
Досыта мужики.
Приели всё, всё припили,
Что господа оставили,
И только поздним вечером
В деревню прибрели.
Домашние их встретили
Известьем неожиданным:
Скончался старый князь!
— Как так? — «Из лодки вынесли
Его уж бездыханного —
Хватил второй удар!»

Крестьяне пораженные
Переглянулись... крестятся...
Вздохнули... Никогда
Такого вздоха дружного,

Глубокого-глубокого
Не испускала бедная
Безграмотной губернии
Деревня Вахлаки...

Но радость их вахлацкая
Была непродолжительна.
Со смертию Последыша
Пропала ласка барская:
Опохмелиться не дали
Гвардейцы вахлакам!
А за луга поёмные
Наследники с крестьянами
Тягаются доднесь.
Влас за крестьян ходатаем,
Живет в Москве... был в Питере...
А толку что-то нет!

КРЕСТЬЯНКА

(Из третьей части)

ПРОЛОГ

«Не всё между мужчинами
Отыскивать счастливого,
Пощупаем-ка баб!» —
Решили наши странники
И стали баб опрашивать.
В селе Наготине
Сказали, как отрезали:
«У нас такой не водится,
А есть в селе Клину:
Корова холмогорская,
Не баба! доброумнее
И глаже — бабы нет.
Спросите вы Корчагину,
Матрену Тимофеевну,
Она же: губернаторша...»

Подумали — пошли.

Уж налились колосики.
Стоят столбы точеные,
Головки золоченые,
Задумчиво и ласково
Шумят. Пора чудесная!
Нет веселей, наряднее,
Богаче нет поры!
«Ой, поле многохлебное!
Теперь и не подумаешь,
Как много люди божии
Побились над тобой,
Покамест ты оделося
Тяжелым, ровным колосом
И стало перед пахарем,
Как войско пред царем!
Не столько росы теплые,
Как пот с лица крестьянского
Увлажили тебя!..»

Довольны наши странники,
То рожью, то пшеницею,
То ячменем идут.
Пшеница их не радует:
Ты тем перед крестьянином,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты *по выбору*,
Зато не налюбуются
На рожь, что́ *кормит всех**.

«Льны тоже нонче знатные...
Ай! бедненькой! застрял!»
Тут жаворонка малого,
Застрявшего во льну,
Роман распутал бережно,
Поцеловал: «Лети!»
И птичка ввысь помчалася,
За нею умиленные
Следили мужики...

Поспел горох! Накинулись,
Как саранча на полосу:
Горох, что девку красную,
Кто ни пройдет — щипнет!
Теперь горох у всякого,
У старого, у малого,
Рассыпался горох
На семьдесят дорог!

Вся овощь огородная
Поспела; дети носятся
Кто с репой, кто с морковкою,
Подсолнечник лущат,
А бабы свеклу дергают,
Такая свекла добрая!
Точь-в-точь сапожки красные,
Лежит на полосе.

Шли долго ли, коротко ли,
Шли близко ли, далёко ли,
Вот наконец и Клин.
Селенье незавидное:
Что ни изба — с подпоркою,
Как нищий с костылем;
А с крыш солома скормлена
Скоту. Стоят, как остовы,
Убогие дома.
Ненастной, поздней осенью
Так смотрят гнезда галочьи,
Когда галчата вылетят
И ветер придорожные
Березы обнажит...
Народ в полях — работает.
Заметив за селением
Усадьбу на пригорочке,
Пошли пока — глядеть.

Огромный дом, широкий двор,
Пруд, ивами обсаженный,
Посереди двора.
Над домом башня высится,
Балконом окруженная,
Над башней шпиль торчит.

В воротах с ними встретился
Лакей, какой-то буркою
Прикрытый: — Вам кого?
Помещик за границею,
А управитель при смерти!..—
И спину показал.
Крестьяне наши прыснули:
По всей спине дворового
Был нарисован лев.
«Ну, штука!» Долго спорили,
Что за наряд диковинный,

Пока Пахом догадливый
Загадки не решил:
«Холуй хитер: стащит ковер,
В ковре дыру проделает,
В дыру просунет голову
Да и гуляет так!..»

Как прусаки слоняются
По нетоплённой горнице
Когда их вымораживать
Надумает мужик,
В усадьбе той слонялися
Голодные дворовые,
Покинутые барином
На произвол судьбы.
Всё старые, всё хворые
И, как в цыганском таборе
Одеты. По пруду
Тащили бредень пятеро.

«Бог на́ помочь! Как ловится?..»

— Всего один карась!
А было их до пропасти,
Да крепко навалились мы,
Теперь — свищи в кулак!

«Хоть бы пяточек вынули!» —
Проговорила бледная,
Беременная женщина,
Усердно раздувавшая
Костер на берегу.

— Точеные-то столбики
С балкону, что ли, умница? —
Спросили мужики.

«С балкону!»
— То-то высохли!
А ты не дуй! Сгорят они
Скорее, чем карасиков
Изловят на уху!

«Жду — не дождусь. Измаялся
На черством хлебе Митенька,
Эх, горе — не житье!»

И тут она погладила
Полунагого мальчика
(Сидел в тазу заржавленном
Курносый мальчуган).

— А что? ему, чай, холодно,—
Сказал сурово Провушка,—
В железном-то тазу?—
И в руки взять ребеночка
Хотел. Дитя заплакало,
А мать кричит: «Не тронь его!
Не видишь? Он катается!
Ну, ну! пошел! Колясочка
Ведь это у него!..»

Что шаг, то натыкалися
Крестьяне на диковину:
Особая и странная
Работа всюду шла.
Один дворовый мучился
У двери: ручки медные
Отвинчивал; другой
Нес изразцы какие-то.
«Наковырял, Егорушка?» —
Окликнули с пруда.
В саду ребята яблоню
Качали. «Мало, дяденька!
Теперь они остались
Уж только наверху,
А было их до пропасти!»

— Да что в них проку? зелены!
«Мы рады и таким!»

Бродили долго по саду:
«Затей-то! горы, пропасти!
И пруд опять... Чай, лебеди
Гуляли по пруду?
Беседка... стойте! с надписью!..»
Демьян, крестьянин грамотный,
Читает по складам.

«Эй, врешь!» Хохочут странники...
Опять — и то же самое
Читает им Демьян.

(Насилу догадалися,
Что надпись переправлена:
Затерты две-три литеры*;
Из слова благородного
Такая вышла дрянь!)

Заметив любознательность
Крестьян, дворовый седенький
К ним с книгой подошел:
«Купите!» Как ни тужился,
Мудреного заглавия
Не одолел Демьян:
— Садись-ка ты помещиком
Под липой на скамеечку
Да сам ее читай!

«А тоже грамотеями
Считаетесь!..— с досадою
Дворовый прошипел.—
На что вам книги умные?
Вам вывески питейные
Да слово: воспрещается,
Что на столбах встречается,
Достаточно читать!»

— Дорожки так загажены,
Что срам! у девок каменных*
Отшибены носы!
Пропали фрукты-ягоды,
Пропали гуси-лебеди
У холуя в зобу!
Что церкви без священника,
Угодам без крестьянина,
То саду без помещика! —
Решили мужики.—
Помещик прочно строился,
Такую даль загадывал,
А вот... (Смеются шестеро,
Седьмой повесил нос.)—
Вдруг с вышины откуда-то
Как грянет песня! головы
Задрали мужики:
Вкруг башни по балкончику
Похаживал в подряснике
Какой-то человек
И пел... В вечернем воздухе,

Как колокол серебряный,
Гудел громовый бас...
Гудел — и прямо за́ сердце
Хватал он наших странников:
Не русские слова,
А горе в них такое же,
Как в русской песне, слышалось,
Без берегу, без дна.
Такие звуки плавные,
Рыдающие... «Умница,
Какой мужчина там?» —
Спросил Роман у женщины,
Уже кормившей Митеньку
Горяченькой ухой.

— Певец Ново-Архангельский.
Его из Малороссии
Сманили господа.
Свезти его в Италию
Сулились, да уехали...
А он был рад-радехонек —
Какая уж Италия? —
Обратно в Конотоп.
Ему здесь делать нечего...
Собаки дом покинули
(Озлилась круто женщина),
Кому здесь дело есть?
Да у него ни спереди,
Ни сзади... кроме голосу...

«Зато уж голосок!»

— Не то еще услышите,
Как до утра пробудете:
Отсюда версты три
Есть дьякон... тоже с голосом...
Так вот они затеяли
По-своему здороваться
На утренней заре.
На башню как подымется
Да рявкнет наш: «Здо-ро-во ли
Жи-вешь, о-тец И-пат?»
Так стекла затрещат!
А тот ему, оттуда-то:
«Здо-ро-во, наш со-ло-ву-шко!
Жду вод-ку пить!» — И-ду!..—

Иду-то это в воздухе
Час целый откликается...
Такие жеребцы!..

Домой скотина гонится,
Дорога запылилася,
Запахло молоком.
Вздохнула мать Митюхина:
Хоть бы одна коровушка
На барский двор вошла!
— Чу! песня за деревнею,
Прощай, горюшка бедная!
Идем встречать народ.

Легко вздохнули странники:
Им после дворни ноющей
Красива показалася
Здоровая, поющая
Толпа жнецов и жниц,
Всё дело девки красили
(Толпа без красных девушек,
Что рожь без васильков).

— Путь добрый! А которая
Матрена Тимофеевна?

«Что нужно, молодцы?»

Матрена Тимофеевна
Осанистая женщина,
Широкая и плотная,
Лет тридцати осьми.
Красива; волос с проседью,
Глаза большие, строгие,
Ресницы богатейшие,
Сурова и смугла.
На ней рубаха белая,
Да сарафан коротенький,
Да серп через плечо.

«Что нужно вам, молодчики?»

Помалчивали странники,
Покамест бабы прочие
Не поушли вперед,
Потом поклон отвесили:

— Мы люди чужестранные,
У нас забота есть,
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Мы мужики степенные,
Из временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож.
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу,
Купчине толстопузому,—
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю...
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь! Как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши, повздорили,
Повздоривши, подрались,
Подравшися, удумали
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,

Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно:
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?..

Попа уж мы доведали,
Доведали помещика,
Да прямо мы к тебе!
Чем нам искать чиновника,
Купца, министра царского,
Царя (еще допустит ли
Нас, мужичонков, царь?)—
Освободи нас, выручи!
Молва идет всесветная,
Что ты вольготно, счастливо
Живешь... Скажи по-божески:
В чем счастие твое?

Не то чтоб удивилася
Матрена Тимофеевна,
А как-то закручинилась,
Задумалась она...

«Не дело вы затеяли!
Теперь пора рабочая,
Досуг ли толковать?..»

— Полцарства мы промеряли,
Никто нам не отказывал! —
Просили мужики.

«У нас уж колос сыпется,
Рук не хватает, милые».

— А мы на что, кума?
Давай серпы! Все семеро
Как станем завтра — к вечеру
Всю рожь твою сожнем!

Смекнула Тимофеевна,
Что дело подходящее.
«Согласна,— говорит,—
Такие-то вы бравые,
Нажнете, не заметите,
Снопов по десяти».

— А ты нам душу выложи!

«Не скрою ничего!»

Покуда Тимофеевна
С хозяйством управлялася,
Крестьяне место знатное
Избрали за избой:
Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород.
И дуб тут рос — дубов краса.
Под ним присели странники:
«*Эй, скатерть самобранная,*
Попотчуй мужиков».

И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися
Две дюжие руки,
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять...
Гогочут братья Губины:
Такую редьку схапали
На огороде — страсть!

Уж звезды рассажалися
По небу темно-синему,
Высоко месяц стал,
Когда пришла хозяюшка
И стала нашим странникам
«Всю душу открывать...»

Глава 1

ДО ЗАМУЖЕСТВА

«Мне счастье в девках выпало:
У нас была хорошая,
Непьющая семья.
За батюшкой, за матушкой,
Как у Христа за пазухой,
Жила я, молодцы.
Отец, поднявшись до́ свету,

Будил дочурку ласкою,
А брат веселой песенкой;
Покамест одевается,
Поет: «Вставай, сестра!
По избам обряжаются,
В часовенках спасаются —
Пора вставать, пора!
Пастух уж со скотиною
Угнался; за малиною
Ушли подружки в бор,
В полях трудятся пахари,
В лесу стучит топор!»
Управится с горшочками,
Всё вымоет, всё выскребет,
Посадит хлебы в печь,—
Идет родная матушка,
Не будит — пуще кутает:
«Спи, милая, касатушка,
Спи, силу запасай!
В чужой семье — не долог сон!
Уложат спать позднехонько!
Придут будить до солнышка,
Лукошко припасут,
На донце бросят корочку:
Сгложи ее — да полное
Лукошко набери!..»

Да не в лесу родилася,
Не пеньям я молилася,
Не много я спала.
В день Симеона* батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества[1]
По пятому годку,
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала,
Отцу носила завтракать,
Утяточек пасла.
Потом грибы да ягоды,
Потом: «Бери-ка грабельки
Да сено вороши!»
Так к делу приобыкла я...
И добрая работница,
И петь-плясать охотница
Я смолоду была.

[1] Обычай.

День в поле проработаешь,
Грязна домой воротишься,
А банька-то на что?

Спасибо жаркой баенке,
Березовому веничку,
Студеному ключу,—
Опять бела, свежехонька,
За прялицей с подружками
До полночи поёшь!

На парней я не вешалась,
Наянов* обрывала я,
А тихому шепну:
«Я личиком разгарчива,
А матушка догадлива,
Не тронь! уйди!..» — уйдет...

Да как я их не бегала,
А выискался суженый,
На го́ре — чужанин!
Филипп Корчагин — питерщик,
По мастерству печник.
Родительница плакала:
«Как рыбка в море синее
Юркнёшь ты! как соловушко
Из гнездышка порхнешь!
Чужая-то сторонушка
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!
Там холодно, там голодно,
Там холеную доченьку
Обвеют ветры буйные,
Обграют черны вороны,
Облают псы косматые,
И люди засмеют!..»
А батюшка со сватами
Подвыпил. Закручинилась,
Всю ночь я не спала...

Ах! что ты, парень, в девице
Нашел во мне хорошего?
Где высмотрел меня?
О святках* ли, как с горок я
С ребятами, с подругами
Каталась, смеючись?

Ошибся ты, отецкий сын!
С игры, с катанья, с беганья,
С морозу разгорелося
У девушки лицо!
На тихой ли беседушке?
Я там была нарядная,
Дородства и пригожества
Понакопила за зиму,
Цвела, как маков цвет!
А ты бы поглядел меня,
Как лен треплю, как снопики
На риге молочу...
В дому ли во родительском?..
Ах! кабы знать! Послала бы
Я в город братца-сокола:
«Мил братец! шелку, гарусу*
Купи — семи цветов,
Да гарнитуру* синего!»
Я по углам бы вышила
Москву, царя с царицею,
Да Киев, да Царьград,
А посередке — солнышко,
И эту занавесочку
В окошке бы повесила,
Авось ты загляделся бы,
Меня бы промигал!..

Всю ночку я продумала...
— Оставь,— я парню молвила,—
Я в подневолье с волюшки,
Бог видит, не пойду!

«Такую даль мы ехали!
Иди! — сказал Филиппушка.—
Не стану обижать!»

Тужила, горько плакала,
А дело девка делала:
На суженого искоса
Поглядывала втай.
Пригож-румян, широк-могуч,
Рус волосом, тих говором —
Пал на́ сердце Филипп!

-- Ты стань-ка, добрый молодец,
Против меня прямехонько,

Стань на одной доске!
Гляди мне в очи ясные,
Гляди в лицо румяное,
Подумывай, смекай:
Чтоб жить со мной — не каяться,
А мне с тобой не плакаться...
Я вся тут такова!

«Небось не буду каяться,
Небось не будешь плакаться!» —
Филиппушка сказал.

Пока мы торговалися,
Филиппу я: «Уйди ты прочь!»,
А он: «Иди со мной!»
Известно: «Ненаглядная,
Хорошая... пригожая...»
— Ай! — вдруг рванулась я...
«Чего ты? Эка силища!»
Не удержи — не видеть бы
Вовек ему Матренушки,
Да удержал Филипп!
Пока мы торговалися,
Должно быть, так я думаю,
Тогда и было счастьице...
А больше вряд когда!

Я помню, ночка звездная,
Такая же хорошая,
Как и теперь, была...»

Вздохнула Тимофеевна,
Ко стогу приклонилася,
Унывным, тихим голосом
Пропела про себя:

Ты скажи, за что,
Молодой купец,
Полюбил меня,
Дочь крестьянскую?
Я не в серебре,
Я не в золоте,
Жемчугами я
Не увешана!

Чисто серебро —
Чистота твоя,
Красно золото —
Красота твоя,
Бел-крупён жемчуг —
Из очей твоих
Слезы катятся...

«Велел родимый батюшка,
Благословила матушка,
Поставили родители
К дубовому столу,
С краями чары налили:
«Бери поднос, гостей-чужан
С поклоном обноси!»
Впервой я поклонилася —
Вздрогнули ноги резвые;
Второй я поклонилася —
Поблекло бело личико;
Я в третий поклонилася,
И волюшка[1] скатилася
С девичьей головы...

— Так значит: свадьба? Следует,—
Сказал один из Губиных,—
Проздравить молодых.

— Давай! Начин с хозяюшки.
— Пьешь водку, Тимофеевна?

— Старухе — да не пить?..

Глава 2

ПЕСНИ*

У суда стоять
Ломит ноженьки,
Под венцом стоять
Голова болит,
Голова болит,
Вспоминается

---

[1] Во время последней вечеринки, или порученья, с невесты снимают *волю*, то есть ленту, которую носят девицы до замужества.

Песня старая,
Песня грозная.
На широкий двор
Гости въехали,
Молоду жену
Муж домой привез,
А роденька-то
Как набросится!
Деверек ее —
Расточихою,
А золовушка —
Щеголихою,
Свекор-батюшка —
Тот медведицей,
А свекровушка —
Людоедицей,
Кто неряхою,
Кто непряхою...

Всё, что в песенке
Той певалося,
Всё со мной теперь
То и сталося!
Чай, певали вы?
Чай, вы знаете?..

— Начинай, кума!
Нам подхватывать...

Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,
Клонит голову на подушечку,
Свекор-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает.

Странники
(хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,
Снохе спать не дает:
Встань, встань, встань, ты — сонливая!
Встань, встань, встань, ты — дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!

Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,
Клонит голову на подушечку,

Свекровь-матушка по сеничкам похаживает,
Сердитая по новым погуливает.

Странники
(хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,
Снохе спать не дает:
Встань, встань, встань, ты — сонливая!
Встань, встань, встань, ты — дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!

«Семья была большущая,
Сварливая... попала я
С девичьей холи в ад!
В работу муж отправился,
Молчать, терпеть советовал:
Не плюй на раскаленное
Железо — зашипит!
Осталась я с золовками,
Со свекром, со свекровушкой,
Любить-голубить некому,
А есть кому журить!
На старшую золовушку,
На Марфу богомольную,
Работай, как раба;
За свекором приглядывай,
Сплошаешь — у кабатчика
Пропажу выкупай.
И встань и сядь с приметою,
Не то свекровь обидится;
А где их все-то знать?
Приметы есть хорошие,
А есть и бедокурные.
Случилось так: свекровь
Надула в уши свекору,
Что рожь добрее родится
Из краденых семян.
Поехал ночью Тихоныч,
Поймали,— полумертвого
Подкинули в сарай...

Как велено, так сделано:
Ходила с гневом на́ сердце,

А лишнего не молвила
Словечка никому,
Зимой пришел Филиппушка,
Привез платочек шелковый
Да прокатил на саночках
В Екатеринин день[1]*,
И горя словно не было!
Запела, как певала я
В родительском дому.
Мы были однолеточки,
Не трогай нас — нам весело,
Всегда у нас лады.
То правда, что и мужа-то
Такого, как Филиппушка,
Со свечкой поискать...»

— Уж будто не колачивал?

Замялась Тимофеевна:
«Раз только»,— тихим голосом
Промолвила она.

— За что? — спросили странники.

«Уж будто вы не знаете,
Как ссоры деревенские,
Выходят? К муженьку
Сестра гостить приехала,
У ней коты́* разбилися.
— Дай башмаки Оленушке,
Жена! — сказал Филипп.
А я не вдруг ответила.
Корчагу* подымала я,
Такая тяга: вымолвить
Я слова не могла.
Филипп Ильич прогневался,
Пождал, пока поставила
Корчагу на шесток,
Да хлоп меня в висок!
— Ну, благо ты приехала,
И так походишь! — молвила
Другая, незамужняя
Филиппова сестра.

---

[1] Первое катание на санях.

Филипп подбавил женушке.
— Давненько не видались мы,
А знать бы — так не ехать бы!—
Сказала тут свекровь.

Еще подбавил Филюшка...
И всё тут! Не годилось бы
Жене побои мужнины
Считать; да уж сказала я:
Не скрою ничего!»

— Ну, женщины! с такими-то
Змеями подколодными
И мертвый плеть возьмет!
Хозяйка не ответила.
Крестьяне, ради случаю,
По новой чарке выпили
И хором песню грянули
Про шелковую плеточку,
Про мужнину родню.

Мой постылый муж
Подымается:
За шелкову плеть
Принимается.

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

Свекру-батюшке
Поклонилася:
Свекор-батюшка,
Отними меня,
От лиха мужа,
Змея лютого!
Свекор-батюшка
Велит больше бить,
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...

Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

Свекровь-матушке
Поклонилася:
Свекровь-матушка,
Отними меня
От лиха мужа,
Змея лютого!
Свекровь-матушка
Велит больше бить,
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

Филипп на Благовещенье
Ушел, а на Казанскую*
Я сына родила.
Как писаный был Дёмушка!
Краса взята у солнышка,
У снегу белизна,
У маку губы алые,
Бровь черная у соболя,
У соболя сибирского,
У сокола глаза!
Весь гнев с души красавец мой
Согнал улыбкой ангельской,
Как солнышко весеннее
Сгоняет снег с полей...
Не стала я тревожиться,
Что ни велят — работаю,
Как ни бранят — молчу.

Да тут беда подсунулась:
Абрам Гордеич Ситников,
Господский управляющий,
Стал крепко докучать:
— Ты писаная кралечка,
Ты наливная ягодка...
«Отстань, бесстыдник! ягодка,
Да бору не того!»

Укланяла золовушку,
Сама нейду на барщину,
Так в и́збу прикатит!
В сарае, в риге спрячуся,—
Свекровь оттуда вытащит:
«Эй, не шути с огнем!»
— Гони его, родимая,
По шее! — «А не хочешь ты
Солдаткой быть?» Я к дедушке:
— Что делать! Научи!

Из всей семейки мужниной
Один Савелий, дедушка,
Родитель свекра-батюшки,
Жалел меня... Рассказывать
Про деда, молодцы?

«Вали всю подноготную!
Накинем по два снопика»,—
Сказали мужики.

— Ну, то-то! речь особая.
Грех промолчать про дедушку.
Счастливец тоже был...

Глава 3

САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

С большущей сивой гривою,
Чай, двадцать лет не стриженной,
С большущей бородой,
Дед на медведя смахивал,
Особенно как из лесу,
Согнувшись, выходил.
Дугой спина у дедушки.
Сначала всё боялась я,
Как в низенькую горенку
Входил он: ну, распрямится?
Пробьет дыру медведище
В светелке головой!
Да распрямиться дедушка
Не мог: ему уж стукнуло,

По сказкам*, сто годов.
Дед жил в особой горнице,
Семейки недолюбливал,
В свой угол не пускал;
А та сердилась, лаялась,
Его «клейменым, каторжным»
Честил родной сынок.
Савелий не рассердится,
Уйдет в свою светелочку,
Читает святцы, крестится,
Да вдруг и скажет весело:
«Клейменый, да не раб!»
А крепко досадят ему,
Подшутит: «Поглядите-тко,
К нам сваты!» Незамужняя
Золовушка — к окну:
Ан вместо сватов — нищие!
Из оловянной пуговки
Дед вылепил двугривенный,
Подбросил на полу —
Попался свекор-батюшка!
Не пьяный из питейного —
Побитый приплелся!
Сидят, молчат за ужином:
У свекра бровь рассечена,
У деда, словно радуга,
Усмешка на лице.

С весны до поздней осени
Дед брал грибы да ягоды,
Силочки становил
На глухарей, на рябчиков,
А зиму разговаривал
На печке сам с собой.
Имел слова любимые,
И выпускал их дедушка
По слову через час:

. . . . . .

«Погибшие... пропащие...»

. . . . . .

«Эх вы, Аники-воины!*
Со стариками, с бабами
Вам только воевать!»

. . . . . .

«Недотерпеть — пропа́сть!
Перетерпеть — пропа́сть!»

. . . . . .

«Эх, доля святорусского
Богатыря сермяжного!
Всю жизнь его дерут.
Раздумается временем
О смерти — муки адские
В ту-светной жизни ждут».

. . . . . .

«Надумалась Корёжина*,
Наддай! наддай! наддай!..»

. . . . . .

И много! да забыла я...
Как свекор развоюется,
Бежала я к нему.
Запремся. Я работаю,
А Дёма, словно яблочко
В вершине старой яблони,
У деда на плече
Сидит румяный, свеженький...

Вот раз и говорю:
— За что тебя, Савельюшка,
Зовут клейменым, каторжным?

— Я каторжником был.
— Ты, дедушка?
— Я, внученька!
Я в землю немца Фогеля
Христьяна Христианыча
Живого закопал...

— И, полно! шутишь, дедушка!

— Нет, не шучу. Послушай-ка! —
И всё мне рассказал.

«Во времена досюльные*
Мы были тоже барские,
Да только ни помещиков,

Ни немцев-управителей
Не знали мы тогда.
Не правили мы барщины,
Оброков не платили мы,
А так, когда рассудится,
В три года раз пошлем».

— Да как же так, Савельюшка?

«А были благодатные
Такие времена,
Недаром есть пословица,
Что нашей-то сторонушки
Три года черт искал.
Кругом леса дремучие,
Кругом болота топкие,
Ни конному проехать к нам,
Ни пешему пройти!
Помещик наш Шалашников
Через тропы звериные
С полком своим — военный был —
К нам доступиться пробовал,
Да лыжи повернул!
К нам земская полиция
Не попадала по году,—
Вот были времена!
А нынче — барин под боком,
Дорога скатерть скатертью...
Тьфу! прах ее возьми!..
Нас только и тревожили
Медведи... да с медведями
Справлялись мы легко.
С ножищем да с рогатиной
Я сам страшней сохатого*,
По заповедным тропочкам
Иду: «Мой лес!» — кричу.
Раз только испугался я,
Как наступил на сонную
Медведицу в лесу.
И то бежать не бросился,
А так всадил рогатину,
Что словно как на вертеле
Цыпленок — завертелася
И часу не жила!
Спина в то время хрустнула,
Побаливала изредка,

Покуда молод был,
А к старости согнулася,
Не правда ли, Матренушка,
На очеп[1] я похож?»

— Ты начал, так досказывай!
Ну, жили — не тужили вы,
Что ж дальше, голова?

«По времени Шалашников
Удумал шутку новую,
Приходит к нам приказ:
«Явиться!» Не явились мы,
Притихли, не шелóхнемся
В болотине своей.
Была засýха сильная,
Наехала полиция,
Мы дань ей — медом, рыбою!
Наехала опять,
Грозит с конвоем выправить,
Мы — шкурами звериными!
А в третий — мы ничем!
Обули лапти старые,
Надели шапки рваные,
Худые армяки —
И тронулась Корёжина!..
Пришли... (В губернском городе
Стоял с полком Шалашников.)
«Оброк!» — Оброку нет!
Хлеба не уродилися,
Снеточки не ловилися...
«Оброк!» — Оброку нет! —
Не стал и разговаривать:
«Эй, перемена первая!» —
И начал нас пороть.

Туга мошна корёжская!
Да стоек и Шалашников:
Уж языки мешалися,
Мозги уж потрясалися
В головушках — дерет!
Укрепа богатырская,
Не розги!.. Делать нечего!
Кричим: постой, дай срок!
Онучи распороли мы

[1] Деревенский колодец.

И барину «лобанчиков»[1]
Полшапки поднесли.
Утих боец Шалашников!
Такого-то горчайшего
Поднес нам травнику*,
Сам выпил с нами, чокнулся
С Корёгой покоренною:
«Ну, благо вы сдались!
А то — вот бог! — решился я
Содрать с вас шкуру начисто...
На барабан напялил бы
И подарил полку!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
(Хохочет — рад придумочке)
Вот был бы барабан!»

Идем домой понурые...
Два старика кряжистые
Смеются... Ай, кряжи!
Бумажки сторублевые
Домой под подоплекою*
Нетронуты несут!
Как уперлись: мы нищие,
Так тем и отбоярились!
Подумал я тогда:
Ну, ладно ж! черти сивые,
Вперед не доведется вам
Смеяться надо мной!
И прочим стало совестно,
На церковь побожилися:
«Вперед не посрамимся мы,
Под розгами умрем!»

Понравились помещику
Корёжские лобанчики,
Что год — зовет... дерет...

Отменно драл Шалашников,
А не ахти великие
Доходы получал:
Сдавались люди слабые,
А сильные за вотчину
Стояли хорошо.
Я тоже перетерпливал,

---

[1] Полуимпериалы.

Помалчивал, подумывал:
«Как ни дери, собачий сын,
А всей души не вышибешь,
Оставишь что-нибудь!»
Как примет дань Шалашников,
Уйдем — и за заставою
Поделим барыши:
«Что денег-то осталося!
Дурак же ты, Шалашников!»
И тешилась над барином
Корёга в свой черед!
Вот были люди гордые!
А нынче дай затрещину —
Исправнику, помещику
Тащат последний грош!

Зато купцами жили мы...

Подходит лето красное,
Ждем грамоты... пришла...
А в ней уведомление,
Что господин Шалашников
Под Варною* убит.
Жалеть не пожалели мы,
А пала дума на́ сердце:
«Приходит благоденствию
Крестьянскому конец!»
И точно: небывалое
Наследник средство выдумал:
К нам немца подослал.
Через леса дремучие,
Через болота топкие
Пешком пришел, шельмец!
Один как перст: фуражечка
Да тросточка, а в тросточке
Для у́женья снаряд.
И был сначала тихонький:
«Платите сколько можете».
— Не можем ничего!
«Я барина уведомлю».
— Уведомь!..— Тем и кончилось.
Стал жить да поживать;
Питался больше рыбою;
Сидит на речке с удочкой
Да сам себя то по носу,
То по лбу — бац да бац!

Смеялись мы: «Не любишь ты
Корёжского комарика...
Не любишь, немчура?..»
Катается по бережку,
Гогочет диким голосом,
Как в бане на полке́...

С ребятами, с девóчками
Сдружился, бродит по лесу...
Недаром он бродил!
«Коли платить не можете,
Работайте!» — А в чем твоя
Работа? — «Окопать
Канавками желательно
Болото...» Окопали мы...
«Теперь рубите лес...»
— Ну, хорошо! — Рубили мы,
А немчура показывал,
Где надобно рубить.
Глядим: выходит просека!
Как просеку прочистили,
К болоту поперечины
Велел по ней возить.
Ну, словом: спохватились мы,
Как уж дорогу сделали,
Что немец нас поймал!

Поехал в город парочкой!
Глядим, везет из города
Коробки, тюфяки;
Откудова ни взялися
У немца босоногого
Детишки и жена.
Повел хлеб-соль с исправником
И с прочей земской властию*,
Гостишек полон двор!

И тут настала каторга
Корёжскому крестьянину —
До нитки разорил!
А драл... как сам Шалашников!
Да тот был прост: накинется
Со всей войнской силою,
Подумаешь: убьет!
А деньги сунь, отвалится,
Ни дать ни взять раздувшийся

В собачьем ухе клещ.
У немца — хватка мертвая:
Пока не пустит по́ миру,
Не отойдя, сосет!»

— Как вы терпели, дедушка?

«А потому терпели мы,
Что мы — богатыри.
В том богатырство русское.
Ты думаешь, Матренушка,
Мужик — не богатырь?
И жизнь его не ратная,
И смерть ему не писана
В бою — а богатырь!

Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломалися.
А грудь? Илья-пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Всё терпит богатырь!

И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?»

— Ты шутишь шутки, дедушка!—
Сказала я.— Такого-то
Богатыря могучего,
Чай, мыши заедят!

«Не знаю я, Матренушка.
Покамест тягу страшную
Поднять-то поднял он,
Да в землю сам ушел по грудь
С натуги! По лицу его
Не слезы: — кровь течет!
Не знаю, не придумаю,
Что будет? Богу ведомо!
А про себя скажу:
Как выли вьюги зимние,
Как ныли кости старые,
Лежал я на печи;

Полеживал, подумывал:
Куда ты, сила, делася?
На что ты пригодилася? —
Под розгами, под палками
По мелочам ушла!»

— А что же немец, дедушка?

«А немец как ни властвовал,
Да наши топоры
Лежали — до поры!

Осьмнадцать лет терпели мы.
Застроил немец фабрику,
Велел колодец рыть.
Вдевятером копали мы,
До полдня проработали,
Позавтракать хотим.
Приходит немец: «Только-то?..»
И начал нас по-своему,
Не торопясь, пилить.
Стояли мы голодные,
А немец нас поругивал
Да в яму землю мокрую
Пошвыривал ногой.
Была уж яма добрая...
Случилось, я легонечко
Толкнул его плечом,
Потом другой толкнул его,
И третий... Мы посгрудились...
До ямы два шага...
Мы слова не промолвили,
Друг другу не глядели мы
В глаза... а всей гурьбой
Христьяна Христианыча
Поталкивали бережно
Всё к яме... всё на край...
И немец в яму бухнулся,
Кричит: «Веревку! лестницу!»
Мы девятью лопатами
Ответили ему.
«Наддай!» — я слово выронил,—
Под слово люди русские
Работают дружней.
«Наддай! Наддай!» Так на́ддали,
Что ямы словно не было —

Сровнялася с землей!
Тут мы переглянулися...»

Остановился дедушка.

— Что ж дальше!
«Дальше — дрянь!
Кабак... острог в Буй-городе.
Там я учился грамоте,
Пока решили нас.
Решенье вышло: каторга
И плети предварительно;
Не выдрали — помазали,
Плохое там дранье!
Потом... бежал я с каторги...
Поймали! не погладили
И тут по голове.
Заводские начальники*
По всей Сибири славятся —
Собаку съели драть.
Да нас дирал Шалашников
Больней — я не поморщился
С заводского дранья.
Тот мастер был — умел пороть!
Он так мне шкуру выделал,
Что носится сто лет.

А жизнь была нелегкая.
Лет двадцать строгой каторги,
Лет двадцать поселения.
Я денег прикопил,
По манифесту царскому*
Попал опять на родину,
Пристроил эту горенку
И здесь давно живу.
Покуда были денежки,
Любили деда, холили,
Теперь в глаза плюют!
Эх вы, Аники-воины!
Со стариками, с бабами
Вам только воевать...»

Тут кончил речь Савельюшка...»

«Ну что ж? — сказали странники.—
Досказывай, хозяюшка,
Свое житье-бытье!»

— Невесело досказывать.
Одной беды бог миловал:
Холерой умер Ситников,—
Другая подошла.

«Наддай!» — сказали странники
(Им слово полюбилося)
И выпили винца...

Глава 4

ДЁМУШКА

Зажгло грозою дерево,
А было соловьиное
На дереве гнездо.
Горит и стонет дерево,
Горят и стонут птенчики:
«Ой, матушка! где ты?
А ты бы нас похолила,
Пока не оперились мы:
Как крылья отрастим,
В долины, в рощи тихие
Мы сами улетим!»
Дотла сгорело дерево,
Дотла сгорели птенчики,
Тут прилетела мать.
Ни дерева... ни гнездышка...
Ни птенчиков!.. Поет-зовет...
Поет, рыдает, кружится,
Так быстро, быстро кружится,
Что крылышки свистят!..
Настала ночь, весь мир затих,
Одна рыдала пташечка,
Да мертвых не докликалась
До белого утра!..

Носила я Демидушку
По поженкам... лелеяла...
Да взъелася свекровь,
Как зыкнула, как рыкнула:
«Оставь его у дедушки,
Не много с ним нажнешь!»
Запугана, заругана,

Перечить не посмела я,
Оставила дитя.

Такая рожь богатая
В тот год у нас родилася,
Мы землю не ленясь
Удобрили, ухолили,—
Трудненько было пахарю,
Да весело жнее!
Снопами нагружала я
Телегу со стропилами
И пела, молодцы.
(Телега нагружается
Всегда с веселой песнею,
А сани с горькой думою:
Телега хлеб домой везет,
А сани — на базар!)
Вдруг стоны я услышала:
Ползком ползет Савелий-дед,
Бледнешенек, как смерть:
«Прости, прости, Матренушка!—
И повалился в ноженьки.—
Мой грех — недоглядел!..»

Ой, ласточка! ой, глупая!
Не вей гнезда под берегом,
Под берегом крутым!
Что день — то прибавляется
Вода в реке: зальет она
Детенышей твоих.
Ой, бедная молодушка!
Сноха в дому последняя,
Последняя раба!
Стерпи грозу великую,
Прими побои лишние,
А с глазу неразумного
Младенца не спускай!..

Заснул старик на солнышке,
Скормил свиньям Демидушку
Придурковатый дед!..
Я клубышком каталася,
Я червышком свивалася,
Звала, будила Дёмушку —
Да поздно было звать!..

Чу! конь стучит копытами,
Чу, сбруя золоченая
Звенит... еще беда!
Ребята испугалися,
По избам разбежалися,
У окон заметалися
Старухи, старики.
Бежит деревней староста,
Стучит в окошки палочкой,
Бежит в поля, в луга.
Собрал народ: идут — кряхтят!
Беда! Господь прогневался,
Наслал гостей непрошеных,
Неправедных судей!
Знать, деньги издержалися,
Сапожки притоптался,
Знать, голод разобрал!..

Молитвы Иисусовой
Не сотворив, уселися
У земского стола,
Налой* и крест поставили,
Привел наш поп, отец Иван,
К присяге понятых.

Допрашивали дедушку,
Потом за мной десятника
Прислали. Становой
По горнице похаживал,
Как зверь в лесу порыкивал...
«Эй, женка! состояла ты
С крестьянином Савелием
В сожительстве? Винись!»
Я шепотком ответила:
— Обидно, барин, шутите!
Жена я мужу честная,
А старику Савелию
Сто лет... Чай, знаешь сам? —
Как в стойле конь подкованный,
Затопал; о кленовый стол
Ударил кулаком:
«Молчать! Не по согласью ли
С крестьянином Савелием
Убила ты дитя?..»
Владычица! что вздумали!
Чуть мироеда этого

Не назвала я нехристем,
Вся закипела я...
Да лекаря увидела:
Ножи, ланцеты, ножницы
Натачивал он тут.
Вздрогну́ла я, одумалась.
— Нет,— говорю,— я Дёмушку
Любила, берегла...
«А зельем не поила ты?
А мышьяку не сыпала?»
— Нет! сохрани господь!..—
И тут я покорилася,
Я в ноги поклонилася:
— Будь жалостлив, будь добр!
Вели без поругания
Честно́му погребению
Ребеночка предать!
Я мать ему!..— Упросишь ли?
В груди у них нет душеньки,
В глазах у них нет совести,
На шее — нет креста!

Из тонкой из пеленочки
Повыкатали Дёмушку
И стали тело белое
Терзать и пластовать.
Тут свету я невзвидела,—
Металась и кричала я:
«Злодеи! палачи!..
Падите мои слезоньки
Не на́ землю, не на́ воду,
Не на господень храм!
Падите прямо на́ сердце
Злодею моему!
Ты дай же, боже господи!
Чтоб тлен пришел на платьице,
Безумье на головушку
Злодея моего!
Жену ему неумную
Пошли, детей — юродивых!
Прими, услыши, господи,
Молитвы, слезы матери,
Злодея накажи!..»[1]
— Никак, она помешана? —

---

[1] Взято почти буквально из народного причитанья.

Сказал начальник сотскому.—
Что ж ты не упредил?
Эй не дури! связать велю!..

Присела я на лавочку.
Ослабла, вся дрожу.
Дрожу, гляжу на лекаря:
Рукавчики засучены,
Грудь фартуком завешена.
В одной руке — широкий нож,
В другой ручник — и кровь на нем,—
А на носу очки!
Так тихо стало в горнице...
Начальничек помалчивал,
Поскрипывал пером,
Поп трубочкой попыхивал,
Не шелохнувшись, хмурые
Стояли мужики.
«Ножом в сердцах читаете»,—
Сказал священник лекарю,
Когда злодей у Дёмушки
Сердечко распластал.
Тут я опять рванулася...
«Ну, так и есть — помешана!
Связать ее!» — десятнику
Начальник закричал.
Стал понятых опрашивать:
«В крестьянке Тимофеевой
И прежде помешательство
Вы примечали?»
— Нет!

Спросили свекра, деверя,
Свекровушку, золовушку:

— Не примечали, нет!

Спросили деда старого:

— Не примечал! ровна была...
Одно: к начальству кликнули,
Пошла... а ни целковика,
Ни новины*, пропащая,
С собой и не взяла! —

Заплакал на́взрыд дедушка.
Начальничек нахмурился,
Ни слова не сказал.
И тут я спохватилася!
Прогневался бог: разуму
Лишил! была готовая
В коробке новина!
Да поздно было каяться.
В моих глазах по косточкам
Изрезал лекарь Дёмушку,
Циновочкой прикрыл.
Я словно деревянная
Вдруг стала: загляделась я,
Как лекарь руки мыл,
Как водку пил. Священнику
Сказал: прошу покорнейше!
А поп ему: «Что просите?
Без прутика, без кнутика
Все ходим, люди грешные,
На этот водопой!»

Крестьяне настоялися,
Крестьяне надрожалися.
(Откуда только бралися
У коршуна налетного
Корыстные дела!)
Без церкви намолилися,
Без образа накланялись!
Как вихорь налетал —
Рвал бороды начальничек,
Как лютый зверь наскакивал —
Ломал перстни злаченые...
Потом он кушать стал.
Пил-ел, с попом беседовал,
Я слышала, как шепотом
Поп плакался ему:
«У нас народ — всё голь да пьянь,
За свадебку, за исповедь
Должают по годам.
Несут гроши последние
В кабак! А благочинному
Одни грехи таща́т!»
Потом я песни слышала,
Всё голоса знакомые,
Девичьи голоса:
Наташа, Глаша, Дарьюшка...

Чу! пляска! чу! гармония!..
И вдруг затихло всё...
Заснула, видно, что ли, я?..
Легко вдруг стало: чудилось,
Что кто-то наклоняется
И шепчет надо мной:
«Усни, многокручинная!
Усни, многострадальная!» —
И крестит... С рук скатилися
Веревки... Я не помнила
Потом уж ничего...

Очнулась я. Темно кругом,
Гляжу в окно — глухая ночь!
Да где же я? да что со мной?
Не помню, хоть убей!
Я выбралась на улицу —
Пуста. На небо глянула —
Ни месяца, ни звезд.
Сплошная туча черная
Висела над деревнею,
Темны дома крестьянские,
Одна пристройка дедова
Сияла, как чертог.
Вошла — и всё я вспомнила:
Свечами воску ярого*
Обставлен, среди горенки
Дубовый стол стоял,
На нем гробочек крохотный
Прикрыт камчатной скатертью,
Икона в головах...
«Ой, плотнички-работнички!
Какой вы дом построили
Сыночку моему?
Окошки не прорублены,
Стеколышки не вставлены,
Ни печи, ни скамьи!
Пуховой нет перинушки...
Ой, жестко будет Дёмушке,
Ой, страшно будет спать!..»

«Уйди!..» — вдруг закричала я,
Увидела я дедушку:
В очках, с раскрытой книгою
Стоял он перед гробиком,
Над Дёмою читал.

Я старика столетнего
Звала клейменым, каторжным.
Гневна, грозна, кричала я:
«Уйди! убил ты Дёмушку!
Будь проклят ты... уйди!..»

Старик ни с места. Крестится,
Читает... Уходилась я,
Тут дедко подошел:
«Зимой тебе, Матренушка,
Я жизнь свою рассказывал,
Да рассказал не всё:
Леса у нас угрюмые,
Озера нелюдимые,
Народ у нас дикарь.
Суровы наши промыслы:
Дави тетерю петлею,
Медведя режь рогатиной,
Сплошаешь — сам пропал!
А господин Шалашников
С своей воинской силою?
А немец-душегуб?
Потом острог да каторга...
Окаменел я, внученька,
Лютее зверя был.
Сто лет зима бессменная
Стояла. Растопил ее
Твой Дёма-богатырь!
Однажды я качал его,
Вдруг улыбнулся Дёмушка...
И я ему в ответ!
Со мною чудо сталося:
Третьеводни прицелился
Я в белку: на суку
Качалась белка... лапочкой,
Как кошка, умывалася...
Не выпалил: живи!
Брожу по рощам, по лугу,
Любуюсь каждым цветиком.
Иду домой, опять
Смеюсь, играю с Дёмушкой...
Бог видит, как я милого
Младенца полюбил!
И я же, по грехам моим,
Сгубил дитя невинное...
Кори, казни меня!

А с богом спорить нечего.
Стань! помолись за Дёмушку!
Бог знает, что творит:
Сладка ли жизнь крестьянина?»

И долго, долго дедушка
О горькой доле пахаря
С тоскою говорил...
Случись купцы московские,
Вельможи государевы,
Сам царь случись: не надо бы
Ладнее говорить!

«Теперь в раю твой Дёмушка,
Легко ему, светло ему...»

Заплакал старый дед.

— Я не ропщу,— сказала я,—
Что бог прибрал младенчика,
А больно то, зачем они
Ругалися над ним?
Зачем, как черны во́роны,
На части тело белое
Терзали?.. Неужли́
Ни бог, ни царь не вступится?..

«Высоко бог, далёко царь...»

— Нужды нет: я дойду!

«Ах! что ты? что ты, внученька?..
Терпи, многокручинная!
Терпи, многострадальная!
Нам правды не найти».

— Да почему же, дедушка?

«Ты — крепостная женщина!» —
Савельюшка сказал.

Я долго, горько думала...
Гром грянул, окна дрогнули,
И я вздрогну́ла... К гробику
Подвел меня старик:
«Молись, чтоб к лику ангелов

Господь причислил Дёмушку!»
И дал мне в руки дедушка
Горящую свечу.

Всю ночь до свету белого
Молилась я, а дедушка
Протяжным, ровным голосом
Над Дёмою читал...

Глава 5

ВОЛЧИЦА

Уж двадцать лет, как Дёмушка
Дерновым одеялечком
Прикрыт,— всё жаль сердечного!
Молюсь о нем, в рот яблока
До Спаса не беру[1].
Не скоро я оправилась.
Ни с кем не говорила я,
А старика Савелия
Я видеть не могла.
Работать не работала.
Надумал свекор-батюшка
Вожжами поучить,
Так я ему ответила:
«Убей!» Я в ноги кланялась:
«Убей! один конец!»
Повесил вожжи батюшка.
На Дёминой могилочке
Я день и ночь жила.
Платочком обметала я
Могилу, чтобы травушкой
Скорее поросла,
Молилась за покойничка,
Тужила по родителям:
Забыли дочь свою!
Собак моих боитеся?
Семьи моей стыдитеся?
— Ах, нет, родная, нет!
Собак твоих не боязно,

---

[1] Примета: если мать умершего младенца станет есть яблоки до Спаса* (когда они поспевают), то бог в наказание, не даст на том свете ее умершему младенцу «яблочка поиграть».

Семьи твоей не совестно,
А ехать сорок верст
Свои беды́ рассказывать,
Твои беды́ выспрашивать
Жаль бурушку гонять!
Давно бы мы приехали,
Да ту мы думу думали:
Приедем — ты расплачешься,
Уедем — заревешь!
Пришла зима: кручиною
Я с мужем поделилася,
В Савельевой пристроечке
Тужили мы вдвоем.

— Что ж, умер, что ли, дедушка?

Нет. Он в своей каморочке
Шесть дней лежал безвыходно,
Потом ушел в леса.
Так пел, так плакал дедушка,
Что лес стонал! А осенью
Ушел на покаяние
В Песочный монастырь.

У батюшки, у матушки
С Филиппом побывала я,
За дело принялась.
Три года, так считаю я,
Неделя за неделею,
Одним порядком шли,
Что год, то дети: некогда
Ни думать, ни печалиться,
Дай бог с работой справиться
Да лоб перекрестить.
Поешь — когда останется
От старших да от деточек,
Уснешь — когда больна...
А на четвертый новое
Подкралось горе лютое —
К кому оно привяжется,
До смерти не избыть!

Впереди летит — ясным соколом,
Позади летит — черным вороном,
Впереди летит — не укатится,
Позади летит — не останется...

Лишилась я родителей...
Слыхали ночи темные,
Слыхали ветры буйные
Сиротскую печаль,
А вам нет ну́жды сказывать...
На Дёмину могилочку
Поплакать я пошла.
Гляжу: могилка прибрана,
На деревянном крестике
Складная золоченая
Икона. Перед ней
Я старца распростертого
Увидела.— Савельюшка!
Откуда ты взялся?

«Пришел я из Песочного...
Молюсь за Дёму бедного,
За всё страдное русское
Крестьянство я молюсь!
Еще молюсь (не образу
Теперь Савелий кланялся),
Чтоб сердце гневной матери
Смягчил господь... Прости!»

— Давно простила, дедушка!

Вздохнул Савелий... «Внученька!
А внученька!» — Что, дедушка?
«По-прежнему взгляни!»

Взглянула я по-прежнему.
Савельюшка засматривал
Мне в очи; спину старую
Пытался разогнуть.
Совсем стал белый дедушка.
Я обняла старинушку,
И долго у креста
Сидели мы и плакали.
Я деду горе новое
Поведала свое...

Недолго прожил дедушка.
По осени у старого
Какая-то глубокая
На шее рана сделалась,
Он трудно умирал:

Сто дней не ел; хирел да сох,
Сам над собой подтрунивал:
«Не правда ли, Матренушка,
На комара корёжского
Костлявый я похож?»
То добрый был, сговорчивый,
То злился, привередничал,
Пугал нас: «Не паши,
Не сей, крестьянин! Сгорбившись
За пряжей, за полотнами,
Крестьянка, не сиди!
Как вы ни бейтесь, глупые,
Что на роду написано,
Того не миновать!
Мужчинам три дороженьки:
Кабак, острог да каторга,
А бабам на Руси:
Три петли: шелку белого,
Вторая — шелку красного,
А третья — шелку черного,
Любую выбирай!..
В любую полезай...»
Так засмеялся дедушка,
Что все в каморке вздрогнули,—
И к ночи умер он.
Как приказал — исполнили:
Зарыли рядом с Дёмою...
Он жил сто семь годов.

Четыре года тихие,
Как близнецы похожие,
Прошли потом... Всему
Я покорилась: первая
С постели Тимофеевна,
Последняя — в постель;
За всех, про всех работаю,—
С свекрови, с свекра пьяного,
С золовушки бракованной[1]
Снимаю сапоги...
Лишь деточек не трогайте!
За них горой стояла я...
Случилось, молодцы,

---

[1] Если младшая сестра выйдет замуж ранее старшей, то последняя называется бракованной.

Зашла к нам богомолочка;
Сладкоречивой странницы
Заслушивались мы;
Спасаться, жить по-божески
Учила нас угодница,
По праздникам к заутрени
Будила... а потом
Потребовала странница,
Чтоб грудью не кормили мы
Детей по постным дням.
Село переполо́шилось!
Голодные младенчики
По середам, по пятницам
Кричат! Иная мать
Сама над сыном плачущим
Слезами заливается:
И бога-то ей боязно,
И дитятко-то жаль!
Я только не послушалась,
Судила я по-своему:
Коли терпеть, так матери,
Я перед богом грешница,
А не дитя мое!

Да, видно, бог прогневался,
Как восемь лет исполнилось
Сыночку моему,
В подпаски свекор сдал его.
Однажды жду Федотушку —
Скотина уж пригналася,—
На улицу иду.
Там видимо-невидимо
Народу! Я прислушалась
И бросилась в толпу.
Гляжу, Федота бледного
Силантий держит за ухо.
— Что держишь ты его?
«Посечь хотим маненичко:
Овечками прикармливать
Надумал он волков!»
Я вырвала Федотушку,
Да с ног Силантья старосту
И сбила невзначай.

Случилось дело дивное:
Пастух ушел; Федотушка

При стаде был один.
«Сижу я,— так рассказывал
Сынок мой,— на пригорочке,
Откуда ни возьмись
Волчица преогромная
И хвать овечку Марьину!
Пустился я за ней,
Кричу, кнутищем хлопаю,
Свищу, Валетку уськаю...
Я бегать молодец,
Да где бы окаянную
Нагнать, кабы не щённая:
У ней сосцы волóчились,
Кровавым следом, матушка,
За нею я гнался!

Пошла потише серая,
Идет, идет — оглянется,
А я как припущу!
И села... Я кнутом ее:
«Отдай овцу, проклятая!»
Не отдает, сидит...
Я не сробел: «Так вырву же,
Хоть умереть!..» И бросился,
И вырвал... Ничего —
Не укусила серая!
Сама едва живехонька,
Зубами только щелкает
Да дышит тяжело.
Под ней река кровавая,
Сосцы травой изрезаны,
Все ребра на счету,
Глядит, поднявши голову,
Мне в очи... и завыла вдруг!
Завыла, как заплакала.
Пощупал я овцу:
Овца была уж мертвая...
Волчица так ли жалобно
Глядела, выла... Матушка!
Я бросил ей овцу!..»

Так вот что с парнем сталося.
Пришел в село, да, глупенький,
Всё сам и рассказал.
За то и сечь надумали.
Да благо подоспела я...

Силантий осерчал,
Кричит: «Чего толкаешься?
Самой под розги хочется?»
А Марья, та свое:
«Дай, пусть проучат глупого!»
И рвет из рук Федотушку,
Федот как лист дрожит.

Трубят рога охотничьи,
Помещик возвращается
С охоты. Я к нему:
— Не выдай! Будь заступником!
«В чем дело?» Кликнул старосту
И мигом порешил:
«Подпаска малолетнего
По младости, по глупости
Простить... а бабу дерзкую
Примерно наказать!»

«Ай, барин!» Я подпрыгнула:
«Освободил Федотушку!
Иди домой, Федот!»

— Исполним повеленное! —
Сказал мирянам староста.—
Эй! погоди плясать!

Соседка тут подсунулась:
— А ты бы в ноги старосте...

«Иди домой, Федот!»

Я мальчика погладила:
«Смотри, коли оглянешься,
Я осержусь... Иди!»

Из песни слово выкинуть,
Так песня вся нарушится.
Легла я, молодцы...

. . . . . .

В Федотову каморочку,
Как кошка, я прокралася:
Спит мальчик, бредит, мечется;
Одна ручонка свесилась,

Другая на глазу
Лежит, в кулак зажатая:
Ты плакал, что ли, бедненький?
Спи. Ничего. Я тут!
Тужила я по Дёмушке,
Как им была беременна,—
Слабенек родился,
Однако вышел умница:
На фабрике Алферова
Трубу такую вывели
С родителем, что страсть!
Всю ночь над ним сидела я,
Я пастушка любезного
До солнца подняла,
Сама обула в лапотки,
Перекрестила; шапочку,
Рожок и кнут дала.
Проснулась вся семеюшка,
Да я не показалась ей,
На пожню не пошла.

Я пошла на речку быструю,
Избрала я место тихое
У ракитова куста.
Села я на серый камушек,
Подперла рукой головушку,
Зарыдала, сирота!

Громко я звала родителя:
Ты приди, заступник батюшка!
Посмотри на дочь любимую...
Понапрасну я звала.
Нет великой оборонушки!
Рано гостья бесподсудная,
Бесплемянная, безродная,
Смерть родного унесла!

Громко кликала я матушку.
Отзывались ветры буйные,
Откликались горы дальние,
А родная не пришла!
День денна́ моя печальница,
В ночь — ночная богомолица!
Никогда тебя, желанная,
Не увижу я теперь!
Ты ушла в бесповоротную,

Незнакомую дороженьку,
Куда ветер не доносится,
Не́ дорыскивает зверь...

Нет великой оборонушки!
Кабы знали вы да ведали,
На кого вы дочь покинули,
Что без вас я выношу?
Ночь — слезами обливаюся,
День — как травка пристилаюся...
Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу!..

Глава 6

ТРУДНЫЙ ГОД

В тот год необычайная
Звезда играла на́ небе;
Одни судили так:
Господь по небу шествует,
И ангелы его
Метут метлою огненной[1]
Перед стопами божьими
В небесном поле путь;
Другие то же думали,
Да только на антихриста,
И чуяли беду.
Сбылось: пришла бесхлебица!
Брат брату не уламывал
Куска! Был страшный год...
Волчицу ту Федотову
Я вспомнила — голодную,
Похожа с ребятишками
Я на нее была!
Да тут еще свекровушка
Приметой прислужилася,
Соседкам наплела,
Что я беду накликала,
А чем? *Рубаху чистую*
Надела в Рождество[2].

---

[1] Комета.

[2] Примета: не надевай чистую рубаху в рождество: не то жди неурожая. (Есть у Даля.)

За мужем, за заступником,
Я дешево отделалась;
А женщину одну,
Никак, за то же самое
Убили насмерть кольями.
С голодным не шути!..

Одной бедой не кончилось:
Чуть справились с бесхлебицей —
Рекрутчина пришла.
Да я не беспокоилась:
Уж за семью Филиппову
В солдаты брат ушел.
Сижу одна, работаю,
И муж и оба деверя
Уехали с утра;
На сходку свекор-батюшка
Отправился, а женщины
К соседкам разбрелись.
Мне крепко нездоровилось,
Была я Лиодорушкой
Беременна: последние
Дохаживала дни.
Управившись с ребятами,
В большой избе под шубою
На печку я легла.
Вернулись бабы к вечеру,
Нет только свекра-батюшки,
Ждут ужинать его.
Пришел: «Ох-ох! умаялся,
А дело не поправилось,
Пропали мы, жена!
Где видано, где слыхано:
Давно ли взяли старшего,
Теперь меньшóго дай!
Я по годам высчитывал,
Я миру в ноги кланялся,
Да мир у нас какой?
Просил бурмистра: бóжится,
Что жаль, да делать нечего!
И писаря просил,
Да правды из мошенника
И топором не вырубишь,
Что тени из стены!
Задарен... все задарены...
Сказать бы губернатору,

Так он бы задал им!
Всего и попросить-то бы,
Чтоб он по нашей волости
Очередные росписи
Поверить повелел.
Да сунься-ка!..» Заплакали
Свекровушка, золовушка,
А я... То было холодно,
Теперь огнем горю!
Горю... Бог весть что думаю...
Не дума... бред... Голодные
Стоят сиротки-деточки
Передо мной... Неласково
Глядит на них семья,
Они в дому шумливые,
На улице драчливые,
Обжоры за столом...
И стали их пощипывать,
В головку поколачивать...
Молчи, солдатка-мать!

Теперь уж я не дольщица
Участку деревенскому,
Хоромному строеньицу,
Одёже и скоту.
Теперь одно богачество:
Три озера наплакано
Горючих слез, засеяно
Три полосы бедой!

. . . . . .

Теперь, как виноватая,
Стою перед соседями:
Простите! я была
Спесива, непоклончива,
Не чаяла я, глупая,
Остаться сиротой...
Простите, люди добрые,
Учите уму-разуму,
Как жить самой? Как деточек
Поить, кормить, растить?..

. . . . . .

Послала деток по́ миру;
Просите, детки, ласкою,
Не смейте воровать!
А дети в слезы: «Холодно!
На нас одёжа рваная,
С крылечка на крылечко-то
Устанем мы ступать,
Под окнами натопчемся,
Иззябнем... У богатого
Нам боязно просить,
«Бог даст!» — ответят бедные...
Ни с чем домой воротимся —
Ты станешь нас бранить!..»

. . .

Собрала ужин; матушку
Зову, золовок, деверя,
Сама стою голодная
У двери, как раба.
Свекровь кричит: «Лукавая!
В постель скорей торопишься?»
А деверь говорит:
«Не много ты работала!
Весь день за деревиночкой
Стояла: дожидалася,
Как солнышко зайдет!»

. . . . . .

Получше нарядилась я,
Пошла я в церковь божию,
Смех слышу за собой!

. . . .

Хорошо не одевайся,
До́бела не умывайся,
У соседок очи зорки,
Востры языки!
Ходи улицей потише,
Носи голову пониже,
Коли весело — не смейся,
Не поплачь с тоски!..

. . . . . .

Пришла зима бессменная,
Поля, луга зеленые
Попрятались под снег.
На белом, снежном саване
Ни талой нет талиночки —
Нет у солдатки-матери
Во всем миру дружка!
С кем думушку подумати?
С кем словом перемолвиться?
Как справиться с убожеством?
Куда обиду сбыть?
В леса — леса повяли бы,
В луга — луга сгорели бы!
Во быструю реку?
Вода бы отстоялася!
Носи, солдатка бедная,
С собой ее по гроб!

Нет мужа, нет заступника!
Чу, барабан! Солдатики
Идут... Остановилися...
Построились в ряды.
«Живей!» Филиппа вывели
На середину площади:
«Эй! перемена первая!» —
Шалашников кричит.
Упал Филипп: — Помилуйте!
«А ты попробуй! слюбится!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Укрепа богатырская,
Не розги у меня!..»

. .

И тут я с печи спрыгнула,
Обулась. Долго слушала —
Всё тихо, спит семья!
Чуть-чуть я дверью скрипнула
И вышла. Ночь морозная...
Из Домниной избы,
Где парни деревенские
И девки собиралися,
Гремела песня складная,
Любимая моя...

«На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней батюшка,
Будил ее, побуживал:
Ты, Машенька, пойдем домой!
Ты, Ефимовна, пойдем домой!

Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходила к ней матушка,
Будила, побуживала:
Машенька, пойдем домой!
Ефимовна, пойдем домой!

Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней Петр,
Петр, сударь Петрович,
Будил ее, побуживал:
Машенька, пойдем домой!
Душа Ефимовна, пойдем домой!

Я иду, сударь, и слушаю:
Ночь светла и месячна,
Реки тихи, перевозы есть,
Леса темны, караулы есть».

Глава 7

ГУБЕРНАТОРША

Почти бегом бежала я
Через деревню,— чудилось,
Что с песней парни гонятся
И де́вицы за мной.
За Клином огляделась я:
Равнина белоснежная,
Да небо с ясным месяцем,
Да я, да тень моя...
Не жутко и не боязно
Вдруг стало,— словно радостью
Так и взмывало грудь...
Спасибо ветру зимнему!
Он, как водой студеною,
Больную напоил:
Обвеял буйну голову,
Рассеял думы черные,
Рассудок воротил.
Упала на колени я:
«Открой мне, матерь божия,
Чем бога прогневила я?
Владычица! во мне
Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,
Кровинки нет непорченой —
Терплю и не ропщу!
Всю силу, богом данную,
В работу полагаю я,
Всю в деточек любовь!
Ты видишь всё, владычица,
Ты можешь всё, заступница!
Спаси рабу свою!..»

Молиться в ночь морозную
Под звездным небом божиим
Люблю я с той поры.
Беда пристигнет — вспомните
И женам посоветуйте:
Усердней не помолишься
Нигде и никогда.
Чем больше я молилася,
Тем легче становилося,

И силы прибавлялося,
Чем чаще я касалася
До белой, снежной скатерти
Горящей головой...

Потом в дорогу тронулась,
Знакомая дороженька!
Езжала я по ней.
Поедешь ранним вечером,
Так утром вместе с солнышком
Поспеешь на базар.
Всю ночь я шла, не встретила
Живой души, под городом
Обозы начались.
Высокие, высокие
Возы сенца крестьянского,
Жалела я коней:
Свои кормы законные
Везут с двора, сердечные,
Чтоб после голодать.
И так-то всё, я думала:
Рабочий конь солому ест,
А пустопляс — овес!
Нужда с кулем тащилася,—
Мучица, чай, не лишняя,
Да подати не ждут!
С посада подгородного
Торговцы-колотырники*
Бежали к мужикам;
Божба, обман, ругательство!

Ударили к заутрени,
Как в город я вошла.
Ищу соборной площади,
Я знала: губернаторский
Дворец на площади́,
Темна, пуста площадочка,
Перед дворцом начальника
Шагает часовой.

— Скажи, служивый, рано ли
Начальник просыпается?
«Не знаю. Ты иди!
Нам говорить не велено!
(Дала ему двугривенный):

На то у губернатора
Особый есть швейцар».
— А где он? как назвать его?
«Макаром Федосеичем...
На лестницу поди!»
Пошла, да двери заперты,
Присела я, задумалась,
Уж начало светать.
Пришел фонарщик с лестницей,
Два тусклые фонарика
На площади задул.

«Эй! что ты тут расселася?»
Вскочила, испугалась я:
В дверях стоял в халатике
Плешивый человек.
Скоренько я целковенький
Макару Федосеичу
С поклоном подала:

— Такая есть великая
Нужда до губернатора,
Хоть умереть — дойти!
«Пускать-то вас не велено,
Да... ничего!.. толкнись-ка ты
Так... через два часа...»

Ушла. Бреду тихохонько...
Стоит из меди кованный,
Точь-в-точь Савелий дедушка,
Мужик на площади́.
— Чей памятник? — «Сусанина»*
Я перед ним помешкала,
На рынок побрела.
Там крепко испугалась я,
Чего? Вы не поверите,
Коли сказать теперь:
У поваренка вырвался
Матёрый серый селезень,
Стал парень догонять его,
А он как закричит!
Такой был крик, что за душу
Хватил — чуть не упала я,
Так под ножом кричат!

Поймали! шею вытянул
И зашипел с угрозою,
Как будто думал повара,
Бедняга, испугать.
Я прочь бежала, думала:
Утихнет серый селезень
Под поварским ножом!

Теперь дворец начальника
С балконом, с башней, с лестницей,
Ковром богатым устланной,
Весь стал передо мной.
На окна поглядела я:
Завешены. «В котором-то
Твоя опочиваленка?
Ты сладко ль спишь, желанный мой,
Какие видишь сны?..»

Сторонкой, не по коврику,
Прокралась я в швейцарскую.

«Раненько ты, кума!»

Опять я испугалася,
Макара Федосеича
Я не узнала: выбрился,
Надел ливрею шитую,
Взял в руки булаву́,
Как не бывало лысины.
Смеется. «Что ты вздрогнула?»
— Устала я, родной!

«А ты не трусь! Бог милостив!
Ты дай еще целковенький,
Увидишь — удружу!»

Дала еще целковенький,
«Пойдем в мою каморочку,
Попьешь пока чайку!»

Каморочка под лестницей:
Кровать да печь железная,
Шандал* да самовар.
В углу лампадка теплится,
А по стене картиночки.
«Вот он! — сказал Макар.—

Его превосходительство!»
И щелкнул пальцем бравого
Военного в звездáх.

— Да добрый ли? — спросила я.

«Как стих найдет! Сегодня вот
Я тоже добр, а временем —
Как пес, бываю зол».

— Скучаешь, видно, дяденька?
«Нет, тут статья особая,
Не скука тут — война!
И Сам и люди вечером
Уйдут, а к Федосеичу
В каморку враг: поборемся!
Борюсь я десять лет.
Как выпьешь рюмку лишнюю,
Махорки как накуришься,
Как эта печь накáлится
Да свечка нагорит —
Так тут устой!..»

Я вспомнила
Про богатырство дедово:
— Ты, дядюшка,— сказала я,—
Должно быть, богатырь.

«Не богатырь я, милая,
А силой тот не хвастайся,
Кто сна не поборал!»

В каморку постучалися,
Макар ушел... Сидела я,
Ждала, ждала, соскучилась,
Приотворила дверь.
К крыльцу карету подали.
— Сам едет? — «Губернаторша!» —
Ответил мне Макар
И бросился на лестницу.
По лестнице спускалася
В собольей шубе барыня,
Чиновничек при ней.

Не знала я, что́ делала.
(Да, видно, надоумила

Владычица!..) Как брошусь я
Ей в ноги: «Заступись!
Об аном, не по-божески
Кормильца и родителя
У деточек берут!»

— Откуда ты, голубушка?

Впопад ли я ответила —
Не знаю... Му́ка смертная
Под сердце подошла...

Очнулась я, молодчики,
В богатой, светлой горнице,
Под пологом лежу;
Против меня — кормилица,
Нарядная, в кокошнике,
С ребеночком сидит:
— Чье дитятко, красавица?
«Твое!» Поцеловала я
Рожоное дитя...

Как в ноги губернаторше
Я пала, как заплакала,
Как стала говорить,
Сказалась усталь долгая,
Истома непомерная,
Упередилось времечко —
Пришла моя пора!
Спасибо губернаторше,
Елене Александровне,
Я столько благодарна ей,
Как матери родной!
Сама крестила мальчика
И имя: Лиодорушка
Младенцу избрала...

— А что же с мужем сталося?

— Послали в Клин нарочного,
Всю истину доведали —
Филиппушку спасли.
Елена Александровна
Ко мне его, голубчика,
Сама — дай бог ей счастие! —
За ручку подвела.

Добра была, умна была,
Красивая, здоровая,
А деток не дал бог!
Пока у ней гостила я,
Всё время с Лиодорушкой
Носилась, как с родным.

Весна уж начиналася,
Березка распускалася,
Как мы домой пошли...

Хорошо, светло
В мире божием!
Хорошо, легко,
Ясно на́ сердце.

Мы идем, идем —
Остановимся,
На леса, луга
Полюбуемся,
Полюбуемся
Да послушаем,
Как шумят-бегут
Воды вешние,
Как поет-звенит
Жавороночек!
Мы стоим, глядим...
Очи встретятся —
Усмехнемся мы,
Усмехнется нам
Лиодорушка.

А увидим мы
Старца нищего,
Подадим ему
Мы копеечку:
«Не за нас молись,—
Скажем старому,—
Ты молись, старик,
За Еленушку,
За красавицу
Александровну!»

А увидим мы
Церковь божию,
Перед церковью

Долго крестимся:
«Дай ей, господи,
Радость-счастие,
Доброй душеньке
Александровне!»

Зеленеет лес,
Зеленеет луг,
Где низиночка —
Там и зеркало!
Хорошо, светло
В мире божием,
Хорошо, легко,
Ясно на́ сердце.
По вода́м плыву
Белым лебедем,
По степям бегу
Перепелочкой.

Прилетела в дом
Сизым голубем...
Поклонился мне
Свекор-батюшка;
Поклонилася
Мать-свекровушка,
Деверья, зятья
Поклонилися,
Поклонилися,
Повинилися!
Вы садитесь-ка,
Вы не кланяйтесь,
Вы послушайте,
Что скажу я вам:
Тому кланяться,
Кто сильней меня,—
Кто добрей меня,
Тому славу петь.
Кому славу петь?
Губернаторше!
Доброй душеньке
Александровне!

Глава 8

БАБЬЯ ПРИТЧА

Замолкла Тимофеевна.
Конечно, наши странники
Не пропустили случая
За здравье губернаторши
По чарке осушить.
И, видя, что хозяюшка
Ко стогу приклонилася,
К ней подошли гуськом:
«Что ж дальше?»

— Сами знаете:
Ославили счастливицей,
Прозвали губернаторшей
Матрену с той поры...
Что дальше? Домом правлю я,
Рощу детей... На радость ли?
Вам тоже надо знать.
Пять сыновей! Крестьянские
Порядки нескончаемы —
Уж взяли одного!*

Красивыми ресницами
Моргнула Тимофеевна,
Поспешно приклонилася
Ко стогу головой.
Крестьяне мялись, мешкали,
Шептались. «Ну, хозяюшка!
Что скажешь нам еще?»

— А то, что вы затеяли
Не дело — между бабами
Счастливую искать!..

«Да всё ли рассказала ты?»

— Чего же вам еще?
Не то ли вам рассказывать,
Что дважды погорели мы,
Что бог сибирской язвою
Нас трижды посетил?
Потуги лошадиные

Несли мы; погуляла я,
Как мерин в бороне!..

Ногами я не топтана,
Веревками не вязана,
Иголками не колота...
Чего же вам еще?
Сулилась душу выложить,
Да, видно, не сумела я,—
Простите, молодцы!
Не горы с места сдвинулись,
Упали на головушку,
Не бог стрелой громовою
Во гневе грудь пронзил,
По мне — тиха, невидима —
Прошла гроза душевная,
Покажешь ли ее?
По матери поруганной,
Как по змее растоптанной,
Кровь первенца прошла,
По мне обиды смертные
Прошли неотплачённые,
И плеть по мне прошла!
Я только не отведала —
Спасибо! умер Ситников —
Стыда неискупимого,
Последнего стыда!
А вы — за счастьем сунулись!
Обидно, молодцы!
Идите вы к чиновнику,
К вельможному боярину,
Идите вы к царю,
А женщин вы не трогайте,
Вот бог! ни с чем проходите
До гробовой доски!
К нам на ночь попросилася
Одна старушка божия:
Вся жизнь убогой старицы —
Убийство плоти, пост;
У гроба Иисусова
Молилась, на Афонские
Всходила высоты́,
В Иордань-реке купалася...*
И та святая старица
Рассказывала мне:
«Ключи от счастья женского,

От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У бога самого!
Отцы-пустынножители,
И жены непорочные,
И книжники-начетчики
Их ищут — не найдут!
Пропали! думать надобно,
Сглонула рыба их...
В веригах, изможденные,
Голодные, холодные,
Прошли господни ратники
Пустыни, города —
И у волхвов выспрашивать
И по звездáм высчитывать
Пытались — нет ключей!
Весь божий мир изведали,
В горах, в подземных пропастях
Искали... Наконец
Нашли ключи сподвижники!
Ключи неоценимые.
А всё — не те ключи!
Пришлись они — великое
Избрáнным людям божиим
То было торжество,—
Пришлись к рабам-невольникам:
Темницы растворилися,
По миру вздох прошел,
Такой ли громкий, радостный!..
А к нашей женской волюшке
Всё нет и нет ключей!
Великие сподвижники
И по сей день стараются —
На дно морей спускаются,
Под небо подымаются —
Всё нет и нет ключей!
Да вряд они и сыщутся...
Какою рыбой сглонуты
Ключи те заповедные,
В каких морях та рыбина
Гуляет — бог забыл!..»

ПИР — НА ВЕСЬ МИР[1]

Посвящается
*Сергею Петровичу Боткину**

ВСТУПЛЕНИЕ

В конце села Вахлачина,
Где житель — пахарь исстари
И частью — смолокур,
Под старой-старой ивою,
Свидетельницей скромною
Всей жизни вахлаков,
Где праздники справляются,
Где сходки собираются,
Где днем секут, а вечером
Целуются, милуются,—
Шел пир, великий пир!
Орудовать по-питерски
Привыкший дело всякое,
Знакомец наш Клим Яковлич,
Видавший благородные
Пиры с речами, спичами,—
Затейщик пира был.
На бревна, тут лежавшие,
На сруб избы застроенной
Уселись мужики;
Тут тоже наши странники
Сидели с Власом-старостой
(Им дело до всего).
Как только пить надумали,
Влас сыну-малолеточку
Вскричал: «Беги за Трифоном!»
С дьячком приходским Трифоном,
Гулякой, кумом старосты,
Пришли его сыны,
Семинаристы: Саввушка
И Гриша; было старшему
Уж девятнадцать лет;
Теперь же протодьяконом
Смотрел, а у Григория

---

[1] Из второй части «Кому на Руси жить хорошо». Настоящая глава следует за главою «Последыш», помещенною в «Отечественных записках» 1873 г., № 2, и в отдельном, 6-м издании «Стихотворений Некрасова»* (см. стр. 524 настоящего издания).

Лицо худое, бледное
И волос тонкий, вьющийся,
С оттенком красноты.
Простые парни, добрые,
Косили, жали, сеяли
И пили водку в праздники
С крестьянством наравне.

Тотчас же за селением
Шла Волга, а за Волгою
Был город небольшой
(Сказать точнее, города
В ту нору тени не было,
А были головни:
Пожар всё снес третьеводни).
Так люди мимоезжие,
Знакомцы вахлаков,
Тут тоже становилися,
Парома поджидаючи,
Кормили лошадей.
Сюда брели и нищие,
И тараторка-странница,
И тихий богомол.

В день смерти князя старого
Крестьяне не предвидели,
Что не луга поёмные,
А тяжбу наживут.
И, выпив по стаканчику,
Первей всего заспорили:
Как им с лугами быть?

Не вся ты, Русь, обмеряна
Землицей: попадаются
Углы благословенные,
Где ладно обошлось.
Какой-нибудь случайностью —
Неведеньем помещика,
Живущего вдали,
Ошибкою посредника,
А чаще изворотами
Крестьян-руководителей —
В надел крестьянам изредка
Попало и леску.
Там горд мужик, попробуй-ка
В окошко стукнуть староста

За податью — осердится!
Один ответ до времени:
«А ты леску продай!»
И вахлаки надумали
Свои луга поёмные
Сдать старосте — на подати:
Всё взвешено, рассчитано,
Как раз — оброк и подати,
С залишком. «Так ли, Влас?»

— А коли подать справлена,
Я никому не здравствую!
Охота есть — работаю,
Не то — валяюсь с бабою,
Не то — иду в кабак!

«Так! — вся орда вахлацкая
На слово Клима Лавина
Откликнулась,— на подати!
Согласен, дядя Влас?»

— У Клима речь короткая
И ясная, как вывеска,
Зовущая в кабак,—
Сказал шутливо староста.—
Начнет Климаха бабою,
А кончит — кабаком!
«А чем же! Не острогом же
Кончать-то? Дело верное,
Не каркай, пореши!»

Но Власу не до карканья.
Влас был душа добрейшая,
Болел за всю вахлачину,
Не за одну семью.
Служа при строгом барине,
Нес тяготу на совести
Невольного участника
Жестокостей его.
Как молод был, ждал лучшего,
Да вечно так случалося,
Что лучшее кончалося
Ничем или бедой.
И стал бояться нового,
Богатого посулами,
Неверующий Влас.

Не столько в Белокаменной*
По мостовой проехано,
Как по душе крестьянина
Прошло обид... до смеху ли?..
Влас вечно был угрюм.
А тут — сплошал старинушка!
Дурачество вахлацкое
Коснулось и его!
Ему невольно думалось:
«Без барщины... без подати...
Без палки... правда ль, господи?»
И улыбнулся Влас.
Так солнце с неба знойного
В лесную глушь дремучую
Забросит луч — и чудо там:
Роса горит алмазами.
Позолотился мох.
«Пей, вахлачки, погуливай!»
Не в меру было весело:
У каждого в груди
Играло чувство новое,
Как будто выносила их
Могучая волна
Со дна бездонной пропасти
На свет, где нескончаемый
Им уготован пир!
Еще ведро поставили,
Галденье непрерывное
И песни начались!
Как, схоронив покойника
Родные и знакомые
О нем лишь говорят,
Покамест не управятся
С хозяйским угощением
И не начнут зевать,—
Так и галденье долгое
За чарочкой, под ивою,
Всё, почитай, сложилося
В поминки по подрезанным
Помещичьим «крепям»*.
К дьячку с семинаристами
Пристали: «Пой веселую!»
Запели молодцы.
(Ту песню — не народную —
Впервые спел сын Трифона,
Григорий, вахлакам,

И с «Положенья» царского,
С народа крепи снявшего,
Она по пьяным праздникам
Как плясовая пелася
Попами и дворовыми,—
Вахлак ее не пел,
А слушая, притопывал,
Присвистывал; «веселою»
Не в шутку называл.)

1. ГОРЬКОЕ ВРЕМЯ — ГОРЬКИЕ ПЕСНИ

ВЕСЕЛАЯ

— Кушай тюрю, Яша!
Молочка-то нет!
«Где ж коровка наша?»
— Увели, мой свет!
Барин для приплоду
Взял ее домой.
Славно жить народу
На Руси святой!

«Где же наши куры?» —
Де́вчонки орут.
— Не орите, дуры!
Съел их земский суд;
Взял еще подводу
Да сулил постой...
Славно жить народу
На Руси святой!

Разломило спину,
А квашня не ждет!
Баба Катерину
Вспомнила — ревет:
В дворне больше году
Дочка... нет родной!
Славно жить народу
На Руси святой!

Чуть из ребятишек,
Глядь — и нет детей;
Царь возьмет мальчишек,
Барин — дочерей!

Одному уроду
Вековать с семьей.
Славно жить народу
На Руси святой!

Потом свою вахлацкую,
Родную — хором грянули,
Протяжную, печальную —
Иных покамест нет.
Не диво ли? широкая
Сторонка Русь крещеная,
Народу в ней тьма тём,
А ни в одной-то душеньке
Спокон веков до нашего
Не загорелась песенка
Веселая и ясная,
Как вёдреный денек.
Не дивно ли? не страшно ли?
О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа народная!
Воссмейся ж наконец!

БАРЩИННАЯ

Беден, нечесан Калинушка,
Нечем ему щеголять,
Только расписана спинушка,
Да за рубахой не знать.
С лаптя до ворота
Шкура вся вспорота,
Пухнет с мякины живот.
Верченый, крученый,
Сеченый, мученый,
Еле Калина бредет.

В ноги кабатчику стукнется,
Горе потопит в вине,
Только в субботу аукнется
С барской конюшни жене...

«Ай, песенка!.. Запомнить бы!..»
Тужили наши странники,

Что память коротка,
А вахлаки бахвалились:
— Мы барщинные! С наше-то
Попробуй, потерпи!
Мы барщинные! выросли
Под рылом у помещика;
День — каторга, а ночь?
Что сраму-то! За девками
Гонцы скакали тройками
По нашим деревням.
В лицо позабывали мы
Друг дружку, в землю глядючи,
Мы потеряли речь.
В молчанку напивалися,
В молчанку целовалися,
В молчанку драка шла.
— Ну, ты насчет молчанки-то
Не очень! нам молчанка-то
Досталась солоней! —
Сказал соседней волости
Крестьянин, с сеном ехавший
(Нужда пристигла крайняя,
Скосил — и на базар!).—
Решила наша барышня
Гертруда Александровна,
Кто скажет слово крепкое,
Того нещадно драть.
И драли же! покудова
Не перестали лаяться.
А мужику не лаяться —
Едино, что молчать.
Намаялись! уж подлинно
Отпраздновали волю мы,
Как праздник: так ругалися,
Что поп Иван обиделся
За звоны колокольные,
Гудевшие в тот день.

Такие сказы чудные
Посыпались... и диво ли?
Ходить далёко за́ словом
Не надо — всё прописано
На собственной спине.

«У нас была оказия,—
Сказал детина с черными

Большими бакенбардами,—
Так нет ее чудней».
(На малом шляпа круглая,
С значком, жилетка красная,
С десятком светлых пуговиц,
Посконные штаны
И лапти: малый смахивал
На дерево, с которого
Кору подпасок крохотный
Всю снизу ободрал.
А выше — ни царапины,
В вершине не побрезгует
Ворона свить гнездо.)
— Так что же, брат, рассказывай!
«Дай прежде покурю!»
Покамест он покуривал,
У Власа наши странники
Спросили — Что за гусь?
«Так, подбегало-мученик[1],
Приписан к нашей волости,
Барона Синегузина[2]
Дворовый человек,
Викентий Александрович.
С запяток в хлебопашество
Прыгну́л! За ним осталася
И кличка: «Выездной».
Здоров, а ноги слабые,
Дрожат; его-то барыня
В карете цугом ездила
Четверкой по грибы...
Расскажет он! послушайте!
Такая память знатная,
Должно быть (кончил староста),
Сорочьи яйца ел[3]».
Поправив шляпу круглую,
Викентий Александрович
К рассказу приступил.

---

[1] П о д б е г а л о — человек нетутошний, пришлый, приписавшийся к деревне.

[2] Тизенгаузена

[3] Примета: чтобы иметь хорошую память, нужно есть сорочьи яйца

ПРО ХОЛОПА ПРИМЕРНОГО — ЯКОВА ВЕРНОГО

Был господин невысокого рода,
Он деревнишку на взятки купил,
Жил в ней безвыездно тридцать три года,
Вольничал, бражничал, горькую пил.
Жадный, скупой, не дружился с дворянами,
Только к сестрице езжал на чаек;
Даже с родными, не только с крестьянами,
Был господин Поливанов жесток;
Дочь повенчав, муженька благоверного
Высек — обоих прогнал нагишом,
    В зубы холопа примерного,
        Якова верного,
    По́ходя дул каблуком.

    Люди холопского звания —
    Сущие псы иногда:
    Чем тяжелей наказания,
    Тем им милей господа.
Яков таким объявился из младости,
Только и было у Якова радости:
Барина холить, беречь, ублажать
Да племяша-малолетка качать.
Так они оба до старости дожили.
Стали у барина ножки хиреть,
Ездил лечиться, да ноги не ожили...
Полно кутить, баловаться и петь!
    Очи-то ясные,
    Щеки-то красные,
Пухлые руки как сахар белы,
    Да на ногах — кандалы!

Смирно помещик лежит под халатом,
    Горькую долю клянет,
Яков при барине: другом и братом
Верного Якова барин зовет.
Зиму и лето вдвоем коротали,
В карточки больше играли они,
Скуку рассеять к сестрице езжали
Верст за двенадцать в хорошие дни.
Вынесет сам его Яков, уложит,
Сам на долгушке* свезет до сестры,
Сам до старушки добраться поможет.
Так они жили ладком — до поры...

Вырос племянничек Якова, Гриша,
Барину в ноги: «Жениться хочу!»
— Кто же невеста? — «Невеста — Ариша».
Барин ответствует: — В гроб вколочу! —
Думал он сам, на Аришу-то глядя:
«Только бы ноги господь воротил!»
Как ни просил за племянника дядя,
Барин соперника в рекруты сбыл.
Крепко обидел холопа примерного,
Якова верного
Барин,— холоп задурил!
Мертвую запил... Неловко без Якова,
Кто ни послужит — дурак, негодяй!
Злость-то давно накипела у всякого,
Благо есть случай: груби, вымещай!
Барин то просит, то пёсски ругается,
Так две недели прошли.
Вдруг его верный холоп возвращается...
Первое дело — поклон до земли.
Жаль ему, видишь ты, стало безногого:
Кто-де сумеет его соблюсти?
«Не поминай только дела жестокого;
Буду свой крест до могилы нести!»
Снова помещик лежит под халатом,
Снова у ног его Яков сидит,
Снова помещик зовет его братом.
«Что ты нахмурился, Яша?» — Мутит! —
Много грибов нанизали на нитки,
В карты сыграли, чайку напились,
Ссыпали вишни, малину в напитки
И поразвлечься к сестре собрались.

Курит помещик, лежит беззаботно,
Ясному солнышку, зелени рад.
Яков угрюм, говорит неохотно,
Вожжи у Якова дрожмя дрожат,
Крестится. «Чур меня, сила нечистая! —
Шепчет: — рассыпься!» (мутил его враг).
Едут... направо трущоба лесистая,
Имя ей исстари: Чертов овраг;
Яков свернул и поехал оврагом,
Барин опешил: «Куда ж ты, куда?»
Яков ни слова. Проехали шагом
Несколько верст; не дорога — беда!
Ямы, валежник; бегут по оврагу
Вешние воды, деревья шумят...

Стали лошадки — и дальше ни шагу,
Сосны стеной перед ними торчат.

Яков, не глядя на барина бедного,
    Начал коней отпрягать,
Верного Яшу, дрожащего, бледного,
Начал помещик тогда умолять.
Выслушал Яков посулы — и грубо,
Зло засмеялся: «Нашел душегуба!
Стану я руки убийством марать,
    Нет, не тебе умирать!»
Яков на сосну высокую прянул,
Вожжи в вершине ее укрепил,
Перекрестился, на солнышко глянул,
Голову в петлю — и ноги спустил!..

Экие страсти господни! висит
Яков над барином, мерно качается.
Мечется барин, рыдает, кричит,
    Эхо одно откликается!

Вытянул голову, голос напряг
    Барин — напрасные крики!
В саван окутался Чертов овраг,
    Ночью там росы велики,
Зги не видать! только совы снуют,
    Оземь ширяясь крылами,
Слышно, как лошади листья жуют,
    Тихо звеня бубенцами.
Словно чугунка подходит — горят
Чьи-то два круглые, яркие ока;
Птицы какие-то с шумом летят,
Слышно, посели они недалёко.
Ворон над Яковом каркнул один.
    Чу! их слетелось до сотни!
Ухнул, грозит костылем господин.
    Экие страсти господни!

Барин в овраге всю ночь пролежал,
Стонами птиц и волков отгоняя,
Утром охотник его увидал.
Барин вернулся домой, причитая:
«Грешен я, грешен! Казните меня!»

Будешь ты, барин, холопа примерного,
Якова верного
Помнить до судного дня!

«Грехи, грехи,— послышалось
Со всех сторон.— Жаль Якова,
Да жутко и за барина,—
Какую принял казнь!» —
«Жалей!..» Еще прослушали
Два-три рассказа страшные
И горячо заспорили
О том, кто всех грешней?
Один сказал: кабатчики,
Другой сказал: помещики,
А третий — мужики.
То был Игнатий Прохоров,
Извозом занимавшийся*,
Степенный и зажиточный
Мужик — не пустослов.
Видал он виды всякие,
Изъездил всю губернию
И вдоль и поперек.
Его послушать надо бы,
Однако вахлаки
Так обозлились, не дали
Игнатью слова вымолвить,
Особенно Клим Яковлев
Куражился: «Дурак же ты!..»
— А ты бы прежде выслушал...
«Дурак же ты...»
— И все-то вы,
Я вижу, дураки! —
Вдруг вставил слово грубое
Еремин, брат купеческий,
Скупавший у крестьян
Что ни попало, лапти ли,
Теленка ли, бруснику ли,
А главное — мастак
Подстерегать оказии,
Когда сбирались подати
И собственность вахлацкая
Пускалась с молотка.
— Затеять спор затеяли,
А в точку не утрафили!
Кто всех грешней? подумайте!

«Ну, кто же? говори!»
— Известно, кто: разбойники! —
А Клим ему в ответ:
— Вы крепостными не были,
Была капель великая,
Да не на вашу плешь!
Набил мошну: мерещатся
Везде ему разбойники;
Разбой — статья особая,
Разбой тут ни при чем!
«Разбойник за разбойника
Вступился!» — прасол* вымолвил,
А Лавин — скок к нему!
— Молись! — и в зубы прасола.
«Прощайся с животишками!» —
И прасол в зубы Лавина.
«Ай, драка! молодцы!»
Крестьяне расступилися,
Никто не подзадоривал,
Никто не разнимал.
Удары градом сыпались:
— Убью! пиши к родителям!
«Убью! зови попа!»
Тем кончилось, что прасола
Клим сжал рукой, как обручем,
Другой вцепился в волосы
И гнул со словом «кланяйся»
Купца к своим ногам.
— Ну, баста! — прасол вымолвил.
Клим выпустил обидчика,
Обидчик сел на бревнышко,
Платком широким клетчатым
Отерся и сказал:
— Твоя взяла! и диво ли?
Не жнет, не пашет — шляется
По коновальской должности,
Как сил не нагулять?
(Крестьяне засмеялися.)
«А ты еще не хочешь ли?» —
Сказал задорно Клим.
— Ты думал, нет? Попробуем! —
Купец снял чуйку бережно
И в руки поплевал.

«Раскрыть уста греховные
Пришел черед: прислушайте!

И так вас помирю!» —
Вдруг возгласил Ионушка,
Весь вечер молча слушавший,
Вздыхавший и крестившийся,
Смиренный богомол.
Купец был рад; Клим Яковлев
Помалчивал. Уселися,
Настала тишина.

2. СТРАННИКИ И БОГОМОЛЬЦЫ

Бездомного, безродного
Немало попадается
Народу на Руси,
Не жнут, не сеют — кормятся
Из той же общей житницы,
Что́ кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина
Горбом ее зовут.
Пускай народу ведомо,
Что целые селения
На попрошайство осенью,
Как на доходный промысел,
Идут: в народной совести
Уставилось решение,
Что больше тут злосчастия,
Чем лжи,— им подают.
Пускай нередки случаи,
Что странница окажется
Воровкой; что у баб
За просфоры афонские,
За «слезки богородицы»*
Паломник пряжу выманит,
А после бабы сведают,
Что дальше Тройцы-Сергия*
Он сам-то не бывал.
Был старец, чудным пением
Пленял сердца народные;
С согласья матерей,
В селе Крутые Заводи
Божественному пению
Стал девок обучать;
Всю зиму девки красные
С ним в риге запирался,

Оттуда пенье слышалось,
А чаще смех и визг.
Однако чем же кончилось?
Он петь-то их не выучил,
А перепортил всех.
Есть мастера великие
Подлаживаться к барыням:
Сначала через баб
Доступится до девичьей,
А там и до помещицы.
Бренчит ключами, по́ двору
Похаживает барином,
Плюет в лицо крестьянину,
Старушку богомольную
Согнул в бараний рог!..
Но видит в тех же странниках
И лицевую сторону
Народ. Кем церкви строятся?
Кто кружки монастырские
Наполнил через край?
Иной добра не делает,
И зла за ним не видится,
Иного не поймешь.
Знаком народу Фомушка:
Вериги двухпудовые*
По телу опоясаны,
Зимой и летом бос,
Бормочет непонятное,
А жить — живет по-божески:
Доска да камень в головы,
А пища — хлеб один.
Чудён ему и памятен
Старообряд Кропильников,
Старик, вся жизнь которого
То воля, то острог.
Пришел в село Усолово:
Корит мирян безбожием,
Зовет в леса дремучие
Спасаться. Становой
Случился тут, всё выслушал:
— К допросу сомустителя! —
Он то же и ему:
«Ты враг Христов, антихристов
Посланник!» Сотский, староста
Мигали старику:
— Эй, покорись! — Не слушает!

Везли его в острог,
А он корил начальника
И, на телеге стоючи,
Усоловцам кричал:

«Горе вам, горе, пропащие головы!
Были оборваны,— будете голы вы,
Били вас палками, розгами, кнутьями,
Будете биты железными прутьями!..»

Усоловцы крестилися,
Начальник бил глашатая:
«Попомнишь ты, анафема,
Судью ерусалимского!»
У парня, у подводчика,
С испугу вожжи выпали
И волос дыбом стал!
И, как на грех, воинская
Команда утром грянула:
В Устой, село недальное,
Солдатики пришли.
Допросы! усмирение!
Тревога! по спопутности
Досталось и усоловцам:
Пророчество строптивого
Чуть в точку не сбылось.

Вовек не позабудется
Народом Евфросиньюшка,
Посадская вдова:
Как божия посланница,
Старушка появляется
В холерные года;
Хоронит, лечит, возится
С больными. Чуть не молятся
Крестьянки на нее...

Стучись же, гость неведомый!
Кто б ни был ты, уверенно
В калитку деревенскую
Стучись! Не подозрителен
Крестьянин коренной,
В нем мысль не зарождается,
Как у людей достаточных,
При виде незнакомого,
Убогого и робкого:

Не стибрил бы чего?
А бабы — те радёхоньки.
Зимой перед лучиною
Сидит семья, работает,
А странничек гласит.
Уж в баньке он попарился,
Ушицы ложкой собственной,
С рукой благословляющей,
Досы́та похлебал.
По жилам ходит чарочка,
Рекою льется речь.
В избе всё словно замерло:
Старик, чинивший лапотки,
К ногам их уронил;
Челнок давно не чикает,
Заслушалась работница
У ткацкого станка;
Застыл уж на уколотом
Мизинце у Евгеньюшки,
Хозяйской старшей дочери,
Высокий бугорок,
А девка и не слышала,
Как укололась до крови;
Шитье к ногам спустилося;
Сидит — зрачки расширены,—
Руками развела...
Ребята, свесив головы
С полатей, не шело́хнутся:
Как тюленята сонные
На льдинах за Архангельском,
Лежат на животе.
Лиц не видать, завешены
Спустившимися прядями
Волос — не нужно сказывать,
Что желтые они.
Постой! уж скоро странничек
Доскажет быль афонскую*,
Как турка взбунтовавшихся
Монахов в море гнал,
Как шли покорно иноки
И погибали сотнями...
Услышишь шепот ужаса,
Увидишь ряд испуганных,
Слезами полных глаз!
Пришла минута страшная —
И у самой хозяюшки

Веретено пузатое
Скатилося с колен.
Кот Васька настороóжился —
И прыг к веретену!
В другую пору то-то бы
Досталось Ваське шустрому,
А тут и не заметили,
Как он проворной лапкою
Веретено потрогивал,
Как прыгнул на него
И как оно каталося,
Пока не размоталася
Напряденная нить!

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь.
Когда изменят пахарю
Поля старозапашные,
Клочки в лесных окраинах
Он пробует пахать.
Работы тут достаточно,
Зато полоски новые
Дают без удобрения
Обильный урожай.
Такая почва добрая —
Душа народа русского...
О сеятель! приди!..

Иона (он же Ляпушкин)
Сторонушку вахлацкую
Издавна навещал.
Не только не гнушалися
Крестьяне божьим странником,
А спорили о том,
Кто первый приютит его,
Пока их спорам Ляпушкин
Конца не положил:
«Эй, бабы! выносите-ка

Иконы!» Бабы вынесли;
Пред каждою иконою
Иона падал ниц:
«Не спорьте! дело божие,
Котора взглянет ласковей,
За тою и пойду!»
И часто за беднейшею
Иконой шел Ионушка
В беднейшую избу.
И к той избе особое
Почтенье: бабы бегают
С узлами, сковородками
В ту и́збу. Чашей полною,
По милости Ионушки,
Становится она.

Негромко и неторопко
Повел рассказ Ионушка
«О двух великих грешниках»,
Усердно покрестясь.

О ДВУХ ВЕЛИКИХ ГРЕШНИКАХ

Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках* ее сказывал
Инок, отец Питирим.
Было двенадцать разбойников*,
Был Кудеяр — атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,
Вождь Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу.

Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть господь пробудил.

Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабеж,
Тени убитых являются,
Целая рать — не сочтешь!

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.

Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать
К гробу господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стаёт.

Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой,
Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.

Денно и нощно всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!

Сжалился бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,

Рек: «Не без божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!

Будет работа великая,
Будет награда за труд,
Только что рухнется дерево —
Цепи греха упадут».

Смерил отшельник страшилище:
Дуб — три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,

Режет упругое дерево,
Господу славу поет,

Годы идут — подвигается
Медленно дело вперед.

Что́ с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!

В сердце сомнение кра́дется,
Режет и слышит слова:
«Эй, старина, что ты делаешь?»
Перекрестился сперва,

Глянул — и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.

Много жестокого, страшного
Старец о пане слыхал
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.

Пан усмехнулся: «Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.

Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!»

Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..
Господу богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов!

3. И СТАРОЕ И НОВОЕ

Иона кончил, крестится;
Народ молчит. Вдруг прасола
Сердитым криком про́рвало:

«Эй вы, тетери сонные!
Па-ром, живей, па-ром!»
— Парома не докличешься
До солнца! перевозчики
И днем-то трусу празднуют,
Паром у них худой,
Пожди! Про Кудеяра-то...
«Паром! пар-ром! пар-ром!»
Ушел, с телегой возится,
Корова к ней привязана —
Он пнул ее ногой;
В ней курочки курлыкают,
Сказал им: «Дуры! цыц!»
Теленок в ней мотается —
Досталось и теленочку
По звездочке на лбу.
Нажег коня саврасого
Кнутом — и к Волге двинулся.
Плыл месяц над дорогою,
Такая тень потешная
Бежала рядом с прасолом
По лунной полосе!
«Отдумал, стало, драться-то?
А спорить — видит — не о чем,—
Заметил Влас.— Ой, господи!
Велик дворянский грех!»
— Велик, а всё не быть ему
Против греха крестьянского,—
Опять Игнатий Прохоров
Не вытерпел — сказал.
Клим плюнул. «Эк приспичило!
Кто с чем, а нашей галочке
Родные галченяточки
Всего милей... Ну, сказывай,
Что за великий грех?»

КРЕСТЬЯНСКИЙ ГРЕХ

Аммирал-вдовец по морям ходил,
По морям ходил, корабли водил,
Под Ачаковом бился с туркою*,
Наносил ему поражение,
И дала ему государыня
Восемь тысяч душ в награждение.
В той ли вотчине припеваючи
Доживает век аммирал-вдовец,
И вручает он, умираючи,
Глебу-старосте золотой ларец.
«Гой ты, староста! Береги ларец!
Воля в нем моя сохраняется:
Из цепей-крепей на свободушку
Восемь тысяч душ отпускается!»

Аммирал-вдовец на столе лежит,
Дальний родственник хоронить катит...

Схоронил, забыл! Кличет старосту
И заводит с ним речь окольную;
Всё повыведал, насулил ему
Горы золота, выдал вольную...

Глеб — он жаден был — соблазняется:
Завещание сожигается!

На десятки лет, до недавних дней
Восемь тысяч душ закрепил злодей,
С родом, с племенем; что народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!
Всё прощает бог, а Иудин грех
Не прощается.
Ой, мужик! мужик! ты грешнее всех,
И за то тебе вечно маяться!

Суровый и рассерженный,
Громовым, грозным голосом
Игнатий кончил речь.
Толпа вскочила на ноги,
Пронесся вздох, послышалось:
«Так вот он, грех крестьянина!
И впрямь страшенный грех!»
— И впрямь: нам вечно маяться,

Ох-ох!..— сказал сам староста
Опять убитый, в лучшее
Не верующий Влас
И скоро поддававшийся
Как горю, так и радости.
«Великий грех! великий грех!» —
Тоскливо вторил Клим.

Площадка перед Волгою,
Луною освещенная,
Переменилась вдруг.
Пропали люди гордые,
С уверенной походкою,
Остались вахлаки,
Досы́та не едавшие,
Несолоно хлебавшие,
Которых вместо барина
Драть будет волостной*,
К которым голод стукнуться
Грозит: засу́ха долгая,
А тут еще — жучок!
Которым прасол-выжига
Урезать цену хвалится
На их добычу трудную,
Смолу, слезу вахлацкую,
Урежет, попрекнет:
«За что платить вам много-то?
У вас товар некупленный,
Из вас на солнце топится
Смола, как из сосны!»

Опять упали бедные
На дно бездонной пропасти,
Притихли, приубожились,
Легли на животы;
Лежали, думу думали
И вдруг запели. Медленно,
Как туча надвигается,
Текли слова тягучие.
Так песню отчеканили,
Что сразу наши странники
Упомнили ее:

ГОЛОДНАЯ

Стоит мужик —
Колышется,
Идет мужик —
Не дышится!

С коры его
Распучило,
Тоска-беда
Измучила.

Темней лица
Стеклянного
Не видано
У пьяного.

Идет — пыхтит,
Идет — и спит,
Прибрел туда,
Где рожь шумит.

Как идол стал
На полосу,
Стоит, поет
Без голосу:

«Дозрей, дозрей,
Рожь-матушка!
Я пахарь твой,
Панкратушка!

Ковригу съем
Гора горой,
Ватрушку съем
Со стол большой!

Всё съем один,
Управлюсь сам.
Хоть мать, хоть сын,
Проси — не дам!»

«Ой, батюшки, есть хочется!» —
Сказал упалым голосом
Один мужик; из пещура*

Достал краюху — ест.
— Поют они без голосу,
А слушать — дрожь по волосу! —
Сказал другой мужик.
И правда, что не голосом —
Нутром — свою «Голодную»
Пропели вахлаки.
Иной во время пения
Стал на ноги, показывал,
Как шел мужик расслабленный,
Как сон долил голодного,
Как ветер колыхал,
И были строги, медленны
Движенья. Спев «Голодную»,
Шатаясь, как разбитые,
Гуськом пошли к ведерочку
И выпили певцы.

«Дерзай!» — за ними слышится
Дьячково слово; сын его
Григорий, крестник старосты,
Подходит к землякам.
«Хошь водки?» — Пил достаточно.
Что тут у вас случилося?
Как в воду вы опущены!..
«Мы?.. что ты!..» Насторо́жились,
Влас положил на крестника
Широкую ладонь.

— Неволя к вам вернулася?
Погонят вас на барщину?
Луга у вас отобраны?
«Луга-то?.. Шутишь, брат!»
— Так что ж переменилося?..
Закаркали «Голодную»,
Накликать голод хочется?
«Никак, и впрямь ништо!» —
Клим как из пушки выпалил;
У многих зачесалися
Затылки, шепот слышится:
— Никак, и впрямь ништо!

«Пей, вахлачки, погуливай!
Всё ладно, всё по-нашему,
Как было ждано-гадано.
Не вешай головы!»

— По нашему ли, Климушка?
А Глеб-то?

Потолковано
Немало: в рот положено,
Что не они ответчики
За Глеба окаянного,
Всему виною: крепь!
«Змея родит змеенышей,
А крепь — грехи помещика,
Грех Якова-несчастного,
Грех Глеба родила!
Нет крепи — нет помещика,
До петли доводящего
Усердного раба,
Нет крепи — нет дворового,
Самоубийством мстящего
Злодею своему,
Нет крепи — Глеба нового
Не будет на Руси!»

Всех пристальней, всех радостней
Прослушал Гришу Пров:
Осклабился, товарищам
Сказал победным голосом:
«Мотайте-ка на ус!»
«Так, значит, и «Голодную»
Теперь навеки по́боку?
Эй! други! Пой веселую!» —
Клим радостно кричал...
Пошло, толпой подхвачено,
О крепи слово верное
Трепаться: «Нет змеи —
Не будет и змеенышей!»
Клим Яковлев Игнатия
Опять ругнул: «Дурак же ты!»
Чуть-чуть не подрались!
Дьячок рыдал над Гришею:
«Создаст же бог головушку!
Недаром порывается
В Москву, в новорситет!»
А Влас его поглаживал:
— Дай бог тебе и се́ребра,
И золотца, дай умную,
Здоровую жену!

«Не надо мне ни серебра,
Ни золота, а дай господь,
Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело
На всей святой Руси!» —
Зардевшись, словно девушка,
Сказал из сердца самого
Григорий — и ушел.

Светает. Снаряжаются
Подводчики.— Эй, Влас Ильич!
Иди сюда, гляди, кто здесь! —
Сказал Игнатий Прохоров,
Взяв к бревнам привалённую
Дугу. Подходит Влас,
За ним бегом Клим Яковлев,
За Климом — наши странники
(Им дело до всего):
За бревнами, где нищие
Вповалку спали с вечера,
Лежал какой-то смученный,
Избитый человек;
На нем одёжа новая,
Да только вся изорвана,
На шее красный шелковый
Платок, рубаха красная,
Жилетка и часы.
Нагнулся Лавин к спящему,
Взглянул и с криком: «Бей его!»
Пнул в зубы каблуком.
Вскочил детина, мутные
Протер глаза, а Влас его
Тем временем в скулу.
Как крыса прищемлённая,
Детина пискнул жалобно —
И к лесу! Ноги длинные,
Бежит — земля дрожит!
Четыре парня бросились
В погоню за детиною,
Народ кричал им: «Бей его!»,
Пока в лесу не скрылися
И парни, и беглец.

«Что за мужчина? — старосту
Допытывались странники.—
За что его тузят?»

— Не знаем, так наказано
Нам из села из Тискова,
Что буде где покажется
Егорка Шутов — бить его!
И бьем. Подъедут тисковцы,
Расскажут.— Удоволили? —
Спросил старик вернувшихся
С погони молодцов.

«Догнали, удоволили!
Побёг к Кузьме-Демьянскому;
Там, видно, переправиться
За Волгу норовит».
— Чудной народ! Бьют сонного,
За что, про что, не знаючи...

— Коли всем миром велено:
Бей! — стало, есть за что! —
Прикрикнул Влас на странников.—
Не ветрогоны тисковцы,
Давно ли там десятого
Пороли?.. ой, Егор!..
Ай, служба — должность подлая!..
Гнусь-человек! — Не бить его,
Так уж кого и бить?
Не нам одним наказано:
От Тискова по Волге-то
Тут деревень четырнадцать,
Чай, через все четырнадцать
Прогнали, как сквозь строй!

Притихли наши странники.
Узнать-то им желательно,
В чем штука?* да прогневался
И так уж дядя Влас.

Совсем светло. Позавтракать
Мужьям хозяйки вынесли:
Ватрушки с творогом,
Гусятина (прогнали тут
Гусей; три затомилися,

Мужик их нес под мышкою:
«Продай! помрут до городу!»
Купили ни за что).
Как пьет мужик, толковано
Немало, а не всякому
Известно, как он ест.
Жаднее на говядину,
Чем на вино, бросается.
Был тут непьющий каменщик,
Так опьянел с гусятины,
На что твое вино!
Чу! слышен крик: «Кто едет-то!
Кто едет-то!» Наклюнулось
Еще подспорье шумному
Веселью вахлаков.
Воз с сеном приближается,
Высоко на возу
Сидит солдат Овсянников,
Верст на́ двадцать в окружности
Знакомый мужикам,
И рядом с ним Устиньюшка,
Сироточка-племянница,
Поддержка старика.
Райком* кормился дедушка,
Москву да Кремль показывал,
Вдруг инструмент испортился,
А капиталу нет!
Три желтенькие ложечки
Купил — так не приходятся
Заученные на́твердо
Присловья к новой музыке,
Народа не смешат!
Хитер солдат! по времени
Слова придумал новые,
И ложки в ход пошли.
Обрадовались старому:
«Здорово, дедко! спрыгни-ка,
Да выпей с нами рюмочку,
Да в ложечки ударь!»
— Забраться-то забрался я,
А как сойду, не ведаю:
Ведет! — «Небось до города
Опять за полной пенцией?*
Да город-то сгорел!»
— Сгорел? И поделом ему!
Сгорел? Так я до Питера!

Там все мои товарищи
Гуляют с полной пенцией,
Там дело разберут!
«Чай, по чугунке тронешься?»
Служивый посвистал:
— Недолго послужила ты
Народу православному,
Чугунка бусурманская!
Была ты нам люба,
Как от Москвы до Питера
Возила за три рублика,
А коли семь-то рубликов
Платить, так черт с тобой!*

«А ты ударь-ка в ложечки,—
Сказал солдату староста,—
Народу подгулявшего
Покуда тут достаточно,
Авось дела поправятся.
Орудуй живо, Клим!»
(Влас Клима недолюбливал,
А чуть делишко трудное,
Тотчас к нему: «Орудуй, Клим!»,
А Клим тому и рад.)

Спустили с возу дедушку.
Солдат был хрупок на́ ноги,
Высок и тощ до крайности;
На нем сюртук с медалями
Висел, как на шесте.
Нельзя сказать, чтоб доброе
Лицо имел, особенно
Когда сводило старого —
Черт чертом! Рот ощерится,
Глаза — что угольки!

Солдат ударил в ложечки,
Что́ было вплоть до берегу
Народу — всё сбегается.
Ударил — и запел:

СОЛДАТСКАЯ

Тошен свет,
Правды нет,
Жизнь тошна,
Боль сильна.
Пули немецкие,
Пули турецкие,
Пули французские,
Палочки русские!
Тошен свет,
Хлеба нет,
Крова нет,
Смерти нет.
Ну-тка, с редута-то* с первого номеру,
Ну-тка, с Георгием* — по миру, по миру!
У богатого,
У богатины,
Чуть не подняли
На рогатину.
Весь в гвоздях забор
Ощетинился,
А хозяин вор
Оскотинился.
Нет у бедного
Гроша медного:
«Не взыщи, солдат!»
— И не надо, брат! —
Тошен свет,
Хлеба нет,
Крова нет,
Смерти нет.
Только трех Матрен
Да Луку с Петром
Помяну добром.
У Луки с Петром
Табачку нюхнём,
А у трех Матрен
Провиант найдем.
У первой Матрены
Груздочки ядрены,
Матрена вторая
Несет каравая,
У третьей водицы попью из ковша:
Вода ключевая, а мера — душа!
Тошен свет,
Правды нет,

Жизнь тошна,
Боль сильна.

Служивого задергало.
Опершись на Устиньюшку,
Он поднял ногу левую
И стал ее раскачивать,
Как гирю на весу;
Проделал то же с правою,
Ругнулся: «Жизнь проклятая!» —
И вдруг на обе стал.

«Орудуй, Клим!» По-питерски
Клим дело оборудовал:
По блюдцу деревянному
Дал дяде и племяннице,
Поставил их рядком,
А сам вскочил на бревнышко
И громко крикнул: «Слушайте!»
(Служивый не выдерживал
И часто в речь крестьянина
Вставлял словечко меткое
И в ложечки стучал.)

Клим

Колода есть дубовая
У моего двора,
Лежит давно: измладости
Колю на ней дрова,
Так та не столь изранена,
Как господин служивенький.
Взгляните: в чем душа!

Солдат

Пули немецкие,
Пули турецкие,
Пули французские,
Палочки русские.

Клим

А пенциону полного
Не вышло, забракованы
Все раны старика;
Взглянул помощник лекаря,
Сказал: «Второразрядные!
По ним и пенцион».

Солдат

Полного выдать не велено:
Сердце насквозь не прострелено!

(Служивый всхлипнул; в ложечки
Хотел ударить,— скорчило!
Не будь при нем Устиньюшки,
Упал бы старина.)

Клим

Солдат опять с прошением.
Вершками раны смеряли
И оценили каждую
Чуть-чуть не в медный грош.
Так мерил пристав следственный
Побои на подравшихся
На рынке мужиках:
«Под правым глазом ссадина
Величиной с двугривенный,
В средине лба пробоина
В целковый. Итого:
На рубль пятнадцать с деньгою
Побоев...» Приравняем ли
К побоищу базарному
Войну под Севастополем*,
Где лил солдатик кровь?

Солдат

Только горами не двигали,
А на редуты как прыгали!
Зайцами, белками, дикими кошками.
Там и простился я с ножками,
С адского грохоту, свисту оглох,
С русского голоду чуть не подох!

Клим

Ему бы в Питер надобно
До комитета раненых,—
Пеш до Москвы дотянется,
А дальше как? Чугунка-то
Кусаться начала!

Солдат

Важная барыня! гордая барыня!
Ходит, змеею шипит:
«Пусто вам! пусто вам! пусто вам!» —

Русской деревне кричит;
В рожу крестьянина фыркает,
Давит, увечит, кувыркает,
Скоро весь русский народ
Чище метлы подметет.

Солдат слегка притопывал,
И слышалось, как стукалась
Сухая кость о кость,
А Клим молчал: уж двинулся
К служивому народ.
Все дали: по копеечке,
По грошу, на тарелочках
Рублишко набрался...

4. ДОБРОЕ ВРЕМЯ — ДОБРЫЕ ПЕСНИ

В замену спичей с песнями,
В подспорье речи с дракою
Пир только к утру кончился,
Великий пир!.. Расходится
Народ. Уснув, осталися
Под ивой наши странники,
И тут же спал Ионушка,
Смиренный богомол.
Качаясь, Савва с Гришею
Вели домой родителя
И пели; в чистом воздухе
Над Волгой, как набатные,
Согласные и сильные
Гремели голоса:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Мы же немного
Просим у бога:
Честное дело
Делать умело
Силы нам дай!

Жизнь трудовая —
Другу прямая
К сердцу дорога,
Прочь от порога,
Трус и лентяй!
То ли не рай?

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Беднее захудалого
Последнего крестьянина
Жил Трифон. Две каморочки:
Одна с дымящей печкою,
Другая в сажень — летняя,
И вся тут недолга;
Коровы нет, лошадки нет,
Была собака Зудушка,
Был кот — и те ушли.

Спать уложив родителя,
Взялся за книгу Саввушка,
А Грише не сиделося,
Ушел в поля, в луга.

У Гриши — кость широкая,
Но сильно исхудалое
Лицо — их недокармливал
Хапуга-эконом.
Григорий в семинарии
В час ночи просыпается
И уж потом до солнышка
Не спит — ждет жадно ситника,
Который выдавался им
Со сбитнем по утрам.
Как ни бедна вахлачина,
Они в ней отъедалися,
Спасибо Власу-крестному
И прочим мужикам!
Платили им молодчики,
По мере сил, работою,
По их делишкам хлопоты
Справляли в городу.

Дьячок хвалился детками,
А чем они питаются —
И думать позабыл.
Он сам был вечно голоден,
Весь тратился на поиски,
Где выпить, где поесть.
И был он нрава легкого,
А будь иного, вряд ли бы
И дожил до седин.
Его хозяйка Домнушка
Была куда заботлива,
Зато и долговечности
Бог не дал ей. Покойница
Всю жизнь о соли думала:
Нет хлеба — у кого-нибудь
Попросит, а за соль
Дать надо деньги чистые,
А их по всей вахлачине,
Сгоняемой на барщину,
Не густо! Благо — хлебушком
Вахлак делился с Домною.
Давно в земле истлели бы
Ее родные деточки,
Не будь рука вахлацкая
Щедра чем бог послал.

Батрачка безответная
На каждого, кто чем-нибудь
Помог ей в черный день,
Всю жизнь о соли думала,
О соли пела Домнушка,
Стирала ли, косила ли,
Баюкала ли Гришеньку,
Любимого сынка.
Как сжалось сердце мальчика,
Когда крестьянки вспомнили
И спели песню Домнину
(Прозвал ее «Соленою»
Находчивый вахлак).

СОЛЕНАЯ

Никто как бог!
Не ест, не пьет!
Меньшой сынок,
Гляди — умрет!

Дала кусок,
Дала другой —
Не ест, кричит:
«Посыпь сольцой!»

А соли нет,
Хоть бы щепоть!
«Посыпь мукой»,—
Шепнул господь.

Раз-два куснул,
Скривил роток.
«Соли еще!» —
Кричит сынок.

Опять мукой...
А на кусок
Слеза рекой!
Поел сынок!

Хвалилась мать —
Сынка спасла...
Знать, солона
Слеза была!..

Запомнил Гриша песенку
И голосом молитвенным
Тихонько в семинарии,
Где было тёмно, холодно,
Угрюмо, строго, голодно,
Певал — тужил о матушке
И обо всей вахлачине,
Кормилице своей.
И скоро в сердце мальчика
С любовью к бедной матери
Любовь ко всей вахлачине
Слилась — и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.

Довольно демон ярости
Летал с мечом карающим
Над русскою землей.
Довольно рабство тяжкое
Одни пути лукавые
Открытыми, влекущими
Держало на Руси!
Над Русью оживающей
Иная песня слышится:
То ангел милосердия,
Незримо пролетающий
Над нею, души сильные
Зовет на честный путь.

Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.

Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,—
Каким идти?

Одна просторная
Дорога — торная,
Страстей раба,

По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа.

О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна.

Кипит там вечная,
Бесчеловечная
Вражда-война

За блага бренные...
Там души пленные
Полны греха.

На вид блестящая,
Там жизнь мертвящая
К добру глуха.

Другая — тесная
Дорога, честная,
По ней идут

Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.

За обойденного,
За угнетенного —
По их стопам

Иди к униженным,
Иди к обиженным —
Будь первый там.

И ангел милосердия
Недаром песнь призывную
Поет над русским юношей —
Немало Русь уж выслала
Сынов своих, отмеченных
Печатью дара божьего,
На честные пути,
Немало их оплакала
(Пока звездой падучею
Проносятся они!).
Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь, поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Светило солнце ласково,
Дышало утро раннее
Прохладой, ароматами
Косимых всюду трав...

Григорий шел задумчиво
Сперва большой дорогою

(Старинная: с высокими
Курчавыми березами,
Прямая, как стрела).
Ему то было весело,
То грустно. Возбужденная
Вахлацкою пирушкою,
В нем сильно мысль работала
И в песне излилась:

«В минуту унынья, о родина-мать!
Я мыслью вперед улетаю.
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю.

Был гуще невежества мрак над тобой,
Удушливей сон непробудный,
Была ты глубоко несчастной страной,
Подавленной, рабски-бессудной.

Давно ли народ твой игрушкой служил
Позорным страстям господина?
Потомок татар, как коня, выводил
На рынок раба-славянина*,

И русскую деву влекли на позор,
Свирепствовал бич без боязни,
И ужас народа при слове «набор»
Подобен был ужасу казни?

Довольно! Окончен с прошедшим расчет,
Окончен расчет с господином!
Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

И ношу твою облегчила судьба,
Сопутница дней славянина!
Еще ты в семействе покуда — раба,
Но мать уже вольного сына!»

Сманила Гришу узкая,
Извилистая тропочка,
Через хлеба бегущая,
В широкий луг покошенный
Спустился он по ней.
В лугу траву сушившие

Крестьянки Гришу встретили
Его любимой песнею.
Взгрустнулось крепко юноше
По матери-страдалице,
А пуще злость брала.
Он в лес ушел. Аукаясь,
В лесу, как перепелочки
Во ржи, бродили малые
Ребята (а постарше-то
Ворочали сенцо).
Он с ними кузов рыжиков
Набрал. Уж жжется солнышко;
Ушел к реке. Купается,—
Три дня тому сгоревшего
Обугленного города
Картина перед ним:
Ни дома уцелевшего,
Одна тюрьма спасенная,
Недавно побелённая,
Как белая коровушка
На выгоне, стоит.
Начальство там попряталось,
А жители под берегом,
Как войско, стали лагерем,
Всё спит еще, немногие
Проснулись: два подьячие,
Придерживая полочки
Халатов, пробираются
Между шкафами, стульями,
Узлами, экипажами
К палатке-кабаку.
Туда ж портняга скорченный
Аршин, утюг и ножницы
Несет — как лист дрожит.
Восстав от сна с молитвою,
Причесывает голову
И держит на отлет,
Как девка, косу длинную
Высокий и осанистый
Протоерей Стефан.
По сонной Волге медленно
Плоты с дровами тянутся,
Стоят под правым берегом
Три барки нагружённые:
Вчера бурла́ки с песнями
Сюда их привели.

А вот и он — измученный
Бурлак! походкой праздничной
Идет, рубаха чистая,
В кармане медь звенит.
Григорий шел, поглядывал
На бурлака довольного,
А с губ слова срывалися
То шепотом, то громкие.
Григорий думал вслух:

БУРЛАК

Плечами, грудью и спиной
Тянул он барку бечевой,
Полдневный зной его палил,
И пот с него ручьями лил.
И падал он, и вновь вставал,
Хрипя, «Дубинушку» стонал;
До места барку дотянул
И богатырским сном уснул
И, в бане смыв поутру пот,
Беспечно пристанью идет.
Зашиты в пояс три рубля.
Остатком — медью — шевеля,
Подумал миг, зашел в кабак
И молча кинул на верстак
Трудом добытые гроши
И, выпив, крякнул от души,
Перекрестил на церковь грудь:
Пора и в путь! пора и в путь!
Он бодро шел, жевал калач,
В подарок нес жене кумач,
Сестре платок, а для детей
В сусальном золоте коней.
Он шел домой — неблизкий путь,
Дай бог дойти и отдохнуть!

С бурла́ка мысли Гришины
Ко всей Руси загадочной,
К народу перешли.
И долго Гриша берегом
Бродил, волнуясь, думая,
Покуда песней новою
Не утолил натруженной,
Горящей головы.

РУСЬ*

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая!

Сила с неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается —

Русь не шелóхнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая —

Встали — небужены,
Вышли — непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!..

«Удалась мне песенка! — молвил Гриша, прыгая.—
Горячо сказалася правда в ней великая!
Завтра же спою ее вахлачкам — не всё же им
Песни петь унылые... Помогай, о боже, им!
Как с игры да с беганья щеки разгораются,
Так с хорошей песенки духом поднимаются
Бедные, забитые...» Прочитав торжественно
Брату песню новую (брат сказал: «Божественно!»),
Гриша спать попробовал. Спалося, не спалося,
Краше прежней песенка в полусне слагалася;
Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!..

Комментарии

И. А. КРЫЛОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ИЗ «ПОЧТЫ ДУХОВ»

Стр. 81

Журнал «Почта духов» издавался Крыловым в 1789 году под названием: «Почта духов, ежемесячное изданис, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Журнал выходил всего восемь месяцев (из намеченных трех частей появились только две) и прекратился, по-видимому, по требованию властей. Весь материал журнала, задуманного как единое целое и дающего резко сатирическую картину русской самодержавно-крепостнической действительности конца XVIII века — екатерининского царствования, принадлежал, очевидно, перу самого издателя, то есть Крылова. Всего в журнале было опубликовано сорок восемь писем. Два письма — XXVI и XLV, включенные в наше издание, представляют собой наиболее яркие и значительные образцы сатиры журнала «Почта духов».

В первом из них дается негодующее описание быта знатного вельможи, негодяя и взяточника, который живет в роскоши и великолепии в своем богатом доме и слеп и глух к нуждам и несчастьям многочисленных бедняков, переполняющих его прихожую в тщетном ожидании помощи и справедливости. Это описание использовал крупнейший русский поэт XVIII века Державин в ряде строф своей знаменитой оды «Вельможа», написанной пять лет спустя, в конце 1794 года, и дающей остро сатирический портрет всесильного временщика Потемкина.

Во втором письме содержится еще более резко сатирическое описание льстивого, раболепного и жадного царского двора и даются наставления царю, как он должен вести себя, если, став царем, не хочет перестать быть человеком. По своему содержанию это письмо очень близко к одному из самых сильных мест «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева (глава «Спасская Полесть» — описание сна). Некоторые исследователи в связи с этим прямо считали, что данное письмо, как и ряд других писем, входящих в состав «Почты духов», написано самим Радищевым.

Однако авторство Радищева не подтверждается. Сходство же между данным письмом и радищевским «Путешествием» является важным свидетельством того, что по своим политическим взглядам Крылов в значительной степени

приближался к Радищеву, хотя и не возвысился до его прямой революционности. Не исключена возможность, что под «смельчаком» писателем, который дерзает вещать царю истину, Крылов имел в виду самого Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву» было к этому времени совершенно закончено, и Крылов мог познакомиться с ним в рукописи или из уст автора. Можно думать, что именно напечатание данного письма в последней вышедшей в свет книжке «Почты духов» и явилось непосредственной причиной прекращения журнала.

Право на выезд запряжкой в шесть лошадей имели только чиновники первых (то есть высших) классов.

Сочинения древнегреческого философа-идеалиста Платона (V—IV века до н. э.) были изданы в конце XVIII века в русском переводе, в четырех частях.

Юстиевы рассуждения — труды по государственному праву и политической экономии ученого XVIII века Юсти. Под Примечаниями Ришелье, очевидно, разумеется «Политическое завещание» видного государственного деятеля кардинала Ришелье (1585—1642), фактически стоявшего во главе управления Францией, французскому королю Людовику XV.

Просительные письма были довольно толсто свернуты, конечно, потому, что в них были вложены взятки.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ

Стр. 96

Опубликована в журнале «Зритель», издававшемся в 1792 году Крыловым совместно с писателем А. И. Клушиным и актером и драматургом П. А. Плавильщиковым.

Русские книги до начала XVIII века печатались церковнославянским шрифтом; при Петре I был введен гражданский шрифт, гражданская печать, в основном соответствующий современному, но церковные книги продолжали печататься старым шрифтом.

Читать по толкам — читать бегло, в противоположность чтению по складам.

Имеются в виду рассуждения французского писателя и философа XVIII века Ж.-Ж. Руссо «О влиянии наук и искусств» (по мысли Руссо, с развитием культуры возникает социальное неравенство) и его же роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза».

Циническая философия — древнегреческая философская школа циников, или киников, учивших, что счастье человека заключается в добродетели, а чтобы быть добродетельным, надо максимально уменьшить число потребностей и упростить жизнь. Один из наиболее известных представителей школы — Диоген, по преданию, жил в бочке, считая обычное жилище ненужной роскошью.

Как Юлий, не бежал он от своего несчастия...— Римский император Юлий Цезарь (I век до н. э.), несмотря на ряд дурных предзнаменований и предостережений со стороны друзей, отправился в Сенат, где и был убит республиканцами.

...как в Риме, не осталось ни тени древней славы...— Рим во времена Крылова был столицей так называемой Папской (или Церков-

ной) области, принадлежавшей римскому папе и совершенно бессильной в политическом отношении.

...не захотел более ни в которой масти искать счастия...— не захотел больше играть в карты.

...непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам.— Отец карфагенского полководца Аннибала (III век до н. э.), перед тем как взять его с собой в возрасте девяти лет в поход, заставил сына поклясться в непримиримой вражде к Риму. Эту клятву Аннибал соблюдал всю жизнь и нанес римлянам ряд крупных поражений.

Римский император Нерон (I век н. э.), отличавшийся крайним деспотизмом, жестокостью и наклонностью к эффектным театральным зрелищам, по преданию, велел поджечь Рим, чтобы «полюбоваться» зрелищем грандиозного пожара, а виновными в поджоге объявил христиан. Юлий Цезарь, будучи одним из двух лиц (дуумвиров), в руках которых была сосредоточена верховная власть в стране, и стремясь к единовластию, вступил в вооруженную борьбу с другим дуумвиром, Помпеем, располагавшим большинством в Сенате. Кровопролитная гражданская война, развязанная Цезарем, закончилась его торжеством: Помпей был убит, значительная часть его войска перерезана, а Цезарь захватил полноту власти и получил титул императора. Александр — прославленный рядом западноевропейских писателей завоеватель, царь Александр Македонский (IV век до н. э.). Передовые русские писатели XVIII века — Ломоносов, Радищев, бывшие решительными противниками захватнических войн, относились к «лютому и кровавому» «хищнику чужих держав» Александру резко отрицательно. Ломоносов в оде «К счастию» (1760 год), упоминая о нем, отказывался признавать «добродетелью и геройством» «зверско неспокойство и власть окровавленных рук» и «возносить хвалами начальника толиких мук». Явно отрицательное отношение к «подвигам» Александра сквозит и в иронических словах Крылова о том, что он «побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома».

БАСНИ

Стр. 104

Первое отдельное издание басен Крылова вышло в 1809 году. За ним последовал длинный ряд других изданий, все время пополнявшихся новыми и новыми баснями. Последнее издание, 1843 года, подготовленное самим Крыловым, вышло в свет уже после его смерти — в 1844 году. Здесь все басни были разбиты на девять книг. Басни, включенные в нашу книгу, даются по изданию: И. А. Крылов, Сочинения в двух томах, том второй, издательство «Художественная литература», М., 1969.

ВОРОНА И ЛИСИЦА

Написана не позднее конца 1807 года; впервые напечатана в журнале «Драматический вестник» в 1808 году.

ВОРОНА И КУРИЦА

Написана в ноябре 1812 года и тогда же напечатана в журнале «Сын отечества». Войска Наполеона, голодая в захваченной ими и оставленной населением

Москве, вынуждены были охотиться на ворон. Заметка об этом была опубликована незадолго до написания крыловской басни, в октябрьском номере того же «Сына отечества», вместе с карикатурой И. Теребенева «Французский вороний суп», на которой было изображено, как четыре оборванных наполеоновских гренадера жадно рвут на части подстреленную ворону.

С м о л е н с к и й К н я з ь — Кутузов, который получил этот титул после четырехдневного сражения под Красным, закончившегося 6 ноября 1812 года и причинившего «новым вандалам» весьма большой урон.

ЛАРЧИК

Написана не позднее начала мая 1807 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Басня дается в редакции «Драматического вестника». Позднее Крыловым было прибавлено следующее заключительное нравоучение, которое сильно сужает и обедняет идейно-художественный смысл басни:

Пример такой на свете не один:
И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелка, как знатный дворянин.

ПАРНАС

Написана не позднее февраля 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Басня является сатирическим выпадом против Российской Академии (учреждена Екатериной II в 1783 году), в которой в это время господствовали политические и литературные реакционеры, приверженцы отживших традиций классицизма и устарелого приподнято-торжественного «высокого штиля» — «красно-хитро-сплетенных слов». Реакционеры Российской Академии отомстили Крылову тем, что год спустя забаллотировали его на выборах в Академию.

ВОЛК И ЯГНЕНОК

Написана не позднее марта 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Выражение: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — приобрело пословичный характер.

ОБЕЗЬЯНЫ

Написана не позднее февраля 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Крылов бичует в этой басне, как и в комедии «Урок дочкам», рабское подражание дворянских кругов иностранщине — французским модам, обычаям и т. п.

СИНИЦА

Написана не позднее октября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1811 года. В основу басни положена народная пословица: «Ходила синица море зажигать, море не зажгла, а славы много наделала».

ОСЕЛ

Написана не позднее первой половины мая 1815 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года.

МАРТЫШКА И ОЧКИ

Написана не позднее первой половины мая 1815 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года.

ЛЕВ И БАРС

Написана не позднее первой половины мая 1815 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года.

МОР ЗВЕРЕЙ

Написана не позднее конца 1808 года; впервые напечатана в издании басен 1809 года.

СОБАЧЬЯ ДРУЖБА

Написана не позднее первой половины мая 1815 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года. После окончательного поражения Наполеона представители европейских держав, которые во главе с Россией боролись против него, собрались в 1814 году на мирный Венский конгресс. Однако на конгрессе возникли серьезные разногласия и споры, которые чуть не привели к войне между недавними союзниками.

РАЗДЕЛ

Написана не позднее начала августа 1812 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Написанная в период Отечественной войны 1812 года, басня содержит в себе патриотический призыв отказаться от частных, эгоистических интересов перед лицом общей опасности, угрожающей родине.

ВОЛК НА ПСАРНЕ

Написана в первых числах октября 1812 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1812 года. Басня написана в связи с обращением 23 сентября 1812 года Наполеона, оказавшегося в отчаянном положении в сгоревшей Москве, к Кутузову с предложением вступить в мирные переговоры. Кутузов ответил решительным отказом и через две недели, 6 октября, нанес французским войскам поражение при Тарутине.

РУЧЕЙ

Написана не позднее первой половины ноября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Выражение: «Рыльце у тебя в пуху» — приобрело пословичный характер.

ПРОХОЖИЕ И СОБАКИ

Написана не позднее начала января 1814 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года. Выражение: «Полают да отстанут» — приобрело пословичный характер.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Написана не позднее мая 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Стихи: «Ты все пела? Это дело: так поди же, попляши!» — приобрели пословичный характер.

ЛЖЕЦ

Написана не позднее первой половины ноября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1812 года. Схожий сюжет был широко распространен в русском народном творчестве. Выражения: «Из дальних странствий возвратясь» и «поищем лучше броду» — приобрели пословичный характер.

ОРЕЛ И ПЧЕЛА

Написана не позднее ноября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Слова о «капле меду» приобрели пословичный характер.

ЗАЯЦ НА ЛОВЛЕ

Написана не позднее мая 1813 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Выражение: «Клочок медвежьего ушка»— приобрело пословичный характер.

ЩУКА И КОТ

Написана не позднее мая 1813 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Поводом к написанию басни послужили неумелость и неоперативность адмирала Чичагова, командовавшего русской армией, которая должна была отрезать отступление Наполеона через реку Березину. Чичагов опоздал к намеченному пункту, и Наполеону с частью войск удалось переправиться через реку. Выражая негодование широких общественных кругов, Крылов, по свидетельству современника, «написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, то есть о моряке, начальствующем над сухопутным войском». Стихи: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» — стали пословичными.

ВОЛК И КУКУШКА

Написана не позднее мая 1813 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года.

ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО

Написана не позднее конца 1808 года; впервые напечатана в издании басен 1809 года.

КРЕСТЬЯНИН И РАБОТНИК

Написана не позднее первой половины мая 1815 года; впервые напечатана в издании басен 1815 года.

ОБОЗ

Написана не позднее октября 1812 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1812 года (см. вступительную статью).

СЛОН НА ВОЕВОДСТВЕ

Написана не позднее октября 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Слова: «В семье не без урода» и «мухи не обидит» — приобрели пословичный характер.

ОСЕЛ И СОЛОВЕЙ

Написана не позднее февраля 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1811 года. По свидетельству современников, один пресмыкавшийся перед всем иностранным вельможа, поклонник переводных басен видного представителя салонного сентиментализма И. И. Дмитриева, пригласил как-то Крылова к себе, прося его прочесть «две-три басенки». Крылов артистически прочитал несколько басен. Вельможа выслушал их благосклонно и глубокомысленно сказал: «Это хорошо: но почему вы не переводите так, как Иван Иванович Дмитриев?» — «Не умею»,— скромно отвечал Крылов и, возвратясь домой, написал эту басню. Стихи: «А жаль, что незнаком ты с нашим петухом» — приобрели пословичный характер.

СЛОН И МОСЬКА

Написана не позднее начала ноября 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Стихи: «Ай Моська! знать, она сильна, что лает на Слона» — стали пословичными.

ВОЛК И ВОЛЧОНОК

Написана не позднее февраля 1811 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1811 года.

ОБЕЗЬЯНА

Написана не позднее февраля 1811 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1811 года.

КОТ И ПОВАР

Написана не позднее начала августа 1812 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. Выражение: «А Васька слушает да ест» — приобрело пословичный характер.

ЛЕВ И КОМАР

Написана не позднее конца 1808 года; впервые напечатана в издании басен 1809 года.

Из Ахиллеса вдруг становится Омиром...— Ахиллес — легендарный древнегреческий герой, прославившийся своими подвигами во время осады Трои и воспетый в поэме «Илиада» Гомера (Омира).

ДЕРЕВО

Написана не позднее 12 мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ГУСИ

Написана не позднее конца февраля 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1811 года. Стих: «Да наши предки Рим спасли!» — стал пословичным. По преданию, гуси, почуяв приближение врагов, подкрадывавшихся ночью к Капитолию (крепость в Древнем Риме), предупредили своим криком его защитников.

СВИНЬЯ

Написана не позднее февраля 1811 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1811 года. Выражение: «Свинья свиньей» — стало пословичным.

ОРЕЛ И ПАУК

Написана не позднее начала ноября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1812 года.

ОРЕЛ И КРОТ

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

КВАРТЕТ

Написана не позднее апреля 1811 года; напечатана в «Новых баснях» 1811 года. По свидетельству современников, Крылов высмеивает здесь Государственный совет, начавший действовать с 1 января 1810 года; он был разделен на четыре департамента, во главе которых были поставлены четыре председателя. Под «косолапым Мишкой» Крылов разумел графа Аракчеева, который был председателем департамента военных дел и в дальнейшем стал главным проводником реакционной политики Александра I. Стихи: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» — стали пословичными.

ЛИСТЫ И КОРНИ

Написана не позднее октября 1811 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1811 года. По уровню науки того времени

Крылов не мог знать, что листы не только «красуются» на дереве, но и играют исключительно важную роль в его жизни.

ВОЛК И ЛИСИЦА

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Написана не позднее конца 1813 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1814 года.

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года. Выражение: «Воз и ныне там» — стало пословичным.

СКВОРЕЦ

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ПРУД И РЕКА

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ТРИШКИН КАФТАН

Написана не позднее июня 1815 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1815 года.

ПУСТЫННИК И МЕДВЕДЬ

Написана не позднее начала мая 1807 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Стих: «Услужливый дурак опаснее врага» — стал пословицей.

ЦВЕТЫ

Написана не позднее начала февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

КРЕСТЬЯНИН И РАЗБОЙНИК

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

Написана не позднее первой половины сентября 1814 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1814 года.

Кунсткамера — музей различных редкостей, созданный Петром I и затем перешедший в ведение Академии наук.

ЛЕВ НА ЛОВЛЕ

Написана не позднее февраля 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года.

ДОБРАЯ ЛИСИЦА

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1815 года.

МОРСКАЯ СХОДКА

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ДЕМЬЯНОВА УХА

Написана не позднее июня 1813 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1813 года. В литературном обществе «Беседа любителей русского слова» объединились в основном приверженцы отживших литературных традиций XVIII века, в подавляющем большинстве своем второстепенные писатели, вроде графомана графа Д. И. Хвостова. Крылов также был членом «Беседы», но относился весьма иронически к ее участникам, без всякой умеренности угощавшим на заседаниях общества публику бездарной прозой и стихами. Один из очевидцев рассказывает, что Крылов, пообещав прочесть на одном из заседаний «Беседы» свою новую басню, приехал на него довольно поздно. «Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу, он сел за стол. Председатель... вполголоса спрашивает у него: «Иван Андреевич, что́, привезли?» — «Привез».— «Пожалуйте мне».— «А вот ужо, после». Длилось чтение, публика утомилась, начали скучать, зевота овладевала многими. Наконец дочитана пьеса. Тогда Иван Андреевич руку в карман, вытащил измятый листок и начал: «Демьянова уха». Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню».

МЫШЬ И КРЫСА

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года. Выражение: «Сильнее кошки зверя нет» — стало пословицей.

ЧИЖ И ГОЛУБЬ

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года. Стих: «Вперед чужой беде не смейся, Голубок!» — приобрел пословичный характер.

КАМЕНЬ И ЧЕРВЯК

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА

Написана не позднее 1815 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1816 года. Стих: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» — и выражение: «А он украдкою кивает на Петра» — стали пословичными.

КРЕСТЬЯНИН И СМЕРТЬ

Написана не позднее января 1807 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года.

ЛЕВ И ВОЛК

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ЛЕВ И ЛИСИЦА

Написана не позднее первой половины октября 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

ХМЕЛЬ

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ТУЧА

Написана не позднее первой половины июля 1815 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1815 года. По свидетельству современников, басня вызвана тем, что царь Александр I щедро наградил псковского губернатора, в то время как в его губернии был всеобщий голод.

КЛЕВЕТНИК И ЗМЕЯ

Написана не позднее начала мая 1814 года; впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова» 1815 года.

ЛЯГУШКА И ЮПИТЕР

Написана не позднее начала января 1814 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года. В основу заключительных стихов положена народная пословица: «Мне, хоть весь свет гори, только бы я жив был».

ВОЛК И ПАСТУХИ

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ГРЕБЕНЬ

Написана не позднее ноября 1818 года; впервые напечатана в «Чтении в торжественном собрании Российской Академии, бывшем в 5-й день декабря 1818 года».

СКУПОЙ И КУРИЦА

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

ДВЕ БОЧКИ

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

АПЕЛЛЕС И ОСЛЕНОК

Написана не позднее начала августа 1816 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1816 года.

ОХОТНИК

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

ОСЕЛ И МУЖИК

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

ВОЛК И ЖУРАВЛЬ

Написана не позднее февраля 1816 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1816 года.

ПЧЕЛА И МУХИ

Написана не позднее июня 1817 года; впервые напечатана в «Северном наблюдателе» 1817 года.

МУРАВЕЙ

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании «Новых басен» 1819 года.

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ

(«К Крестьянину вползла Змея...») Написана не позднее июня 1818 года; впервые напечатана в «Журнале древней и новой словесности» 1818 года.

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД

Написана не позднее октября 1808 года; впервые напечатана в «Драматическом вестнике» 1808 года. Стих: «Хоть видит око, да зуб неймет» — стал пословицей.

ОВЦЫ И СОБАКИ

Написана не позднее июня 1818 года; впервые напечатана в «Журнале древней и новой словесности» 1818 года.

МЕДВЕДЬ В СЕТЯХ

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

МАЛЬЧИК И ЧЕРВЯК

Написана не позднее начала марта 1819 года; впервые напечатана в издании басен 1819 года.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ МЕДВЕДЬ

Написана не позднее июня 1818 года; впервые напечатана в «Журнале древней и новой словесности» 1818 года.

СОВЕТ МЫШЕЙ

Написана не позднее начала марта 1811 года; впервые напечатана в «Новых баснях» 1811 года.

МЕЛЬНИК

Написана не позднее конца 1823 года — начала января 1824 года; впервые напечатана в «Полярной звезде на 1825 год».

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ

(«Когда почтен быть хочешь у людей...») Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года.

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в «Северной пчеле» 1825 года.

ПАУК И ПЧЕЛА

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года. Крылов подчеркнуто выступает здесь против бесполезного «для всех» — для народа,— безыдейного, «чистого» искусства.

ЛИСИЦА И ОСЕЛ

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в «Северных цветах на 1825 год». Слова об «ослином копыте» приобрели пословичный характер.

МУХА И ПЧЕЛА

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в «Северных цветах на 1825 год».

ЗМЕЯ И ОВЦА

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года.

ГОЛИК

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года.

КРЕСТЬЯНИН И ОВЦА

Написана не позднее июля 1821 года; впервые напечатана в «Полярной звезде на 1823 год». Белинский особенно ценил эту басню, приводя ее в пример того, что «басни Крылова не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира...».

ВОЛК И МЫШОНОК

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года. В рукописи заключительные строки басни звучали еще прямее и резче:

У Климыча-судьи часишки вор стянул,
Он тож кричит на вора: караул!
Хлопочет,
Рад целый мир поднять вверх дном;
А этого и вспомнить он не хочет,
Что сам имение все нажил грабежом.

Для печати, очевидно по цензурным соображениям, Крылов несколько смягчил это окончание.

ДВА МУЖИКА

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года.

КОТЕНОК И СКВОРЕЦ

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в издании басен 1825 года.

ДВЕ СОБАКИ

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1824 года. Выражение: «Ходить на задних лапках»— приобрело пословичный характер.

КОШКА И СОЛОВЕЙ

Написана не позднее 1823 года; впервые напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1824 года. Басня вызвана крайне усилившимся в последние годы царствования Александра I цензурным гнетом и притеснениями, от которых страдали все прогрессивные писатели того времени, начиная с Пушкина. Неоднократно испытывал это на себе и сам Крылов. Стих: «Худые песни Соловью в когтях у Кошки» — приобрел пословичный характер.

РЫБЬЯ ПЛЯСКА

Написана не позднее конца 1823 года; впервые напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1824 года под заглавием «Рыбьи пляски» и в сильно переработанном и смягченном по требованию цензуры виде: вместо царя сатирическое острие басни оказывается направленным всего лишь на воеводу и его секретаря, которых царь подвергает заслуженной казни. В настоящем издании дается первоначальная, основная редакция басни, которую Крылов напечатать не смог (см. вступительную статью).

ПЕСТРЫЕ ОВЦЫ

Написана не позднее 1823 года, была запрещена цензурой и при жизни Крылова в печати не смогла появиться; впервые опубликована только в 1867 году в журнале «Русский архив» (см. вступительную статью).

БЕЛКА

(«У Льва служила Белка...») Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в «Московском телеграфе» 1830 года.

ЩУКА

Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в «Литературной газете» 1830 года.

КУКУШКА И ОРЕЛ

Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в издании басен 1830 года.

БРИТВЫ

Написана не позднее декабря 1828 года; впервые напечатана в «Северных цветах на 1829 год».

БЕДНЫЙ БОГАЧ

Написана не позднее декабря 1828 года; впервые напечатана в «Северных цветах на 1829 год». Басня представляет собой развитие народной пословицы: «Скупой богач беднее нищего»; четвертый стих басни воспроизводит народное пословичное выражение: «Умрем, так всё останется».

БУЛАТ

Написана в 1828 году; впервые напечатана в издании басен 1830 года. По свидетельству современников, эта басня, как, по-видимому, и басня «Бритвы», была вызвана опалой героя Отечественной войны 1812 года генерала Е. П. Ермолова, который пользовался большим уважением и популярностью среди декабристов. В 1827 году Николай I, подозревая Ермолова в связях с декабристами, принудил его выйти в отставку и поселиться в орловском имении.

ПУШКИ И ПАРУСА

Написана, видимо, в 1827 году; впервые напечатана в «Северных цветах на 1829 год».

СОБАКА И ЛОШАДЬ

Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в издании басен 1830 года.

ВОЛК И КОТ

Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в издании басен 1830 года. Последний стих повторяет народную пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь».

ВОДОПАД И РУЧЕЙ

Написана не позднее 1816 года; впервые напечатана в «Трудах Общества любителей российской словесности» 1817 года.

ЛЕВ

Написана не позднее марта 1830 года; впервые напечатана в издании басен 1830 года.

ПАСТУХ

Написана между 1830 годом и январем 1833 года; впервые напечатана в альманахе «Новоселье» 1833 года. В основу басни положена народная пословица: «На волка токмо слава, а овец таскает Савва».

БЕЛКА

Написана не позднее января 1833 года; впервые напечатана в альманахе «Новоселье» 1833 года. Выражение: «Как Белка в колесе» — стало пословичным.

МЫШИ

Написана не позднее января 1833 года; впервые напечатана в «Новоселье» 1833 года. В основе басни — народное выражение: «Спасаться, как крысы с тонущего корабля».

ЛИСА

Написана не позднее января 1833 года; впервые напечатана в «Новоселье» 1833 года. Сюжет басни заимствован из русских народных сказок о волке и лисе.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Написана не позднее января 1833 года; впервые напечатана в «Новоселье» 1833 года.

ДВА МАЛЬЧИКА

Написана в конце 1833 года — начале 1834 года; впервые напечатана в журнале «Библиотека для чтения» 1836 года.

КУКУШКА И ПЕТУХ

Написана в 1834 году; впервые напечатана в сборнике «Сто русских литераторов» 1841 года. Басня направлена против реакционных журналистов Н. И. Греча и тайного агента III отделения, сыщика и доносчика, Ф. В. Булгарина, которые в издававшихся ими журналах наперебой восхваляли и превозносили друг друга. В том же сборнике, где была впервые опубликована эта басня, помещена карикатура Дезарно, изображающая двух журналистов, в которых можно было без труда узнать Греча и Булгарина, с головами петуха и кукушки. Последние строки басни: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку» — приобрели пословичный характер.

ВЕЛЬМОЖА

Написана, видимо, в середине 1834 года; впервые напечатана в «Сыне отечества» 1836 года. Крылову с большим трудом удалось опубликовать эту басню, так как цензура отказывалась пропустить ее в течение двух лет. Однако еще до появления в печати басня широко распространилась в списках.

СЛОВАРЬ
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ И. А. КРЫЛОВА

А в р о р а — утренняя заря (по имени древнеримской богини утренней зари).
А г л и н с к и й — английский.
А д о н и с — по древним мифам, юноша необычайной красоты, возлюбленный Венеры.
А л к а т ь — сильно желать.
А л к о р а н — см. К о р а н.
А л ь т — струнный инструмент (тоном несколько ниже скрипки).
А м б р а — ароматическое вещество.
А п е л л е с — знаменитый древнегреческий живописец (IV век до н. э.).
А п о л л о н — у древних греков бог солнца, поэзии и других искусств.
А р к а д и я — гористая область в Греции, которая изображалась в поэзии древних как страна блаженного и безмятежного пастушеского счастья.
А с е с с о р ш а — жена асессора (один из гражданских чинов в царской России).
А т л а н т — по древнегреческому мифу, титан, обреченный Зевсом поддерживать небесный свод.

Б а с — струнный инструмент для исполнения низких партий.
Б е л ь м е с — употребляется только в выражении «ни бельмеса» — совсем, ничего.
Б е р е ж ь — бережливость.
Б е р е м я — бремя, тяжесть.
Б о р е й — северо-восточный ветер.
Б у л а т — старинная узорчатая азиатская сталь для клинков.
Б у н ч у к — конский хвост на длинном древке, как знак власти.
Б у с у р м а н (правильнее — басурман) — иноверец, иноземец.

В е л и к а т н ы е — деликатные.
В е л и к и й М о г о л — титул царя в Древней Индии.
В е л ь з е в у л — по христианским легендам, глава злых духов, сатана.
В е н е р а — богиня любви и красоты у древних римлян.
В е р т е п — здесь: пещера.
В е щ у н ь я — предсказательница. В народном творчестве (сказках, поверьях) ворон и ворона слывут вещими птицами.
В и з и р ь — высший сановник в некоторых странах мусульманского Востока.

В и к о н т е с с а — жена виконта (дворянский титул, средний между бароном и графом, во Франции и в Англии).
В и с т н у (Вишну) — главное божество индусов.
В и т ь — ведь.
В о е в о д а — начальник края в Древней Руси; в о е в о д с т в о — область, им управляемая.
В п у х — пышно, богато. Р а с т о р г о в а л с я в п у х — разбогател от торговли.
В т о р а — вторая скрипка.
В ы п е р е ж и в а т ь — опережать.

Г е р к у л е с — силач (по имени легендарного древнегреческого героя, отличавшегося необыкновенной силой).
Г н о м — в западноевропейской мифологии безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища.
Г о л и а ф — по библейскому сказанию, великан.
Г о л и́ к — веник без листьев.
Г о р л и н к а — голубка.
Г о р н и ч н а я д е в к а — служанка.
Г у в е р н е р — воспитатель-иностранец.
Г у р и и — в мусульманской мифологии райские девы.
Г у р т — стадо.

Д е б р и — лесные чащи.
Д е в у ш к а н а с е н я х — сенная девушка, горничная.
Д е в я т ь с е с т е р — девять муз.
Д е л о в — краткая форма от прилагательного «деловой».
Д и в а н — совет высших сановников при султане.
Д о с т а л ь н ы й — оставшийся, остальной.

Е в н у х — сторож и служитель при гареме.
Е и д о в а — большая медная открытая посуда в Древней Руси для вина, пива, меда.
Ж и́ л о — жилище, населенное место.
Ж о м — тиски.
З а ч а т ь — начать.
З е в е с (Зевс) — главное божество древних греков; у древних римлян ему соответствовал Юпитер.
З е ф и р — легкий и нежный ветер.

И д и л л и я — поэтическое произведение, изображающее мирную и безмятежную жизнь на лоне природы.
И з л у ч и с т а я п е щ е р а — пещера со многими поворотами.
И н д о — так что, так что даже.
И с п о л а т ь — хвала, слава.

К а д и, к а д и й — духовный судья у мусульман.
К а л е н д е р — странствующий нищий монах у мусульман.
К а л и ф — титул государя на арабском Востоке.
К а п и щ е — языческий храм.
К а р л а — карлик.
К е с а р ь — владыка, царь.
К л а в и к о р д ы — фортепьяно старинного типа.
К о л и б р и — очень маленькая птичка пестрой раскраски.
К о м н а т н а я д е в у ш к а — горничная.
К о р а н — священная книга мусульман, содержащая учение Магомета.
К о р и н ф с к и й о р д е н — классический архитектурный стиль, отличающийся легкостью колонн и сложным украшением их верхних частей — капителей.
К р е з — обладатель несметных богатств (по имени лидийского царя Креза, жившего в VI веке до н. э.).
К у з и н к и — кузины, двоюродные сестры.

Л а с к а т е л ь с т в о — лесть, угодничество.
Л и ц е п р и я з н ь — пристрастие.
Л и ш е н и е ж и в о т а — лишение жизни.
Л ь з я — можно.
Л ю б о ч е с т и е — честолюбие.

М а н д а р и н — чиновник в старом Китае. Все чиновники делились на девять классов; каждый класс — на две степени: старшую и младшую.
М а р к ё р — служитель при бильярде, ведущий счет во время игры.
М а р к и з — дворянский аристократический титул (средний между графом и герцогом) в Западной Европе.
М е р к у р и й — бог торговли, обмана и воровства у древних римлян.
М и д а с о в с у д.— По древнегреческому мифу, фригийский царь М и д а с предпочел игре на лире бога искусств Аполлона игру на флейте бога реки Марсия. В наказание у Мидаса отросли ослиные уши.

М и р я н и н — лицо, живущее в миру, в противоположность монаху.
М о р о в а я я з в а — чума.
М у з у л ь м а н и н (мусульманин) — последователь магометанской религии.
М у з ы — по верованиям древних греков, девять богинь-сестер, покровительствовавших искусствам и наукам.
М у ф т и й — ученый юрист-богослов у мусульман.
М у ш н о й — мучной.

Н а я д ы — в древнегреческой мифологии речные нимфы.
Н е́ г д е — где-то.
Н е к т а р — в древнегреческой мифологии напиток богов, дававший им бессмертие.
Н е п т у н — бог морей у древних римлян.
Н е р а ч е н и е — небрежность, отсутствие старания.
Н е́ р у с и — не русские, иностранцы.

Н и ж е́ — даже не.

Н и м ф ы — в древнегреческой мифологии второстепенные божества (в образе прекрасных молодых девушек), олицетворявшие различные силы природы (нимфы гор, рек, лесов).

О б р я щ и т ь — найти, отыскать.

О р а к у л — божество, прорицающее, предсказывающее будущее.

О р е с т — по древнегреческим преданиям, сын царя Агамемнона, связанный узами крепчайшей дружбы со своим двоюродным братом Пиладом.

О с н о в а — в ткацком деле — продольные нити, идущие параллельно вдоль ткани.

О т к у п щ и к — богатей, откупавший за деньги у государства право на монопольную торговлю чем-либо.

П а р н а с — горный массив в Греции; по верованиям древних греков, обитаще Аполлона и муз.

П а с к в и л ь — произведение, содержащее в себе оскорбительный выпад против кого-либо.

П е г а с — в древнегреческой мифологии крылатый конь; от удара его копыта забил источник Ипокрена, вдохновляющий поэтов.

П е ч и́ — церковнославянская форма глагола «печь».

П и л а д — см. О р е с т.

П л у т о н — в древнегреческой мифологии бог подземного мира, в котором обитают тени умерших.

П о л о н — плен.

П о л у г а р — род водки.

П о н е ж е — потому что, так как.

П о р т е р — сорт крепкого черного пива.

П о с в е р х — над.

П о т а ч л и в ы й — потакающий.

П о т о в ы е с к в а ж и н ы — поры.

П о ч т о — зачем, почему.

П р е д с т а т е л ь с т в о — покровительство.

П р и д в е р н и к — сторож при дверях, швейцар.

П р и к а з — старинное название правительственных учреждений.

П р и к а з н а я с л у ж б а — государственная служба.

П р и м а — первая скрипка.

П р и н я т ь с я — здесь: поступить на службу.

П р о с т о л ю д и м (простолюдин) — человек из народа.

Р а т н и к — воин, военный человек.

Р и т о р — оратор, говорящий пышно и красиво, но малосодержательно.

Р о д о с л о в н о е д е р е в о — родословная таблица в виде дерева.

Р у п и я — денежная единица в Индии.

С а т р а п — правитель в Древней Персии.

С в а р а — шумная перебранка, ссора.

Сераль — внутренние покои дворца на Востоке, гарем.
Сибарит — изнеженный человек, живущий в роскоши и наслаждениях.
Сильф — воздушный дух в древнегерманской мифологии.
Сколок — здесь: копия.
Случай — милость при дворе. Попасть в случай — оказаться в милости.
Совместница — соперница.
Содом — в переносном смысле: шум, суматоха.
Стоически — мужественно.
Султан — титул царя в некоторых мусульманских странах.

Тароватый — щедрый.
Тафтяный — сделанный из тафты — тонкой шелковой ткани.
Тиснение (устар.) — тираж, издание книги.
Трафить — совершать что-нибудь удачно. Трафить на порок — обличать порок.
Тучегонитель — одно из наименований Юпитера.

Философ — философ.
Фимиам — благовонное вещество для курения.
Фортуна — богиня счастья и удачи у древних римлян.

Хлебник — тот, кто печет и продает хлеб.

Цирюльня — парикмахерская.

Чеботарь — сапожник.
Челобитчик — проситель.
Чистительное — слабительное.
Чреда — поприще, область деятельности.

Шехеразада — царица-сказочница из арабских волшебных сказок «Тысяча и одна ночь».
Штоф — тяжелая шерстяная или шелковая ткань.

Щеголек — франт, щеголь.

Эак — по верованиям древних греков, один из трех судей, судивших души умерших.
Эклога — стихотворение, воспевающее мирную идиллическую жизнь пастушков и пастушек.
Эмир — княжеский титул в некоторых мусульманских странах.
Эпитафия — надгробная надпись.

Юпитер — верховное божество древних римлян, творец мира, властелин неба, повелевающий тучами, громом и молнией. Соответствует греческому Зевсу.

Яхонт — старинное название рубина и сапфира.
Яшмовый — сделанный из яшмы (разновидность кварца с узорчатыми прожилками).

Д. Д. Благой

А. С. ГРИБОЕДОВ

ГОРЕ ОТ УМА

Стр. 195

Единственная прижизненная публикация — отрывки комедии (действ. I, явл. 7—8 и действ. III) с множеством цензурных изъятий и переделок в альманахе «Русская Талия, подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год», СПб, 1825.

Впервые полностью, без цензурных поправок,— отд. изд., СПб, 1862, по авторизованному списку, принадлежавшему А. А. Жандру.

Сохранились четыре авторизованные источника текста «Горя от ума»: «Музейный автограф», 1823; Жандровская рукопись, 1824; прижизненная публикация отрывков комедии в альманахе «Русская Талия», 1825 и Булгаринский список, 1828.

«Музейный автограф» — рукопись, почти целиком написанная самим Грибоедовым. Была приобретена в 1902 году Московским историческим музеем и получила название по месту хранения. «Музейный автограф» представляет собой раннюю редакцию комедии, существенно потом переработанную Грибоедовым (переделкам подвергались и отдельные фразы, и стихи, и даже монологи, исключены были некоторые бытовые детали, значительно сокращен текст), но в основном она близка поздней редакции. В этой редакции, правда, не по всему тексту, изменено первоначальное написание фамилии «Чадский» на «Чацкий». Рукопись была подарена Грибоедовым С. Н. Бегичеву перед отъездом в Петербург, в мае 1824 года.

В Петербурге Грибоедов надеялся получить разрешение цензуры на опубликование комедии и хотел также провести ее на сцену. Несмотря на то что он шел на уступки, смягчал, переделывал текст, опубликовать полностью комедию цензура не разрешила и только после долгих хлопот удалось поместить четыре сцены первого акта и весь третий акт в альманахе «Русская Талия на 1825 год». Но даже и эти отрывки комедии были опубликованы с большими цензурными изъятиями и переделками. Например, вместо «В ученый комитет который поселился», печаталось «Между учеными который поселился»; «За армию стоит горой» — «Он за своих стоит горой»; «При трех министрах был начальник отделенья» — «Отличного ума и поведенья»; «Перед монаршим лицом» — «Перед каким ни есть лицом». В монологе Чацкого в третьем акте о французике из Бордо пропущены слова:

Своя провинция.— Посмотришь вечерком —
Он чувствует себя здесь маленьким царьком.

В третьем акте была пропущена характеристика Скалозуба:

Хрипун, удавленник, фагот,
Созвездие маневров и мазурки!

По приезде в Петербург Грибоедов принялся за переработку комедии. В письме к Бегичеву в июне 1824 года он пишет: «...На дороге мне пришло в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее...»

Рукопись новой редакции Грибоедов передал А. А. Жандру. В одном из своих писем А. А. Жандр рассказывает: «Когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию, он написал такие ужасные брульоны, что разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. У меня была под руками целая канцелярия; она списала «Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится у меня» (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», М., 1929, стр. 274).

Этот «главный список» и есть так называемая Жандровская рукопись, содержащая наибольшее количество (около ста) изменений и поправок, внесенных самим автором.

«Булгаринский список» назван так по фамилии его владельца Ф. В. Булгарина (на титульном листе тетради надпись: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828»). С Жандровской рукописью имеет незначительные разночтения, в основном это ошибки и описки переписчика.

Булгаринский список представляет интерес, как самый поздний авторизованный текст, хотя Грибоедов сделал в нем лишь немногочисленные поправки чернилами отдельных грамматических ошибок.

Сравнительное изучение авторизованных источников текста «Горя от ума» позволило с достаточной достоверностью установить текст комедии. (Первое научное издание комедии — в Полном собрании сочинений, т. II, под ред. Н. К. Пиксанова, СПб, 1913).

В государственных архивах и у частных лиц хранится множество неавторизованных списков комедии. В связи с тем, что публикование в печати комедии «Горе от ума» не разрешалось цензурой до 1833 года, она разошлась во множестве рукописных копий, начало которым было положено в канцелярии Жандра, однако при переписке в текст часто вносились искажения.

Особый интерес представляет распространение копий «Горя от ума» декабристами. Декабрист Завалишин рассказывает, что «литературные деятели» Северного общества (Рылеев, Кюхельбекер, братья Бестужевы, А. Одоевский) «захотели воспользоваться предстоящими отпусками офицеров для распространения в рукописи комедии Грибоедова... Несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтоб в несколько рук списывать комедию под диктовку» («А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», М., 1929, стр. 159).

Первая попытка поставить «Горе от ума» на сцене была сделана учащимися Петербургского театрального училища по инициативе П. А. Каратыгина. За постановкой наблюдал сам Грибоедов, но спектакль был запрещен М. А. Милорадовичем, так как пьеса не была разрешена цензурой.

Первое исполнение на профессиональной сцене — 26 января 1831 года на сцене Большого театра в Петербурге и 27 ноября 1831 года в Москве — на сцене Малого театра. Пьеса шла с большими цензурными искажениями.

Полностью пьеса была поставлена на сцене лишь в 1864 году после напечатания комедии без цензурных изъятий.

О к а з и я — происшествие, случай.

Кузнецкий мост — улица в центре Москвы, на которой были сосредоточены модные французские магазины.

Берем же побродяг, и в дом и по билетам...— Кроме домашних учителей, в богатых дворянских семьях бывали еще учителя приходящие, главным образом французы. После каждого урока им выдавались «билеты», по которым они впоследствии получали вознаграждение.

Пикет — карточная игра.

Английский клоб (клуб) — привилегированный дворянский клуб.

Дом зеленью раскрашен в виде рощи...— Во времена Грибоедова было модно расписывать стены комнат цветами, деревьями.

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг, в ученый комитет который поселился...— Ученый комитет был учрежден в 1817 году. Он осуществлял надзор над изданием учебной литературы, проводил в делах просвещения реакционную политику.

И дым Отечества нам сладок и приятен! — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798):

Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен...

Минерва — в греческой мифологии богиня мудрости.

Покойник был почтенный камергер, с ключом, и сыну ключ умел доставить...— Камергеры (придворное звание) носили на парадных мундирах золотой ключ.

...тупеем не кивнут.— Тупей — старинная прическа: собранный на затылке пучок волос.

Вельможа в случае...— то есть в милости, фаворит.

Куртаг — приемный день во дворце.

Вист — карточная игра.

Карбонари (карбонарии) — члены тайного революционного общества в Италии (XIX век).

За третье августа...— 3 августа — день свидания Александра I с австрийским императором в Праге, ознаменованный торжествами и награждениями. В этот день никаких боевых действий не было; таким образом, «подвиг» Скалозуба состоял только в том, что они «засели в траншею».

Ему дан с бантом, мне на шею.— Одни и те же ордена различались в степени способами ношения. Низшие ордена (IV и III степени) носились в петлице, и лента могла завязываться бантом; высшие (I и II степени) — на шее.

Времен Очаковских и покоренья Крыма...— Взятие турецкой крепости Очаков и присоединение Крыма к России произошли в 1783 году.

...Нестор негодяев знатных...— Нестор — имя полководца, упомянутого в «Илиаде» Гомера; в нарицательном смысле — советчик, руководитель, главарь.

Для компаньи? — Эти слова, входившие ранее в реплику Чацкого, Грибоедов, по совету П. А. Вяземского, передал Лизе.

Ирритация — волнение, замешательство.

Хрипун, удавленник, фагот...— Хрипунами во времена Грибоедова называли армейских офицеров, из щегольства говоривших хриплым басом, отсюда сравнение с фаготом.

Ты обер или штаб? — Обер-офицеры — младшая группа офицеров — до капитана, штаб-офицеры — от майора до полковника.

Тюрлюрлю — накидка.

Эшарп — шарф.

Бáрежевый — из легкой шерстяной ткани.

Да от ланкартачных взаимных обучений...— Ланкартачный — искаженное слово «ланкастерский». Система английского педагога Ланкастера (1771—1838) состояла в том, что более сильные ученики обучали слабейших, помогая учителю. В России этой системой увлекались поборники народного просвещения, передовые офицеры при обучении солдат в армии, в частности декабристы. В правительственных кругах к ланкастерским школам относились подозрительно, как к рассаднику вольномыслия. Такою же репутацией пользовались пансионы (Благородный пансион при Московском университете), лицей (Царскосельский лицей) и Педагогический институт (Петербургский педагогический институт).

...в опеку взят указом! — то есть над имением Репетилова, по царскому указу, была учреждена опека (надзор).

...о камерах, присяжных...— Камеры — палаты народных депутатов в конституционных государствах. О палатах депутатов, как и о введении в России суда присяжных, много говорили тогда в русском обществе, особенно в среде декабристов.

«А! нон лашьяр ми, но, но, но» («Ах! не оставь меня, нет, нет, нет») — популярная песенка из оперы итальянского композитора Галуппи (1706—1785) «Покинутая Дидона».

Реверси — карточная игра.

Химеры — здесь: нелепые выдумки.

В работу вас, на поселенье вас...— Дворовых крепостных часто отправляли в наказание на тяжелые работы в поместья. Помещики также имели право ссылать своих крепостных без суда на поселение в Сибирь.

М. П. Еремин

Н. А. НЕКРАСОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стр. 299

СОВРЕМЕННАЯ ОДА

Первое стихотворение Некрасова, напечатанное в «Отечественных записках», которые в ту пору (в 1845 году) были лучшим русским журналом. В них активно сотрудничали В. Г. Белинский, А. И. Герцен и другие передовые писатели. «Современная ода» — пародия на торжественную оду и вместе с тем сатира на одного из пошлых «героев» тогдашней русской действительности — разбогатевшего нечестным путем капиталиста. Белинский назвал «Современную оду» одним из «счастливых вдохновений таланта».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Эта сатира на чиновников снискала Некрасову в цензурных и правительственных кругах репутацию «вольнодумного» поэта. Фаддей Булгарин доносил в III отделение, что Некрасов — «отчаянный коммунист» и «страшно вопиет в пользу революции». Начальник III отделения писал ведавшему цензурой министру народного просвещения С. С. Уварову: «Сочинения подобного рода, по предосудительному содержанию своему, не должны бы одобряться к печатанию».

Подражание Лермонтову.— В «Колыбельную песню» Некрасов включил отрывки (по большей части перефразированные) из широко известной «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова.

«КОГДА ИЗ МРАКА ЗАБЛУЖДЕНЬЯ...»

Н. Г. Чернышевский, очень высоко ценивший любовную лирику Некрасова, писал поэту (в 1856 году): «...Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли...» И тут же он признался, что многие некрасовские интимно-лирические стихотворения (среди них — «Когда из мрака заблужденья...») «буквально заставляют» его «рыдать».

ТРОЙКА

Это стихотворение о тяжелой доле русской крестьянки, овеянное проникновенным лиризмом,— одно из характерных в наследии поэта. О том, что Некрасов отводил «Тройке» особое место в своем творчестве, свидетельствуют такие факты: когда он начал редактировать журнал «Современник», первым его стихотворением, напечатанным в этом журнале (в № 1 за 1847 год), была

«Тройка»; «Тройкой» открывается небольшой сборник стихотворений, который он выпустил незадолго до смерти, в 1877 году (в серии «Русская библиотека»). «Тройка» многократно положена на музыку, с 1850-х годов исполнялась как романс, особенно в среде передовой молодежи; в настоящее время распространена в качестве народной песни.

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Здесь рассказывается о том, как отвозят в ссылку или на каторгу осужденного революционера. В старых изданиях вместо слова «жандарм» (в последней строке) неизменно печаталось: «денщик». Это было вызвано цензурными обстоятельствами. Между тем образ жандарма с нагайкой придает всему стихотворению, казалось бы «пейзажному», политическую конкретность, глубокий общественный смысл.

«Я ЗА ТО ГЛУБОКО ПРЕЗИРАЮ СЕБЯ...»

В примечании к этому стихотворению Некрасов сообщил: «Написано во время гощения у Герцена. Может быть, навеяно тогдашними разговорами». Поэт гостил у Герцена на даче под Москвой летом 1846 года. В «тогдашних разговорах» Герцен пропагандировал революционные идеи. Очевидно, это произвело на Некрасова сильное впечатление. В стихах воплощено стремление к революционному делу; от стихийных социалистических убеждений Некрасов в ту пору переходил к осознанию исторической неизбежности революции.

С и р — здесь: одинок.

РОДИНА

В «Родине» отразились впечатления от жизни и быта родового имения Некрасовых (село Грешнево, Ярославской губернии). Прототипом «угрюмого невежды» был отец поэта. В стихотворении Некрасов рассказал о горестной судьбе своей матери Елены Андреевны (ум. в 1841 году) и сестры Елизаветы (ум. в 1842 году). Однако он нарисовал широко обобщенную картину деспотизма и угнетения, далеко выходящую за рамки семейной хроники. Стихотворение создавалось в живом общении с Белинским, которому оно и было посвящено в одной из рукописей.

Г а е р — шут.

«ЕДУ ЛИ НОЧЬЮ ПО УЛИЦЕ ТЕМНОЙ...»

Это стихотворение, в котором воспроизведены ужасы нищеты, было весьма характерным для «натуральной школы» Белинского. В ноябре 1847 года И. С. Тургенев писал Белинскому: «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение... меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил». М. Е. Салтыков пересказал фабулу этого стихотворения в одном из эпизодов повести «Запутанное дело» (1848). А через три десятилетия, в 1878 году, Н. Г. Чернышевский писал из сибирской ссылки жене, что стихотворение «Еду ли ночью...» первое показало: «Россия приобретает великого поэта».

«ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ, ЧАСУ В ШЕСТОМ...»

Здесь Некрасов впервые провозгласил, что в своей поэзии он стремится защищать права угнетенного крестьянства. Это было новое, революционно-де-

мократическое представление о задачах поэзии, отличавшее Некрасова от всех его предшественников, в том числе от Пушкина и Лермонтова. В более поздних стихах, развивая те же мысли, Некрасов создал образ своей многострадальной Музы, иссеченной кнутом (см. стихотворения «Безвестен я. Я вами не стяжал...» и «О Муза! я у двери гроба!..»).

С е н н а я — рыночная площадь в Петербурге, была местом публичных телесных наказаний по приговору суда.

«БЛАЖЕН НЕЗЛОБИВЫЙ ПОЭТ...»

Написано на смерть Гоголя, по мотивам известного лирического отступления о двух типах писателей в 7-й главе «Мертвых душ». Говоря о поэте-сатирике, Некрасов, однако, не только передал мысли Гоголя, но и развил революционно-демократические взгляды на роль сатиры в общественной жизни.

ПАМЯТИ БЕЛИНСКОГО

Стихотворение написано в пору жестокого цензурного террора, когда имя Белинского было запрещено упоминать в печати. За чтение и распространение вольнодумного письма Белинского к Гоголю арестовывали, ссылали на каторгу. Поэтому стихотворение было опубликовано (в № 3 «Современника» за 1855 год) под маловыразительным названием «Памяти приятеля». Незадолго до смерти, в 1877 году, Некрасов напечатал его под названием «Памяти Белинского». Полицейские преследования привели и к тому, что могила Белинского (умершего в 1848 году) была заброшена. Позже ее разыскали, рядом был похоронен Добролюбов (1861), а затем и другие передовые писатели. В этом месте Волкова кладбища в Петербурге на так называемых литераторских мостках в конце прошлого века революционно настроенная молодежь устраивала политические митинги.

«ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ ДОСТАЛСЯ ЕЙ НА ДОЛЮ...»

Навеяно отношениями с А. Я. Панаевой, но по своему смыслу далеко выходит за рамки «лирического дневника». Переживания любящей и страдающей женщины переданы здесь так проникновенно, что Чернышевский назвал это стихотворение «лучшим лирическим произведением на русском языке».

«ВНИМАЯ УЖАСАМ ВОЙНЫ...»

Здесь Некрасов выразил глубокую скорбь о жертвах, понесенных народом в Крымской войне. Существует предположение, что эти стихи навеяны «Севастопольскими рассказами» Л. Н. Толстого.

ШКОЛЬНИК

А р х а н г е л ь с к и й м у ж и к — великий русский ученый и поэт М. В. Ломоносов, происходивший из крестьян Архангельской губернии.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Это — манифест передового революционно-демократического искусства. В сборнике некрасовских «Стихотворений» (1856) «Поэт и гражданин» был

напечатан в качестве предисловия. Цензура разгадала, что в стихах «Иди в огонь за честь отчизны...» и др. содержался призыв к борьбе с царским самодержавием, и книга Некрасова вскоре после выхода была объявлена «крамольной». Мыслями о гражданском назначении искусства стихотворение перекликается с работами Белинского и Чернышевского. Стихи: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — являются переложением строки из посвящения к поэме поэта-декабриста К. Ф. Рылеева «Войнаровский»: «Я не поэт, а гражданин».

«Не для житейского волненья...» — цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Кадеты — здесь: воспитанники дворянских военно-учебных заведений.

Предводитель — здесь: губернский или уездный предводитель дворянства (выборные административные должности).

Плантатор — здесь: помещик, живущий в своем имении.

Пегас (из греч. миф.) — волшебный конь, символ поэтического вдохновения.

Парнас (из греч. миф.) — священная гора, где жили Аполлон (бог поэзии) и музы (богини поэзии, искусств и наук); здесь: особое место, где поэт предается вдохновению.

«В СТОЛИЦАХ ШУМ, ГРЕМЯТ ВИТИИ...»

Слово «витии» (что значит умелые ораторы, краснобаи) употреблено здесь в ироническом смысле: Некрасов высмеивал либералов, которые, лицемерно прикрываясь фразами о справедливости, прогрессе и т. п., защищали классовые интересы помещиков и буржуазии.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Однажды из окна своей квартиры на Литейном проспекте в Петербурге Некрасов видел, как от подъезда противоположного дома дворники и городовой отгоняли группу крестьян-просителей. В том доме жил министр государственных имуществ М. Н. Муравьев, который впоследствии (в 1863 году) руководил зверским подавлением восстания в Польше (Муравьев-Вешатель). Он и явился одним из прототипов «владельца роскошных палат». Другой его прототип — князь А. И. Чернышев, который при Николае I был военным министром и насаждал в армии палочную дисциплину; Чернышев в старости доживал свои дни на одном из курортов в Италии, где его в 1857 году видел Некрасов. Поэт, конечно, иронически замечает, что дни «владельца роскошных палат» закончатся «безмятежней аркадской идиллии» (Аркадия — область в Древней Греции; по преданию, была населена беззаботными пастухами и пастушками). Стихотворение подверглось цензурному запрету, но уже вскоре после написания стало расходиться в рукописных списках. Впервые опубликовано в 1860 году в Лондоне, в газете Герцена и Огарева «Колокол», с таким примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить».

ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ

Эта песня стала своего рода гимном передовой молодежи 1860-х годов, с полным основанием усматривавшей в ней призыв к революционной борьбе. «*Братство, Равенство, Свобода*» — лозунг французской революции конца

XVIII века. Очень любил «Песню Еремушке» Добролюбов. М. П. Мусоргский положил ее на музыку.

«ЧТО ТЫ, СЕРДЦЕ МОЕ, РАСХОДИЛОСЯ?..»

Здесь Некрасов ответил клеветникам, обвинявшим его в неискренности и корыстолюбии. Когда на одном из литературных вечеров он прочитал эти стихи, все присутствовавшие встали и устроили овацию. Так читатели оказывали моральную поддержку любимому поэту.

НА ВОЛГЕ

В этом стихотворении Некрасов воспроизвел впечатления своего детства, которое он провел на Волге, в селе Грешнево, Ярославской губернии. Некрасов рассказывал Чернышевскому, что в детстве он слышал, как один бурлак говорил другому: «А кабы умереть к утру, то было б еще лучше». Эта фраза почти дословно передана в стихотворении.

Р ы б а л к и — чайки.

Р а с ш и в а — разновидность плоскодонного речного деревянного судна с острым носом.

Н и ж н и й — Нижний Новгород (ныне г. Горький).

Н а И л ь ю — то есть на Ильин день (20 июля старого стиля).

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКО

Здесь точно описана судьба великого украинского поэта-революционера. После возвращения из ссылки в 1858 году Шевченко поселился в Петербурге и сблизился с передовыми русскими людьми, в частности с Чернышевским. Умер Шевченко 26 февраля (по старому стилю) 1861 года. Некрасов был на его похоронах, а на следующий день написал это стихотворение, которое явилось обвинительным актом всему полицейско-бюрократическому строю царской России. При жизни Некрасова оно не могло быть напечатано; в его собрание сочинений введено лишь в советское время.

«ЧТО НИ ГОД — УМЕНЬШАЮТСЯ СИЛЫ...»

Написано вскоре после опубликования царского манифеста 1861 года об отмене крепостного права. Заявляя, что он умрет, так и не дождавшись освобождения народа, Некрасов тем самым не только давал отрицательную оценку этой реформе, приведшей к новому ограблению крестьян в интересах помещиков и капиталистов, но и провозглашал высокие идеалы истинной свободы, которые он связывал с народной революцией. В конце стихотворения в словах о «кипенье человеческой крови и слез» содержится намек на кровавое подавление крестьянских бунтов весной 1861 года, когда крестьяне отказывались принять условия царской реформы.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

Основные мотивы и образы этого стихотворения взяты из народных песен. «Зеленый Шум» написан необычным для того времени стихом, в основе которого лежит трехстопный ямб без рифм, с чередованием дактилических и мужских

окончаний; после нескольких удлиненных строк с дактилическими окончаниями идет короткая строка с мужским окончанием, как бы замыкающая строфу. Этот гибкий и емкий стих оказался настолько удобным для передачи разнообразных разговорных и песенных интонаций, что Некрасов широко использовал его в поэме «Кому на Руси жить хорошо», над которой вскоре начал работать.

РЫЦАРЬ НА ЧАС

Один из набросков этого стихотворения Некрасов в 1862 году послал томившемуся на сибирской каторге поэту-революционеру М. Л. Михайлову. «Станом погибающих за великое дело любви» Некрасов называет лагерь революционеров, понесший в ту пору большие утраты (аресты М. Л. Михайлова, В. А. Обручева, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Н. А. Серно-Соловьевича и др.). Политическую проповедь Некрасов выразил в форме проникновенного, страстного обращения к памяти матери,— это показывает, как неразрывно были соединены в его лирике личные и общественные мотивы.

«НАДРЫВАЕТСЯ СЕРДЦЕ ОТ МУКИ...»

Говоря о царящих в мире звуках «барабанов, цепей, топора», Некрасов клеймил резко усилившуюся в 1863 году правительственную реакцию.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

П. А. Клейнмихель, главноуправляющий путями сообщения при Николае I, в 1843—1851 годах руководил постройкой железной дороги между Петербургом и Москвой. Это была первая в России крупная железная дорога. Крайне тяжелое положение рабочих на ее постройке дало Некрасову материал для стихотворения. В связи с развитием капитализма, особенно после отмены крепостного права, многие разорившиеся крестьяне, чтобы спастись от голодной смерти, соглашались на любые условия, лишь бы только получить работу. Это и отразил в своем стихотворении Некрасов, создавший образ царя Голода, сгоняющего людей на работу. Публикация «Железной дороги» (в № 10 «Современника» за 1864 год) явилась одним из основных поводов второго предостережения некрасовскому «Современнику», поставившего существование журнала под угрозу.

В а т и к а н — карликовое государство в Риме, резиденция римского папы.

К о л и з е й — развалины огромного цирка в Риме, памятник античной архитектуры.

С в я т о й С т е ф а н — собор святого Стефана, памятник средневековой архитектуры.

А п о л л о н Б е л ь в е д е р с к и й — хранящаяся в Ватикане статуя Аполлона, один из шедевров античной скульптуры.

Т е р м ы — древнеримские бани.

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Добролюбов был для Некрасова не только близким другом, не только соратником по журналу «Современник», но и образцом передового гражданина. В замечании к стихотворению «Памяти Добролюбова» поэт указал, что он старался здесь воплотить «идеал общественного деятеля».

«УМРУ Я СКОРО. ЖАЛКОЕ НАСЛЕДСТВО...»

«Неизвестным другом», приславшим Некрасову стихотворение «Не может быть», как недавно выяснилось, была поэтесса О. В. Мартынова (Павлова); в своем стихотворении она отклоняла клеветнические упреки в неискренности, которым не раз подвергался Некрасов со стороны литературных врагов. «Умру я скоро...» — одно из произведений так называемой покаянной лирики Некрасова: поэт казнит себя за то, что для защиты от полицейских и цензурных гонений («когда грозил неумолимый рок») он иногда в своих стихах льстил представителям власти. Страстное самообличение свидетельствовало о глубине передовых убеждений поэта. Цитируя эти стихи, В. И. Ленин указал, что Некрасов по своей личной слабости «грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и *публично каялся* в них...». При этом В. И. Ленин подчеркнул, что Некрасов был идейным единомышленником Чернышевского, то есть революционным демократом: «...Все симпатии его были на стороне Чернышевского» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 22, стр. 84).

МАТЬ

К этим стихам Некрасов сделал примечание: «Думаю — понятно: жена сосланного или казненного». Высказывалось предположение, что в них шла речь о семье сосланного на каторгу Чернышевского.

«ДУШНО! БЕЗ СЧАСТЬЯ И ВОЛИ...»

Слово «буря» в данном случае обозначает: революция. Эта метафора, несомненно, была понятна тогдашним читателям: в передовой русской литературе она была устойчивой и повторялась у разных авторов (например, у Горького в «Песне о Буревестнике»).

ЭЛЕГИЯ

А. Н. Ераков (которому посвящена «Элегия») был другом Некрасова и мужем его сестры. 29 августа (по старому стилю) 1847 года, в день именин Еракова, Некрасов послал ему «Элегию» вместе с письмом, в котором говорилось: «Посылаю тебе стихи. Так как это самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последнее время, то посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу».

СЕЯТЕЛЯМ

Образ сеятеля, восходящий к старинной евангельской притче, получил в вольнолюбивой русской поэзии XIX века значение: проповедник освободительных идей. Еще Пушкин использовал этот образ в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...» (1823). Стихотворение Некрасова также аллегорично. Оно обращено не к сельским учителям (как пытались представить дело либеральные критики), а к революционерам-пропагандистам 1870-х годов, пытавшимся поднять народ на борьбу с царским самодержавием.

«О МУЗА! Я У ДВЕРИ ГРОБА!..»

Последнее из написанных Некрасовым стихотворений.

А. М. Гаркави

ПОЭМЫ

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС

Стр. 360

Поэма написана в 1862—1863 годах, когда правительство Александра II, испуганное нарастающим революционным подъемом, усилило репрессии против передовой демократии.

Воспользовавшись паникой, вызванной петербургскими пожарами 1862 года, власти приостановили некрасовский журнал «Современник», арестовали Чернышевского, заключили в крепость Писарева. Были объявлены суровые правила о печати, о надзоре за типографиями и др.

Но и в то мрачное время Некрасов сохранил веру в грядущее торжество народа. Всеми величавыми образами поэмы Некрасов свидетельствует, что, как бы ни была в ту пору мучительна крестьянская жизнь, сами крестьяне так мужественны, так богаты духовными силами, их быт, несмотря ни на что, так устойчив и крепок, что нет на свете такого врага, которого они не могли бы сокрушить в борьбе за свою свободу.

С е с т р а Некрасова, которой посвящена поэма,— Анна Алексеевна Буткевич (1823—1882).

Х о д е б щ и к с е р г а ч е в с к и й Ф е д я...— Х о д е б щ и к — вожак дрессированного медведя.

Н о — ч у! з а у н ы в н ы е п е н и...— П е н и — жалобы, стенания.

Отрывок из первой части поэмы впервые — «Время», 1863, № 1. Полностью — «Современник», 1864, № 1. Посвящение «Сестре» («Ты опять упрекнула меня...»), написанное несколькими годами позднее,— «Стихотворения», 1869.

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Стр. 392

В 1826 году декабристы были сосланы в Сибирь на каторжные работы. Вскоре за некоторыми из них добровольно последовали их жены: А. Г. Муравьева, Е. И. Трубецкая, Е. П. Нарышкина, А. В. Розен, М. Н. Волконская и другие. «Жены сосланных в каторжную работу,— писал о них впоследствии Герцен,— лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции» (А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, М., 1956, стр. 59).

Николай I, опасаясь, что подвиг этих самоотверженных женщин вызовет сочувствие к сосланным, принял жестокие меры, чтобы помешать их намерению: он запретил им брать с собою детей, осудил их на вечную разлуку с родными, отнял у них право вернуться в Россию; на станциях женам декабристов не давали лошадей; их запугивали всякими ужасами, заставили подписать отречение от прежних прав. Жизнь этих женщин в Сибири была тяжела; некоторые из них (в том числе Е. И. Трубецкая) там и погибли.

Создавая свою поэму, Некрасов использовал многочисленные документальные материалы. Кое-какие фактические сведения он мог почерпнуть из официальных источников («Материалы по делу о декабристах», СПб. 1826; книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», СПб. 1857). На некоторые исторические труды об эпохе декабристов Некрасов сам

сослался в примечаниях к «Княгине М. Н. Волконской». Одним из главных источников «Княгини Трубецкой» явилась книга А. Е. Розена «Записки декабриста», вышедшая на русском языке в Лейпциге в 1870 году. Поэт опирался также на рукописные источники. Работая над поэмой «Княгиня М. Н. Волконская», он использовал рукописные «Записки» М. Н. Волконской, хранившиеся в архиве ее сына.

КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ

Стр. 392

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая (1801—1853; урожденная графиня Лаваль). Ее муж — князь Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860), полковник лейб-гвардии Преображенского полка; за участие в заговоре декабристов был приговорен к бессрочным каторжным работам. В 1826 году Трубецкая последовала за сосланным мужем в Сибирь, где и умерла.

Знакомый с бурями француз, столичный куафер...— Очевидно, свидетель событий французской революции 1789—1794 годов. Куафер — парикмахер.

Какой-то бравый генерал...— Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825).

Там люди редки без клейма...— В царской России до 1863 года на лицах каторжников выжигали особые знаки или буквы (клейма).

На воле рыскают кругом там только варнаки...— Варнаки — беглые каторжники.

КНЯГИНЯ М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

Стр. 415

Княгиня Мария Николаевна Волконская (1805—1863) — дочь известного героя Отечественной войны генерала Н. Н. Раевского. В 1825 году вышла замуж за Сергея Григорьевича Волконского (1788—1865). В 1826 году Волконская последовала за сосланным в Сибирь на каторжные работы мужем.

...цветы с могилы сестры — Муравьевой...— Александра Григорьевна Муравьева (урожденная Чернышева) последовала за мужем Никитой Михайловичем Муравьевым в Сибирь, где и умерла в 1832 году.

Сестра моя, Катя Орлова.— Екатерина Николаевна Орлова (1797—1885) — старшая дочь генерала Раевского, жена декабриста Михаила Федоровича Орлова.

Сестра Зинаида — княгиня Зинаида Александровна Волконская (1792—1862), урожденная княжна Белосельская-Белозерская, родственница Марии Волконской по мужу, красавица, блестяще образованная, поэтесса, новеллистка, композитор, певица. На литературно-музыкальных вечерах в ее доме бывали все наиболее известные писатели и артисты того времени.

Они уважали, любили ее и Северной звали Коринной...— Коринна (ок. V в. до н. э.) — древнегреческая лирическая поэтесса.

В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка...— Федор Васильевич Ростопчин

(1763—1826) — видный сановник, второстепенный литератор; демагог и крайний реакционер.

Все вечером съехались к Зине моей...— Вечер у З. А. Волконской в честь уезжавшей в Сибирь М. Н. Волконской состоялся 26 декабря 1826 года.

Поэт вдохновенный и милый...— Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827).

Потом я прочла в «Онегине» чудные строки.— Строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (XXXIII строфа первой главы):

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою
С любовью лечь к ее ногам!

Но мир Долгорукой еще не забыл, а Бирона нет и в помине.— Княгиня Наталия Борисовна Долгорукова (1714—1771), дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, в 1730 году последовала в ссылку в Сибирь за своим мужем И. А. Долгоруковым, подвергшимся репрессиям за участие в дворцовом заговоре; в 1739 году И. А. Долгоруков был казнен; Н. Б. Долгорукова окончила жизнь монахиней. Эрнест Иоганн Бирон (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Ивановны, назначенный после ее смерти регентом; отличался беспощадной жестокостью. В сопоставлении Долгоруковой и Бирона содержится скрытый намек на М. Н. Волконскую и ее гонителя Николая I.

Мне царь «Пугачева» писать поручил...— «Историю Пугачева» Пушкин написал не по поручению царя, а по собственному побуждению. В своих «Записках» М. Н. Волконская рассказывает, что Пушкин сообщил ей в Москве о намерении приняться за этот труд; начал же он работу над «Историей Пугачева» лишь в 1833 году, то есть много позже встречи с Волконской.

К. И. Чуковский
при участии А. М. Гаркави

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

ПРОЛОГ

Стр. 450

Семь временнообязанных...— 19 февраля 1861 года крепостное право было отменено, но зависимость крестьян от помещиков во многом сохранилась. За право пользования землей крестьяне были обязаны нести повинности в пользу своих бывших владельцев. Крестьяне считались «временнообязанными» до момента выкупа своей земли, после чего становились уже «крестьянами-собственниками». Однако переход на выкуп всецело зависел от воли помещиков и затянулся более чем на двадцать лет. «Пресловутое «освобождение»,— писал В. И. Ленин,— было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними».

Косушка — полбутылки.

Сова — замоскворецкая княгиня...— былинно-песенный образ. В былинах-старинах о птицах (например, «Каково птицам жить на море») нередко встречается аллегорическое уподобление птиц представителям различных сословий и социальных групп: орел — воевода, сова — воеводша, ястреб — стряпчий, лебедушки — княгини, чирята — крестьяне, воробьи — холопы, ворон — игумен, утушки — купецкие женки и т. п. (ср. также песню птиц в «Снегурочке» Островского, Пролог, явление I). Замоскворецкая княгиня — то есть купчиха. Замоскворечье — чисто купеческая часть старой Москвы, отличавшаяся своеобразием жизненных нравов и бытового уклада.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр. 460

Больней того на новые деревни им глядеть.— Намек на частые пожары в деревнях, разорявшие крестьян (ср. стихотворения Некрасова «Пожарище», «Ночлеги. II. На погорелом месте»).

Как достается грамота поповскому сынку...— Обучение в духовных училищах и семинариях основывалось на муштре и бессмысленной зубрежке. Распорядок жизни был подчинен суровому режиму, провинившихся подвергали телесным наказаниям (см. в главе «Доброе время — добрые песни» строки о пребывании в семинарии Гриши Добросклонова; ср. также «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского).

Какой ценой поповичем священство покупается...— Место священника передавалось до 1869 года претенденту-семинаристу только в том случае, если он женился (обыкновенно по расчету) на дочери или наследнице священника. Насмешливо-презрительное отношение русского народа к духовенству, отмечаемое дальше попом, совпадает с характеристикой, данной Белинским в его известном «Письме к Гоголю»: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, брюхаты жеребцы? Попов... Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?»

Раскольники — то есть члены религиозных сект, не признающие учения официальной церкви. Они подвергались жестоким притеснениям со стороны правительства и находились под надзором местного духовенства, которое понуждало их к взяткам и смотрело на раскол как на доходную статью. С 1864 года положение раскольников было несколько улучшено, надзор за ними был передан гражданским властям («Поповскому доходу мат пришел»).

Воздухи́ — легкие покрывала для церковных сосудов с причастием.

За требу воздаяние — плата священнику за обряды и молебствия, совершаемые по просьбе прихожан: крещение, венчание, отпевание, «освящение» дома, колодца и т. д.

...на Николу вешнего...— Николин день праздновался 9 мая старого стиля и зимой, 6 декабря. «Два Николы: один с травой, другой с морозом». «Никола вешний лошадь откормит, Никола зимний лошадь на двор загонит» («Пословицы русского народа» В. Даля).

Праздник храмово́й (престольный) — церковный праздник, когда отмечалась память того святого, в честь которого построена местная приходская церковь (храм).

Гостиный двор — торговые ряды.

Крестьянские шлыки — остроконечные шапки.

Што́фные лавочки — питейные лавки.

«Ренсковой погреб» — магазин русских и иностранных виноградных («рейнских») вин с продажей только навынос.

Подол на обручах! — Кринолин, подражание городской моде того времени; в юбку для поддержания формы вшивали полосы из китового уса (или стальные).

...до Петрова́! — «Петров день — проводы весны»; праздновался 29 июня.

Косу́ля — соха с одним лемехом, отваливающим землю на одну сторону.

Издельем кимряков.— Село Кимры бывшей Тверской губернии издавна славилось обувными кустарными промыслами по выделке обуви и других изделий из кожи.

Павлуша Веретенников — собирательный образ «заступника народного» из дворян. Прообразом Павла Веретенникова послужили Некрасову, вероятно, известные собиратели русских народных песен, былин, пословиц и сказаний, изучавшие также местные народные обычаи и культуру,— Павел Якушкин и Павел Рыбников. Их деятельность носила прогрессивный характер и была связана с демократическим движением 60-х годов. Известен также П. Ф. Веретенников — корреспондент «Московских ведомостей», посещавший ежегодно ярмарку в Нижнем Новгороде и писавший о ней в газете отчеты.

Офени — коробейники, разносчики, торговавшие лубочными книжками, картинами, а также галантереей.

Статский — состоящий на гражданской (а не военной) службе, штатский.

С Лубянки — первый вор! — В Москве близ Лубянки (ныне площадь Дзержинского) находился в то время центр сбыта лубочной продукции — Никольский книжный рынок, где царил дух торгашества и где офени покупали у купцов товар оптом.

...Блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко...— Прусский фельдмаршал Блюхер своими решительными действиями в сражении при Ватерлоо в 1815 году способствовал окончательной победе союзных армий над войсками Наполеона. Архимандрит Фотий — настоятель новгородского Юрьева монастыря, фанатик и ханжа; оказывал значительное влияние на реакционную политику Александра I (ср. ряд эпиграмм Пушкина на Фотия). Сипко — авантюрист, выдававший себя то за австрийского графа Мошинского, то за подпоручика Скорнякова, наконец, за богатого каменец-подольского помещика и капитана в отставке И. А. Сипко. В 1859 году подвизался в Петербурге в составе шайки, занимавшейся подделкой документов и ценных бумаг, затем женился на тверской помещице и выманил у нее капитал. Его похождения и арест в марте 1860 года возбудили интерес петербургской публики и прессы. В частности, о «герое-мошеннике» сообщалось в журнале Некрасова («Современник», 1860 год, № 3 и 5).

...книги: «Шут Балакирев» и «Английский милорд»...— лубочные издания, рассчитанные на невзыскательный вкус малокультурного читателя. И. А. Балакирев служил сначала во дворце при Петре I, затем был придворным шутом при императрице Анне Ивановне. Ему приписывались многочисленные шутки и остроумные выходки. Издания «Анекдотов о Балакиреве», наводнившие книжный рынок с 1830-х годов, содержали разнообразные

истории, анекдоты, остроты, в большинстве переводные, прилаженные к быту и нравам петровского времени. Книга Матвея Комарова «Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о брандебургской маркграфине Фридерике Луизе» вышла в свет в 1782 году и затем многократно переиздавалась.

Эх, эх! придет ли времечко... Белинского и Гоголя с базара понесет? — Этот отрывок о «желанном времечке» вспоминал В. И. Ленин, который в 1912 году писал о широком распространении в народе демократической литературы во времена первой русской революции 1905 года: «Демократическая книжка стала *базарным* продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература...» Рядом с именами Белинского и Гоголя в черновиках поэмы стояло также имя Пушкина.

Хожалый — полицейский солдат, служитель при полиции.

Этапное здание — в нем делали остановку ссыльные партии арестантов, следовавших «по этапу» от одного пункта к другому.

Победные головушки — то есть горемычные, несчастные, претерпевшие много бед (фольклорный оборот речи).

Добра ты, царска грамота, да не при нас ты писана... — По «Положениям» 19 февраля 1861 года в течение двух лет вводились в действие уставные грамоты, определявшие размер земли и повинности крестьян. Грамоты составлялись самими помещиками под наблюдением мировых посредников, назначавшихся также из числа местных помещиков. Ограбленные реформой крестьяне отказывались подписывать эти грамоты, поэтому происходили массовые волнения.

Акцизные чиновники. — В начале 1860-х годов в губерниях и уездах были образованы акцизные управления, которые осуществляли надзор за порядком государственной продажи и производства спиртных напитков, а также ведали сбором питейного и некоторых других налогов в частной торговле.

Сотский — выбирался на сельских сходках из числа обеспеченных и «надежных» крестьян от каждых ста дворов и находился в подчинении станового пристава, в руках которого была сосредоточена местная полицейская власть.

Становой — становой пристав, начальник полицейского участка — стана.

Пожня — покос, луг или хлебное поле, а также работа на них.

Тать — вор, злодей, грабитель.

Всё слопает один! — Намек на пожары (см. примеч. к словам: «Больней того на новые деревни им глядеть»).

Иной угодья меряет, иной в селенье жителей по пальцам перечтет... — Проведение реформы 1861 года сопровождалось бурным развертыванием деятельности многих специальных комитетов по сбору самых разнообразных статистических материалов.

Зажоры — рытвины и ложбины, оставшиеся от талой воды.

Плетюх — высокая плетеная корзина для травы или сена.

Пажити — земельные угодья, а также пожитки, нажитое добро.

Весь вертоград Христов! — Здесь в смысле: весь божий мир; вертоград — сад.

Каменотес олóнчанин.— Многие жители Олонецкой губернии (район Онежского озера), богатой залежами мрамора, песчаника, известняка, занимались промыслом — добычей и обработкой каменных пород.

Пеуны́ — петухи.

У князя Переметьева...— Намек на фамилию графов Шереметевых, крупнейших землевладельцев, занимавших высшие посты государственной службы и стоявших близко к царскому двору. В рукописи первоначально фамилия указывалась открыто: «У графа Шереметьева...»

Трюфель (трюфели) — род подземных грибов, употреблявшихся в качестве приправы к дорогим блюдам.

С мякиною, с кострикою...— Мякина — отходы при обмолоте и очистке зерна. Кострика (костра, костерь) — отходы при трепке льна; также род полукормовой травы.

П. И. Губонин (1827—1894) — крупнейший подрядчик по каменно-строительным работам на шоссейных дорогах, а затем и на постройке железных дорог. Приобрел репутацию человека, участливого к нуждам рабочего люда, делал крупные пожертвования и состоял во многих благотворительных обществах. Выйдя из крепостных крестьян помещика Бибикова, Губонин в 1858 году приписался к московскому купечеству и быстро достиг его высших разрядов. Позже (в 1868 году) был удостоен звания потомственного почетного гражданина, а в 1875 году возведен в потомственное дворянство.

Сиротская мельница — сдавалась в аренду Сиротским судом, ведавшим делами об опеке и попечительстве.

В палату на торги.— Казенная палата — одно из наиболее бюрократических учреждений царской России, в котором процветало взяточничество; находилось в губернском городе и состояло в ведении министерства финансов. Наряду с другими делами палата производила торги — публичную продажу, при которой вещь доставалась тому, кто уплачивал наивысшую сумму.

Присутствие — исполнение служебных обязанностей в правительственном учреждении (в данном случае — в казенной палате).

Переторжка — вторичные торги, на которых устанавливалась окончательная цена.

Целковый — серебряный рубль; лобанчик — золотая монета с изображением головы царя.

Гривна медная — десятикопеечная медная монета.

Трёшник — копейка серебром ($3^1/_2$ копейки в переводе на бумажные деньги — ассигнации); семишник — двухкопеечная монета (7 копеек на ассигнации).

Кутейник — насмешливое прозвище семинаристов и вообще лиц духовного звания, от слова кутья — кушанье (рис с изюмом или медом), которым, по церковному обряду, угощали на поминках или похоронах.

Рекрутчина — система комплектования и пополнения армии.

Денник — сарай, навес, хлев.

Мирво́лить — давать поблажку.

Колодки — деревянные кандалы.

Земский исправник — начальник уездной полиции.

Сам государев посланный...— На реформу 1861 года крестьяне ответили бунтами. Для сохранения «порядка и спокойствия» Александр II командировал в губернии флигель-адъютантов и генерал-майоров свиты, которым было предоставлено право «действовать именем высочайшей власти». Примечательна судьба Ермила Гирина, недосказанная в поэме по цензурным причинам: Ермил становится на сторону восставших крестьян и попадает в острог.

Венгерка с бранденбурами — куртка для верховой езды и охоты, расшитая шнурами наподобие формы венгерских гусар.

Лесные дачи — участки леса, являвшиеся собственностью землевладельца.

Варом-варит — «когда гонит вся стая дружно, с неумолкающим лаем и заливаньем»; борзовщики-разбойники...— «Обязанность борзовщика — стеречь зверя с борзыми близ острова, переменяя место по направлению движения стаи» — так объяснял охотничьи термины сам Некрасов в примечаниях к стихотворению «Псовая охота», в котором дана яркая картина этого любимого развлечения помещиков-крепостников. Выжлятники — охотники, напускающие стаю гончих на след зверя, понуждающие собак криками и звуками рога.

Отъезжие поля — псовая охота далеко от жилья, с ночевкой в поле.

Напуск — свора гончих собак.

Двунадесятые праздники — двенадцать главных церковных праздников: рождество, крещение, благовещение, вознесение, успение и т. д.

Подрядчики — крестьяне, подряжавшиеся на какие-либо работы, уходившие в отхожие промыслы.

Поляки пересыльные.— На патриотические выступления в Польше в 1861 году и польское восстание 1863 года царское правительство ответило жестокими репрессиями — в том числе высылкой польских патриотов «во внутренние губернии» России.

Посредники — см. примеч. к словам: «Добра ты, царска грамота, да не при нас ты писана...»

Дормез — тяжелая карета со спальными местами.

ПОСЛЕДЫШ

Стр. 524

Петровки — время перед Петровым днем (см. выше примеч. к словам: «До Петрова!»).

Шапка бе́лая — дворянская форменная фуражка.

Установили грамоту...— Об уставных грамотах (см. выше, примеч. к словам: «Добра ты, царска грамота, да не при нас ты писана...»).

Фалетур — форейтор. При запряжке цугом (гуськом) форейтор сидел на одной из передних лошадей и управлял ими.

С хазового конца...— В куске ткани хазовый (казовый) конец делался почище и оставлялся напоказ сверху.

Смычок — поводок для собак (в охотничьем обиходе).

Тя́гло — при крепостном праве несколько трудоспособных лиц из одной семьи (обычно муж и жена), принимавшихся за рабочую единицу при обложении повинностями.

В петлице... Георгия Победоносца крест.— Военный орден «Св. великомученика и Победоносца Георгия», которым награждались только генералы и офицеры за боевые заслуги, а также (до 1855 года) за двадцатипятилетнюю беспорочную службу в офицерских чинах; в петлице сюртука носили Георгиевский крест 4-й степени.

Вёдро — ясная погода.

Питерщик — бывалый крестьянин, ходивший в Петербург на отхожие промыслы и работы.

Курьерская подорожная — официальный бланк с разрешением на выезд из города и на получение лошадей на почтовых станциях.

КРЕСТЬЯНКА

Стр. 556

На рожь, что кормит всех.— Дорогой пшеничный хлеб был для неимущих крестьян роскошью.

Ли́теры — буквы.

У девок каменных...— В парке при дворянских усадьбах ставились статуи.

В день Симеона...— 1 сентября — проводы лета.

Ная́н — назойливый, нахальный человек.

О святках...— Народные празднества с рождества до крещения: с 25 декабря по 6 января.

Гарус — цветная крученая шерсть для вышивания или вязания; гарнитур (искаженное гродетур) — плотная шелковая ткань.

«Песни».— Эта глава, как и вся в целом часть «Крестьянка», буквально соткана из материала народных песен, плачей, пословиц, загадок, творчески осмысленных и обработанных Некрасовым. Основными книжными фольклорными источниками явились для Некрасова народные песни, собранные Рыбниковым, Шейном, а также причитания Ирины Федосовой в записи Барсова.

В Екатеринин день...— 24 ноября праздновались «екатерининские гулянья».

Коты́ — женские ботинки, чаще всего теплые.

Корчага — большой глиняный горшок.

На Благовещенье.— 25 марта. Народная пословица: «На Благовещенье весна зиму поборола». На Казанскую — 8 июля.

По сказкам...— Ревизские сказки — именные списки, составлявшиеся при крепостном праве во время переписей; возможно, здесь в смысле: по рассказам, по преданию.

«Эх вы, Аники-воины!» — В народных сказаниях богатырь Аника-воин похваляется своей силой, но в поединке со смертью робеет и расплачивается за это жизнью. Аника — «пустохвастишко», «пустохвалишко».

К о р ё ж и н а.— По названию реки Корёга в Корёжской волости, Буйского уезда, Костромской губернии.

В о в р е м е н а д о с ю л ь н ы е...— прежние, старинные, «доселишние».

С о х а т ы й — лось.

Т р а в н и к — настойка на какой-либо траве.

П о д п о д о п л е к о ю — в подкладке рубахи на плечах (под оплечье).

В а р н а — турецкая крепость на Черном море, взятая русскими войсками после упорных боев во время войны 1828 года. Ныне порт в Болгарии.

З е м с к а я в л а с т ь — земский суд, состоявший в дореформенное время из земского исправника и земских заседателей; являлся в уезде и полицией, и судом, и следственным органом.

З а в о д с к и е н а ч а л ь н и к и...— Часть осужденных на каторгу работали в Сибири на солеваренных, железоделательных заводах и находились в бесконтрольном подчинении у владельцев заводов.

П о м а н и ф е с т у ц а р с к о м у...— Манифест в связи с коронацией Александра II в 1856 году.

Н а л о й (аналой) — высокий церковный столик с наклонной ве́рхней доской, на которую клались богослужебные книги, иконы, крест.

Н о в и н а — кусок сурового домотканого холста длиной 30 аршин (около 20 метров).

В о с к я р ы й — побелевший на воздухе воск.

С п а с — так назывался в народе церковный праздник в честь Христа, отмечавшийся 6 августа («второй Спас», «Спас яблочный»).

Т о р г о в ц ы - к о л о т ы р н и к и — барышники-перекупщики, наживавшиеся за счет трудового крестьянства.

— Ч е й п а м я т н и к? — «С у с а н и н а».— Открыт в Костроме в 1851 году; сооружен по проекту скульптора, ректора Академии художеств В. И. Демут-Малиновского.

Ш а н д а́ л — подсвечник.

У ж в з я л и о д н о г о! — По рекрутской повинности.

У г р о б а И и с у с о в а м о л и л а с ь, н а А ф о н с к и е в с х о д и л а в ы с о т ы́, в И о р д а н ь - р е к е к у п а л а с я...— Излюбленные места религиозного паломничества в Палестину и в Грецию.

ПИР — НА ВЕСЬ МИР

Стр. 622

С е р г е й П е т р о в и ч Б о т к и н (1832—1889) — выдающийся деятель медицины; разделял прогрессивные идеи 60-х годов. Осенью 1876 года в Крыму лечил Некрасова, работавшего тогда над «Пиром — на весь мир». Будучи лейб-медиком, то есть придворным врачом, он лечил также императрицу, через которую Некрасов рассчитывал добиться разрешения на публикацию этой части поэмы. Надежды его не оправдались.

Примечание Некрасова было напечатано в № 11 «Отечественных записок» за 1876 год при первой и единственной прижизненной публикации этой главы (она была вырезана затем цензурой до выхода журнала в свет). Некрасов хотел, чтобы читатель воспринял главу «Последыш» в сюжетно-композиционном единстве с главой «Пир — на весь мир». Однако это примечание не следует понимать как требование обязательной передвижки частей поэмы, что неизбежно привело бы к ошибочному перемещению «Пира» в середину произведения, а «Крестьянки» — на самый конец его. Главу «Пир — на весь мир» Некрасов писал тяжелобольным и понимал, что другого окончания поэмы уже не будет. Именно в этой главе поэмы с наибольшей ясностью выражена революционная перспектива развития всего поэтического замысла. Глава «Пир» — идейная вершина поэмы и, безусловно, должна быть завершающей. Примечание Некрасова является авторским признанием некоторой условности и внутренней противоречивости расположения частей поэмы, вызванных особенностями ее творческого создания.

В Белокаменной...— «Матушка Москва белокаменная», говорилось в народном присловье.

Крепь — то есть крепостное право.

Долгушка — повозка с кузовом, помещенным на длинных гибких полосах (дрогах), соединявших переднюю и заднюю оси.

Извозом занимавшийся...— оброчный крестьянин, имевший лошадей и промышлявший перевозкой товаров или седоков.

Пра́сол занимался скупкой и перепродажей скота или сельских продуктов.

За просфоры афонские, за «слезки богородицы».— Про́сфоры (просвиры) — маленькие круглые хлебцы, «освящаемые» в церкви; «слезки богородицы» — народное название «травы-слезы», «слезы Иова» (Coix lacrima), с твердыми круглыми семенами, употреблявшимися для чёток (нанизанные на шнурок шарики для отсчитывания молитв и поклонов).

Тройцы-Сергия — Троице-Сергиева лавра (монастырь) под Москвой.

Вериги двухпудовые...— Религиозные фанатики носили «во искупление грехов» железные цепи, кольца, полосы и т. п. (ср. стихотворение Некрасова «Влас»).

Быль афонская...— Монахи Афонской горы приняли участие в национально-освободительной борьбе Греции против турецкого господства, вспыхнувшей в 1821 году.

Соловки́ — крупнейший монастырь на Соловецком острове в Белом море, служивший также местом ссылки.

Было двенадцать разбойников...— Первоначально в рукописи поэмы указывалось на близость Кудеяра к трудовому крестьянству до того, как он стал разбойником:

Было то время далекое,
Жил человек удалой,
Маялся, маялся с пашнею
Да и ударил в разбой.

Под Ачаковом бился с туркою...— В 1788 году в результате морских боев русский флот нанес поражение турецкому, и Очаковская крепость была взята русскими войсками.

Драть будет волостной...— Согласно «Положениям» 19 февраля 1861 года, крестьяне получили личную независимость, и помещики теперь не имели права подвергать их телесным наказаниям, однако фактически эти наказания продолжались, хотя производились уже по приговору волостного суда.

Пе́щур — котомка для хлеба.

В чем штука? — В бумагах Некрасова сохранилась запись о действительном происшествии, о котором он слышал в селе Карабихе в 1874 году: «Мне рассказывали о крестьянине-шпионе, который возбудил подозрение в мужиках тем, что, ничего не делая, одевался щеголем и всегда имел деньги,— вот они добрались откуда... И, сообразив, что это за птица, заманили его в лес и избили. Мужик-шпион убрался из своей деревни, но всюду, где он ни появлялся, его били — по наказу. Помнится, что история эта кончилась трагически».

Раёк — переносная панорама с показом картинок через увеличительное стекло.

Пенция — пенсия.

А коли семь-то рубликов платить, так черт с тобой! — В связи с передачей в 1868 году Николаевской железной дороги частным владельцам плата за проезд от Москвы до Петербурга в третьем классе повысилась с пяти рублей (ранее плата равнялась четырем рублям) до шести, а затем до семи рублей пятидесяти копеек.

Реду́т — небольшое военное укрепление.

Георгий — «знак отличия военного ордена» св. Георгия; этим Георгиевским крестом награждались за боевые заслуги только нижние воинские чины (рядовые, ефрейторы, унтер-офицеры).

Война под Севастополем.— Героическая оборона русской армии в войне 1854—1855 годов против объединенных сил Франции, Англии, Турции.

Потомок татар, как коня, выводил на рынок раба-славянина...— Намек на позорную торговлю крепостными как личной собственностью помещиков, многие из которых вели свою родословную от предков-татар (ср. в гл. «Помещик» рассказ Оболта-Оболдуева о своем «дворянском дереве»).

«Русь».— Созданный Некрасовым поэтический образ «Руси» был использован В. И. Лениным в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908), а затем в статье «Главная задача наших дней», написанной через несколько месяцев после Октябрьской революции. Формулируя главную задачу, стоявшую перед молодым Советским государством, Ленин считал необходимым «добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной», и полагал, что «у нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция,— чтобы создать действительно могучую и обильную Русь».

И. Ю. Твердохлебов

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Д. Благой. Иван Андреевич Крылов 3
М. П. Еремин. Александр Сергеевич Грибоедов и его комедия . 25
К. И. Чуковский. Н. А. Некрасов 51

И. А. КРЫЛОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

САТИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Из «Почты духов»

Письмо XXVI. От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку 81
Письмо XLV. От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку 88
Похвальная речь в память моему дедушке 96

БАСНИ

Ворона и Лисица 104
Ворона и Курица 105
Ларчик . . . . . —
Лягушка и Вол 106
Парнас 107
Волк и Ягненок . . . . . —
Обезьяны 108
Синица 109
Осел 110
Мартышка и Очки 111
Лев и Барс 112
Мор зверей 113
Собачья дружба 115
Раздел 116

Волк на псарне 117
Ручей 118
Лисица и Сурок 119
Прохожие и Собаки . . . . . —
Стрекоза и Муравей 120
Лжец 121
Орел и Пчела 122
Заяц на ловле 123
Щука и Кот 124
Волк и Кукушка 125
Петух и Жемчужное зерно 126
Крестьянин и Работник . —
Обоз 127
Слон на воеводстве 128
Осел и Соловей . . . . . —
Слон и Моська 129
Волк и Волчонок 130
Обезьяна 131
Кот и Повар . . . . . —
Лев и Комар 132
Дерево 133
Гуси 134
Свинья 135
Орел и Паук . . . . . —
Орел и Крот 136
Квартет 138
Листы и Корни 139
Волк и Лисица . . . . . —
Бумажный Змей 140
Лебедь, Щука и Рак 141
Скворец . . . . . —
Пруд и Река 142
Тришкин кафтан 143
Пустынник и Медведь 144
Цветы 145
Крестьянин и Разбойник 146
Любопытный . . . . . —
Лев на ловле 147
Добрая Лисица 148
Мирская сходка 149
Демьянова уха 150
Мышь и Крыса . . . . . —
Чиж и Голубь 151
Камень и Червяк . . . . . —
Зеркало и Обезьяна 152
Крестьянин и Смерть . . . . . —

Лев и Волк 153
Лев и Лисица 154
Хмель . . . . . —
Туча 155
Клеветник и Змея . . . . . —
Лягушка и Юпитер 156
Волк и Пастухи 157
Гребень . . . . . —
Скупой и Курица 158
Две бочки . . . . . —
Апеллес и Осленок 159
Охотник 160
Осел и Мужик 161
Волк и Журавль . . . . . —
Пчела и Мухи 162
Муравей 163
Крестьянин и Змея («К Крестьянину вползла Змея...») 164
Лисица и Виноград . . . . . —
Овцы и Собаки 165
Медведь в сетях . . . . . —
Мальчик и Червяк 166
Трудолюбивый Медведь 167
Совет Мышей . . . . . —
Мельник 168
Крестьянин и Змея («Когда почтен быть хочешь у людей...») . . 169
Свинья под Дубом 170
Паук и Пчела . . . . . —
Лисица и Осел 171
Муха и Пчела 172
Змея и Овца 173
Голик . . . . . —
Крестьянин и Овца 174
Волк и Мышонок . . . . . —
Два Мужика 175
Котенок и Скворец 176
Две Собаки 177
Кошка и Соловей 178
Рыбья пляска 179
Пестрые Овцы . . . . . —
Белка («У Льва служила Белка...») 180
Щука 181
Кукушка и Орел 182
Бритвы . . . . . —
Бедный Богач 183
Булат 185
Пушки и Паруса . . . . . —

Собака и Лошадь 186
Волк и Кот 187
Водопад и Ручей 188
Лев . . . . . —
Пастух 189
Белка («В деревне, в праздник, под окном...») . . . . . —
Мыши 190
Лиса 191
Волки и Овцы . . . . . —
Два Мальчика 192
Кукушка и Петух 193
Вельможа 194

А. С. ГРИБОЕДОВ

ГОРЕ ОТ УМА. *Комедия в четырех действиях, в стихах.* 195

Н. А. НЕКРАСОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Современная ода 299
Колыбельная песня *(Подражание Лермонтову)* 300
«Когда из мрака заблужденья...» 301
Тройка 302
Огородник 303
Перед дождем 305
«Я за то глубоко презираю себя...» 306
Родина . . . . . —
«Еду ли ночью по улице темной...» 308
«Вчерашний день, часу в шестом...» 309
«Блажен незлобивый поэт...» . . . . . —
За городом 311
Памяти Белинского . . . . . —
Несжатая полоса 312
«Я сегодня так грустно настроен...» 313
«Праздник жизни — молодости годы...» . . . . . —
«Безвестен я. Я вами не стяжал...» 314
«Тяжелый крест достался ей на долю...» . . . . . —
На родине 315

«Замолкни, Муза мести и печали!..» 316
«Внимая ужасам войны...» . . . . . —
Школьник 317
«Как ты кротка, как ты послушна...» 318
Поэт и гражданин . . . . . —
«В столицах шум, гремят витии...» 326
«Стихи мои! Свидетели живые...» . . . . . —
Размышления у парадного подъезда . . . . . —
Песня Еремушке 329
«Что ты, сердце мое, расходилося?..» 331
На Волге 332
Плач детей 339
На смерть Шевченко 340
«Что ни год — уменьшаются силы...» . . . . . —
Зеленый Шум 341
«В полном разгаре страда деревенская...» 342
Рыцарь на час 343
«Надрывается сердце от муки...» 348
Калистрат 349
Железная дорога 350
Памяти Добролюбова 354
«Умру я скоро. Жалкое наследство...» 355
Мать 356
«Душно! без счастья и воли...» 357
Элегия . . . . . —
Сеятелям 358
«О Муза! я у двери гроба!..» 359

ПОЭМЫ

Мороз, Красный нос 360
Русские женщины
Княгиня Трубецкая 392
Княгиня М. Н. Волконская 415
Кому на Руси жить хорошо
Пролог 450
Часть первая 460
Последыш 524
Крестьянка 556
Пир — на весь мир 622

Комментарии 667

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(т о м 5)

*

Иван Андреевич Крылов

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

*

Александр Сергеевич Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА

*

Николай Алексеевич Некрасов

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*

ИБ № 4463

Ответственный редактор
Н. В. Белякова

Художественный редактор
Г. Ф. Ордынский

Технический редактор
В. К. Егорова

Корректоры
В. В. Борисова и Г. В. Русакова

*

Сдано в набор 21.08.80. Подписано к печати 02.03.81. Формат 60×90 1/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать выс. рот. Усл. печ. л. 46,13. Усл. кр. отт. 49,88. Уч.-изд. л. 40,27+9 вкл.=40,72. Тираж 407 000 (1—200 000) экз. Заказ № 2168. Цена 1 р. 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Крылов И. А.

К85 Избранные сочинения. Грибоедов А. С. Горе от ума. Некрасов Н. А. Стихотворения и поэмы/ Вступит. ст. Д. Д. Благого, М. П. Еремина, К. И. Чуковского.— М.: Дет лит., 1981.— 718 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 5.)

В пер.: 1 р. 80 к.

**В томе представлены избранные произведения трех великих русских писателей — И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, Н. А. Некрасова.
Комментированное издание.**

К $\frac{70803—234}{М101(03)81}$ Подп. изд. Р1

1 р. 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»